ISSN 0131—2332

Москва

9
1988

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. Н. АЛЕКСЕЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

В. С. АНДРЕЕВ (заместитель главного редактора)
М. Ф. АНТОНОВ
Н. Б. БАБОЧКИНА
Ю. Н. ВЕРЧЕНКО
М. Н. ГОРБУНОВ (заместитель главного редактора)
Е. П. ИОНОВ (ответственный секретарь)
А. П. ЛАНЩИКОВ
Л. М. ЛЕОНОВ
Ю. М. МЕДВЕДЕВ
О. Н. МИХАЙЛОВ
А. А. ПАРПАРА
Г. Г. РЕГИСТАН
А. Н. САХАРОВ
В. М. СИДОРОВ
С. В. СМИРНОВ
В. А. СОФРОНОВА
Ф. И. ЧУЕВ
В. Д. ШАПОШНИКОВА

9
1988

Основан
в 1957 г.

Издательство «Художественная литература»
Москва

11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МОСКВЫ



Художник **Н. Протасов**

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный...

М. Ю. Лермонтов

© Журнал «Москва» № 9, 1988.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

О ПОЛИТИЧЕСКИХ «ЯРЛЫКАХ» И ПРОЧЕМ...

ЗАМЕТКИ ДЕЛЕГАТА XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В канун конференции, буквально за несколько дней до ее начала, в редакцию журнала «Москва» зачастили вдруг иностранные журналисты, чего раньше не случалось. В чем же дело?

При первой беседе все и выяснилось. Оказывается, им, этим журналистам, захотелось самим заглянуть в один из «бастионов консерватизма в СССР» — именно так окрестил нас месяцем раньше корреспондент французского радио Юлиус Госсе, начитавшись грозно-разоблачительных и обличительных пассажей в некоторых журналах и газетах, откуда вот уже в течение двух лет нашептывают кому надо: посмотрите, противники-то перестройки у вас под боком, а вы, слепцы, этого не замечаете. Они, злодеи, засели в журналах «Москва», «Наш современник» и «Молодая гвардия». И не случайно-де главные их редакторы оказались в числе авторов страшного «письма одиннадцати».

Ну какому же иностранному журналисту после всего этого не захочется хоть одним глазком глянуть на живого, так сказать, врага перестройки и гонителя Твардовского? И вот мы беседуем. Сперва с француженкой, потом с итальянцем, затем с испанкой. Просился в гости к нам еще и англичанин. Беседуем с этими тремя в порядке живой очереди час, другой. На их лицах явное недоумение. Что-то не согласуется с навязанным им представлением о «Москве». Иностранцы вдруг узнают, например, что задолго до перестройки на страницах журнала «Москва» Владимир Чивилихин, Иван Васильев, Федор Моргун выступили с очерками, над которыми можно было бы поставить общий заголовок «Земля в беде». В это же время с великим трудом доводили мы до читателя очерки и повести Владимира Солоухина о разрушении бесценных памятников культуры и архитектуры в Москве, в Оптиной пустыни, в державинских, аксаковских и блоковских местах, публиковали рассказы А. Яшина, романы Анатолия Иванова «Вечный зов» и Петра Проскурина «Судьба» и «Имя твое», в которых, помимо прочего, с болью и гневом рассказывалось о сталинских репрессиях 37—38 годов.

Узнав про все это, наш зарубежный гость начинает задумываться: как же могло случиться, что в этом «самом консервативном» журнале в п е р в ы е был опубликован еще в 1967 году роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», следуя этой традиции, «Москва» в п е р в ы е напечатала и роман В. Набокова «Защита Лужина». В нынешнем, 1988 году журнал приступил к публикации великого труда Н. М. Карамзина «История государства Российского», ни разу не выходившего за все семьдесят послереволюционных лет, — и вновь в п е р в ы е! Здесь употреблено слово «великий» лишь в смысле значения этого труда, а отнюдь не по его объему. Его объем насчитывает неполных 100 листов, и журнал из своих двадцати четырех листов отводит в номере Карамзину от двух до трех листов и подает его такими малыми порциями, как домашнее чтение: мы просто обязаны вернуть нашему народу отнятую у него во времена культа личности отечественную историю!

Роман Евгения Евтушенко «Ягодные места» обошел все московские толстые журналы и нашел прибежище лишь на страницах «Москвы». Та же участь постигла и превосходнейшую документальную по-

весть Виктора Астафьева «Зрячий посох». Стало быть, и эта вещь впервые увидела свет на страницах нашего журнала.

Вот тебе и консерваторы!

Что же касается «Нашего современника», коему достается, пожалуй, еще больше, чем нам, от критиков, величающих себя прорабами перестройки, то кто же может отрицать, что этот скорее тонкий, чем толстый журнал (вот еще одна вопиющая несправедливость!) за последние два десятка лет дал советской литературе лучшую прозу Виктора Астафьева, Василия Белова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Константина Воробьева, Владимира Крупина, Виктора Лихоносова, Владимира Солоухина, Георгия Семенова, Юрия Нагибина и многих других. Да и публицисты первого ряда, такие, как Иван Васильев и Юрий Черниченко, с самыми острыми своими материалами выступили опять же в «Нашем современнике». Не эти ли писатели прежде и раньше всех указали на самые болевые точки и в нашей экономике и в нашей экологии, вообще в нашенском житье-бытье в так называемые застойные годы, те самые болевые места, на решительный штурм которых наша партия и позвала народ в апреле 1985 года?!

Однако, попирая истину, начисто игнорируя эти очевидные факты, каких только ярлыков не навешивается сегодня на этот журнал. И не журнал даже, а «черносотенный журнальчик», как «деликатно» выразился один солидный автор на страницах не менее солидной центральной газеты в канун конференции.

Ну, а что же все-таки делать с «нераскаявшимися» авторами «письма одиннадцати»? Коль скоро они убили Твардовского, а заодно с ним и старый «Новый мир», то не посадить ли на скамью подсудимых ныне здравствующую восьмерку из этих одиннадцати? Может быть, как раз там-то и выяснится наконец, что в «крамольном» том письме ни единым словом не тронуто доброе имя великого поэта, а ведется спор с Александром Григорьевичем Дементьевым, который в 1949 году громил космополитов, а спустя двадцать лет, в 1969 году, с неменьшей яростью обрушился на «русофильствующих» и «мужиковствующих» литераторов.

Вот тут-то и возникает вопрос: почему бы строгим обличителям не заглянуть в подшивку «Огонька» и не извлечь из нее номер 30 за 1969 год да и не опубликовать полностью это самое «письмо одиннадцати», — тогда бы, глядишь, все и прояснилось, все бы стало на свои места. Но это-то как раз и ни к чему тем, кому во что бы то ни стало надобно представить это письмо в выгодном для них свете и сохранить на будущее как некий черный список. Мол, пригодится...

А теперь несколько слов о навешивании ярлыков, о которых говорил в своем докладе на партконференции Михаил Сергеевич Горбачев. Далеко небезобидная штука, эти ярлыки. Пришпандорит вам Татьяна Иванова кличку «сталинист», и вы уже — враг перестройки. Читаем у нее: «Знаете, кто не издает Чаадаева, кто режет ему до двадцати тысяч тираж, кто ссылает его на Чукотку? Сталинисты, друзья мои, и не будем на этот счет заблуждаться».

А мне припоминается, что вот так же «не заблуждались» в 37-м и 38-м годах столь же бдительные граждане. В самом самостоятельно мыслящем индивидууме им мерещился троцкист. Даже на ученической тетради в кроне пушкинского дуба у лукоморья отыскивалась бородка Троцкого со всеми вытекающими отсюда последствиями для выпустивших такие тетради. Я не удивлюсь, когда кто-нибудь из наших «прорабов» будет с таким же рвением отыскивать в школьных рисунках усы либо курительную трубку Сталина. Вы скажете, смешно. Смешно, но не очень...

В Аткарском педагогическом техникуме, где я учился с 1936 по 1938 год, за брошенным кем-то словом «троцкист» немедленно последовала расправа. В одну ночь оказались «троцкистами» прекрасный директор техникума Чурсин, завуч и два студента старших курсов Петров и Бобков. Они исчезли бесследно. Петров что-то там сказал о 33-м годе, унесшем до войны и без войны миллионы человеческих жизней, а Бобков подал с места сочувствующую оратору реплику...

Конечно, сейчас не тридцать седьмой и не тридцать восьмой годы, а восемьдесят восьмой. Правовой социализм, коль скоро нам удастся его выстроить, избавит нас от самого худшего. И все-таки с навешиванием ярлыков надобно быть поосторожнее: ярлыки, особенно политические, всегда оборачивались превеликими неприятностями как для тех, кому они навешиваются, так и для тех, кто их навешивает. Это уже известно.

Но раз уж я назвал тот трагический 33-й год, хотел бы обратиться в Политбюро ЦК КПСС с одним предложением. Очень хорошо, что создана и приступила к работе, может быть, одна из самых наигуманнейших комиссий — Комиссия по реабилитации невинно осужденных государственных и политических деятелей в годы культа личности Сталина. Не лишне, как мне кажется, создать и столь же авторитетную Комиссию при Центральном Комитете КПСС, которая разобралась бы наконец, кто конкретно повинен в гибели миллионов и миллионов землепашцев, наших кормильцев, в самых хлебородных регионах страны в одном только 1933 году. Ведь страшный мор захватил (начну перечисление с востока на запад) Западную Сибирь, Южный Урал (нынешнюю Оренбургщину), Северный Казахстан (нынешнюю целину), все Поволжье, от Горького до Астрахани включительно, весь Северный Кавказ, включая Ставропольщину, Ростовскую область, Кубань и всю — повторяю, всю! — Украину с запада на восток и с востока на запад. В моем родном селе Монастырском на Саратовщине до 33-го года было шестьсот с лишним дворов, после 33-го их осталось сто двадцать, а ведь туда не докатывалась ни одна война. Люди умирали семьями. Спаслись лишь те немногие, кому мой отец, будучи секретарем сельского Совета, украдкой выдавал справки, чтобы люди со своими чадами и домочадцами смогли уехать в города и там спастись от голодной смерти. За такие «незаконные»

действия отец сам попал в саратовскую тюрьму, и там его в числе других уморили голодом. Кстати сказать, в той самой тюрьме, где позже погибнет великий мой земляк Николай Иванович Вавилов.

Я рассказал об этом голоде в романе «Драчуны», вышедшем в свет в 1981 году. Но знал бы читатель, что мне, автору, и журналу «Наш современник» стоило, чтобы этот роман появился! Цензоры, обложившись томами официальных документов, не отыскали в них ни единой строчки, где хотя бы скороговоркой было сообщено своему народу и миру о великой народной беде. Не лишне бы вспомнить и про то, что именно в этом, 33-м году Гитлер пришел к власти. Не помогли ли мы (объективно, разумеется) этим страшным годом утвердиться ему у власти и расправиться с коммунистами, которые на выборах в Германии получили тогда более шести миллионов голосов. Вот ведь что он еще означает в нашей новейшей многострадальной истории — год тысяча девятьсот тридцать третий! Мои одногодки, или чуть моложе, чуть постарше, умершие тогда, — а их, повторяю миллионы! — ставши бойцами, как бы усилили нашу воюющую армию. Неизвестно еще, рискнул бы Гитлер напасть на нас без этого опустошительного для нашей страны голода и без лишения Красной Армии ее прославленных полководцев.

Полагаю, по высшей справедливости, по долгу нашему, надобно было бы соорудить, наравне с памятником жертвам сталинских репрессий, еще памятник и жертвам 1933 года. Либо присовокупить их к общему памятнику.

Ну, а теперь еще несколько слов о «сталинистах». Виноват, и я «грешен». Будучи политруком роты, и я кричал что было сил, поднимаясь сам и поднимая своих бойцов в атаку, кричал до хрипоты: «За Родину, за Сталина!» Это было под Сталинградом, где в то время сражались и Сергей Викулов, и Юрий Бондарев, на которых сейчас сосредоточили свой огонь наши отважные бойцы от критики. Да, мы кричали там вот так, ибо не знали тогда, что будет и 20-й и 22-й съезды. Случись такая беда сейчас, мы бы от тех слов, конечно же, оставили только одно: «За Родину!» Да и те-то два слова сливались для нас в одном священном слове «Родина». Не будем же мы сейчас порицать героев Бородина 1812 года за то, что они сражались за Веру, Царя и Отечество!

Мы совершенно справедливо обрушиваем свой гнев на Сталина и его ближайшее окружение за тиранию. Но разумно ли выбрасывать за борт без разбору все ценности, духовные и материальные, созданные и во времена культа личности Сталина, и во времена волюнтаристские Хрущева, и даже в застойные, годы, связанные с личностью Брежнева. А не обидим ли мы наш многострадальный народ, который трудился и воевал, обливаясь и кровью и потом, тоже часто кровавым. Неужто можно забыть Чапаевых и Щорсов, Стахановых и Чкаловых, Матросовых и Покрышкиных, Королева, Курчатова и Гагарина, наших великих страстотерпцев — женщин, вынесших, да и поныне несущих на своих плечах и в сердцах неимоверные тяжести наших грозных времен. А ведь находятся же критики, которые готовы отринуть от нас Горького, Маяковского, Шолохова, Николая Островского, Алексея Толстого, Фадеева только потому, что они создавали свои произведения в годы, отмеченные культом личности Сталина. На таком же сомнительном основании мы должны были бы отказаться от кинематографа Эйзенштейна, Довженко и Пудовкина. Список этот можно продолжать и продолжать. И тогда в нем неизбежно окажется и Александр Твардовский, написавший в те же годы и «Страну Муравию», и «Василия Теркина», и «Дом у дороги». Теперь мы узнали и еще об одном его дивном создании — поэме «По праву памяти». Следуя, однако, логике Бенедикта Сарнова, Татьяны Ивановой и других доблестных защитников Твардовского, и ему, их «подзащитному», пришлось бы вынести суровый вердикт, навесить ярлык «сталиниста». Ведь через всю поэму «Страна Муравия» рефреном звучат слова: «И надо всей страной рука, простертая вперед». Нетрудно догадаться, чью руку имел тогда в виду поэт. Во всяком случае, не ленинскую... Еще проще приклеить такой ярлык Михаилу Васильевичу Исаковскому. Ведь и у него мы найдем строчки: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе».

Возникает вопрос: почему мы рядимсудим о тех или иных художественных явлениях, не сообразуясь со временем, когда эти явления были созданы? Когда же наконец мы научимся относиться с уважением к истории как к категории объективной, которую нельзя ни улучшать в угоду кому бы то ни было, ни ухудшать по тем же соображениям? Ведь за пренебрежительное к ней отношение мы неизменно платим дорогую цену. А научиться надо. И это будет тоже перестройка в нашем мышлении. Мы станем мудрее, честнее, что поможет нам избежать в будущем многих бед и ошибок.

■

АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ВОИН

КНИГА НАДЕЖДЫ

РОМАН

Проза

Боязливо подступала весна. Сороки первые ее почуяли, между ними среди бела дня вспыхивали дикие ссоры, и галдели они неистово. Пашута жадно втягивал ноздрями воздух. Сказал Варе:

— Сколько раз видел это, а привыкнуть не могу. Ты чувствуешь, земля парит?

— Чувствую, чувствую,— усмехнулась Варя.— Несет какой-то дрянью вон от того сарая... Скажи, Пашенька, сколько тебе лет? Ведь ты соврал, что тебе сорок пять?

— Ну, думаю, мы ровесники. А по уму так я даже немного постарше.

— Я тебе завидую, Пашенька.

— Почему?

— Какой-то ты радостный бываешь. Без всяких причин. Я так не умею.

— Научишься,— сказал Пашута и побрел к сараю: может, там действительно какой непорядок? Вон и бродячие коты повадились туда шастать. А Варя ушла в дом. Два дня назад Хабило выполнил обещание, подбросил на своем шикарном лимузине рисовальные принадлежности и денег не взял, сказал, что все провел по клубной смете. Он был необычайно задумчив и, отведя Спирина в сторону, напрямик спросил у него, в каких отношениях находится его приезжий друг с Варей. Спирин сам этого досконально не знал, а врать не умел, потому ответил, что, видимо, они жених и невеста.

— Вряд ли,—усомнился Хабило.— Откуда может быть у дремучего мужика такая невеста? Это противоречит законам этики.

Уезжая, он намекнул Варе, что если она угодит своей работой одному высокопоставленному лицу, ее ждут такие перспективы, о которых она и мечтать не могла. То ли под впечатлением этой туманной фразы, то ли от долгого безделья Варя увлеклась заказом и почти не выходила из своей комнаты, превратив ее в мастерскую. Она перетащила туда большой стол, а у окна Пашута соорудил ей нечто вроде походного кульмана. Теперь Варя к себе никого не пускала. Пашута посмеивался, говоря, что не иначе как она налаживается шлепать фальшивые деньги.

На душе у него было муторно. После ленинградских злоключений, которые

Продолжение. Начало — в № 8.

вроде их сблизили, он начал надеяться на какой-то крупный разговор, который все поставит на свои места: разведет либо сблизит их окончательно, но время шло, а отношения оставались двусмысленными. Эта двусмысленность нисколько не обескураживала девушку, а его угнетала. Он ловил на себе заботливые взгляды Спирина и не знал, как объяснить ему сей сон наяву. Урсула странно на него косилась и иной раз вздрагивала, когда он обращался к ней с каким-нибудь невинным вопросом. Каким зверем он ей представлялся? Пашута уже не помнил, на что рассчитывал, уезжая с Варей в эту глушь. Смешон человек, вообразивший, что сумеет своей волей переломить естественное течение жизни, он уподобляется клоуну в цирке, который подражает то ослепительному жонглеру, то элегантному воздушному гимнасту; с каждым днем Пашута все явственнее ощущал, как утекают в песок драгоценные капли его любви. Вдобавок постепенно в нем родилось ядовитое чувство вины. Все, что он обещал Варе и на что намекал, походило на большой обман, и значит, он выглядел в ее глазах ничуть не лучше ее прежних алчных знакомцев. Каждый коверкал ее жизнь на свой манер.

Он надеялся: что-то произойдет. И произошло, правда, не то, чего ожидал. В последний день февраля подгадали нежданные гости — Владька Шпунтов, земляк по слесарному делу, и с ним Вильямина, девушка-гусар, дорогая московская сожительница. Когда он увидел их, бредущих по деревенской улице — у Владьки небольшой чемоданчик в руке, Вильямина с роскошной спортивной сумкой через плечо,— глазам своим не поверил. Но это были они, и никто другой, и искали они его, и никого другого.

Первым его движением было спрятаться за сарай, он туда и нырнул. Парочка заглянула в дом, где жила старуха Поликарповна, пробыла там недолго, и уж оттуда ходко и уверенно поспешила к его дому. Пашута вышел навстречу, придав лицу безразличное выражение. Варя копалась в комнате со своими эскизами. День перевалил за середину.

— Здорово, ребята! — окликнул он гостей негромко. — Рад вас повидать... А теперь разворачивайтесь — и на станцию. Нечего вам делать в Глухом Поле.

— Ну даешь! — восторженно завопил Шпунтов. — Ну встречаешь! А мы-то к тебе с дорогой душой. Я отпуск взял, чтобы Вилю проводить. Гостинцев привезли. Да ты что, Паш, очумел, что ли? Или не признал?

Они довольно далеко отошли от дома, когда на дороге показался Спирин. Увидев незнакомых людей, отчаянно спорящих с Пашутой и жестикулирующих, он поначалу заподозрил, что это мелиораторы, подосланные Хабилой, но узнав, что это гости из Москвы, тут же проникся к приезжим симпатией.

— Прекрасно, что приехали, прекрасно. Нам люди — во как нужны. У нас с Пашей планы огромные. Да мы в этих благословенных местах такую коммуну отгрохаем, Хабило подавится... Паш, а ведь есть в этом что-то символическое. Гляди, мы еще клич не кликнули, а люди к нам из самой Москвы потянулись.

— Никто к тебе не потянулся,— урезонил друга Пашута. — Они приехали с хулиганскими намерениями.

Спирин посерьезнел:

— Поселим вас в дом Прохоровых. Он с того лета пустует. Домина, я вам скажу, дворец!

Шпунтов покосился на Пашуту.

— Я не против. У меня отпуск.

В двусмысленной обмолвке земляка Пашута уловил нечто такое, что дало его мыслям иной поворот. Как это он сразу не сообразил в запарке? Ведь Владька Шпунтов ухарь, известный покоритель сердец.

Чего бы это он попусту потянулся за Вильяминой? Вон и она что-то подозрительно притихла. Вилька красивая девица, вполне Шпунтову под пару. Пашута с облегчением вздохнул.

— Хорошо, пусть немного поживут. Но с одним условием.

— С каким? — хором поинтересовались Шпунтов и Вильямина.

— Чтобы без дурацких выходок. Будете отдыхать тихо, как мыши. Это к тебе в первую очередь относится, Вильямина.

Вильямина, пережив зловещий приступ агрессивности, теперь изображала невинную простушку.

— На что намекаешь, Пашенька? Прямо обидно слышать. Какие выходки? Перед посторонним человеком неудобно... Это что я твоей кралей интересовалась? Ты это имеешь в виду?

— И это тоже.

Вильямина обернулась к Спирину, точно призывая его заступиться.

— А что такого? Что я сказала? Конечно, мне интересно. Жил со мной, теперь завел другую. Любая бы на моем месте полюбопытствовала.

— Виля, прекрати!

Вильямина пригнулась с деланным испугом.

— Ой, какой ты грозный, Пашенька!

Он понимал ее игру. Затаилась до удобного случая. Бог с ней. Удобного случая ей долго придется ждать. Главное, успеть объясниться с Варей.

Торжественно проводили гостей в избу Прохоровых. Оставили отдохнуть с дороги, игриво пожелав им доброй ночи. Вильямина улучила момент, шепнула Пашуте:

— Мне твой Владька и на дух не нужен. Зря его подсовываешь. Так и знай. Ничего у тебя не получится.

— Угомонись, Виля. Все удачно складывается. Только веди себя по-человечески. Окрутишь этого кавалера, о чем еще мечтать. У него восемь тысяч на книжке.

Шпунтов глядел соколом. За долгую тридцатилетнюю жизнь, Пашута это знал, окрутить его еще никому не удалось. Как гордый дух изгнанья, парил он над слабым женским полом. Но легких побед никогда не избегал. Друзьям иногда объяснял свою жизнь как торжество высокого ума над прозой быта. Как бы свыше ему было указано пройти по миру невредимым и поразить людей непреклонностью характера. С ним на заводе редко кто спорил. С ним спорить было бесполезно. Он был настолько уверен в себе, что не понимал возражений. Женщин, которые работали на предприятии, воспринимал как свой личный гарем. И жалел лишь о том, что не может каждой уделить достаточно внимания. Завистники пророчили ему плачевный конец, но он посмеивался. Чуть ли не всякий божий день заводил он новые шашни, и случалось, выползал по утрам на работу, как полудохлый таракан, с обвисшими усами, с незрячим блеском в глазах. Разгадка его мистического воздействия на женщин была, как заметил поэт, равносильна разгадке смысла жизни.

Однажды у него произошла осечка, которая его ничему не научила. Как-то он приклеился к молодой замужней дамочке из бухгалтерии, увел ее для беседы в красный уголок, а туда, явно по чьему-то наущению, ворвался ее муж, здоровенный такелажник из пятого цеха. Этот такелажник, грубый от природы, не стал вникать в лирические объяснения Шпунтова, касающиеся чисто духовной близости некоторых людей, а без проволочек огрел его по башке табуреткой, после чего такелажник с супругой отволокли бездыханное тело дамского угодника в санчасть. Что любопытно, такелажник на этом не успокоился и еще с неделю подстерегал Шпунтова за каждым углом с железной скобой в руке. Ему втемяшилось в голову, что двоим им со Шпунтовым не жить на свете. Шпунтов уже подумывал об увольнении

по собственному желанию. Спас его в тот раз Пашута. Он встретился с ревнивым такелажником и сумел найти с ним общий язык. Пашута любил мирить людей. Такелажнику он внушил, что его соперник Владька Шпунтов, в сущности, никому не опасный придурок. Женщины бывают к нему милостивы из жалости. Преследуя такого никчемного человека, такелажник унижает себя и бросает тень на свою жену, женщину достойную, которая в бухгалтерии почитается чуть ли не святой. В конце концов такелажник согласился выпить со Шпунтовым мировую, но настаивал исключительно на грузинском коньяке.

Пашута был единственным человеком, к мнению которого Шпунтов прислушивался, разумеется, со многими оговорками. Бегство Пашуты из Москвы Шпунтов пережил как большое личное потрясение. Он не осуждал Киршу и не жалел его, как все прочие, предполагавшие в этом деле какие-то причины интимного свойства. Он ему завидовал. Пашута, по его представлению, сумел бросить такой вызов общественному мнению, какой ему и не снился, хотя он оценивал себя очень высоко и полагал, что самим фактом своего существования противостоит рутинному течению жизни. Но он лишь полагал, а Павел Кирша осмелился выказать противоборство. Что за этим крылось, было неважно. Сознание горчило от мысли, что его, Шпунтова, блестящего любимца дам, пользующегося уважением стариков и молодежи, кто-то небрежно обогнал в сумасшедшей житейской гонке. Пусть не кто-то, пусть Павел Кирша, личность, конечно, незаурядная. Это не меняло дела. Кирша бросил все: дом, хорошую работу, красивую женщину, обрезал, не задумываясь, все концы и отправился туда, где человека ждут не почести и достаток, а приключения и воля. А он, Шпунтов, кому назначение было высокое, остался прозябать и барахтаться в тине давно приевшихся утех. Как такое перенести? Сошел ли Кирша с ума, ослепила ли его мечта о лучшей, неведомой доле, но он решился, а Шпунтов — нет. С той минуты, как он понял этот неумолимый расклад, душа его не ведала покоя.

Дня через три после отъезда Кирши он позвонил к нему домой и, отчего-то робея, пригласил Вильямину в ресторан. Она спросила: «Зачем мы пойдем в ресторан?» Шпунтов не мог ей честно объяснить, что надеется вызнать, что же такое есть в Пашуте, давшее ему удаль и напор, чего нет в нем, Шпунтове, и потому ответил иронически: «Зачем в ресторан? Посидим, поохаем».

Вильямина согласилась поохать, и тот вечер Владик запомнит надолго. Тогда у него получилась вторая осечка в жизни. В ресторане после двух рюмок и закуски Шпунтов малость пригляделся к Вильямине прицельным взглядом — и у него сомнений не осталось: своя в доску деваха, вполне контактная. При этом в обиде на Пашуту. Женщине в таком состоянии достаточно словцо ловкое ввернуть, чтобы подтолкнуть ее на сумасбродство. Это он просто так в уме зафиксировал, для галочки, поначалу у него и в мыслях не было охмурять беспризорную Вильямину. Он наблюдал, как она ела и пила, много и с аппетитом, и уже гадал, чем могла привадить Пашуту именно такая женщина, незатейливая и нечванливая. Пашуту, гордеца и выпендрежника, который под маской простачка, наверное, скрывал непомерные требования к женщинам.

— Какой бес все же вселился в твоего Киршу? — осторожно спросил тогда Шпунтов, переждав, пока Вильямина капельку захмелеет. — Куда он понесся? Да еще от такой женщины?

У Вильямины ответ был заранее готов.

— За длинным рублем погнался,— заметила добродушно. — Я его не осуждаю. Только он не понимает, всех денег не заработаешь. И счастья за деньги не купишь.

Шпунтов ни на секунду не поверил в оголтелое корыстолюбие Кирши, гнул свою линию, подзадоривая девушку.

— Неблагодарная он свинья, твой Пашенька. Я в нем даже разочаровался. Взрослый вроде человек, а ведет себя как мальчишка. Знаешь, всегда лучше там, где нас нету. Не люблю таких людей, которые рыскают. Ошиблась ты в своем выборе, Вилечка. Ну, да это дело поправимое.

Тут он послал ей многозначительный, туманный взгляд, тоже более в силу привычки, чем по наитию. Вильямина на приманку не клюнула, а будто насторожилась.

— Напрасно вы так говорите, Владислав. Вы Пашу плохо знаете, раз так говорите.

— Говорю как думаю. Ты же сама сказала — за длинным рублем погнался Кирша.

Вильямина была женщиной, и логика ей была чужда.

— Вы думаете, он жадный? Да у него если копейка лишняя заведется, он места себе не находит, пока не истратит. А длинный рубль — это так, для видимости.

Вильямина надулась, отвела глаза. Но Шпунтов продолжал настаивать и дождался нового объяснения, такого, что хоть стой, хоть падай.

— Боялся, что я его разлюблю,— мечтательно призналась Вильямина, и на смуглом ее лице отразилось сложное борение страстей. Будто ее за ногу щиплют, а она терпит. — Да, да, вы так не смотрите, Владислав. Это надо понять. У Паши склад ума особенный. Он не ревнивый, как все, а все-таки сравнивает. Я, сама видите, женщина привлекательная. — Вильямина первый раз пококетничала, наспех стрельнула бедовыми очами. — За мной ухаживают. А Паша об своей внешности мнения невысокого. Страдал из-за этого, переживал. Все думал, как меня покрепче к себе привязать. Решил, что вернее всего богатством. Вот и укатил на заработки... Только зря он это затеял. Я Пашу бескорыстно любила.

Шпунтов намерился ввернуть подходящий к случаю анекдотец, но вовремя сдержался. Женщина изложила эту чушь вполне серьезно, словно свято веря в каждое слово. Шпунтов и подумал, что лучше бы потолковать с ней в интимной обстановке, а не в казенном приюте, где собираются полудохлые любители шикарной жизни. Дальше он действовал строго обдуманно. Азартно, с красивыми тостами подпаивал ее коньяком, потом пригласил танцевать. Прижимал к себе без наглинки, но достаточно властно, и она не противилась, посмеивалась вкрадчивым смехом. Короче, дозревала в обычном темпе. Слова могут обмануть, но руки, движения — никогда. Как у них все будет, он предвидел наперед, с некоторой даже скукой. Он пригласит ее к себе на чашечку кофе, но извинится, дома, мол, родители. В ответ на любезность она, естественно, позовет его к себе. Надо не забыть прихватить вина из ресторана. Хотя Шпунтов предпочитал любовные забавы на трезвую голову, иное считал плебейством, но для первого раза бокалы на столе могут создать соответствующий настрой. В подъезде он ее непременно невзначай поцелует, при этом пошутит: «Извини, Вилечка, не понимаю, что на меня нашло. Какие-то от тебя токи идут!» В Пашутиной обители сразу удалится в ванную, сославшись на то, что в ресторане была жарища и он вспотел. Спокойно разденется, не запирая дверь, примет душ. Потом накинет на себя что-нибудь легкое, лучше всего ее собственный халатик, женщины обыкновенно вешают его в ванной, и вернется в комнату. Вильямина для видимости удивится, а он объяснит, что неловко оступился в ванной и намочил брюки, пусть немного подсохнут. Почему-то чаще всего упоминание о мокрых брюках вызывало у его подружек радостный истерический смешок. Они выпьют по бокалу вина... Потом он привлечет ее к себе... Конечно, могут быть вариации, но незначительные. С такими, как Вильямина, достаточно искушенными и все же простодушными женщинами подобные приемы действуют безотказно. Они не решаются обидеть мужчину отказом, если он не хамит.

Вариаций и не предвиделось до самого решающего момента. Поцелуй в подъезде в качестве предварительной психологической настройки сошел гладко, более того, она на него с готовностью ответила; и халатик в ванной нашелся подходящий, розовый, в цветочках, в нем Шпунтов таким предстал херувимом, что сам себе позавидовал; и посмеялись они дружно шутке о подмоченных штанах, а дальше началась фантасмагория. Вильямина продолжала смеяться одна, упала в кресло и оттуда как-то оскорбительно тыкала в него пальцем. Наконец сказала зло:

— Как же ты подумал обо мне, Владик, боже мой! Неужели я Пашу променяю на такого шута горохового,— и добавила уж совсем как бы в забытьи: — А вот что, цветочек ты мой лазоревый, убирайся-ка ты вон!

Шпунтов посмотрел на свои волосатые клешни, торчащие выше колен из короткого, нелепого халатика, и стало у него так мерзко на душе, как никогда не было. Не слова его задели — что слова? — а какая-то неподдельная брезгливость в ее голосе. Молча он шагнул к ней, намереваясь то ли силком восторжествовать, то ли уж размозжить ей голову, но Вильямина, опередив его, метнулась к серванту, ухватила с полки увесистый бронзовый подсвечник.

— Не рискуй, парень! Ох, не рискуй...

Он рисковать не стал. В ванной с трудом попадал в штанины, натягивал рубашку, рвя ворот. Из квартиры вымахнул, как медведь вывалился из чужой берлоги. Единственно, о чем жалел в ту минуту, что бутылку оставил на столе. Как бы она ему сейчас пригодилась. Из горлышка бы ее, родимую, вогнать в желудок клокочущей струей — и все забыть.

Он не понимал, как дальше жить. Привыкший более к действию, чем к размышлению, мучительно тяготился движением обидных, сосущих сердце мыслей. Все враз ему опостылело: работа, женщины, хохмы с друзьями, развлечения — ни в чем не находил он прежней отрады. Течение дней застлало серой мутью, в которой он передвигался почти на ощупь. И было удивительно сознавать, что его долгое и радостное существование, как по мановению волшебной палочки, потеряло остроту и прелесть. Словно все яблоки, вчера еще сочные, оказались червивыми, и все цветы насытили воздух дурным запахом тления.

Помаявшись несколько дней без цели и смысла, он сообразил, что как это ни унизительно, надо обязательно позвонить Вильямине и попытаться клин вышибить клином.

Он позвонил, поздоровался, она ответила приветливо, точно ничего между ними не случилось, а Шпунтов до того вдруг растерялся, что впал в абсолютную немоту, мгновенно забыв, зачем он, собственно, Вильямину побеспокоил. Слава богу, она сама долго тараторила про какую-то соседку, которую дети из дома выживают, та только что приходила и плакалась, а чем ей можно помочь, разве советом, да и какой совет дашь, если дети выросли неблагодарными свиньями и попрекают куском хлеба. Шпунтов собрался с духом, пока она трещала. Даже рискнул сострить:

— Детей надо топить, пока слепые,— сказал с мрачной уверенностью. Тогда уж Вильямина надолго замолчала. Не складывался у них душевный разговор. Но все равно Шпунтову полегчало оттого, что женщина не отринула его.

— Нельзя так о детях говорить, Владик,— заметила наставительно Вильямина. — Есть вещи, над которыми смеяться грех.

— Добренькой хочешь быть? — Шпунтов не сдержал злости. — Чего же ты меня выгнала на мороз?

Вильямина хихикнула в трубку. Смех у нее был грубый, как наждак.

— Тоже мне детеныш! Нечего лапы распускать. Я думала, ты Пашин друг, а ты!

— Я и есть его друг.

Тут она ему объяснила, как неприлично пользоваться доверием женщины. Это даже гнусно. Она, дескать, представить себе не могла, что у Паши могут быть неинтеллигентные друзья. Несла такой вздор, что Шпунтов потерял терпение.

— Не строй из себя девочку, Виля. Ты все прекрасно понимала. Зачем же ты со мной целовалась в подъезде?

Вильямина искренне возмутилась:

— Да ты что, Владислав? Это дружеский поцелуй. Разве можно так истолковывать! Ну ты даешь, ей-богу! С тобой не соскучишься.

Он никак не мог понять, издевается она над ним или в ее голове все действительно перепутано. Вообще-то он не удивился. Он знал, как женщины умеют все переиначивать, лишь бы выйти сухими из воды. Но тут особый случай. Эта странная женщина, подружка Кирши, вдруг обрела над ним непонятную власть.

— Надо нам повидаться,— хмуро предложил он неожиданно для самого себя. — Чего по телефону болтать? Давай встретимся и во всем разберемся.

— А в чем нам разбираться, Владик? Если ты на что-то надеешься, то напрасно. Я Паше буду верна.

«Фу, черт! — Шпунтов про себя выругался с непривычной страстью. — Как ее заклинило!»

— У меня баб и без тебя хватает,— успокоил он Вильямину. — Неужели нельзя просто по-человечески поговорить?

— Ты уж доказал, как умеешь по-человечески. И почему все мужики одинаковые? Всем только одно требуется.

Еще три дня назад Шпунтов нашел бы что ответить. Он-то, напротив, считал, что женщины все одинаковые. Все они куклы с убогим умишком, и надо только понимать, как и за какую веревочку их дергать, чтобы они плясали под твою музыку. Шпунтов с удовольствием развил бы эту мысль на наглядных примерах, но теперь приходилось сдерживаться... Все же он уговорил ее встретиться, дав клятву, что ничего лишнего себе не позволит. Это было забавно, но Шпунтов не смеялся, он чувствовал себя идиотом.

Они сходили в кино, потом еще раз и еще, а однажды в воскресенье забрели на какую-то выставку, где Шпунтов чуть не околел от скуки. Между ними установились удивительные отношения. Вильямина, не жалея сил, его наставляла, учила уму-разуму, а он, мрачный, поддакивал, но втайне ждал своего часа. Она вела себя с ним, как с трудным подростком, которого ей отдали на перевоспитание. В конце концов он стал получать от ее нотаций какое-то противоестественное удовольствие. Ей уже ничего не стоило, если они заходили куда-нибудь перекусить, проверить, чистые ли у него руки, спросить, когда он мыл их в последний раз. Или попенять на то, что у него нет проездного билета и приходится в толчее рыскать по карманам в поисках пятака. Громко, на весь автобус внушала ему, что экономить на проездном билете могут только мужчины из-за своей жадности и умственной недоразвитости. Будучи в хорошем настроении, как-то пообещала познакомить его со своей подругой, которая обладала, по ее словам, отменными достоинствами и могла бы стать Шпунтову хорошей женой. Однако с сомнением оглядев его с ног до головы, заметила, что, пожалуй, знакомить его с подругой пока рановато.

Оставаясь один, Шпунтов желчно клял себя. Душа его жаждала возмездия. Но он чувствовал, вторая неудачная попытка превратится в окончательное его поражение. Когда он в телефонной трубке слышал ее глуховатый, низкий голос, по спине пробегал озноб, как от соприкосновения с электрическим проводом. По ночам его мучили кошмары, чего раньше с ним не случалось, и самый ужасный был такой. Он идет по цеху, почему-то в кальсонах и в женском халате, и слышит оглушительное ржание. Лиц не видит, но все тычут в него пальцами и ревут:

«Шпунтов, Шпунтов!» Он мечется, пытается забиться в угол, уползти под станок, но всюду нарывается на это зловещее, выворачивающее печень: «Шпунтов, Шпунтов!» Ноги его слабеют, подкашиваются, сердце обмирает.

Он обрадовался, когда Вильямина позвала его ехать вместе к Пашуте. Какой-никакой, это был выход. От Вилькиной затеи за версту отдавало истерикой, но Шпунтова это уже не трогало. Она позвонила ему на работу, вызвала к проходной и долго, возбужденно размахивала перед его носом Пашутиным письмом, хотя он сразу, как только уловил суть дела, согласился ехать. Ничто его в Москве не удерживало. Вдобавок у него оставалась неделя отгулов за прошлый год.

Вильямина заявила трагически:

— Вот теперь мы узнаем, какой ты Паше друг. Друзья познаются в беде.

— Какая же у него беда? — уныло спросил Шпунтов, оглянувшись на стены родного завода.

— Самая вопиющая. Не дай бог с тобой такая приключится... Захомутала его какая-то штучка, ядом напоила.

— Как захомутала? Женила, что ли?

— Несмышленый ты еще, Владик. Видно, не нарывался. Знаешь, такая молоденькая ведьмочка что делает с мужиком? Она его первонаперво разума лишает. Ласками да ублажением так выкручивает, он все уже через ее указку видит. Она из него, ведьмочка, любую фигуру, как из воска, выдавливает, а он только поеживается.

Шпунтов поразился чудовищной правде, которую от нее услышал. Именно тому, что, оказывается, женщины разума лишают. Дана им такая власть. Прежде он посмеивался над мужиками, которые под жениным каблуком, как суслики, попискивают да еще этим вроде гордятся, вообще таких не признавал за людей, теперь бы поостерегся осуждать.

— Ты что же, знаешь ее, про кого говоришь?

— Чего ж не знать, сама такая была. Пока Пашу не встретила. Он меня укротил. А ее, видно, не смог... На каждую бочку есть своя затычка. Это уж как водится.

В ее очарованных глазах плескалось море тоски, и Шпунтов в нем чуть не утонул, так ее вдруг жалко стало. Строит из себя всеведущую, пыжится из последних сил, а кто она в сущности есть — бездомная собачонка? И кто ее такой сделал? Павел Кирша. И за кем она тянется? За Павлом Киршей. Все это было знакомо Шпунтову, покорителю сердец, но никогда он не переживал женскую уязвленность, выставленную напоказ, точно товар в витрине, как собственную обиду и боль. Впервые осознал, что еще непонятно, кто за кем охотится: он за Вилькой, она ли за Павлом, или кто-то третий, неведомый очевидец и насмешник, производит над их троицей мудреный загадочный опыт.

— Пойду оформляться,— сказал он. — Завтра можем и ехать. Спасем Киршу от ведьмочки.

Еще горше стало бы Шпунтову, знай он хоть отчасти Вилькину прежнюю жизнь. Отгуляла она на белом свете тридцать четыре года, а счастья видела с гулькин нос. Только и радости было, что замужество за Гриней Толкуновым, совершенно никчемным человеком. Правда, впоследствии выяснилось, какой он человек, а в ту пору, когда она за него выходила, представлялся он ей чуть ли не богом. Работала Вильямина официанткой во второсортном кафетерии, а он служил метрдотелем в одном из самых шикарных московских ресторанов. Для халдея это пик карьеры. Ох, как хорош он был в форменном сюртучке, высокий, подтянутый, корректный. Улыбка как у голливудской звезды. Глаза лазурные, неотразимые. Весь — обаяние и напор. Каждое слово на вес золота. И образованный. Стихи на память читал, под Высоцкого пел так, что мурашки по коже. По-английски шпарил без запинки — положение обязывало.

Познакомились они на совещании передовиков сферы обслуживания. Но что она против него — мелкая пташка супротив орла. Не моги всерьез мечтать! У него таких под рукой, как у хорошего рыбака поплавков. Выбирай любую. Когда он первый раз ее к себе домой привел — обалдела: прямо дом-музей. От книг на полках до видеомагнитофона. Она к тому времени уже не бедовала, какие-то крохи имела со своего кафе, но куда ей до него? Тогда торговый народец не шебуршили, как нынче, в хвост и в гриву, а люди, сподобившиеся этой розничной и оптовой благодати, жили на широкую ногу открыто. Избранниками судьбы себя чувствовали. На всех остальных, на эту шушеру с зарплатой, смотрели как на скопище недоумков. Гриня Толкунов, имевший за плечами три курса иняза, быстренько начал Вильямину приобщать к философии для избранных.

— Самое главное в жизни, запомни, девочка, уровень обитания. На какой уровень человек поднялся, того он и стоит. Чтобы занять в обществе подобающее место, одного ума мало, нужны качества.

Вильямина каждой жилочкой впитывала слова любимого. Дух захватывало его слушать. Современное общество, поучал он, устроено так, что только обладание деньгами, крупными деньгами, дает индивидууму возможность подняться над серой массой. Свобода есть способность к волевому диктату, как полагал он, Гриня Толкунов, и некоторые другие, умеющие мыслить самостоятельно, без оглядок на омертвевшие нравственные постулаты.

Слушая своего кумира, бедная Вилька впадала в горячечное состояние, которое даже трудно было назвать любовью. Красноречивый метрдотель действовал на нее, как сильный наркотик. Его щедрость, его дерзкая любезность, его пылкие руки, безрассудный взгляд прелестных глаз, его презрительно-аристократические манеры — все погружало ее в сладостный трепет, лишало собственной воли. Она так и не смогла понять, почему он женился на ней, обыкновенной бабе, а не держал при себе, коли уж случился такой каприз, в качестве служанки, рабы, комнатной собачонки.

И чем все обернулось? Когда торговых людишек взялись шерстить, когда оказалось, что лихое избранничество легко укладывается в статьи уголовного кодекса, Гриня Толкунов, ее судьба и проклятие, малодушно задергался и заметался, как обыкновенный мелкий пакостник, которому прищемили хвост. К тому времени Вильямина, давно переведенная им в ресторан, взирала на мужа уже не прежними, замутненными обожанием глазами, в ее взгляде все чаще появлялось недоумение. И это понятно. Неподражаем был Гриня в блеске своего ресторанного могущества, когда восседал за столом в углу зала — благодушный, сосредоточенный, всевидящий, похожий на капитана океанского теплохода. Но совсем иным предстал в семейном быту — вздорным, крикливым, большей частью нетрезвым. Одно дело — философия, другое — жизнь. В своих рассуждениях Гриня выглядел сверхчеловеком, а в обиходе оказался кухонным узурпатором, чванливым и мелочным. Вдобавок скорым на оплеухи и ревнивым.

У Вильямины хватило ума, чтобы не разочароваться в любимом из-за этого вопиющего противоречия, но все же с ослепительного пьедестала, на который вознесло его девичье воображение, он как-то быстро и уныло соскользнул. А тут еще подвалили неприятности, от которых заколдобило весь ресторанный мир. Вскоре выяснилось, что божественный Гриня Толкунов не по-мужски жидок на расправу. Еще над ним и гром не грянул, еще только слухи поползли, правда, один кошмарнее другого, а он уже ходил осунувшийся и мокрый, как после проливного дождя. Вильямина утешала его как могла, говорила, что плевать в конце концов даже на конфискацию, пожили и хватит, надо другим дать пожить, кто еще не нахапал вдоволь; но ее логичные умозаключения лишь доводили мужа до состояния буйного помрачения

рассудка. Однажды, по-бычьи заревев, он расколотил о стену фарфоровую вазу, а целил прямехонько Вильямине в голову.

Наконец докатилась беда и до них. Явились как-то утром в ресторан два невзрачных человека в штатском, расположились в кабинете директора и начали кропотливую и дотошную проверку документации. Тихо стало в их заведении, как во время чумы. Оркестрик наяривал вполсилы, все сбиваясь на какие-то допотопные вальсы. Печальные официанты сновали меж столиков с таким видом, будто угощали клиентов поминальным ужином. Шепотом передавали друг другу жуткие подробности: застрелился директор такого-то магазина, один из влиятельных людей в городе, столько-то золота вырыли на даче у другого, еще более уважаемого человека.

В разгар светопреставления Гриня Толкунов обратился к жене с деликатной просьбой. Он попросил ее взять на себя некоторые грехи их добычливого производства, уверяя, что ей, человеку в ресторане сравнительно новому, много не накладут на суде, зато семья будет спасена от разорения и позора. Он уговаривал так жалобно, со слезами, с уморительными ужимками, так покорно и укоризненно заглядывал в глаза, что долго она сопротивляться не смогла. Он сказал: «Ну, убей меня своими руками, любимая!» — и Вильямина поняла, что ей легче умереть, чем видеть этого человека раздавленным и опустошенным. Может быть, то была единственная минута, когда она любила Гриню по-настоящему, всей силой неистраченной женской души. Да и что такое для женщины будущее?

Она легко подписала какие-то бумаги, не заглянув в них. Через два месяца был суд, который определил ей четыре года тюрьмы. Все это время она пребывала в странном оцепенении и происходящее воспринимала сквозь призму влюбленного благодарного Гриниого взгляда. Через два с небольшим года ее досрочно освободили за примерный труд и поведение.

Она вернулась домой. Что она собиралась сказать мужу и как планировала дальнейшую жизнь, останется ее тайной. Гриня был не один, по квартире шастала полуголая девица из тех, которым она знала цену еще до пребывания в отдаленных местах. Гриня Толкунов, несмотря на присутствие посторонней девицы, встретил ее ласково и попытался сразу же уложить в постель. Он решил, что это ей больше всего сейчас требуется. Вильямина сказала брезгливо:

— Не мельтеши, Григорий Петрович. С тебя причитается пять тысяч. Гони на бочку — и я ухожу.

— Какие пять тысяч? Ты что городишь, Вилька?.. — попытался он возражать, но наткнулся на нездешний блеск ее глаз — и осекся. Через полчаса он принес деньги. Пока его не было, Вильямина боролась с желанием потолковать, как научилась в лагере, со своей заместительницей, укрывшейся в ванной, но удержалась, не унизила себя. Взяв деньги, ушла, не сказав более мужу ни слова...

Когда они со Шпунтовым остались одни в избе и малость огляделись, Вильямина объяснила ему положение дел:

— Вот что, Владислав, послушай, это очень важно. Я тебе не хотела говорить, но у меня тяжелое прошлое. Я только для одного человека мягкая и покладистая — для него, Паши. А для всех остальных... Не дай тебе бог меня обидеть, Владислав...

— Ты про что?

—Мне надо сначала разобраться с Пашей. Ты хороший парень, я тебя не отвергаю, но сначала хочу во всем с ним убедиться...

Дико звучала ее речь для Шпунтова — как она все раскладывала по полочкам, какие казенные слова подобрала. Шпунтов кивнул и отвернулся, обида жгла его невыносимо.

Вильямина продолжала как ни в чем не бывало:

— Ты мне поможешь, Владик? Пашенька думает,— голос ее дрогнул,— я ему досаждать приехала. Нет, ошибается. Я не за этим приехала. Пусть ему будет хорошо. Но Паша доверчивый. Его окрутить легко. Он с виду грозный, а душа у него мягонькая, теплая... Никто его не знает, как я. Думаешь, он меня разлюбил?.. Только правду скажи.

Шпунтов уселся на табурет, задымил сигаретой. Сказал, жалея ее:

— Он тебя вообще никогда не любил, Вилечка.

4

Старик Тихон забрел в избу к Пашуте. Ему понравилось, что новые поселенцы дверей не запирают. Потолкался на кухне, поворчал в усы: беспорядок в доме много ему рассказал о девушке, об этой городской стрекозе, у которой язык как помело. Все-таки чем-то она Тихону поглянулась, какое-то понятие в. ней было. И озорство, конечно, в избытке, но это преходяще. Жизнь выколачивает из женщин озорство, как пыль из тюфяка, и приучает к осмотрительности. Не попадала в твердые руки, вот и бесится. Обтешется — справная баба получится. Есть в ней уважение к мужику. Чем девка на поверхности настырнее, тем, значит, впоследствии будет уступчивее. Этот Павел покамест пылинки с нее сдувает, опасается, что сбежит, молода она для него и собой пригожа, но дай срок, согнет бедовую в бараний рог. У старика глаз прицельный, его не обманешь.

— Эй! — позвал Тихон. — Есть кто живой?

Никто не отозвался, и он потопал дальше. Он чувствовал, что в доме кто-то есть, но боялся попасть в неловкое положение. Хотел уже убраться тишком, как и вошел, но старческое любопытство и жажда общения пересилили. Покряхтывая, чтобы дать о себе сигнал, доковылял до второй комнаты и, помедлив, отворил дверь. То, что увидел, не так чтобы его сильно поразило, но все же обескуражило. Девица стояла посреди комнаты на голове, и глаза у нее были закрыты, точно она в таком виде сумела помереть. Хорошо хоть была в шароварах, а то бы вообще срам. Босая, растелешенная.

— И чего же это с тобой происходит? — спросил старик осторожно. — Ты слышишь меня ай нет?

Варя издала некий звук, похожий на шипение, но глаз не отворила.

— Что же это деется? — Тихон неловко притулился у стены. — Как люди себя уродуют от безделья... В страшном сне не привидится.

— Это йога, дедушка. Упражнения такие для здоровья.

— Чем же ты больная?

— Да здоровая я. Ой, вы меня уморите!.. Как вы, дедушка, ловко появились без стука. Ой, не могу! Ну, признавайтесь, большой вы были ходок, да? А если бы Паша нас застукал?

То, что она говорила, Тихону не нравилось, но голос ее был беззлобен и глаза блестели юным задором. Он на всякий случай нахмурился.

— Ты, девонька, шутки со мной оставь. А то ведь я...

— Да садитесь же, садитесь,— чуть не силой подвела его к кровати, пихнула. — Так вам удобно?.. Дедушка, какие шутки! Мне ли шутить. У меня такое горе.

— Какое же это горе? Которое было или новое?

Варя опустилась рядышком, лицо ее переменилось, печалью заволоклось. Тихон уж жалел, что занесла его сюда нелегкая. Бог ее поймет, что у ней на уме. Такая стрекоза любую каверзу может состроить.

— Новое горе, дедушка, совсем новое. Окаянный мой жених, Павел Данилович, ведь чего придумал? Выписал себе другую жену из Москвы. А со мной как теперь? Я из дома не выхожу, ворохнуться боюсь.

— Какая жена? Это что вчерась с парнем приехала женщина? Видал я их. Так рази она ему жена?

— И тому, и другому жена, в том-то и вопрос. Я думала ночью до станции добежать, да у меня денег на билет нету. Вот вляпалась, да?

Тихон солидно прокашлялся. Он как в капкане оказался. Встать не мог, проклятущая озорница своими коленками ему дорогу загораживала. Вот он грех, рядом.

— Ты если надо мной куражишься, Варвара,— имя как-то враз вспомнил,— то бог тебе судья. А коли вправду катавасия вышла, то, может, и дам тебе хороший совет благодаря опыту жизни. От моих советов вреда никому не было пока.

Варя пригорюнилась, щечку ладошкой подперла.

— Вряд ли вы мне поможете, дедушка. Вы добрый, я вижу, но не поможете. Я и сама не знаю, чего хочу. Раньше знала, а теперь нет. По течению плыву, берегов нигде не видно. Да ладно, выкарабкаюсь. Я девка шальная, битая. Не в таких переплетах бывала. Подумаешь, плеснет в меня серной кислотой, буду уродкой. Может, и к лучшему? Перестану хвостом вертеть.

— Разумно рассуждаешь, дочка. Но лучше все же добром поладить.

— Добром — значит, Пашу ей отдать? Ну уж нет... Почему так бывает, дедушка?

— Как, то есть?

— Видишь, что пустое, а в груди так сосет, как к грозе. Я раньше не плакала, а теперь все время плакать хочется. Я бы его убила. Да и кто он? Перекати-поле. Ни кола, ни двора. Вот будет славная парочка... Нет, несерьезно все это. Вы лучше расскажите, как к вам привидения ходят?

— Никаких привидений отродясь не видел,— обиделся Тихон, на окошко покосился.— Люди разные, бывает, захаживают. Обыкновенные люди, но из давних времен. Дак это не диво. Я полагаю, они ко многим наведываются, да не всем внятны.

— А ко мне почему не ходят?

— Ты пожила мало. Все твои интересы одним днем мерены. Тебе бы поскорее замуж выйти да ребенков нарожать.

— Вот и Паша то же самое советует... А у вас есть дети, дедушка?

— Как не быть. У меня детей много. Без детей скука, а с ними еще хуже. Поди теперь узнай, куда подевались. Некоторые в городе, а другие в загранплавании. У меня их восьмеро, а может, поболе.

— Вы что же, точно не помните?

— Почему не помню? Помню, да в счете путаюсь. Начну в памяти собирать — и все разное число выходит. Я уж отказался от точной цифры. Сколь есть, все мои. Помру, под забором не бросят. Найдется, кому в землю зарыть.

Тихон насупился, вспомнив о детях утерянных, задышал тяжело. Это было его больное место. Особенно донимали попреки местных старух. Сами торчат из земли, как колышки в степи, а все норовят разбередить, все пристают: где же твои соколики, Тихон, почему тебя оставили, почему к себе не заберут? Не хотел он, чтобы его куда-то забирали, здесь деды-прадеды лежат неподалеку, здесь бабку схоронил, где еще ему собственного сроку дожидаться? Но накатывала злая горечь, когда разглядывал по вечерам под лампочкой потускневшие фотографии, любовался родными лицами, а так и не мог додумать, в какую сторону кого разметало. Не на детей серчал, на худую память свою, оставившую взамен радостных дней серые пятна тоски. Не дети ушли, жизнь по каплям сочилась из жил, как вода из открытых кранов, и все меньше ее оставалось.

Варя, проникшись его печалью, почувствовала вдруг себя виноватой. Так ей захотелось что-нибудь хорошее сказать мрачному старику, кажется, немного уже спятившему. Или правда у нее совести нету? Па-

шута вон тоже исстрадался, а ей все хаханьки. Пашута добрый, неугомонный хлопотун. А ведь она не врет старику. Что-то такое в душе прорастало, чего там прежде и в помине не было. Не радость, но предчувствие каких-то важных перемен. Она вспомнила, как Павел Данилович рассказал ей о приезде Вильямины, своей пассии московской. Точно побитый пес стоял перед ней, смешной, жалкий, и страшно поразился, услышав ее ехидный смех.

—Что ж ты, Пашенька, турок, что ли, и две жены тебе по закону положено? Ты уж выбирай — она или я.

Сел на табурет, будто упал, будто ноги не удержали, сказал безвольно:

— Зачем больно мне делаешь, Варя? Я не враг тебе.

Тут ее и достало, что-то хрупнуло в груди. Он у нее пощады просил, боже ты мой! Он, мужик двужильный, у нее, шалавы, жадными руками на многих постелях распятой. Он милостыни просил, не победы. Ей на приехавшую дамочку начхать с высокой горки, хотя штучка эта, судя по всему, опасная. Варя разглядела ее из окна, когда та приходила с кудрявым парнем. Павел их в дом не пустил, увел. Крепенькая дамочка, и походка у нее мужицкая, разлапистая, такая врежет, костей не соберешь. В последнее время московские девицы здорово драться научились, получше иных парней. Но все равно — начхать.

— Дедушка, давайте вам покажу, чего я нарисовала. Мне государственный заказ дали. И денежек пообещали за это. Вот, вот, смотрите.

Протянула ему несколько листков с карандашными набросками, он начал близоруко вглядываться, ничего не понимая. Но один рисунок все-таки разглядел, и он ему понравился. Там была изображена река с быстрым течением, посреди потока стоял богатырь свирепого вида и перегораживал реку огромным ботинком. Рукой богатырь опирался о скалу, торчащую из воды, как поплавок. По небу вроде радуги распласталась надпись: «Даешь мелиорацию — заслон от засухи и стихийных бедствий!» Второй ботинок меньшего размера отнесло течением к берегу, откуда в него приноравливались скакнуть две пучеглазые лягушки. Лицо у богатыря было хотя и свирепое, но одновременно и задумчивое. Видно, несподручно ему было стоять посреди реки в одном ботинке, и он собирался с мыслями, как дальше быть.

— Сарж,— веско определил Тихон.— Чего ж это его, страдальца, так раскорячило? Спьяну, похоже? За эту картину тебя, я полагаю, не похвалят.

— Ничего вы не понимаете, дедушка. Это же символика. Человек побеждает стихию... Если Хабиле не понравится, плакали мои денежки. Неужели опять переделывать?

— А ты откуда знаешь Хабилу?

— Петр Петрович мой покровитель,— гордо объяснила Варя.— Он в меня сразу влюбился... Но на большом холсте да в красках это по-другому будет выглядеть. Я еще солнышко прилеплю. И лягушек могу убрать.

— Ну что тебе посоветовать, девонька. Я, конечно, в художествах не разбираюсь... Однако ежели тебе начальник доверился, ты должна ему полное сходство придать. То есть во всем потрафить. Хабило — он какой? Маленький, крепенький, как из чугуна литый. И усики у него. А этот больше на бывшего председателя смахивает. Тот тоже лез во все дыры, норовил себя обчеству противопоставить. Его и нагрели на пять годков. И Хабилу твоего когда-никогда турнут с поста. Но пока он при регалиях, ты с ним не шути. Они этого не признают. Ему главное, чтобы сурьез был и видимость безграничной думы. Я тебе как подскажу. Посодь его в кресло на бережок, и пусть он оттеда взирает. А в отдалении нарисуй лимузин. Без лимузина ему невозможно быть.

— Дедушка! — Варя всплеснула руками.— А ведь вы абсолютно правы. Как я не додумалась. Именно надо портрет сделать Петра Пет-

ровича. Это верняк. Пусть тогда попробует критиковать... Эх, по памяти я плохо рисую. А что, если попросить его позировать?

— Чего это?

Варя не ответила, зашустрила карандашом по бумаге. Путь у Тихона был свободен, но он не уходил, с любопытством наблюдал, как скачет карандаш в умелых пальцах. Это ему было в диковину.

— Учили тебя, значит, девонька, этому занятию? Ишь ты! Ко всякому делу человека приохотить можно... Но ты все же от этого бугая держись подале, Варвара. Его век недолог. Погарцует малость и растает без следа... Ты ему не доверяй, он сам за себя не ответчик. Твой Павел понадежней будет.

— Вы о чем, дедушка? — Варя прикидывала композицию, что-то у нее сразу заело.

— О том самом. Уж полтретик ему сделай, угоди, но на всякие иные предложения не соглашайся. Расплатиться ему с тобой нечем будет. У него все казенное. И душа казенная. Такой человек для жизни не годится. Сам чужим харчом кормится. Я тебе верно говорю, ты пойми. У тебя сердце легкое, он тебе его враз затуманит.

— За кого вы меня принимаете? — Варя послала ему ослепительную улыбку, вовсе, может, не ему предназначенную. —Я только с виду простушка, а так-то дотошная девица.

— Это вполне может быть.

Мирную беседу нарушил Пашута. Вошел хмурый, настороженный. Спросил:

— Не помешал? Вы что тут делаете?

Варя спрятала рисунки, покидала их в папку. Пашуте она свою работу не показывала. И это его умиляло. Многое в ней умиляло. Но вел он себя сдержанно. Теперь самый пустяковый разговор с ней давался ему с трудом. Он думал, если дальше так пойдет, то скоро ему крышка. Сейчас он вернулся от молодоженов, как он в шутку и неосторожно назвал Вильямину и Шпунтова. Вильямина его резко оборвала, посоветовав не дразнить ее попусту, ведь она не обзывает его, к примеру, предателем. От ее заносчивого тона Пашута съежился. Он начинал ее побаиваться, хотя тяжело было в этом признаваться.

Шпунтов вышел его проводить и покурить на крылечке. Вильямина запретила ему дымить в избе. Вообще Пашута не узнавал приятеля. От прежнего самоуверенного красавца ничего не осталось. Какой-то это был затюканный, робкий человек средних лет. Вдруг он начал просить у Пашуты прощения неизвестно за что, при этом не глядя в глаза, и все пытался стряхнуть с рукава несуществующую пыль.

— Ты не думай, Павел Данилыч, это все пустое. Я над ней не властен. Она меня в бараний рог согнула. Видишь, курить из дома выгоняет. У меня перед тобой вины нету. Прости, если можешь.

— За что прощать, если вины нету?

Шпунтов глянул остолбенело:

— Не смейся, Павел Данилыч. Я сейчас как лист на ветру. Удивляюсь, как ты с пей жил. Она ж деревянная. В ней сердца нет.

Пашута кое-что смекнул.

— Она не деревянная, живая. Ты бы увез ее, Владик, обратно в столицу. Там тебе легче ее угомонить. Увези ее, пожалуйста! Большое одолжение сделаешь.

Шпунтов в очередной раз отряхнул рукав и дернулся набок, точно его молния пронзила:

— Что ты говоришь, Павел — увези! Меня бы кто увез. Да она разве послушает?.. А ты сам ей скажи. Слабо? То-то и оно... Эта женщина кого хочешь переупрямит. У меня, веришь, руки-ноги при ней трясутся.

— У тебя они и без нее чего-то трясутся. Ты не заболел ли часом, Владислав? Может, горькую запил?

— Ты же знаешь, я непьющий. Я по другому делу. То есть раньше был по другому. Пока она меня в оборот не взяла.

У Пашуты отлегло от сердца. Со Шпунтовым случилась та же история, что и с ним. Они братья по несчастью. Он попытался утешить Шпунтова:

— Вы друг другу подходите, ты не тушуйся. Она немного подурит, а потом опомнится... Слушай, Владик! Вы, пожалуй, оставайтесь. У нас со Спиридоном планы большие на лето. Ты пригодишься. Мы здесь сельхозкоммуну отгрохаем. Чем тебя Москва держит? Здесь — воля. Время на нас работает. Скоро многие из городов побегут. А мы первые. Хлебушек станем растить, к исконной жизни повернем.

— Наверное, бабы за таких и держатся, которые с придурью,— скорбно заметил Шпунтов. — А я человек с точным рассудком. Мне там хорошо, где в спину не дует. Но ей подавай приключения. Баба всегда к тому тянется, кто побольнее ударит.

— С придурью— это я, что ли? — уточнил Пашута.

— А то нет? Не обижайся, Пал Данилыч, я тебя понять хочу. Ты вон какую чушь несешь и как будто в это веришь. Хлебушек взрастим! Ты что, Павел, обратно в пионеры записался?

Пашута понял: для крупного внушения Шпунтов не созрел. Не тем мысли у него заняты.

— Вилька меня не любит, я тебе не помеха. Она от самолюбия бесится. Не может простить, что от такой красивой девахи мужик отказался. Но это у нее пройдет. Ты лучше меня, Владик, с какой стороны ни глянь. И по годам вы подходящие.

— Почему ты от нее ушел, Павел?

Пашута почувствовал, как важен для Шпунтова ответ. Он постарался быть честным.

— Мы не выбираем. И нас не выбирают. Чума какая-то сводит нас с женщинами. К одной приклеишься, от другой отвалишься. Объяснений нету. Вильямина будет тебе хорошая жена. Ты меня тоже прости, Владик. Ее мучили много. Какое-то есть в ее жизни место, где ее вдребезги раскурочили. Тебе она про все скажет. Придет час — и скажет. Она как больная. Все женщины немного больные — она особенно. Побереги ее.

Шпунтов впитывал его слова с таким выражением, будто принудительно глотал горькое лекарство. У него и кадык дернулся вверх-вниз. Хотел что-то ответить, да не успел. Вильямина выглянула, шуганула их:

— Ну, чего на морозе коченеете? Идите чай пить. Я индийский заварила, какой ты любишь, Пашенька.

А он часа полтора уже Вареньку не видел, истосковался по ней, и пока добирался к своему дому, казалось, волочит за собой тяжелое бревно. Все же успел заметить, какой пышный день расцвел над низиной. Солнце припекало так, хоть растирай в ладонях. Снег почернел и чавкал под ногами. «Сколько проживу, — подумал Пашута, — не забуду эту весну».

Тихону он обрадовался. Старик к Вареньке потянулся, а каждый знак приязни к девушке, пришедший со стороны, Пашуту будоражил. Будучи под впечатлением разговора со Шпунтовым, он поделился со стариком, что́ они со Спиридоном придумали сделать для возрождения села. Тихон кивал согласно, но в блеклых очах его светилось непонимание. Пашуту это не смутило. Он восторженно описывал, какой они скот разведут, какие урожаи подымут.

— А ты рази в этом чего смыслишь? — удивился Тихон.

— Не боись, старый, глаза смотрят, руки делают. Все можно осилить, если с сердцем взяться. Вот и Варенька...

— Ну что тебе Варенька, Варенька! — неожиданно перебила девушка. — Представляете, дедушка, неймется ему из меня работницу сделать. Обещал к лошадям пристроить. А ведь я их боюсь. Ну скажите хоть вы ему!..

— Это того, Паша, — хмыкнул Тихон. — Кажному свое. Одному носом землю рыть, другому звезды в трубу разглядывать. Бывает и такое занятие. Ты на нее сильно не дави. Сломать можно. Она постепенно втянется. Такие случаи известны. Поначалу кажется, бросовый человечишка, а после ему сносу нет.

— И вы туда же, дедушка, — огорчилась Варя. — Домостроевцы вы оба, и я вас выведу на чистую воду. Так и знай, Пашенька, дорогой работодатель.

Но в ее голосе не было угрозы.

В плену

Навалились под утро, повязали. Улен в темноте, в дикой возне, вцепился зубами в чье-то плечо, скользкое, в вонючей рубахе, его молотили по голове, а он не отпускал, вгрызался, стараясь добраться до вены, пока не потерял сознание. Теперь его куда-то волокли на двух жердях, как свиную тушу. Ветви хлестали по лицу, но глаз он не открывал. Об одном жалел, что не убили там, в шалаше. Где Млава, думал он, где Млава? Что они с ней сделали? Кто эти люди?

Понятно, их предал Зем, проклятый человек-кузнечик. Похоже, подмешал в питье дурман-траву, потому сон был так глубок. Он даже не услышал Анара, а пес не мог прозевать нападение. Правда, он мог уйти на ночную охоту. Но скорее всего собака мертва. Прощай, Анар! Прощай, Млава!

Боли он не чувствовал. Что боль? Она лишь тем досадна, что взывает к разуму.

Слегка разлепив веки, Улен увидел серый проблеск неба над собой, купола деревьев. Утро пробивалось сквозь хмурую дымку. Он попробовал незаметно оглядеться. Различил фигуры людей, скользящих стороной, может пять, может шесть, да двое тащили его на жердях. Напряг тело — и раскаленная игла пронзила позвоночник. Бородатая рожа пучила на него поверх жердей ехидный взгляд.

— Где Млава? — прохрипел Улен, выковыряв слова прямо из легких.

Ответа не получил. Он и не ждал ответа. Кто унизит себя до разговора с трясущимся мешком костей. Грудь его наполнилась криком, но Улен сдержался. Не подобает мужчине воплями множить унижение.

Вскоре вышли из леса, миновали луг, и над Уленом качнулись бревна высокой ограды. Он снова закрыл глаза. Он не испытывал любопытства к месту, куда его принесли. Но заткнуть уши был не в силах. Слышал смех, и детские голоса, и собачье тявканье, и оклики.

Потом его отцепили от жердей и, раскачав, швырнули под навес из еловых лап. При падении он ударился затылком о камень и остался лежать недвижно.

— Полежи, подумай, — сказал голос над ним. — Скоро тебе придется говорить.

Улен долго оставался в неуклюжей позе, не шевелясь, этим выказывая презрение к тем, кто принес его сюда и на него сейчас смотрел. Сердце его билось ровно, ему не хотелось умирать. Кто такие эти люди и чего они ждут от него? Похоже, какие-то дальние его сородичи, раз их язык ему понятен. Он должен увидеть Млаву, живую или мертвую, и отомстить за нее.

Постепенно спасительная дремота сошла на него. Привиделось родное сельбище — старый Колод спешил ему навстречу по узкой тропе. В руках у него кувшин с водой. Он крепок телом, как прежде. «Где Млава? — спросил у старика Улен. — Она жива?» — «Пей, мальчик. Никто не умирает, пока не призовут духи огня». — «Они разве не позвали меня?» — «О нет, у тебя впереди длинная жизнь». Улен потянулся за кувшином, но Колод уменьшился и вдруг исчез.

Над ним склонился рослый воин и ловко распутал веревку на ногах. Это была уже явь.

— Вставай и иди! — приказал воин. Улен подчинился и встал.

— Где Млава?

— Невзор тебе скажет, если понадобится.

— Кто такой Невзор?

Воин не ответил, слегка подтолкнул в спину: шагай, вопрошальщик.

Они очутились на какой-то улочке. Не будь Улен пленником, он бы рот разинул от восторга, так много вокруг было необычного, невиданного.

Это был настоящий город. У домиков попадались люди, глядящие на Улена без любопытства, но некоторые заговаривали с его стражем.

— Еще одного поймали?

— Похоже на то.

— Разом бы его в допросную, — посоветовал добродушный мужичонка, занятый странным делом: сидя на корточках, дубасил колотушкой по пустой колоде.

— Это уж потом, — обнадежил страж. — Поначалу к Невзору.

— А то у него мало хлопот.

«За кого они меня принимают? — подумал Улен. — Да не все ли равно».

Воин подтолкнул его к двери дома, ничем не отличающегося от других.

В комнатке с тусклым слюдяным оконцем сидел на скамье статный человек. Просто сидел, выпрямив спину и положив руки на колени.

— Поклонись, дурень, — сказал мужчина. — Поклонись Невзору.

Улен согнулся в поклоне. По мрачному лицу Невзора вроде бы скользнула легкая усмешка.

— Говори! Кто ты, зачем пожаловал?

Голос у него оказался несильный, но прозрачный, как вода в роднике. Он поднял глаза, и Улена опалило ледяной синью. Таких ярких глаз он прежде не видел.

— Где Млава? — спросил он дерзко, и тут же получил увесистый пинок в спину, от которого его накренило к полу.

Невзор сделал жест пальцами, точно согнал с колен муху, и страж Улена растаял за дверью, прихлопнув ее за собой.

— Ты спрашиваешь о деве, которая была с тобой?

— Да.

— Но ты не ответил, кто ты? Куда шел? Отвечай и не бойся. Ничего с тобой не случится хуже того, что случилось.

— Сначала я хочу знать, где Млава.

Невзор вдруг легко поднялся на ноги и направился к Улену. Юноша замер, не отводя взгляда от текущей на него жуткой синевы. Вождь чуть нагнулся и распутал узел на его руках. Потом вернулся на скамью и уселся в прежней позе — руки на коленях, спина прямая, как у идола. Сказал добродушно:

— Молчи, коли охота. Я и так вижу, мои воины ошиблись. Они стараются, вылавливают всех подряд. Очень много развелось лазутчиков. Приходится остерегаться... Ты знаешь, кто такие лазутчики?

Улен молчал. Он даже не позволил себе подвигать затекшими руками.

— Я понимаю тебя. Ты молод и не способен представить, бывает ли на свете что-нибудь дороже красивой женщины... Иди, ты мне больше не нужен.

Улен не двинулся с места.

— Верни мне Млаву, вождь, я тебе отслужу.

Невзор улыбнулся печально, протянул руку к сундуку, где стояла чаша с питьем, поднес ко рту и осушил двумя глотками. Улен следил, как двигался его мощный кадык. Облизал пересохшие десны.

— Прошу тебя, вождь, отдай Млаву!

— Ты смел, но я не могу тебе помочь. Ты— чужой. Мне безразлично, умрешь ты или останешься жить, важнее, чтобы люди племени верили мне. Я не смею нарушать законы рода.

— Что-то такое я слышал и раньше, — сказал Улен. — Там, откуда я пришел, вождь говорит так же, как ты. Он все делает для пользы рода. И тоже хотел забрать у меня Млаву. И в его, и в твоих словах нет справедливости.

— Ты испытываешь мое терпение, мальчик, — Невзор не повысил голоса, но каждый звук ранил Улена. — Уймись. Ты в плену. Что было твоим, отныне принадлежит тому, кто пленил тебя. Так было всегда.

— В плен берут в бою. А меня связали спящего. Будь справедлив, вождь. Верни Млаву.

На мгновение лицо Невзора исказилось тенью гнева. Юноша выдержал его взгляд.

— Уходи, ты надоел мне... Того, кто пленил тебя, зовут Брег. Млава у него. Попробуй ее выкупить. Хотя что ты можешь предложить? Нет, не советую тебе идти к Брегу. У него скверный характер. А ты мог бы пригодиться городу. У тебя есть будущее. Не растеряй его сгоряча.

— Благодарю, вождь, за то, что так долго говорил со мной.

Улен поклонился и намерился уйти.

— Погоди! Кто учил тебя учтивости? Ты ведь жил в лесу.

— Люди везде одинаковы. Одни отнимают, другие отдают.

На улочке его поджидал страж. Увидев, что руки Улена развязаны, он сказал с видимым облегчением:

— Невзор отпустил тебя? Я так и думал. Куда пойдешь? Если хочешь, я накормлю тебя. Мое имя Азол.

— Я хочу повидать Брега. Скажи, где его найти?

— Ты не его найдешь, а свою смерть. Это Невзор тебя надоумил? Чудно. Кому и какой может быть от тебя вред?

— Укажи дорогу, Азол.

— Я провожу тебя. Брег мой должник. Может быть, сегодня он вернет долг. Радость размягчает душу. Он должен мне полмешка муки.

Они шагали бок о бок, как друзья. Улен прикинул, что до тесовой стены, огораживающей поселение, не больше трехсот шагов. Издали она казалась легко одолимой. Но, наверное, это не так. Зачем строить стену, если ее можно перемахнуть с разбегу.

Азол проследил за его взглядом.

— Хазары напали десять зим тому. Все пожгли, пограбили. Многих увели в полон. Теперь есть стена. И есть Невзор. Мы не боимся. Мы ждем... Вот дом Брега. Он могучий воин, помни. На свой меч он нанизал много хазарских собак. Но он не любит отдавать долги. А попробуй ему откажи.

Они еще не подступили к двери, как она отворилась, и на крыльцо спустился мужчина средних лет, с круглой непокрытой головой, с круглыми плечами, с круглым, как луна, лицом. Квадратное туловище его было затянуто в куртку из тонкой кожи, распахнутую на груди. Короткий тесак болтался на ременной опояске. У него был распаренный вид, будто он выскочил из-под жаровни. Он пренебрежительно спросил:

— Ты привел нового раба, Азол? Он мне сегодня не нужен. Уведи его.

— Почему ты мне приказываешь? — спросил Азол хмуро. Какие-то люди остановились поодаль. Улен сказал смиренно:

— Я буду навеки твоим рабом, доблестный Брег, если ты вернешь Млаву.

Брег гулко расхохотался, призывая всех, кто его слышал, повеселиться с ним. Он запустил пятерню под рубаху и с наслаждением почесал грудь.

— Духи леса сотворили чудо: улитка обрела дар речи. Этот сосунок такой же попрошайка, как ты, Азол?

— Напрасно ты меня оскорбляешь, Брег. Ты мой должник, а не я твой.

— Где Млава? — спросил Улен. — Она в твоем доме?

Лунообразное лицо Брега налилось гневом. Он шагнул вперед.

— Наглец! Ты смеешь спрашивать? Да, она здесь, и ей хорошо. Женщине лучше быть с мужчиной, чем с сопляком. Заруби это себе на носу... А теперь ступай прочь. И ты уходи, Азол, покровитель улиток. Вам повезло, я отпускаю вас с миром. Поблагодари за это женщину, сопляк!

Он коротко хохотнул. Беда Брега была в том, что он не почувствовал опасности. Какая опасность могла грозить ему среди бела дня на пороге собственного дома?

Если Млава в доме, подумал Улен, и до сих пор не подала знака, значит, ей и впрямь хорошо.

— Что ты сделал с ней, Брег?

— То, что мужчина должен делать с женщиной. Похоже, тебе это еще невдомек. — Брег обжигал его ядовитым дыханием и черным блеском глаз. — Уймись, улитка, уймись! Твоя наглость велика, но позвоночник у тебя хрупкий. Уведи его, Азол. Сегодня Брег не жаждет крови, он сыт любовью. У тебя сладкая женщина, юнец, но она тебе не по зубам.

— Заклинаю тебя, воин, — молвил Улен. — Верни то, что тебе не принадлежит, и я буду служить тебе. Разве это малая плата?

Терпение Брега иссякло, он медленно поднял руку, точно смакуя минуту торжества, и поднес корявые пальцы к горлу Улена. Улен нырнул под локоть, сорвал тесак с его пояса. Какая славная нежная полоска железа! Полный изумления, лишь долю секунды промедлил Брег, но этого хватило Улену, чтобы всадить нож глубоко в его сердце.

Брег повалился прямо на него, сжал в последнем объятии так, что косточки хрустнули, и заскользил, как по дереву, вниз, к земле. Глаза его остекленели.

— Ты убил его? — удивился Азол. — Теперь никто тебя не спасет. А с кого я возьму свой долг?

— Я не искал его смерти, — ответил Улен. — Но он отнял у меня Млаву.

5

Они со Спирином и так и сяк рядили. Но все выходило, что с той техникой и с теми людьми, которые были в их распоряжении, им по-настоящему не развернуться. Зато и палки в колеса им ставить некому. Похоже, чья-то злая воля давно уже списала Глухое Поле в архив, укорив на всякий случай бесперспективностью.

Сладко им, единомышленникам, было грезить о вольной, необыкновенной жизни, которую можно устроить в этих забытых богом, но благословенных краях. Как два седых мальчика, они спешили приукрасить мираж новыми и новыми реальными подробностями. Где и что сеять, как налаживать автопарк и все прочее — в конечном счете, не главные это были вопросы. Важно другое: сумеют ли они хотя бы на склоне лет переломить судьбу по своему усмотрению? От таких разговоров у каждого в сердце пробуждалась улыбка, казалось, давно и безвозвратно угасшая.

— Хоть не задаром маяться, — вещал Спирин растроганно. — Ведь все, Пашенька, прахом пошло. Все развеялось. Помнишь, о чем мы мечтали в армии? Куда все делось? Годы скачут, а мы не замечаем. Скачем вместе с ними, какого черта! Не пустые же слова, что человек должен после себя что-то оставить, не пустые же? Детей мы не нарожали... Кто о нас вспомянет? Пора, пора хоть на чем-то утвердиться.

— Не горячись, — успокаивал друга Пашута. — Детей еще не поздно нарожать. Не было бы слишком рано. У тебя-то в чем заминка?

Когда разговор заходил об Урсуле, Спирин странно бледнел, точно каждое слово доставляло ему боль. Он не был откровенен даже с лучшим другом, но Пашута догадывался, что жизнь Урсулы изуродовало первое, очень раннее замужество. Урсула — создание вообще не совсем понятное уму. Странствуя по белу свету, Спирин как-то наткнулся на становище казахов, перегонщиков скота. Становище — это три походные юрты, раскинутые на каменистой почве в таком месте, где даже шустрые мелкие ящерицы изнывали от зноя. Там его, усталого путника, гонимого по свету дурью и мечтой, приняли как желанного гостя, накормили вяленой сайгачиной, напоили хмельным кумысом и уложили спать. Люди, одетые в теплые кожаные куртки, с улыбками, прилепленными к коричневым морщинистым лицам, ухаживали за ним любезно и почтительно, но он с трудом вникал в смысл их речей.

После долгого, вязкого сна Спирин выбрался из юрты и увидел сидящую на корточках женщину, закутанную в пеструю ткань, которая ритмично, раз за разом наклонялась к земле, как кукла со сломанной спиной. Это выглядело продолжением муторного сновидения, спекающего мысли в радужные картинки, где надежда перемежается с жутью. Он был поражен еще и тем, что все люди куда-то подевались, пока он спал. Он спросил у женщины:

— Вы не больны? Вам чем-нибудь помочь?

Женщина, которая могла сойти и за старуху, и за ребенка — так неопределенно очерчивалось ее лицо, — подняла на него тусклый взгляд и растерянно захлопала пышными ресницами, точно стряхивая с них пыль веков.

— Ничего, ничего, извините... — пробормотала она. Из-под платка выбивались черные, свалявшиеся космы волос. В глазах с покрасневшими, припухшими веками застыл страх. Это была Урсула, какой он увидел ее в первый раз.

Спирин умел угадывать несчастье.

— Я же вижу, вы больны, — проговорил он с сочувствием. — Сейчас я принесу таблетку, у меня есть хорошая.

В своей видавшей виды дорожной сумке раскопал початую пачку аспирина. Пока ходил, женщина заправила волосы под платок и села прямее. Он взял ее руку с намерением посчитать пульс, она отшатнулась с жалобным вскриком, будто он ее ударил. Рука у нее была легкая, сухая, как веточка.

— Проглоти две таблетки, — строго сказал он. — Где только воды взять? Водой бы запить надо.

Косясь на него из-под платка, как зверек из норы, она послушно сунула в рот таблетки, разжевала и с видимым усилием протолкнула в себя.

— Теперь тебе полегчает, — обнадежил Спирин. — Почему сидишь на солнце? Почему в юрту не идешь?

— Он не велит. Он злится.

Спирин понял, кого она имеет в виду. Это, конечно, тот старый казах в халате, с умильными ужимками уговаривавший его выпить за едой чашку араки, в которой плавало подозрительное зеленое пятно. Старик здесь главный, а женщина, похоже, чем-то перед ним провинилась.

Спирин опустился на землю рядом, и они мило проболтали до тех пор, пока не вернулись из степи остальные обитатели кочевья. Он понял, что его собеседница, это затюканное существо в цветном покрывале,— не ребенок и не старуха, а красивая женщина лет тридцати, общительная и смешливая. Имя ее — Урсула — проникло в его душу чарующим музыкальным аккордом. Когда она перестала дичиться, то похвалилась, какие у нее на запястье под пышным рукавом изумительные золотые часики с тонким браслетом. Она

словно хотела сказать ему: не такая уж я несчастная, как тебе показалось, прохожий.

— Это он тебе подарил? — поморщился Спирин. Она как-то сразу начала понимать его недосказанность.

— Что ты! Он ничего не дарит. Это мамины. Она умерла.

К этому моменту Спирин уже принял правильное решение, оставалось лишь выяснить, сохранилась ли в этой женщине хоть какая-то воля к счастливой жизни, или она готова превратиться в покорное домашнее животное.

— Я тебе нравлюсь, Урсула? — спросил он с достоинством.

— Нравишься, Спирин. Ты добрый.

— А если я тебя увезу?

В ее глазах он не увидел ни удивления, ни паники. Только лицо ее цвета сандалового дерева еще больше потемнело.

— Это трудно сделать, — сказала она в задумчивости. — У него повсюду свои люди. Тебя убьют.

Он выкрал ее: через день покинул кочевье, вызнав их точный маршрут, а через месяц нагрянул за полночь на стареньком, дребезжащем грузовичке. Вызвал Урсулу условленным свистом, причем она так мгновенно возникла из ночи, словно после их расставания все бродила вдоль дороги. За сутки они одолели более семисот километров до границы республики. В оговоренном месте он вернул грузовичок хозяину, удалому бугаю из алма-атинского автопарка. Приключение в восточном духе обошлось Спирину в четыреста рублей.

Урсула полюбила благородного спасителя и охотно перенимала от него все, чему он ее учил. Но рожать не могла. Для обоих это было роковое открытие. Они не представляли себе благополучного семейного устройства без кучи детей на лавках. Время утишило разочарование, но все же осталась в их отношениях злая неудовлетворенность, которая в самые светлые, мирные минуты вдруг обнаруживала себя — так выныривает в очередной раз гвоздь из подошвы.

Спирин ни о чем не жалел. «Вот если бы, — говаривал он, — довелось прожить жизнь вторично, я прожил бы ее точно так же, как первую».

Пашуте были чужды категоричные спиринские умозаключения. Как весенняя природа, его душа была полна смуты и тревожных предчувствий. Особенно беспокоило его поведение Вильямины, которая почему-то больше не попадалась ему на глаза. Как и Варя, она безвылазно сидела дома, а чем там занималась — неизвестно. Возможно, вынашивала сокрушительные планы возмездия. Шпунтов, напротив, целыми днями бродил по Глухому Полю как неприкаянный и прибивался то к Пашуте, то к Спирину, то к деду Тихону, а то и к старухам, которых в деревне обитало с десяток, но все они были на одно лицо: повидавшись с одной, можно было утверждать, что разговаривал и с остальными девятью. Тихон называл их «божьими ромашками» и говорил, что надоели они ему хуже горькой редьки, только лень-матушка мешает согнать их скопом в избу и поджечь, чтобы перестали мельтешить перед глазами.

Хлопоты у старух тоже одинаковые: как бы дотянуть до теплых деньков, а там, даст бог, нагрянут к кому-нибудь дети либо внучата, и заново пойдет над Глухим Полем дым коромыслом.

Деду Тихону их бессмысленные причитания стояли поперек горла, а вот Шпунтов повадился захаживать то к одной, то к другой на чашку чая. Эта его новая привычка тоже Пашуту обескураживала. Вероятно, мир треснул по швам, коли дамский угодник и жизнелюб Шпунтов нашел для себя удовольствие в долгих беседах с тенями предков. Пашута пытался вызнать у Владика, каковы их с Вилькой дальнейшие намерения, но нарывался на загадочные, уклончивые ответы. Он, допустим, спрашивал: «Когда же вы собираетесь в Москву отбыть?», а Шпунтов отвечал: «Куда торопиться?» Спирину страдающий тридцати-

летний подросток явно пришелся по сердцу, и он по-прежнему уговаривал его располагаться в Глухом Поле на постоянное жительство. Шпунтов выслушивал его благожелательно, и это уж вовсе не лезло ни в какие ворота.

Однажды, когда Шпунтов разгуливал по окрестностям, Пашута проскочил к нему в избу и тайком повидался с Вильяминой. Он шел к ней с надеждой поставить точки над «i», но встретил такой прием, что зарекся от дальнейших контактов.

— Голубчик мой, Пашенька, — не отвечая на дружеское «здравствуй», заунывно пропела Вильямина. — Раздевайся, миленький, поскорее, ложись прямо в постельку. Уж я тебя приголублю по старой памяти.

Приглашение она подкрепила энергичными действиями, то есть начала шустро срывать с себя нехитрое бельишко. Обнажились прямые точеные плечи, плеснули из лифчика литые груди, замешкалась бедовая девица лишь с крючками на вельветовой юбчонке.

Опешившего Пашуту будто взрывной волной вышвырнуло из дома и, чудно кренясь набок, он бегом домчался до родного приюта, постучал в комнату к Вареньке. В последние дни бедная девушка обычно корпела над рисунками, при его появлении сноровисто накинула на распятый ватман шерстяной платок.

— Не хочу я смотреть, чего ты там малюешь для своего Хабилы, — вскипел Пашута. — Чего ты из себя идиотку строишь, Варька? Нам надо кое-что обсудить.

Варя глянула на него недоверчиво, склонив головку, и он мгновенно попал под грозную власть ее присутствия. Все нервы разом заныли. Бог мой, как она изменилась! У любого человека найдется несколько обличий на разные случаи жизни, но, значит, у молоденьких девушек их тысячи. Нынешний ее облик был чист и невинен. Она перед Пашутой робела. И это не было игрой, где притворство выше естества. У женского лукавства есть свои границы, часто оно оборачивается беззащитностью.

— О чем ты хочешь со мной обсуждаться? — спросила Варя застенчиво. — Ты не сердись, что я от тебя работу прячу. Я покажу, когда совсем будет готово.

Пашута беспомощно огляделся. Уютная комнатка в деревенской избе, затерянной в пространстве, окошко в розовом отсвете солнца, бумажный абажур под потолком и они, двое, сведенные вместе случайными, безумными обстоятельствами. И ему расстаться с ней — что ножом по вене полоснуть.

Как странно все это... Как невыносимо тянуться на ощупь к чужой душе, страшась причинить ей боль и тем оттолкнуть от себя.

— Давай, давай, — сказал Пашута. — Хабиле угодишь, премию выпишет. Гляжу, сильно он тебе приглянулся.

— Да ты что, Паша? К казенному сморчку ревнуешь? Вот умора!

— Я тебя ни к кому не ревную. Живи как хочешь. Права у меня нет ревновать... Но раз я тебя сюда притащил, все же несу какую-то ответственность.

— За меня?

— Послушай, Варя, что между нами вообще происходит?

— А что?

Сейчас расхохочется, это уж точно. Сейчас у нее колики начнутся от смеха. В унынии Пашута присел на табурет у окна. Варя томилась на краешке кровати, грудку выпятила, спина прямая, на мордашке забавное ожидание: какую глупость дальше сморозишь, Пашенька? Я тебя слушаю с интересом.

— Перед людьми неудобно, — сказал Пашута. — Может, нам с тобой по разным избам расселиться?

Уколол все-таки, сумел. Бровки над светлыми очами резво взметнулись.

— Не будь ханжой, Павел. Ладно? Чего ты от меня хочешь, скажи попросту? Я ведь на ночь дверь не запираю.

— Неужели у тебя ничего другого в голове нет?

— А у тебя есть, многоженец несчастный? Ах да, тебя же судьбы отечества больше всего волнуют. Только не путай божий дар с яичницей. Ты зачем сюда эту женщину выписал?

— Да она...

— Что она? Ох ты, боже мой! Общественное мнение его взволновало. Опомнился. Выселяйся, Варька, на мороз. В какую это избу ты меня хочешь переселить? Ты тут хозяин? Все дома твои? Дай денег, завтра же уеду. Ты что о себе возомнил, Пашенька? Думаешь, я за тебя цепляться буду? В жизни ни за кого не цеплялась. Думаешь, на помойке меня подобрал, можно не церемониться? Ой, Паша, обожжешься. Я девушка балованная. Еще пожалеешь, как меня выгонял. Иди, иди к своей кобыле старой. Никто тебя не держит. А меня не трогай. Я Спирину пожалуюсь. Он партийный человек. Ну, Пашка, я тебя теперь до конца разоблачила, какой ты жук колорадский.

Пашута, слушая ее трескотню, разомлел. Веселые бесенята сигали из ее глаз, попробуй угонись. Он в ее слова не вникал. Какие там слова, ничего они не значат. Весенний ручеек звенел по камушкам, обволакивал его слух. Встать, дотянуться, испить бы живительной влаги из разгневанных уст. Не посмел. Впервые в жизни не посмел. Страх потери его остановил.

—Поговорим нормально, Варвара,— поднял руку, как на собрании передовиков. — Ты не маленькая, я тем более. Я вижу, ты обжилась, тебе тут нравится, но положение у нас сомнительное. С меня какой спрос, я воин индивидуальной тропы. А у тебя родители. Почему ты им до сих пор не написала? Они же, наверное, с ума сходят. Ищут тебя повсюду, может, в милицию обратились. Чем они перед тобой провинились? За что ты их мучаешь?

— Твоя правда, Павел Данилович, — горестно согласилась Варя. — А что я им напишу?

Пашута любил роль морального наставника.

— Напиши, что все в порядке, жива, дескать, здорова... Потом... Да, надо же как-то объяснить положение.

— Еще бы!

— Ну, к примеру, можно сказать, завербовалась по комсомольской путевке. Для проверки сил. Ты, когда уезжала, чего сказала?

— Ничего. С подругой поехала отдохнуть на недельку.

— Ладно. Главное, чтобы они знали, что ты живая. Родителей, Варя, обижать — это самый большой грех. Кто родителей обижает, тот скотина неблагодарная. Даже отпетые преступники о матерях помнят. А ты! Это надо же, столько времени весточки не подать. Да у тебя железяка вместо сердца. Они тебя кормили, воспитывали, надеялись на тебя...

— Ну и зануда ты, Паша, — не выдержала Варя. — Сказала же — напишу. Давай бумагу, сейчас напишу. Видишь, как я тебя слушаюсь. Ты цени это. Не будешь больше меня выгонять?

— Никто тебя не выгоняет.

— А вторую жену немедленно отправь в Москву. Понял? Нечего ей тут ошиваться.

— Я бы отправил, да она не послушается.

Сердце его таяло. Варя язвила, но впервые уловил он в ее голосе домашние нотки. Нет, так с чужими не говорят. Так не говорят с теми, с кем воюют. В накинутой на плечи его старенькой курточке, она напоминала расшалившегося симпатичного медвежонка. Он твердо знал: нежность свою лучше держать в узде. Проявление чувств отпугнет ее, либо она получит над ним такую власть, от которой его солдатский хребет хрустнет. С ней нельзя быть искренним, если хочешь ее заполучить. Она — как перепутанный клубок, за какую ниточку ни потяни —

только лишний узелок завяжется. Никогда и ни перед кем Пашута так не ловчил. А бедняжка ни о чем не догадывается. Хотя, конечно, понимает, что он влюбился в нее по уши. Но что для нее это слово — любовь? Измятая постель да слабый крик сквозь сомкнутые зубы. «Правда, опыта в любви не бывает, — с грустью думал Пашута, — и разум в ней только помеха».

6

Когда чуть подсохло, прибыли те, кого Пашута меньше всего ожидал, — Раймун Мальтус собственной персоной и с ним Лилиан, пышнотелая племянница.

Прибежал Спирин, затарахтел с порога:

— Тянется к тебе народ, Паша, тянется. Какой мужик приехал, заглядение. Натуральный хозяин, без обмана. Надеюсь, останется с нами. Нам такие люди позарез нужны. У него опыт, хватка, с одного взгляда ситуацию определил: «Вянет землица-то?» — говорит.

Пашута тут и догадался, о ком речь.

— Про род человеческий тоже высказался?

— А как же! — обрадовался неизвестно чему Спирин. — Веско рассудил. Род человечий прогнил на корню, потому земля пустует без присмотру. А что ты думаешь? Это не просто слова. В них исконная мужичья боль.

— Один он или с бабой?

— Великолепная женщина, Паша! Вот бы тебе, если бы ты... Да ладно, пошли скорее, они ждут. К тебе ведь приехали.

— Не колготись, Сеня. Как бы тебе еще с этим натуральным хозяином не наплакаться.

— Не в этом дело, Паша. Я каждому новому человеку радуюсь. Неужели непонятно?

Вразумлять Спирина было бесполезно. Его воодушевление всегда опережало логику. За это любил его Пашута. Логиков нынче много вокруг, зато восторженных людей почти не осталось. А ведь их прежде хватало на Руси. Куда подевались?

Прямо в прихожей Лилиан к Пашуте на шею кинулась, как к родному. Жарко обвила руками, чуть не задушила. Освободившись кое-как, Пашута спросил:

— Ну как, Лиля, не объявлялся, вижу, муж?

— Теперь уж, видно, не объявится,— отозвалась Лилиан без особой горечи. — А мы вот, Павел Данилович, решили прогуляться с моим старикашкой.

Это было что-то новое. Прежде Лилиан вряд ли посмела бы назвать сурового Раймуна «старикашкой». А он и не поморщился, сидел на стуле истуканом. Пашуте важно кивнул, будто они виделись вчера. Урсула успела накрыть на стол. Заманчиво дымилось блюдо с пирожками.

— Ну, что с хутором? — спросил Пашута. — Нашли покупателя?

— Барахлишко твое привезли, — Раймун кивнул на мешок в углу. — Хутор на месте. Откуда нынче взяться покупателю? Шушера всякая иногда заглядывает, вот вроде этой вертихвостки. Ты лучше скажи честно, почем сало продал?

— Да особо не торговался. Некогда было. По четыре да по пять рублей и спустил.

Возмущенный Раймун наконец оторвал зад от стула:

— А чего ж задаром не отдал? Отдал бы так, за спасибо. Чего тебе, ты свинок не выращивал.

— Что вы хотите, Раймун? Не верите, что я по четыре продал? Думаете, денежки зажулил? Хорошо, сколько я должен, скажите... Вы за этим, стало быть, и приехали? А я-то голову ломаю. Ну, так сколько?

Раймун раздраженно крякнул, полез в карман за трубкой. Лилиан делала красноречивые знаки Пашуте, чтобы он вышел для тайного разговора. Пашута с досадой отмахнулся. Он ждал, что ответит Раймун. Ему это было важно. Если Раймун действительно явился за деньгами, то значит он, Пашута, вовсе не разбирается в людях. А если он не разбирается в людях, как растопить ему ожесточившееся до срока сердце Вареньки? Вот такая ему вдруг цепочка померещилась.

— Род человечий опаскудился, — Раймун строго поглядел почему-то на Спирина. — Сжульничал ты, Павел, или нет, меня бы мало удивило. Хотя, ежели учесть, сколь времени я тебя от следствия прятал, шкурой рисковал....

— От какого следствия? — заинтересовался Спирин.

— Это не наше дело, — заметил Раймун. — Нас не касается. А насчет денег, Паша, прямо скажу. Деньги для меня не главное, их все не загребешь.

— А чего вас тогда принесло?

Теперь не только Спирин, но и остальные, даже безответная Урсула, пребывали как бы в легком столбняке. Никто сути разговора не улавливал, кроме, кажется, прекрасной Лилиан. Она схватила Пашуту за руку и чуть ли не силой потащила к двери. Раймун отрешенно задымил трубкой, давая понять, что его все происходящее уже не касается.

В сенях Лилиан прильнула к нему наспех, но Пашута проворно вывел ее во двор.

— Теперь я почти женатый, — объяснил он. — Мне расслабляться не положено.

— На ком женатый? — огорчилась Лилиан.

— Не имеет значения. Ну давай, говори, чего там у тебя?

— Надо же... Вот не гадала... Я думала, ты обрадуешься, Павел Данилыч. А мой муж как сгинул, так и навеки. Не будет у меня больше счастья. Так тяжело на душе, Паша. Ведь я надеялась, мы с тобой не чужие. Какие-то ты мне и добрые знаки подавал. А теперь выходит — опять я опоздала. Ты уж женатый.

— Почти, — смягчился Пашута. Так благостно было вокруг. Солнышко подкрасило окрестности в праздничный зеленоватый колер. Ни ветерка, ни резкого звука. Глухое Поле будто дремало посреди распалившегося дня, все тонуло в медовом покое. Робкая ветла у забора тянулась прямо к их губам распустившимися веточками.

Пашута на миг пожалел, что рядом не Варенька, а крутобедрая Лилиан.

— Ну? — напомнил он. — Ты все ж чего сообщить-то хочешь?

— Хорошо у вас, — вторя его настроению, вздохнула Лилиан. — А сказать особо нечего. Предупредить хочу. Боюсь я за дядю Раймуна. Как-то он сдал с твоего отъезда. Уж не помирать ли собрался.

— Не заметил перемен, — буркнул Пашута.

— Сразу не увидишь. Что-то в нем не так. Он тихий, смурной. По ночам не спит. Встанет посреди ночи и ходит, ходит, скрипит половицами. Потом на улицу выйдет и там бродит, как слепой. Правда, как слепой. Я один раз подсмотрела, когда луна была. Он к амбару подскочил чуть не бегом и прямо в стену лбом. И так это руками шарит, будто не узнает ничего.

— Может, у него зрение ослабло? Очки надо купить.

— А то вот еще чего было. Тоже ночью. После телевизора. Я уж задремала. Вдруг слышу — в комнату заглянул, подходит и надо мной наклоняется. У меня и сердце захолонулось. «Чего тебе, — говорю, — дяденька Раймун? Чего не спишь?» Тихонько так говорю. От страха свернулась клубочком. А он мне: «Ничего ты не слышишь, Лилечка?» Он меня Лилечкой последний раз называл, когда я под стол пешком ходила. От него ласкового слова дождаться — легче чугун растопить. «Чего,— спрашиваю,— я должна слышать?» — «Да как же, Лилечка, подходят они. Уже близко». — «Кто, дядечка?» Ну, тут он вроде очухал-

ся. Зубами скрипнул. «Спи, — говорит, — кошка безмозглая». Теперь ты понимаешь мое положение?

У Пашуты повеселело на душе.

— Твой дядюшка одичал на хуторе, но здесь у него будет компания. В деревне ему подходящий напарник есть — дед Тихон. Твой дядя еще только кого-то дожидается, а тот уж дождался. Они друг друга поймут и утешат.

— А я как же? — спросила Лилиан. — Меня кто утешит, Павел Данилович? Мужа-то у меня, считай, нет. Детей на родню оставила. Полностью свободная женщина. Чем-то мне тоже себя занять надо.

— Тут Спирин над всеми начальник. Ты женщина работящая, он тебя пристроит.

— Так я же, Павел Данилович, отдохнуть приехала, развлечься от тоски. Имею на это право.

— За работой и развлечешься, — обнадежил Пашута.

В дом он не вернулся, а пошел по деревне. Шел медленно, точно в забытьи. Он ни о чем не думал, голова была пуста, но в сознании сгущался некий мираж. Подобное состояние не было для него новым. Ему и раньше случалось внутренним зрением словно увидеть скучноватый фильм, где он был главным действующим лицом. И каждый раз вновь убеждался, что в собственной жизни дорожить ему особенно нечем, да и протекает она большей частью как бы понарошку.

Можно ли, к примеру, принять всерьез вот эти домики, выглядывающие из палисадников, точно зверушки из норок, домики, где живут чудные старухи, с которыми бедный Спирин задумал возродить Глухое Поле? А как без смеха отнестись к приезду Вильямины и Шпунтова, Раймуна и Лилиан, драгоценных гостей? И какое отношение к реальности имеет девушка, пятый день не покидающая своей комнаты, занятая нелепой работой? Да по какой, наконец, крайности сам Пашута, сын честных родителей, оказался в этой горькой карусели? Есть ли во всем этом хоть какая-то малость, про которую можно сказать: это не дурной сон и не кинокомедия? Пожалуй, все же есть. Тяжесть, которая камнем давит грудь,— это, конечно, истинное. Какой же отсюда вывод? Неужели только боль необманна? Но ради чего тогда жить? Не проще ли...

Ему не удалось додумать до конца коварную мысль — наткнулся на деда Тихона, бредущего навстречу с таким обреченным лицом, будто вышел напоследок попрощаться с милыми местами.

— Я ведь знаю, почему ты пригорюнился, Павлуша, — сказал Тихон, опершись покрепче на палку для удобства беседы.

— Почему, дедушка?

— Забота тебя снедает, как половчее свою выгоду не прозевать.

— В чем же моя выгода?

— Да ты не серчай, это я так, к слову. Ты девицу свою, Варвару, из городу сорвал, как морковку из грядки, понадеялся, что она к тебе на воле легче притрется. А я мыслю, напрасная это затея. Ты видел, какие она рожи на листках малюет?

— Проницательный ты, дед, — усмехнулся Пашута. — Но из Москвы не я ее вырвал, а обстоятельства. Ты всего не знаешь, потому тебе судить трудно.

Мирно беседуя, они миновали околицу и побрели по рыхлой тропе к лесу.

— Опять ты не прав, Паша, — вразумлял дед. — Человек, когда чересчур сведущ, тогда и судит наобум. Ему косвенные подробности зрение застят. Рассуждать положено по совести, как она велит. У ней ошибок не бывает. Никакие, как ты говоришь, обстоятельства ей нипочем. Совесть любую кривизну враз спрямит. И точно так же выведет тебя из затруднения.

— А если совести нету?

— У кого нету?

— Допустим, у меня или у другого у кого.

— Не заблуждайся, Паша. Совесть у всякого человека имеется, хотя бы в зародыше. Ведь что такое — совесть? Она и есть страх божий. Если в тебя бог разум вдохнул, то и страх обязательно присовокупил. Человек и рад сподличать, да мысль его останавливает: а ну как потом и мне такой же подлостью стократ воздастся? Испугался — так-то в нем совесть и пробудилась.

Пашута уточнил:

— По-вашему выходит, страх и совесть — одно и то же?

— А как же, Паша, иначе? Однако страх страху рознь. Скотина тоже палки боится, но совести в ней нету. Совесть именно человеческое отличие. Она ему за грехи дана, но и спасение в ней. Это предмет тонкий, но раз ты к нему любопытство имеешь, значит, душу бесам не продал... Ко мне давеча гость приходил, и поверишь ли, о том же самом мы с им беседу вели. Но тот похитрее тебя вопросы ставил.

Пашута, услыхав про гостя, как-то потерял интерес к разговору, но из вежливости спросил:

— Гость оттуда был?

— Оттуда, Паша, оттуда, куда тебе покамест ходу нету. Но ты не сомневайся, не хмурь брови-то. Придут и к тебе, обязательно придут. Ты из этих, к коим приходят. Иначе бы рази я тебе открылся. Иные насмешничают: снятил-де старик на склоне лет, чертики ему мерещатся. Так, Паша, те думают, которые обречены на забвение. Вот у них как раз совести может не оказаться в наличии, зато страху через край. Которые не умеют в былое заглянуть, те и живут одним голым страхом, и имя ему — суета сует.

— Совсем ты меня запутал, дедушка.

— А как же ты хотел бы, Паша? Не запутаешься, не вразумишься. Через многие загадки приближается человек к самому сокровенному — к душе своей.

Свернув под уклон, они заметили сидящего на берегу пруда человека — в городском пальтишке, в клетчатой кепчонке на голове. Это был Владик Шпунтов собственной персоной. Он им вяло махнул рукой. Когда приблизились, без всякого вступления спросил у Пашуты:

— Чего посоветуешь, Павел Данилыч, уезжать мне или оставаться?

Взгляд у него был смурной, отчаянный. Пашута растерялся, зато Тихон ответил, не мешкая:

— Уехать, парень, не грешно, ворочаться не было бы смешно.

— Почему я должен ворочаться, дед?

Тут уж Пашута вмешался:

— Старик сегодня в ударе. Хочешь, он тебе весь смысл жизни в двух словах обскажет?

Чего хотел Владик Шпунтов, того он и сам не знал. Он сидел на сыром промозглом бугорке, но словно не замечал холода. Газетку все же под себя подстелил, чтобы пальто не извозюкать.

— Вы, ребятки, оба запутались со своими бабами. Это бедствие всем знакомо. Когда-то и я бился в этих силках, как перепел. Переболеть надобно, перемочься. После все уходит бесследно.

— Не хочу, чтобы бесследно, — огорчился Шпунтов. Он поднялся с земли. — Так что же, Павел Данилович, ты ведь не ответил. Уезжать мне, что ли, восвояси?

— Мне ты не мешаешь.

— Мое дело предупредить, — Шпунтов горько усмехнулся, будто открыл для всех важную тайну, а его в который раз не поняли.

Втроем добрались до места, где дорога переходила в непролазную грязь. Постояли там, будто к краю света приблизились. До леса оставалось несколько шагов, но они на них не решились. Земля была покрыта тонкой, глянцевой пленкой. Под этой обманной весенней скатертью воображению рисовалось чавканье и сырая глубина. Но минует

еще несколько солнечных дней, и последние ловушки зимы исчезнут, лишь в сердце осядет ледяной осколок. Помни, человек, не время го́да сменилось, а укоротилась твоя единственная жизнь.

Зимой или летом сомкнутся навсегда твои веки?

Суд и приговор

Посреди площади на деревянном помосте сидел Невзор, повелитель племени, чуть поодаль разместились старейшины, пятеро благообразных старцев, остальные сородичи — мужчины, женщины, дети — сомкнулись у помоста шумным кругом. Улена привязали к столбу перед помостом, но некрепко, больше для видимости. Куда убежишь?

На лицах он не видел вражды. Дети подбегали к нему и со смехом дергали за полы куртки, а один голопузый постреленок, удобно устроившись, долго, сосредоточенно целил ему в лоб из маленького лука. Улен вспомнил, как когда-то тоже учился стрелять из такого лука. Если ребенок все же пустит стрелу, она угодит не в лоб, а в живот. Малышу следовало брать повыше, туда, где столб над ним расщеплялся.

Улен понимал, почему так оживлена толпа. За убийство воина его осудят на смерть и тут же, наверное, убьют, только неизвестно, каким способом. Это большое развлечение. Здесь его некому будет оплакивать. Он заметил, как среди толпы, подкатываясь то к одной группе, то к другой, вертится коротышка Зем, подлый предатель. Но почему он предатель? Улену не следовало развешивать уши, слушая бредни лукавого карлика, и уж никак нельзя было брать пищу из подозрительных рук. А Зем выполнял то, что ему велено. На нем вины нет.

Но неужто ему не суждено увидеть Млаву? Разок, хоть бы разок заглянуть на прощание в родные глаза.

Невзор обратился к толпе, и шум мгновенно стих. Будь Улен не столь поглощен собой, он бы поразился необычному вниманию, с каким люди впитывали слова вождя. Будто слушали песню. Когда в их сельбище люди собирались вместе, чтобы решить какой-нибудь важный вопрос, и слово брал Богол, его часто перебивали возгласами одобрения или неудовольствия, и это разумно, а иначе как может понять вождь, доходят ли до людей его мысли и согласны ли они с ним. Невзора никто не перебивал.

— Вот перед вами юноша, он убил Брега. — Невзор презрительно махнул рукой в сторону Улена. — По нашим законам мы должны предать его смерти. Это справедливо. Так мы поступали всегда и так будем поступать впредь. У Брега был скверный характер, это всем известно, но сейчас неважно, кто виноват в ссоре. Брег мертв, и мы отплатим за него пришельцу полной мерой. Око за око, зуб за зуб. Плата не высока, и мы не собираемся торговаться... — Невзор сделал паузу и обвел толпу пристальным взглядом, словно кого-то выискивая. Потом его голос зазвучал уже не так звучно и наполнился печалью. — И все-таки, братья, это особый случай. Перед нами почти мальчик, возможно, ни разу не державший в руках боевого топора. Он пришел издалека, и неизвестно, какая беда выгнала его из дома. Но злого умысла он не таил. Ты слышишь меня, проныра Зем? На сей раз не видать тебе награды. — По толпе прокатился звук, напоминающий кашель. — Этот мальчик из племени людей, которые не умеют выращивать скот. Они живут бедно и переживают зимние холода, прячась в земляных норах, как звери. Но я скажу вам то, что знаю от предков и что знают немногие из вас. Это люди одной с нами крови и одной с нами веры. Придет день, когда мы снова породнимся. И для нас и для них главная опасность грозит с юга, от жадных, узкоглазых людей, которые взращивают младенцев лошадиным молоком. Они могучи, жилы их пропитаны ненавистью к россичам, они будут приходить за добычей снова и снова, пока не убедятся, что их ждет жестокий отпор... Перед

общей бедой даже волки сбиваются в стаю... Этот мальчик пришел не один, с ним была девушка, ее отнял у него, спящего, Брег. Я не говорю, что это оправдывает убийство, но предлагаю все же выслушать юношу и лишь потом решить, как с ним обойтись. Он заслужил это, потому что в груди его бьется доблестное сердце. И он наш дальний родич. Это все. Теперь говори ты, Улен.

После речи Невзора по толпе прошел легкий вздох облегчения, и теперь все глаза устремились на юношу. Никогда еще так много людей сразу не ждали от него ответа. Проглотив комок в горле и стараясь, чтобы голос не дрогнул, Улен произнес:

— Верните Млаву или убейте меня. В чем я виноват? Пусть скажет тот, у кого отнимали самое дорогое. Я не знаю никаких законов, кроме одного, которому научил меня охотник Колод. Если на тебя нападают, ты должен защищаться. Иначе ты не мужчина. Я сделал все, что мог, чтобы спасти Млаву. Но сил моих не хватило. Теперь я прошу у вас. Отдайте Млаву или убейте меня. Я дождусь ее в ином мире. Но и там я буду сражаться со всяким, кто попытается отнять ее у меня.

— Больше тебе нечего сказать? — миролюбиво спросил Невзор.

— Отдайте мне Млаву, — повторил Улен.

И тут к помосту, кривляясь и жестикулируя, выкатился Зем. Задрав приплюснутое личико с огромными пятнами глаз, он заверещал угрожающе и плаксиво, будто заговорили сразу два человека:

— Я понял тебя, Невзор. Ты надеешься спасти убийцу. И люди с тобой согласны. Они молчат. Но я не согласен. У тебя есть причины его спасать. А у меня есть причины не соглашаться. Закон на моей стороне. Почему ты отказываешь мне в добыче?

Зем так визжал и брызгал слюной, что многие слова невозможно было разобрать. Но его слушали внимательно, и когда он умолк, чтобы передохнуть, никто не нарушил паузу.

— Ты не можешь отказать мне в добыче, Невзор! — завопил Зем с новой силой. — Они оба мои пленники. Брег умер. Я имею право выбора. Девушка принадлежит мне. Отдай ее мне, или ты нарушишь закон.

Улен оценил отчаянность коротышки. Зем требует себе Млаву, но это же нелепо. Однако никто не смеялся, и по выражению лиц Улен видел, что большинство признает требование Зема справедливым. Невзор оглянулся на скамью, где сидели старейшины. Пятеро бородачей склонили головы в знак согласия с Земом. Но один сказал:

— Пусть решит рок!

— Ты слышал, храбрый Зем, величайший нюхатель следа? — насмешливо произнес Невзор. — Ты хорошо знаешь законы, значит, и этот для тебя не нов. Согласен ты предоставить выбор судьбе?

Улен не понимал, о чем речь, но заметил, как съежился коротышка. Зем беспомощно оглянулся на сгрудившихся за его спиной воинов, словно ожидая подмоги. Какой-то ребенок истошно завизжал: «Рок! Рок!» — точно собирал приятелей на веселую игру.

— Хорошо, — выдохнул Зем. — Я согласен. Пусть будет так. Но я не искал его смерти.

Его темные зрачки с ненавистью вонзились в Улена. Он глядел на своего врага, пренебрежительно усмехаясь. Необычная тишина опустилась на площадь. Дальнейшее совершилось мгновенно. Зем шагнул к столбу, на ходу извлек из-под куцей шубейки длинный нож. Улен не успел ни о чем подумать, как коротышка рассек стягивающие его путы.

— Беги! — крикнул он свирепо. Улен опустился на затекшие ноги. Он уже все понял. Коротышка намерен убить его, безоружного. Пленнику дают возможность поиграть со смертью в догонялки. Но ведь карлику не справиться с ним, будь у него хоть по два ножа в каждой руке.

Улен отпрыгнул в сторону и нагнулся, разминая тело.

— Беги! — повторил чуть не плача Зем. Толпа расступилась, образовав проход.

— Я не заяц, — сказал Улен, — чтобы ты гонял меня по кругу. Убей так, коли сможешь.

В ту же секунду, вскрикнув, коротышка бросился на него, неся нож почти у земли. Улен недооценил его ловкость, слишком небрежно занес ногу, целя в ручку ножа. Этому приему Колод учил его целое лето. Это был надежный прием. Движение должно быть стремительным, как вспышка света, главное при этом — не потерять равновесия. Улен промахнулся, потому что коротышка разгадал его уловку. Опередив на мгновение, Зем всей тяжестью тела подсек его колени. Улен упал, и юркий воин искусно переплел его грудь ногами и, торжествуя, замахнулся ножом. Возбужденные зрители не успели насладиться зрелищем, но Зем отчего-то замешкался. В его взгляде теперь не было ненависти, а была там только боль, такая же, как охватила Улена в этот страшный миг, — боль утраты, посланной небом. Они не видели, и никто не заметил, как из ближайшего дома вымахнул огромный черный пес, трескучим вихрем пронесся по проходу, оставленному Улену для бегства, и с коротким рыком скакнул на спину Зема. Легко, как козявку, захватив в пасть его шею, пес сковырнул коротышку на землю. Вопль человека и грозное рычание зверя слились в протяжном звуке. Улен успел вскочить на ноги, обхватил Анара за туловище и с трудом оторвал от жертвы. Он стоял, держа пса за загривок властной рукой, а бедняга Зем корчился у его ног, делая тщетные попытки сесть, и снег возле его головы почернел от крови.

В безмолвии замерли люди. Могло ли возникнуть в их воображении что-то более полно выражающее рок, нежели черный зверь с безумно сверкающими очами, с падающей из пасти алой пеной?

Старейшины задвигались на помосте, как бы выказывая желание покинуть опасное место, и лишь Невзор остался недвижен.

— Это твоя собака, мальчик?

— Да.

— Что же нам делать? — нахмурился Невзор. — Ты всего два дня в городе и уже доставил столько хлопот. Убил лучшего воина и покалечил замечательного разведчика. Чего от тебя ждать дальше?

— Я не сам к вам пришел, — ответил Улен. Тем временем Зему удалось сесть, и он проверял, вращается ли у него шея. Кровь его не пугала.

— Как поступить с тобой? Мне ты по душе, думаю, мог бы пригодиться нашему роду. Но пусть решает народ.

Вождь встал и простер руку.

— Грозные грядут времена, дети мои! А мы живем нерасчетливо. Копим силу по капле, а изливаем потоками. Так не должно быть. Будущее наше еще темно, но вчера мы были слабее, чем сегодня. Мы никогда не прощаем врагов, но снисходительны к тем, кто пришел с чистым сердцем. Брег погиб, и его не вернешь. Его убил этот отчаянный юноша, но без коварства и злобы. Он храбрый воин. Провидение на его стороне — мы убедились в этом. Пусть он займет место Брега, пусть послужит городу. Старейшины согласны со мной, — Невзор кинул быстрый взгляд на скамью, и безгласые старцы покорно склонились. — Ты, наверное, хочешь сказать что-то, Зем, лелеющий обиду?

Зем действительно попытался что-то изречь, но вместо слов из его горла вырвался возмущенный клекот. Вперед выступил Азол.

— Я скажу, братья. Я видел, как погиб Брег. Юноша защищался, а не нападал. У него сильные руки и бесстрашное сердце. Коли с Земом обошлись несправедливо, мальчик сам вернет ему долг. Это так же верно, как и то, что я уже ничего не получу от Брега.

Он приблизился к юноше, и Анар предостерегающе зарычал.

— Да будет так! — провозгласил Невзор. — Слово за тобой, Улен. Согласен ли ты служить городу? Не таишь ли в душе предательского умысла? Говори!

— Верните Млаву! — сказал Улен.

7

Издали Пашута заметил машину Хабилы, стоящую возле дома, и самого Петра Петровича, прохаживающегося руки за спину, как и положено руководителю крупного масштаба, «жигуленок» был по уши в грязи, зато Петр Петрович выглядел празднично — в модном черном плаще молодежного покроя, в светлой шляпе с широкими полями, на ногах элегантные сапожки. Увидев Пашуту, небрежно поманил его пальчиком. Пашута не мог его миновать, дорога тут была одна.

— Я тебя как раз жду, — недовольно заметил Хабило, точно Пашута нарушил уговор и опоздал. — Дело у меня к тебе, Павел... Э-э... серьезное. На работу я тебя определил, со ставкой сто десять рублей. А там поглядим, как себя покажешь.

— Премного благодарен, — отозвался Пашута. — Как же вы, Петр Петрович, по такой грязюке проскочили? Рисковый вы человек.

— Ты вот что... Я сейчас заходил к Варваре, поглядел ее работы, и честно тебе скажу — изумлен.

Пашута изобразил любопытство. Хабило смотрел на него проницательным взором. Так он привык разглядывать подчиненного человека, в котором не совсем был уверен.

— Давай с тобой говорить открыто, Павел. Я тебе задам вопрос, а ты честно ответишь. И посмотрим, какой у нас получится расклад.

— Стыдно было бы мне хитрить со своим благодетелем.

— Да уж... Ты только не обессудь... Скажи как мужчина мужчине, кем тебе приходится Варвара? Женой она тебе быть не может. Тогда кто же она?

— А почему она не может быть женой?

Хабило набычился, обошел Пашуту вокруг, ему не стоялось на месте. Пашуте почудилось, будто дверь в доме отворилась и там мелькнула озорная Варенькина физиономия.

— У нас же откровенный разговор, — с досадой бросил Хабило. — Иначе как мы поймем друг друга?

— Вы правы, Петр Петрович. Она мне не жена.

— А кто же?

— Племянница по отцовой линии.

— А зачем вы с ней сюда приехали?

— Это вообще-то дело сугубо семейное. Но от вас скрывать глупо. Случилась с ней маленькая женская оплошность, пришлось на время ее отправить из Москвы. До выяснения всяких иных обстоятельств.

— Какого же рода оплошность?

— Вот этого, извините, сказать не имею права. Не моя тайна. Большие люди замешаны. И вам не уступают по положению. Ну, а меня с ней послали вроде как телохранителем.

Хабилу это объяснение удовлетворило, хотя было видно, что поверил он лишь отчасти. Он теперь зашел за машину и смотрел на Пашуту издали.

— Тогда, значит, так, Павел. Слушай внимательно. Варвару необходимо переправить в город. Здесь ей не место. Ты понимаешь меня?

— Понимаю. А зачем ей в город? — Пашуте приходилось вертеться, чтобы угнаться за передвижениями чем-то сильно озабоченного начальника.

— Конечно, я, может быть, не компетентен, но, по-моему, у Варвары талант. Ей в глуши томиться незачем. С талантом надо к народу идти. Я вот беру с собой некоторые ее работы, покажу кому следует, а тогда уж решим окончательно. Надеюсь, у тебя возражений не будет?

Хабило обогнул машину и приблизился к нему с другой стороны.

— Какие могут у меня быть возражения... А где она в городе будет жить?

— За это не беспокойся, общежитием на первое время обеспечим. — Хабило был доволен плавным течением разговора. Видно, ожидал от Пашуты сопротивления и приготовился к нажиму. Теперь он стал похож на мальчугана, которому удалось легко заполучить чужую желанную игрушку и оттого он был несколько обескуражен.

— А мне нельзя полюбоваться на ее работу? — спросил Пашута.

— Она разве тебе не показывала?

— Вы же знаете, она застенчивая.

Хабило помедлил, потом достал с заднего сиденья ватман, перевязанный ленточкой. Прикинул, откуда светит солнышко, поманил Пашуту к забору. Когда развернул лист, Пашута невольно охнул. С плаката на него глядел вполне узнаваемый Петр Петрович Хабило, но в каком виде, боже ты мой! Он стоял на крутом утесе над быстро текущей рекой, в руках, задранных к небу, здоровый валун, в круглой коротконогой фигуре мощный порыв, но на симпатичном лице с выпученными глазами ни капли напряжения, только веселая усмешка, как бы поддразнивающая зрителя: «Ну что, браток, а тебе так-то слабо?» Под картиной, выдержанной в изумрудных тонах, алая яркая надпись: «Мелиорация — путь к плодородию и счастью!» Пашута сначала охнул, а после сдавленно хихикнул. Он подумал: «Ну и Варька, черт бы тебя побрал!»

— Да, да, — Хабило внимательно следил за произведенным впечатлением, — кое-какие детали не вполне соответствуют. Но в общем как тебе? Вдохновляет?

— Слов нет. Вы тут, Петр Петрович, прямо как живой. Надо же так уловить! Девчонка совсем, а будто в душу заглянула. На выставку бы надо отправить.

— Ну-ка подержи, а я еще издали гляну.

Отошел шага на три, прищурился, одна бровка скакнула к виску, как кузнечик.

— На выставку, говоришь? А это идея... Только вот... как бы чего не подумали. Я все же официальное лицо, а здесь... Могут придраться.

— Да вы что, Петр Петрович! Дураки, конечно, найдут к чему придраться. Но это же искусство. В нем главное — правда чтобы была. Да и кого она могла нарисовать, по совести-то? Не меня же. Я такой камень и не подыму. Пожалуй, если вы его швырнете, река из берегов выйдет. Потоп будет вселенский... Молодец Варька!

Хабило отобрал у него плакат, скатал в трубочку, аккуратно перемотал ленточкой.

— Покажу там у нас... кое-кому сведущим... Посоветуемся. В любом случае надо Варвару определять по художественной части. Ты, Павел, не обижайся, но она птица не твоего полета. Я от Спирина слыхал, вы тут аграрную революцию делать нацелились, это пожалуйста. Мы вас, коли понадобится, враз поправим. А ей тут болтаться не след. Годик в городе на виду поработает, зарекомендует себя, мы ей такую характеристику отпишем, в любой институт ехай. У нас есть один, Вахромеев по фамилии, член Союза для художников. Сейчас он, правда, малость спился, но советом сможет помочь. И ему будет добрая встряска. А то с ним как заговоришь о чем путном, он одно в ответ: искусство — святое дело, указаний не терпит. Вот пусть и поглядит, как нынешняя талантливая молодежь смотрит на это дело. Искусство должно до народа доходить, а не всякие фигли-мигли... Я хоть специального образования не имею, но кое в чем смыслю с политической точки зрения. При правильном руководстве Варвара далеко пойдет. Короче, жди меня завтра-послезавтра. И ее как-нибудь поаккуратней подготовь.

— А вдруг она без меня ехать не захочет?

— Не дури, Павел. Для тебя забава, а у ней судьба, возможно, в одночасье решится. Ты учти и то, что я пятый год в разводе нахожусь.

— Как вы тонко все предусмотрели, Петр Петрович, — восхитился Пашута. — А ей-то, Вареньке, хоть намекнули?

— Чего намекать, — самодовольно усмехнулся Хабило. — Она не дитя. Это она мне портретиком кое на что намекнула. А, Павел?.. Но ты помни, будешь мне другом, я друзей не бросаю на произвол судьбы. В городе у меня сейчас положение твердое. Ну, бывай!

Пожав Пашуте руку, гость нырнул в «жигуленок» и был таков. Пашута смотрел вслед машине до тех пор, пока она не свернула в лесок. Потом побрел в дом.

Варенька ждала его на кухне, сидела на табуретке, невинно сложив руки на коленках. Он только рот открыл, но она его опередила, проворковала восхищенно:

— Ой, Павел Данилович, хороший мой! Можно вас поздравить? Теперь у вас будет уже три жены? Это ж надо, как настоящие мужчины устраиваются!

Он увидел, что лицо ее перекошено злой издевкой, но не мог поверить, что из-за него, из-за его женщин она всерьез переживает, не настолько был глуп. Все же начал поспешно объяснять, кто такие новые приезжие, будто оправдывался. Балабонил, как на сцене, так хотелось почему-то ее рассмешить, расшевелить. Он вдруг понял очень важное: в Вареньке была естественность. Она вела себя только так, как было свойственно ей, а если притворялась, то и притворство ее ощущалось лишь как одно из натуральных настроений. Потому и душа Пашуты, издерганная, как у всех людей, житейской круговертью, около нее успокаивалась и замирала.

Пашута оборвал на полуслове свой треп о Раймуне и Лилиан, спросил совсем о другом:

— Ты жалеешь, что мы сюда приехали?

— А куда мне было деваться?.. Ой, да не думай ты об этом, все образуется.

— Что образуется, Варя? Давно нам пора поговорить всерьез. Ведь мы с тобой в каком-то чудном положении.

Варенька выудила сигарету из пачки и ловко от спички прикурила. Этот жест — из ее прошлого, и там еще много такого, чего не поправить.

— Я что-нибудь не так сделала, Паша? — спросила с удивительно ясной улыбкой. — Тебе не понравилось, что я заговорила о твоих женщинах? Я не имею на это права?

— Имеешь! — горячо отозвался Пашута. — Но не в этом суть. Как мы дальше будем? Ты из дома почти не выходишь.

— Тебя что мучит-то, Паша?

— Мне кажется, я тебя украл. Ты сама говоришь, у тебя не было выхода. Но он был, Варя. Хочешь, сегодня же отправлю тебя домой?

Он ждал ответа бестрепетно, как раскаявшийся преступник ждет объявления кары. Ему даже было не очень любопытно, что она ответит. Если соберется в Москву, он поедет с ней вместе. Это все равно случится рано или поздно. У нее там родители. А его родители давно в земле сырой спят.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Я тебя не держу, ты свободный человек.

— Зачем ты так, Паша? — она смотрела на него почти с состраданием. — Не терзай себя понапрасну. Разве ты ничего про меня не понял? Я живу, как сама хочу. Меня принудить ни к чему нельзя. Говорят, это безнравственно — жить, как тебе хочется. Папочка об этом вечно талдычил. Он считает, человек должен жить для людей. Я так не думаю. Это пустые слова. Кто больше всех уверяет, что живет для людей, тот и есть главный обманщик. Все врут про это. Родители врут детям, им так удобнее. И взрослые врут друг другу, потому что так принято, но никто никому не верит. Все словно сговорились говорить одно, а жить по-другому. А я не хочу. Как думаю, так и живу.

Мне нравится жить для себя. Наверное, это потому, что я никого не любила. Когда полюблю, буду жить для другого, может быть, для тебя, Паша. Все очень просто. Ты не расстраивайся, ты хороший. Ты лучше всех, кого я знала. Я не поеду домой, не гони меня, пожалуйста! Я еще с тобой побуду.

Пашута попрочнее укрепился на стуле. Жарко ему стало.

— Тебе, Варенька, цены нет. Только ты этого не понимаешь.

— Я-то понимаю, — утешила она, глядя блестящими, мудрыми глазами. Куда-то ухнули годы, разделявшие их с Пашутой. Сейчас она была намного старше его и видела его насквозь. Под ее нестерпимым взглядом он как-то съежился. «Сейчас я ее обниму, — подумал он, — а уж потом ничего не поправишь». Она угадала его мысли, и внезапно нетерпеливое ожидание отразилось на ее лице сумеречной усмешкой. Лихим сквознячком потянуло по кухне. Но Пашута в который раз совладал с собой.

— А этот-то Хабило... — сказал с попыткой отвлечься от главного. — Забрать тебя в город собирается. Так ему твоя картина глянулась.

— Ой, умора! Я думала, он ругаться будет. А он... Ой, Пашенька, какие же придурки живут на белом свете. Мы тебе, говорит, поможем. Талант должен принадлежать народу... Загундел, загундел, а глазками так и шарит по мне. Только бы, думаю, не набросился. Такую невинность изобразила, ты бы, Паша, довольный остался.

— Сволочь!

— А потом так насупился, заиндевел весь и речет: «У вас с этим человеком, надеюсь, ничего такого нету?» Это про тебя, Паша. «Нет, — отвечаю, — между нами ничего такого и быть не может. Павел Данилович мной брезгует. А что, говорю, вы имеете в виду, товарищ Хабило? Вы на что-нибудь неприличное намекаете? Если вы на это намекаете, то я даже ни с кем не целовалась ни разу». И знаешь, что он сказал?

— Что он пятый год в разводе?

Варенька оторопела.

— Ты что, подслушивал? Паша, да ты телепат. Ой, я теперь тебя еще больше буду бояться... Но он так именно и сказал. Сколько ему лет, как ты думаешь?

— Чего мне думать, это ты думай. Жених заманчивый. Он мелиоратор, ты художница, будет интеллигентная семья. Опять же рано или поздно его в тюрьму упрячут, все добро тебе останется.

— А за что его упрячут, Пашенька?

— Шебутной он. Реки собирается поворачивать. Обязательно когда-нибудь с него судом спросят.

Варенька потушила сигарету в блюдечке, потянулась, простонала томно: «Ой, все косточки разболелись». Но Пашута смотрел на эти ее затейливые ужимки уже спокойно. Что-то в нем угасло, как после большого трудового дня. «Пустое, все пустое, — думал он. — Сколь раз в жизни бывало: померещится чудо, а обернется дрянью».

Но это он врал себе, чудо на сей раз никуда не делось, рядом было, да только он до него не дотягивался, как та лиса до винограда, не хватало ему чего-то, чтобы дотянуться, чему не было определения, но уж во всяком случае — не рук. Руки у Пашуты были как раз ухватистые.

Пошли к Спирину обедать. Раймун дрых с дороги, Семен ушел на склад, но к обеду обещал вернуться. Лилиан, увидя Вареньку, нахохлилась, как мокрая курица. Варенька прямо спросила:

— Вы моему Паше кем приходитесь, девушка? Тоже невестой?

Урсула хихикнула и хотела удрать в комнату, чтобы не присутствовать при опасном разговоре. Но Пашута ее остановил.

— Погоди, Урсула. Варя без цирка не может, ты одна на нее влияние имеешь. Не уходи.

Варя обняла ее за плечи.

— Это правда, Уренька. Ты такая чистая, хорошая. При тебе каждый человек лучше делается. Даже Павел Данилович.

Лилиан наконец переварила вопрос.

— Как я могу быть ему невестой? У меня муж есть. Он пока без вести пропал, но обязательно найдется. И Павел Данилович так считает.

— Еще одна невинная душа, — пригорюнилась Варя, передразнила: — «Павел Данилович считает...» Да этот Павел Данилович скорее всего вашего мужа и подбил на какое-нибудь злодейство.

Лилиан, как и в первый раз, начала знаками выманивать Пашуту для интимной беседы, причем делала это так энергично, с такой трагической миной, что Варя растрогалась.

— Да выйди ты с ней, Павел Данилович, выйди. Я не обижусь. Если женщина просит...

Все же дальше сеней Пашута не двинулся. Тут ему Лилиан прошелестела в ухо зловещим шепотом:

— Опомнись, Паша, какая она тебе пара! Она тебя так окрутит!

— Ты в эти дела не лезь, Лиля,— укоротил ее Пашута. — Они тебе не по уму.

— Паша, не сердись! Ты ведь не знаешь, как я к тебе отношусь. Ты столько для меня хорошего сделал.

— Ты про что?

— Про меня никто не догадывается. Думают, я бесчувственная. А вот когда муж пропал, я чуть не умерла. И ты один ко мне по-человечески отнесся, пожалел. Это так важно для женщины, Паша. Если тебе помощь моя понадобится, я счастлива буду.

Пашута догадывался, что это значит, когда женщина вроде Лилиан предлагает помощь. Ласково погладил ее литые плечи, от чего она встрепенулась, как кобылица на лугу. В сенях было тесно, и от ее резкого движения Пашута, оступившись, повалился на какой-то ящик, попутно зацепив с гвоздя ворох одежды, и через секунду барахтался на полу в совершенно нелепом виде. На шум первой примчалась Варенька. Обстановку она мигом оценила.

— Что ж вы прямо здесь расположились? — заметила высокомерно. — Павел Данилович, ну не терпится, шли бы домой. Надо же какие-то приличия соблюдать.

Явился Раймун. Со сна он никак не мог разглядеть, кто на полу копошится.

— Пьяный, что ли, какой?

— Павел Данилович ухнул под вешалку, — пожаловалась Лилиан. — Ах, беда какая! Что же вы не встаете, Павел Данилович? Вот, обопритесь на мою руку.

— Так это ты, Пашка, колобродишь, людей пугаешь, — Раймун произнес это таким тоном, что, дескать, тогда удивляться нечему. — Видать, мои денежки догуливаешь? А ты, Лилька, брысь отсюда! Тебя только в этой компании не хватало.

— Вы не правы, добрый хозяин,— отозвался с полу Пашута. Ему лень было подниматься. Так уютно он пристроился на тулупе Спирина, век бы лежать. — Ваши денежки я все полностью отправил.

— По четыре-то рублика за кило? Это ты Лильке рассказывай, у ней уши резиновые.

Урсула накормила всю артель борщом с пирогами, и Пашута почувствовал себя совсем превосходно. Милые пустяки, приключившиеся с ним за утро, смягчили сердце. Хотелось сказать что-то доброе, значительное Варе, бросающей на него укоризненные взгляды, и Раймуну, поедающему борщ с брезгливой миной, и Лилиан, вечному чуду природы, и, уж конечно, безответной Урсуле. Благость на него снизошла. Он думал: в конце концов, любое проявление жизни следует принимать как подарок. Дымящийся багровый борщ в тарелках, Вари-

но случайное прикосновение — все это, может, и есть счастье, и другого не будет.

Вечером, когда со Спириным пошли прогуляться перед сном, он был все еще в размягченном состоянии.

— Наверное, зря ты все это затеял, Сеня. Тебе нужны другие люди. Мы все здесь случайные. На большое дело одного азарта мало. Со старухами да с дедом Тихоном ты только Хабилу рассмешишь.

— Вроде отрекаешься, Паша?

В неверном свете звезд худое, острое лицо Спирина давало синеватый отлив, точно страшная болезнь на нем отпечаталась. И голос был гулкий, скорбный. Пашутины слова глубоко уязвили его. Пашута пожалел друга и позавидовал ему. Надо же, у каждого свое болит. У Пашуты — Варенька в душе занозой зудит, а Спирин болеет тем же, чем вся страна больна. Земля в Глухом Поле обездолена, и Спирин от горя помереть готов — у него, выходит, забота повыше, государственная.

— Ни от чего я не отрекаюсь, брось ты. Мираж все это. Коммуна твоя стариковская — мираж, и моя беготня — тоже мираж. Наша жизнь, Сеня, давно за середку перевалила. Нам бы на том успокоиться, что рукой удается потрогать. Чего зря башкой в стену биться? Не научились мы с тобой жить, друг любезный.

— Странно от тебя это слышать, — возразил Спирин. — За химерами я не гонюсь, но и жить сурком стыдно... В стену, говоришь, не стоит башкой биться? Вот оттого, что ты так думаешь, Хабило кругом торжествует... Забудь лучше, Паша, эти свои слова. Настроение у тебя поганое. Это пройдет... Я знаю, что тебя мучит. У тебя с Варей не все гладко. Прости, я бы не сказал, да раз такая минута. Как у тебя с ней?

— Люблю ее, Сеня. Кажется, впервые женщину полюбил.

Спирин вздохнул, полез за сигаретами. Закурили на ходу, и два огонька поплыли по смуглому холсту ночи живыми точками. Воздух был такой, что протыкать его сигаретами было кощунством.

— Такая ли тебе нужна, Паша? Я ничего против Вареньки не имею, молодая, красивая, но тебя ведь она не поймет. Вы с ней в разных мирах живете.

— Знаю, Сеня.

— Я тоже сперва насчет Урсулы сомневался. Другая кровь, все такое... Оказывается, это значения не имеет особого. Страшнее, когда время разделяет. Она ведь у тебя, Паша, во французской кроватке, верно, качалась, пока мы с тобой куску ситного радовались, как празднику... Смотри сам. На нее годы запросто можешь ухлопать.

— А куда их копить? — со смешком спросил Пашута.

За полночь вернулся Пашута домой. Постоял малость на крылечче, послушал, как дышит ночь. Первобытное это дыхание будоражило, от него в грудь натекала небесная истомная влага.

На кухне щелкнул выключателем — электричество отключено. Впотьмах нахлюпал воды в кружку, попил. В комнату пробрался, полежал поверх одеяла, не раздеваясь. Варина дверь, как водится, полуоткрыта. «Шалунья, — подумал с печалью. — Ведь спит, поди, давно без задних ног».

Но Варя не спала. Она слышала, как Пашута стоял на крыльце, как пил воду и как лег, не заскрипев пружинами. Варя чувствовала себя несчастной, маленькой и потерянной. Днем бодрилась, но ближе к вечеру накатывало странное беспокойство, неведомое ей прежде. Иногда чудилось, что из темноты подкрадывается что-то бесформенное, с тусклыми глазами. Невнятный страх теплял за сердце бархатной лапкой. Ей стоило усилий лежать неподвижно, особенно когда оставалась одна. Она пыталась понять свое новое состояние. «Может быть, — думала она, — начинается расплата за выброшенные на ветер, прекрасные юные годы?» Мысль была смешной. «Да перед кем я ви-

новата? Только перед папочкой и мамочкой. Но им я не принесла большого горя. Не рассчитывали же они всерьез, что я буду вечно тереться возле их ног, как домашний зверек? У них своя жизнь, у меня своя. Пусть я ее не слишком складно начала, но все еще сто раз переменится. О чем горевать? Я красива, молода, умна — и так будет долго. Поскорее бы только появился человек, который оценит мои достоинства и полюбит меня и которого я тоже полюблю. Лишь бы кто-то догадался, как охотно, жадно и покорно я сумею любить... Вот Павел Данилович догадался, но кто он?»

Она не заблуждалась на его счет. Хороший, добрый человек, она ему благодарна. Он понапрасну терзает себя и теряет время: то, что он ищет в ней, она вполне может дать ему. Ей самой все чаще хотелось прижаться к нему, обнять такого сильного, властного, но ничуть не загадочного. В нем все на виду. Он не тот, от кого могла бы «забалдеть» современная «герла». Бедняжка Пашенька и сам это знает. Он высоко замахнулся. Он ждет от нее не ласки, а любви. Но этот предмет, увы, от наших желаний не зависит. Да и какая с ним была бы жизнь? Бесконечные хлопоты по хозяйству, рождение детей, тупое сидение у телевизора — и ничего кроме. Это не для нее... Пусть лучше обнимет ее и задушит. Она не против. Пусть лучше гибельная ночь утопит их обоих в черной жирной земле. Она согласна... Но будущее с Пашей вдвоем? Нет, она уступает это счастье без борьбы. Бери, кто смелый.

Но вот чудно, когда Варенька начинала так насмешливо думать о нем и его предостерегать, беспокойство ее утихало и блаженное тепло растекалось в груди. Сто раз собиралась удрать в Москву, но ее останавливала мысль, что, значит, она никогда его больше не увидит. Павел Данилович не простит ей побега. Как на это решиться, если она постоянно — что же это такое? — ощущает его тихое присутствие.

«Приходи,— умоляла Варенька,— сядь на кровать, протяни руку. Я ничем тебя не обижу, и мы вместе во всем разберемся. Ну, чего ты ждешь? Или хочешь, чтобы я сама? Ты ведь очень плохо обо мне думаешь, ты ведь думаешь, что мне это ничего не стоит... Ну и жди, безмозглый чурбан, еще хоть тысячу лет!»

8

Наконец пришла пора сажать картошку. Спирин в ту ночь, как перед сражением, почти не спал. Выход на картошку он планировал как психологическую операцию, которая, по его замыслу, должна объединить собравшуюся здесь публику в боеспособный трудовой коллектив. Картошка была как бы пробным шаром, который, надеялся Спирин, пробьет в индивидуальном сознании каждого селянина оптимистическую брешь. Он даже хотел провести праздничный митинг, чтобы втолковать людям смысл предстоящего трудового подвига, но Пашута его отговорил. Пашута напомнил, что метод предварительной накачки на митингах скомпрометирован всякими недоносками, подобными Хабиле, а ему, Спирину, революционеру аграрного дела, надлежит искать какие-то иные подходы к людям.

Спирин уловил насмешку, но все же с другом согласился.

— Ладно, работа сама себя покажет,— заметил он, мечтательно потирая руки.

Поутру на поле вышли не все разом, а как бывает именно на празднике — тянулись парами и поодиночке. Спирин развел всех по местам довольно умно. Старух разместил кучно, чтобы им сподручнее было соревноваться и отдыхать, остальных определил согласно пожеланиям. У кого пожелания не оказалось, тех расставил по собственному умыслу. К примеру, Владика Шпунтова отделил от Вильямины,

но так, чтобы они двигались навстречу друг другу. Вильямина высказала мысль, которая, наверное, у многих была на уме:

— Мне все равно, где стоять. Я вообще не понимаю, зачем пришла.

У Спирина готов был ответ:

— А мы никого не неволим. Дело добровольное. Кто хочет, работает, кто не хочет — дома сидит. На свежем воздухе денек в земле покопаться — это никому, думаю, не повредит.

Он был взвинчен, левая щека у него подергивалась. Но заметил это один Пашута. Он опять остро пожалел друга. Было бы из-за чего суетиться, а вот поди же ты. В который раз — волосы дыбом! — Спирин к нему подбежал: «Как думаешь, осилим?» Для Спирина очень важно было начать и кончить работу в один день. Он полагал, такая завершенность сама по себе произведет сильное впечатление — особенно на новичков. Поле он наметил большое, и теперь озирал его с некоторым недоумением. Его испуганному взгляду оно представлялось необозримым. Неужели дал маху?

Пашута самолично выбрал лопату для Вареньки — полегче, поухватистей. Наряженная в его холстинные штаны поверх колготок, в спортивной курточке, она с изумлением вертела лопату перед своим дерзким носиком.

— Пашенька, а как копают, покажи, пожалуйста.

Она действительно первый раз в жизни держала в руках лопату. Вполне возможно, и в последний. И естественно, воспринимала происходящее как очередную забаву. Пашута велел ей натянуть рукавицы. Земля была мягкая, тучная, лопата вонзалась в нее уж точно как в масло, и Варя быстро приноровилась.

Остальных учить было не надо. Спустя некоторое время Пашута поднял голову и огляделся. Люди с разных сторон навалились на поле, как на пирог с начинкой, лица были задумчивы и светлы. Картина, подсвеченная утренним солнышком, вызывала умиление. Старухи управлялись с лопатами ловко, как со спицами, но все же изредка попискивали от забытого за зиму напряжения. Надо их будет вскорости отправить на отдых. Дед Тихон вальяжно опирался на орудие труда, как на посох, но уже опередил соседей на корпус. Неподалеку от него сумрачный Раймун вгрызался в землю с охочим упрямством первопроходца, и видно было, что доволен. Не было только Урсулы, которую Спирин оставил дома готовить на всех праздничный ужин. Лилиан вела полосу рядом со Шпунтовым, они уже перешучивались. Для нее лопата была, что для Вареньки кисточка. «Молодец, Сеня,— мысленно похвалил Пашута друга. — Будет, нет ли из всего этого прок, а все равно — иначе жить нельзя».

— Ты с отдыхом, с отдыхом, Варюха, — обернулся он к девушке. — Не гони. С непривычки уморишься быстро. Ладошки береги, не елозь по черенку. Целый день впереди.

— Неужели за день можно такое поле перекопать? Ты что, Пашенька?

— И перекопаем, и взбороним, и картошку посадим. Видишь, мешки приготовлены.

Варя скинула рукавицы, заправила поаккуратней волосы под платок, туго его стянула — и совсем стала похожа на деревенскую девчонку. Полюбовалась, как Пашута пласты отваливает, красиво, без натуги, точно ровными ломтями хлеб режет, усмехнулась, подначила:

— Ты будто для лопаты родился, Пашенька.

— Каждому свое, это верно,— без обиды согласился Пашута. — Мне — лопату, тебе — мужиков с толку сбивать.

— Ты думаешь, я тепличная? Ну нет, Пашенька, еще посмотрим. Схватилась за лопату, чуть в ногу себе не вонзила.

— Осторожнее, — испугался Пашута. — Осторожнее, Варя. Работа суеты не терпит.

После первого напора, малость поустав, люди распрямлялись, перекидывались друг с другом словцом. Настроение у всех было солнечное, легкое. Спирин подошел к старухам, их тут семеро копошилось, одинаково приземистых, шустрых. Все они были рады, что их не обошли, что спонадобились они на общей тяге, нет-нет да и оборачивались — то разом, то поодиночке — туда, где копал землю дед Тихон. Задирали его тоненькими, озорными голосишками:

— Старичок-то, девоньки, не сомлел бы на солнышке. Ишь как споро, сердечный, устремился.

— Мужик он еще в соку. Упадет, дак мы его под кустик отнесем, приголубим.

— Ой, девоньки, надо б его колышками огородить. А то он только спереди об черенок упирается.

Дед Тихон на заигрывания невест не отзывался, один лишь раз сверкнул в их сторону суровым взглядом.

— Расшамкались, курицы. Глядите, кабы челюсти не повыпадали. Подбирать некому!

Спирин отобрал у старух лопаты, несмотря на их недовольство и видимость сопротивления. Отвел к мешкам с картошкой, велел перебирать клубни, какие годятся — резать на части, раскладывать по ведрам, чтобы в нужный момент не было заминки. Старухи ворчали, то одна, то другая срывались с места, брались за грабельки, красуясь друг перед дружкой, рыхлили уже вспаханную, свежо блестевшую черным потом землицу. Такие неугомонные божьи птахи. Лишь бы кто не надорвался прежде времени.

Вильямина, без устали разглядывавшая Варю, вдруг ойкнув, отшвырнула лопату и побрела по бороздам к Пашуте. Сунула ему под нос большую свою розовую лапу.

— Во, Пашенька, глянь. Пальчик занозила, чего теперь делать?

Пашута покосился на Варю, та ковырялась в земле, как в альбоме с картинками. Уже с полчаса ворочала без отдыха. Пашута попробовал отшутиться:

— Иди к Спирину, он тебе его отрубит.

— Не-е, Пашенька. Ты наш командир, будь добр, помоги изувеченной женщине... Помнишь, как я руку кипятком обварила? Как ты меня тогда жалел... Ну вынь занозу, Пашенька!

— Да где заноза, не вижу? Придуриваешься, Вилька?

— Ну вон торчит, черненькая... Ой, столбняк может приключиться. Самое это страшное — ранку землей загрязнить. Я читала. Больно, Пашенька, ей-богу. Ну выдерни занозу. Зубками выдерни. Ты же умеешь.

Пока причитала, пока кривлялась, косилась на Вареньку и как бы не замечала угрюмого молчания Пашуты. Она не собиралась устраивать ему сцену, а вот толкнуло в сердце, не выдержала, пришла поближе познакомиться с ослепительной соперницей. Пашуте страсть как не хотелось, чтобы день был омрачен житейскими тучками. Вон уже и Шпунтов набычился, того гляди сюда притопает. Опирается на лопату, как воин на копье.

Тут Варя вдруг вмешалась:

— Можно мне вашу занозу посмотреть?

— Пожалуйста, девушка, полюбуйся.

С полминуты юная, беззаботная Варенька, дитя асфальта, и повидавшая виды, опасная, как тайный удар, Вильямина не пальчик изучали, а пожирали одна другую взглядами, кто кого пересилит? Румянец схлынул с Вилькиных щек, а Варины очи заполыхали прямо-таки адским огнем. Наконец склонилась девушка над ужаленным пальцем, приладилась длинными ногтями, дернула раз, другой. Вроде бы нарочно делала побольней. Вильямина и ресничкой не шевельнула.

— Вот она, вот! — радостно воскликнула Варя, демонстрируя на ладошке крохотный древесный волосок. — Вытянула. На, смотри, Павел Данилыч.

Вильямина небрежным движением отряхнула юбку, повернулась, пошла на свое место. Все же на середине пути оглянулась:

— Спасибо, сестренка!

— Три жены, — сказала Варя Пашуте, — и все картошку сажают. Какое-то неразумное распределение. Ты не находишь, дорогой?

Пашута копал, не отвечая.

— Она мне понравилась, у тебя хороший вкус, Паша. Такая высокая вся, костистая. Ей сносу не будет. И вторая ничего, которую ты из Прибалтики выписал. Только немного пышновата. Но с тобой она быстро похудеет. Да, Паша?

Пашута пыхтел, кидал лопату за лопатой.

— Ну отдохни, чего ты? Поговори со мной. Какой ты, однако, жук трудяга... А ведь женщин не одной таской, но и лаской воспитывают. Вот зачем ты ей с занозой не помог? Она бы тебя после этого еще крепче любила.

— Ну, завелась, Варька,— буркнул Пашута сквозь зубы. Ему показалось, вся их нестроевая артель с удовольствием прислушивается. Чего он по-настоящему не любил, так это публичных выяснений. — Сдались тебе эти несчастные женщины?.. Они же тебя не трогают.

— Ах, признаешь, что они несчастные? Еще бы! Тем более что меня одну при себе держишь. Мне лестно, но это несправедливо. Давай мы по очереди станем у тебя ночевать? Или так, которая больше картошки насадит, та к тебе идет. Вроде как награда за беззаветный труд.

— Мочи нет копать, вот и балаболишь.

— Рабовладельцем бы тебе родиться, Пашенька.

Владик Шпунтов пахал как одержимый, не разгибаясь, перекуривал на ходу, сжигая очередную сигарету до фильтра. Словно в землю решил закопать отчаяние. На него сильно подействовало, как Вильямина со своей занозой к Кирше ходила. Но была в этом переживании и некая отрада. Кирша обошелся с Вильяминой заносчиво, занозу вынимала эта московская шлюшка — Варвара, новая присуха Пашутина. Кто такая Варвара, Шпунтов ни минуты не сомневался. Он таких девиц, длинноногих и остроумных, слава богу, перевидал на своем мужском веку предостаточно. Все они одним миром мазаны. В них радости нет. Это товар серийный. Продаются в розницу и оптом за фирмовые шмотки и за бутылку с иностранной наклейкой. Мнят о себе высоко, все с претензиями, а нутро пустое. И в башке труха. Шпунтов им цену знал, ни одной верить нельзя. И вот поди ж ты, Павел Данилович, кажется, мужик ушлый, огни и воды прошел, а на мякину клюнул. Со стороны смотреть, смешно, пожалуй, а если вдуматься — смешного ничего нет. Такая Варька подсечет по ногам хуже, чем бревном по темени. Ну да это не его дело, пусть Кирша сам разбирается. Судя по сегодняшнему случаю, он Вильямину от себя окончательно отстранил. Но смирится ли она с поражением? Дай-то бог. А то ведь если Вильямина пожелает, то уж, конечно, в два счета управится с этой вертихвосткой. Они не соперницы. Это ясно как божий день. Всем ясно, кроме Кирши. И тут опять несуразность. Как можно предпочесть длинноногую шалаву, у которой в мозгу две извилины, такой женщине, как Вильямина, подобной богине. После этого что можно понять в этой жизни?

У Шпунтова со вчерашнего вечера, как огненные колышки, пылали в голове ее жалобные слова. Он попытался в очередной раз поухаживать, вежливо, разумеется, без всяких претензий. Заварки ей подливал в чашку да и погладил легонько по руке, чтобы развеять смуту, синевшую в зачумленном взгляде, который не на него, Шпунтова, был устремлен, а плавал в неведомых далях. Она его руку отстранила, незло укорила:

— Не надо, Владик. У нас же уговор. Потерпи немного. Сердце отболит — твоя буду. Честное слово, верной тебе подругой буду, если сам от меня не откажешься.

«Потерпи!» «Уговор!» Не было меж ними никакого уговора, но ждать он согласен. Им обоим остается только ждать и надеяться.

Отказаться от нее он не в силах. Глубока реченька, да ведь вынесет когда-нибудь на бережок. А пока худо, тонны воды над головой, сквозь них дневной свет еле брезжит. Дыхания скоро не хватит, пловец он оказался никудышный. Он сказал об этом Вильямине, может, ей легче будет. Веселее ведь на душе, когда рядом кто-то тонет.

— Я подожду, Вилечка, не сомневайся. Только дышать мне с каждым днем тяжельше.

— Ты хороший, Владик, ты хороший. Я знаю, какой ты хороший. Это я плохая. Обременила тебя, а ты лучшей доли достоин. Но не могу я сейчас. Раньше бы смогла, с любым другим смогла бы, а с тобой не получится. Хочешь, я тебе правду про себя расскажу?

— Не надо правды, — испугался Шпунтов. — Я и так про тебя все знаю.

Прокатилась и эта ночь по темечку шершавым напильником, спать не дала. А сколько впереди таких ночей?..

Дед Тихон, когда поровнялся с угрюмым, как туча, Раймуном, окликнул его:

— Как тебе наша землица, Роман Михалыч?

Дед Тихон с первого знакомства переиначил имя Раймуна Мальтуса на свой лад, не желая коверкать русский язык. В отместку гордый латыш вообще лишил его имени и величал попросту «стариком». Как Пашута и предполагал, они коротко сошлись на философской почве. Хотя Тихон был постарше лет на двадцать, на многие вещи они смотрели почти одинаково. Правда, это «почти» было весьма существенным и вызывало меж ними ожесточенные споры. Тонкость была в том, что хотя они во всем и соглашались друг с другом, но все же на каждый предмет смотрели как бы с разных сторон. Взять хотя бы вопрос о роде человеческом, чрезвычайно важный для Раймуна, который полагал, что люди окончательно опаскудились, не помнят добра и обречены в скором времени на вымирание, как ящеры минувших веков. Тихон тоже не сомневался, что нынешние представители рода человеческого, эти «сопляки», к коим он причислял всех, кто был моложе его хоть на год, а значит и Раймуна, и в подметки не годятся тем, которые жили до них. Они слабы, бездушны, ни во что не верят, живут одним днем и желают все получить задаром.

Однако было в их суждениях по этому пункту и значительное расхождение. Раймун был уверен, что люди сами во всем виноваты в силу врожденного внутреннего скотства и, таким образом, вполне заслужили свою горькую участь; Тихон же объяснял духовную деградацию общества изменившимися условиями жизни, которые облегчились до такой степени, что человек забыл, почем фунт лиха, и разучился ценить самые дорогие вещи — хлеб и свободу.

Они приходили к разным выводам, касающимся будущих времен. Раймун угрюмо предсказывал, что скоро люди, слава богу, наконец-то укокошат сами себя, и на земле наступит мир и покой, иными словами — царство мышей и тараканов, ибо почему-то именно этим тварям наука предрекает бессмертие. Тихон полемически утверждал, что вселенская катастрофа как раз пойдет людям на пользу, и они быстро угомонятся, когда их жареный петух клюнет. Такое уже не раз бывало на свете.

Когда Тихон в споре доходил до намеков на свои потусторонние контакты, его суровый оппонент впадал в неописуемую ярость и однажды обозвал Тихона выжившим из ума старым придурком. В ответ на оскорбление Тихон благодушно заметил, что лучше быть старым придурком, чем, доживя до седых волос, остаться по состоянию ума в пионерском возрасте. В тот раз их с трудом развели в разные стороны Лилиан и Пашута, причем Раймун, когда его уводили, вопил, что он вообще никогда не числился в пионерах, а Тихон, размахивая пал-

кой, злорадно уськал: «Молокосос! Молокосос!» Ссора меж ними тянулась до сего дня, и, окликнув Раймуна, Тихон как бы протянул руку примирения.

— А чего землица, — нехотя отозвался Раймун. — Не все ли равно, куда зароют.

— Неужто тебе все равно, Михалыч?

Раймун нахохлился, почуяв подвох. Оглянулся на Лилиан, которая копошилась неподалеку.

— Беспокойный ты, однако, старик, словечка без подковырки не скажешь.

— Сроду никого не подковыривал,— искренне удивился Тихон. — Интересуюсь из чистого любопытства. Неужто все одно тебе, где лежать? Я тоже молодой был, но сколь себя помню, тянуло ближе к дому. А как же! Тут родичи захоронены, да мало ли... Услада душе там, где с деревцами, с травой рос. Даже волка в лес околевать тянет, на родину, словом. Никогда волк на равнине не сдохнет.

— Про волка ты верно сказал, старик, — снисходительно согласился Раймун. — Это самое удачное для человека сравнение. Только я-то шерстью пока не оброс, заметь себе. Мне иные, не волчьи мысли доступны. Не желаю гнить в куче со всяким отребьем. Коли ты о смерти заговорил, старик, по моему разумению, лучше нет конца, нежели в огне сгореть. Пусть ничего не останется. Одна зола.

— Верно! — обрадовался Тихон. — Издревле славяне покойников на кострах сжигали. Это хороший обычай. И на капище богу огня молились тож.

— А ты откуда знаешь?

— Да как же, как же... — Тихон замешкался, вспомнив, как злобно относится гость к его откровениям, но остановиться уже не мог. — От сведущих людей знаю. Приходят некоторые, мы и обсуждаем... Да это же тебе все в диковину, Михалыч.

— Ну-ну, давай дальше.

— Не серчай, Рома, понапрасну. Ко мне приходят, к тебе нет — ну и что? Обиды для тебя никакой. Доживешь до моих лет, может, и к тебе наведаются. Ты не ждешь, а они явятся. Вполне может статься. Ты человек неплохой, хотя и озлобленный. Они тебя постепенно утешат.

Раймун резко обернулся к Лилиан:

— Одного не пойму, зачем ты меня сюда притащила? У нас что, своих дураков мало? Прогуляться захотелось, бегуна своего повидать! Ну, повидала. Рада? Копай теперь, копай... Надеешься, заплатят?

Лилиан сделала вид, что оглохла. Она еще, кажется, ни разу спины не разогнула, но далеко не продвинулась. Так копала, точно под каждым пластом мужа искала. Откидывала кучку, аккуратно ее разрубала на мелкие части и подолгу разглядывала. Вид у нее был сиротливый. Не дождавшись от нее ответа, Раймун вдруг отбросил лопату и пошел к деду Тихону, на ходу доставая сигареты, чтобы старик не заподозрил чего худого.

— Закуривай, дедуля, — сказал неожиданно приветливым тоном и даже расплылся в подобии благожелательной улыбки.

— Не курю, соколик. Как есть с войны в рот не беру эту отраву и тебе не советую.

— Опасаешься рак получить?

— А вообще оно ни к чему.

Раймун задымил, огляделся по сторонам, спросил, понизив голос:

— А скажи, старик, как они выглядят?

— Кто?

— Которые, говоришь, навещают.

Дед улыбнулся просветленно:

— Стало быть, уже припекло?

Раймун крякнул, рванулся уйти, но все же смирился. Он грехов за собой не ведал, он, как и многие прочие на земле, надеялся некую общую истину в мире понять. А она ему не давалась.

— Припекать не с чего, — ответил угрюмо, но честно. — А и впрямь блазнится иной раз чертовщина. Вот будто окликнуть кто хочет, а голосу ему не хватает. Опасаюсь я этого, старик... От психушки никто не застрахован. Не хочется, чтобы на цепь посадили на склоне лет.

— Не посадят, — обнадежил Тихон. — Ты шибко об этом не распространяйся — и не тронут. Я вон целый пока... А я-то гадаю, с чего ты на меня аки пес бросаешься? Выходит, у тебя малое знамение было.

— Что за малое знамение, старик?

Раймун более не таил свой острый интерес, но по сторонам глядел зорко, оттого стал похож на коршуна. Тихон поискал глазами, нету ли поблизости пенька, заговорил неспешно, чинно огладив бороду:

— Перед прибытием, сынок, они завсегда сначала дают знамение. Кому голосом, как тебе, кому сквознячком. У них способов много. По сердцу скользнут, как шерстинкой, главное, чтоб ты услыхал. Это вроде проверки. Если услыхал, обязательно придут. Тут сомневаться не приходится. Жди со дня на день.

— А зачем?

— Что — зачем, сынок?

— Зачем приходят и кто? Предупреждаю, старик, коли ты надо мной глумишься, худо будет. Я не погляжу, что из тебя труха сыплется.

— Ничего из меня пока не сыплется, — возразил Тихон. — Скажи, Роман Михалыч, кто тебя по-русски так складно обучил говорить? Вроде без всякого акценту. И жена твоя тоже шпарит, упаси бог. Вы кто по нации?

Раймун, видно, уже пожалел, что поддался слабости и подступил к чумному старику с расспросами. Нижняя губа у него брезгливо полезла на верхнюю.

— Латыш я. Ну и чего?

— Латышей я знавал, серьезные люди. Латышские стрелки были при революции, тоже прославились... Что ж, тогда к тебе твои земляки и наведаются, латыши. К каждому свои ходят, так уж заведено.

— Зачем ходят-то? Ты можешь ответить?

— А ни за чем. Посидите, покалякаете. Они тебе обскажут, как прежде жили. Ты своими горестями поделишься. Но большого утешения от них не жди. Они много сами не ведают. Зато не лукавят. Им лукавить смыслу нету. Это мы привыкли, как чего, дурачками прикидываться. А им без нужды. Они свое честно отбыли.

— Все сказал, старик?

— А чего тебе еще?

Раймун молча побрел к своей делянке, проклиная себя за неуместное ребячество. По дороге наткнулся на Спирина, у которого с самого утра лопата в руках мелькала, как ложка у изголодавшегося едока. За ним черная борозда стелилась, точно трактором вспаханная. Лоб у него блестел от пота, глаза лучились радостью.

— Притомился немного, товарищ Раймун? — спросил с уважением.

— Мне притомляться рано. Я тогда притомлюсь, когда тебя отсюда на телеге вывезут. Ты скажи, как будешь оплачивать наемный труд?

Спирин рассмеялся от полноты чувств.

— Поглядите, какой день, Раймун! Какое солнце. И мы все вместе на картофельном поле. Это ведь блаженство для души. Разве вы не чувствуете?

— Хитрый ты парень. Все вы тут, я смотрю, не простаки.

Владик Шпунтов и Вильямина сошлись посреди поля, куда их привела каждого своя борозда. Владик еле дождался этой минуты.

— Ну что, — спросил осторожно. — Удостоверилась?

— В чем, Владик?

— Напрасно себя унижаешь, Виля. Ты ему больше не нужна. Хоть ты к нему с занозой приди, хоть с подарком, он не оценит. Мне жалко тебя. Неужели у тебя никакой гордости не осталось?

Ее взгляд просиял небесной чистотой.

— Пустое, Владик. Ты об этом не думай. Ты не устал?

— Оставь его в покое, Виля. Ему эта девчонка так кишки перемотает, его никто не спасет. Нам о себе подумать пора.

— Никого я не собираюсь спасать. Какой ты смешной сегодня, Владик. Ты дыши глубже.

К тому часу, когда солнце укрепилось прямо над полем, подоспела Урсула с пятилитровым бидоном молока и корзиной с пирожками и бутербродами. Устроили большой привал. Земля была перелопачена почти вся, оставалось прорыхлить — и можно начинать посадку. Огромную корзину с припасами умяли за пять минут, даже старушки насыщались с таким рвением, будто всю зиму просидели зубы на полку.

Спирин оглядывал всю бригаду торжествующим счастливым взглядом. Пашуте подмигнул победно: а ты, мол, сомневался. Но у того не так уж весело было на душе. Картошку высадить артельно — дело нехитрое, свычное большинству из этих людей. Но о чем это говорит? Человека с земли согнали, посулами его не вернешь. Да и какая в том особая необходимость? Возвращаться к земле затем, чтобы опять всего на Руси в избытке стало, — вряд ли стоит. Тут можно обойтись иными средствами, которые уже придумал машинный век. Правда, чего греха таить, сорвавшись с исконных мест, человек точно становую жилу себе надорвал. Он теперь живет в бегах, не чуя принадлежности своей к великому вселенскому духу. Человек не земле изменил, а сокровенному достоинству в самом себе. Оттого оказался бесприютен и сир в больших и удобных городах. Там скопление, но не общность, там каждый сам по себе держится, уповая хоть в собственных квартирах ненадолго укрыться и уцелеть. А от чего уцелеть? Город давно болен манией самоуничтожения, и обитатель его редко просыпается по утрам с безмятежной улыбкой. Страх неминуемой беды невыносимо давит на сознание. Но что же делать? В деревнях, как эта, доживают век последние старики, они унесут с собой, как тайну, запрятанную в крови первозданную радость бытия. Они этой тайной уже не смогут поделиться. Природа схоронит ее вместе с ними и этим отомстит безумцам, замахнувшимся на ее величие. Спирин тщится влить новую струю в разбитый сосуд. Но кому это по силам? «Как жизнь коротка, — думал Пашута. — Ничего не успел понять, а она уже пролетела. Что теперь? Остаться со Спириным, значит, Вареньку потерять навеки. Она здесь все равно не приживется. С ней в Москву вернуться — как за туманом погнаться...»

— Варенька, как твои ручки-ножки? Держат еще тебя?

— А то! Мне любая работа по плечу, ты не думай. — Голубая молочная капля нежно стекает у нее с подбородка...

После привала Спирин командировал старух с Урсулой, чтобы они помогли ей с праздничным ужином. Старухи поартачились для виду, но подчинились, уж больно их солнце разморило, поплелись к поселку печальной вереницей.

Остальные разделились на две бригады. Одни, кто пожилистей, доканчивали пахоту, другие — во главе с дедом Тихоном — занялись картошкой. Тихон к своей задаче отнесся серьезно, собрал вокруг себя девиц и произнес напутственное слово:

— Значит так, городские дамочки. На каку глубину пихать и на каком расстоянии — все сейчас покажу раз и навсегда. Баловства быть не должно. Это вам не конфеты хрупать. После войны мы шелуху садили, а урожаи были не чета нынешним. Это всем надобно помнить. И ты, Варька, не скалься сверх меры. Чуть чего не так — во! Поняли, девицы-красавицы?

Кулак у деда был мосластый, желтого цвета, и понять его было нетрудно. Однако Варя уточнила:

— Может, нам тоже шелуху посадить, дедушка? Раз от нее урожай больше.

Тихон ей не ответил, а Вильямина и Лилиан поглядели на юную соперницу с неодобрением.

Ближе к вечеру, когда работа пошла на убыль, а Варе чудилось, что она уже сто лет ползает взад-вперед по этому проклятому, стылому полю, по дороге от села подкатил «жигуленок» и остановился в отдалении. На него поначалу никто не обратил внимания. И самого Петра Петровича Хабилу, одетого в темный плащ военного покроя, заметили, когда уж он приблизился вплотную.

— Начальство прибыло, — окликнул Спирин Пашуту. — А ведь сегодня воскресенье. Какой черт его принес на наши головы?

— Ничего страшного. За нами вины нет. Картошку садим для общей потребности.

Хабило, насладившись зрелищем трудящегося народа, зычно гаркнул:

— Варвара! Эй, Варя! Поди сюда на минутку.

Варя зов услышала, подняла голову и из последних сил, но приветливо Хабиле улыбнулась. Однако к нему не пошла, ей оставалось два рядка, и она прикинула про себя, что дойдет до края, там ляжет на траву и будет лежать до тех пор, пока рабовладелец и самодур Павел Данилович не донесет ее на руках до самого дома.

Своим поведением она поставила Хабилу в неловкое положение. Кричать вторично было смешно, идти самому по перепаханному полю в лаковых штиблетах — далеко и глупо, стоять на месте и делать вид, будто о чем-то задумался, значило ронять авторитет руководителя.

Хабило достал сигареты и закурил. «Ну, погоди,— подумал он.— Ты еще узнаешь, девочка, что со мной нельзя так обращаться».

Тут, слава богу, за очередной порцией картофеля к мешкам подошел дед Тихон. В руках у него болтались две пустые корзины.

— Здравия желаю, ваше благородие, — чинно поздоровался он с Хабилой. Тот кивнул небрежно:

— Все идиота из себя корчишь, долгожитель? Пора бы остепениться... Что это вы, я гляжу, затеяли не ко времени? Вы бы еще под снег ее запихнули, картошку-то. Это все, конечно, Спирин, думает, что он умнее всех.

— Никак нет, гражданин хороший. Тут думать никому не приходится. Сама природа диктует... А ты, видать, с указанием прибыл или как?

Никто на них больше не оглядывался, будто и в самом деле не руководитель из города прибыл, а случайного прохожего попутным ветром принесло. Но ведь и прохожего невежливо так встречать. Из машины Хабило вылезал в самом благодушном настроении, предвкушая доверительное объяснение с девушкой, которой он привез желанные новости. Но теперь в нем злобный сверчок расправил усики. Да еще эта вынужденная беседа с дурным стариком подлила масла в огонь. Нет, взбрыки зарвавшегося поганца Спирина просто так спускать нельзя. За последний год он совсем охамел.

— Указания такие, дед, — бросил Хабило. — Кликни сюда Спирина.

— А ты сам рази не можешь? — удивился Тихон.

Хабило попытался образумить старца сверлящим взглядом, испытанным оружием в обращении с подчиненными, но утонул в океане младенческой приязни, отразившейся на бородатом лице Тихона, как свет на иконе, и только выругался сквозь зубы.

— Эй, Спирин! — гаркнул сорвавшимся голосом. — Окажи любезность, подойди.

Спирин помешкал, но все же сдвинулся с места, заспешил, неуклюже задирая ноги между грядок. За ним потянулся Пашута. Они пред-

стали перед начальством: Спирин с оскорбленным видом, его дружок с радостной гримасой во всю физиономию.

— Здравствуйте, Петр Петрович! — вдруг рявкнул Пашута и отвесил гостю поясной поклон.

— Вы, ребятки, не паясничайте, как бы расхлебывать не пришлось. Ну да ладно... С тобой, Спирин, как ты это поле самовольно обходил, мы после обсудим. А для тебя, товарищ Кирша, у меня известие доброе. Варю забираю в город, как и уговаривались. Плакат я показал кому надо, одобрили и местечко ей подобрали соответственно. Будет жить и работать по призванию. Такие вот пироги. За ней я, собственно, и приехал...

— Не может быть! — изумился Пашута.

— Почему не может, когда я здесь.

— А вы не передумаете? А то обнадежите несмышленую девчонку, поманите калачом, а потом...

— Мели, Емеля, — самодовольно заметил Хабило.

— Варька! Варька! — заорал Пашута так истошно, что дед Тихон вздрогнул и укоризненно покачал головой. — Беги сюда! Все бросай! Слышишь, Варька!

«Ладно, — подумала Варя, — пойду, если зовет любимый. Но он об этом пожалеет». Кивнула тем, с которыми за несколько часов двумя словами не перекинулась, такие уж у них установились сердечные отношения. Не будь их, она бы давно сломалась. Но не могла позволить себе выказать слабость перед Пашиными пассиями. Понимала, что глупо, эти две здоровенные телки привыкли к физической работе, а ей все равно за ними не угнаться, ее сила в другом — все понимала, но не желала смириться.

Надо сказать, впервые Варя обнаружила в себе такой азарт, и сама была не рада. Она и к Хабиле сразу не ринулась, потому что заметила двусмысленную усмешку Вильямины, только прикусила губы. Земля на мгновение поднялась на дыбы, оскалила черный зев и снова выстелилась под ступнями промозглым полотном. Пашуту она проклинала на все корки, как никого в жизни не проклинала. Самовлюбленный урод, мужлан! Придурок лопоухий! Орангутанг с одной извилиной! Да как он смеет!

А ему, видно, даже не икалось. Он забыл про нее. Ни разу, кажется, не глянул в ее сторону. Какое ему дело, деревянному, что она погибает на этом адовом поле, какое и Данте не снилось в его кошмарах. И все не ради ли него? Чего бы иначе она стала пластаться — руки по локоть в грязи, ноги крючком, поясница словно в гипсе, голова в тумане? Только чтобы вам быть угодной, любезный Павел Данилович. Только чтобы вы не прогневались на рабу свою. Ну погоди, черт двурогий!

Когда он окликнул ее, она больше не мешкала — хватит, кончен бал. Пропадите вы все пропадом. Воспитывайте трудом родных деток и лошадей.

Чем ближе подходила, вырывая ноги из борозды, как из капкана, тем лучезарнее расцветала в улыбке. Один Пашута заметил в ней что-то неладное, но не придал этому значения. Поспешил обрадовать подругу:

— Ну вот, Варюха, счастье нам привалило, а тебе особенно. Забирает тебя Петр Петрович в город. К себе, стало быть, приближает. Будешь ему плакаты рисовать. Правильно, товарищ Хабило? Ну, благодари, Варвара, чего растерялась? Вы уж будьте к ней великодушны, Петр Петрович, она девица покорная, но... маленько того... Видите, от радости скисла.

Чего ожидал Пашута, распинаясь таким образом, неведомо, но дождался он Вариной немилости.

— Хватит языком молоть, Павел. Надоело твое кривляние, — заметила брезгливо, даже на него не глядя, а лаская призывным взором

мужественного Хабилу. — Объясните, пожалуйста, в чем дело, Петр Петрович? У этого клоуна никогда ничего не поймешь. Вы за мной приехали?

Хабило вспучил белые бровки, покосился на Спирина. У того был вид, будто его здесь нет.

— Может, в сторонку отойдем?

— Говорите смело при них, — Варя повела плечами, давая понять, что все эти люди для нее не более чем пустое место. — Мне трудно двигаться. Я изможена принудительным трудом.

— Да это же надо придумать, — деланно возмутился Хабило. — Городская девушка, изнеженная... конечно... разве можно... А у меня дельце простое. Посоветовался я со специалистами, все в один голос уверяют, что у вас, Варя, в наличии талант. То есть работу мы вам уже подобрали по профилю, художником-оформителем в Дом культуры. Оклад сто двадцать рублей, ну и всякое такое.

— Что всякое такое?

— Льготы могут быть, со временем надбавки. Но это, разумеется, в процессе творческой деятельности. Как себя зарекомендуете...

— А жить где?

Варя спрашивала деловито, с напором, и после каждого вопроса Хабилу словно пронзал ток. Не привык он, чтобы юные девицы так независимо к нему обращались, да еще в присутствии посторонних. Он кожей чувствовал, тут может быть для него какой-то урон. Спирин остер, все сумеет на свой лад переиначить, да и этот Павлуша не такой простачок, каким прикидывается. Ишь, глазенки вылупил, как у кота. На миг мелькнуло у Хабилы подозрение, что вдруг не по возможностям он размахнулся, но отступать было некуда.

— Детали лучше обсудить в конторе, Варя... Жить, что ж, пока общежитие предоставим. У нас хорошее общежитие, комната на две персоны. Кабинет в Доме культуры будет отдельный. Да чего тут, поехали, по дороге обмозгуем.

— В комнате на две персоны я жить не хочу,— сказала Варя. — Это даже гостя некуда привести.

— Еще кто сосед будет, а то с ума сойдешь, — поддакнул Пашута. Варя на него и бровью не повела.

— Сами рассудите, Петр Петрович. Я вас вдруг решусь пригласить к себе. А там чужой человек. Всем будет неловко.

Опытный Хабило все же попался на удочку девичьих сумасбродных глаз. Самодовольно заметил:

— Зачем к тебе ходить, у меня двухкомнатная квартира. Хоть в футбол играй.

— Это меняет дело, — сказала Варя. — Хотя в футбол я не играю.

Спирин сказал с возмущением:

— Ну вы даете, братцы! Уши вянут слушать.

— А ты, Сенечка, скомпрометировал себя дружбой с этим человеком, — Варя ткнула пальцем в Пашуту. — Поехали, дорогой Петр Петрович. Я готова.

Ни на кого больше не взглянув, потопала туда, где стояла зеленая машина. Но Хабило не мог так просто уйти, он чувствовал: надо что-то разъяснить людям. Иначе это все подозрительно напоминало умыкание невесты в восточном духе.

— Ну, ребята, раз уж начали, продолжайте посадку. Авось что-нибудь уродится... С тобой, Спирин, кое-что согласуем по телефону. Учти, анархии тебе никто не позволит. Не те времена. Ты уразумел, Спирин?

— Еще бы.

— Тогда бывайте здоровы!

Он зашагал следом за Варей, оба ни разу не оглянулись.

Дошли до машины, Хабило отворил заднюю дверцу, помог девушке забраться внутрь. Обошел «жигуленка», попутно проверив, плотно ли

закрыт капот. Достал тряпочку и протер ветровое стекло. Он не спешил. Наконец нырнув в кабину, хлопнул дверцей. Машина пофырчала, медленно двинулась к поселку и скрылась за домами. Поехали, значит, не в город, а сперва решили заскочить за Вариными вещичками.

Дед Тихон первый нарушил молчание:

— Да, выходит, большому кораблю большое плавание.

Пашута огляделся. Женщины и Шпунтов, побросав работу, застыли в глупейших позах. Пашута почувствовал, что земля уходит из-под ног. Словно на качелях слегка подкинуло.

— Она устала, — сказал Спирин глухо. — Не соображает, что делает. Она опомнится.

— Пойдем, мужики, — улыбнулся Пашута. — Нам делов-то осталось часа на два, не больше.

Чужой в городе

Улен был юн: когда боль проходила, он забывал о ней. Ему разрешили поселиться в доме Брега. Азол отвел его туда прямо с площади. По дороге рассказал, что у Брега было много врагов, и все они желали ему погибели. Но Невзору Брег был предан, как собака, и для него это большая утрата.

Улен слушал его вполуха, поспешно распрощался с ним у дверей дома. Анар лег у стены, положив голову на лапы и исподлобья оглядывая новые места без видимого любопытства, однако шерсть его слегка дыбилась. Анар был доволен собой. Он много пережил за эти дни. Ужас вины скрутил его собачью душу, когда он под утро вернулся к стоянке и обнаружил, какая случилась беда. Но сейчас, успокоенный победой, Анар сознавал, что получил право немного отдохнуть.

От встречи с Млавой Улен не испытал радости, какую предвкушал. Она сидела на скамье у окошка, уткнувшись подбородком в колени, и увидев его, лишь вздохнула, опустив глаза. Это Улена удивило, но он ничего не сказал. Он оглядел дом — скамью, прокопченные стены, деревянный большой сундук в углу, низкий лежак, покрытый медвежьей шкурой, стол на одной ноге — и решил, что жить здесь приятнее, чем в землянке. Большой человек придумал строить деревянные дома.

Он опустился на скамью рядом с Млавой, вытянул ноги и зажмурился. Он ждал, чтобы печаль ушла из сердца. Он подумал, что убить человека ничуть не труднее, чем убить волка. И еще подумал, что умирать не страшно, но куда лучше сидеть вот так, в блаженстве усталости, и знать, что когда откроешь глаза, увидишь Млаву. Он спросил:

— Ты не больна?

— Нет.

Улен открыл глаза:

— Он обидел тебя?

Млава молчала. В ее глазах испуг. Кого она боится?

— Он мертв, ты знаешь. Почему ты не отозвалась, когда я приходил сюда?

— У меня будет дитя.

Улен знал, когда девушка по своей или не по своей воле проведет с мужчиной ночь, у нее должны быть дети. Но с Млавой это не вязалось.

— Не может этого быть, — сказал он неуверенно. — Брег мертв.

Губы ее тронула улыбка, какой он раньше не видел. В ней было сострадание.

— Ты голодный?

— Да.

Он вдруг вспомнил, что не держал во рту пищу с незапамятных времен. Оживший желудок застонал, точно погибающий зверь, в горло хлынула горечь.

Млава принесла глиняную тарелку с кусками вяленого мяса и ковш кислого, вспененного молока. Она дала Улену просяную лепешку, толстую и твердую, как камень. Улен глотал кусок за куском и слышал, как желудок отзывается счастливым урчанием. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. Тремя глотками осушил ковш. Дух его умиротворился.

— Я усну, — сказал он. — Ты не бойся, нас никто не тронет. Анар у двери. Покорми его.

Млава послушно поднялась и вышла из дома. Анар поздоровался с ней, шевельнув хвостом, и поднял одно ухо. С его стороны это было сильным проявлением чувств. Млава сунула ему под нос здоровенную кость.

— Ешь, Анарушка!

Пес зацепил кость клыками, еще разок тряхнул хвостом в знак благодарности.

По пустынной улочке меж притулившихся друг к другу домиков ветер гонял снежную пыль. Чужой, ненавистный город.

Когда Млава вернулась, Улен спал. Он лежал на земляном полу, прижавшись к стене, подогнув ноги. Млава тихо опустилась рядом и начала разглядывать его лицо. Как добр Улен во сне! От темных бровей к твердо сомкнутому рту протянулась нежная полоска детской щеки. Над верхней губой белесый пушок. Он еще не мужчина, он мальчик. Но этот мальчик умеет убивать, и у него хватит силы, чтобы ее не простить. Она виновата перед ним, потому что не сумела умереть, когда Брег швырнул ее на лежак, немую от страха, и, хохоча, брызжа вонючей слюной, начал повествовать, как извивался под его железной пяткой червяк, которого она называет мужем. «Он долго выл, а потом сдох», — объявил Брег.

На сундуке лежал нож с длинным лезвием, она могла до него дотянуться, но не сделала этого. Ей хотелось жить, и она подумала, что рассчитается с Брегом, когда выпадет удобный случай. Была и другая вина, о которой она никогда не сможет рассказать Улену. Когда Брег овладел ее телом, вместе с болью и тошнотой она испытала чувство сладостного насыщения. Будто меж высоких сосен мелькнул луч солнца и проник в ее сердце. Был миг, когда она нежно поплыла в смрадных объятиях Брега. Так в ее чрево вместилась новая жизнь, и она уверилась, что дыхание ее продлится в вечности.

Улен убил насильника, но что с того? Не лучше было бы для всех, если бы вышло наоборот? От этой мысли Млава обмерла и не сдержала стона отчаяния. Улен очнулся и, не шевелясь, настороженно обшарил взглядом комнату.

— Никого нет, спи, — успокоила Млава.

— Не хочу.

Он сел. Чувствовал, что накопил сил для того, чтобы дальше жить. Млава прекрасна, хотя чело ее окутано дымкой печали.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего. Ты сказал, нас никто не тронет. Это правда?

— Мне не все понятно. У них свои обычаи. Сначала хотели меня казнить. Потом решили, что я им пригожусь. Зачем, не знаю... Надо разведать, как охраняются ворота... Вдруг мы сможем уйти. Мы обманем их. Спустимся к реке, а оттуда на север. Второй раз они не застанут нас врасплох... Почему ты молчишь?

— Они легко нас поймают. Мы не знаем этих мест. Да и куда идти?

Улен прошелся по комнате. Тело было послушно, хотя ныла спина. Он устал от слов. Они оба говорят не о том, о чем хочется. Что изменилось? Что изменилось в ней? Почему он не может подойти и обнять ее? Брег стоит между ними. Мертвецы часто мешают живым, это Улен понимал давно. Мертвецы вмешиваются в дела живых, так уж заведено. Но если Брег захочет отнять у него девушку, он убьет его еще

раз. Только и всего. Он будет убивать его до тех пор, пока тот не смирится.

— Ты не хочешь бежать, Млава?

— Куда, Улен?

Вот теперь он понял, что с ней произошло. За те дни, которые их разлучили, она стала взрослой. У нее и волосы блестят иначе. Она обогнала его. Он кажется ей смешным. Уверенный в себе мужчина не ищет у женщины совета, он просто приказывает ей. Так говорили воины их племени. Но Колод так не думал. Пока мать Улена была жива, старый охотник обращался с ней как с равной. За трапезой он уступал ей лучшие куски.

— Хорошо, — сказал Улен. — Мы останемся и посмотрим, что будет. Ты так хочешь?

— Подойди ко мне, Улен.

Он послушался. Стылая глубина ее глаз завораживала его.

— Я не вышла, — объяснила Млава, — потому что не хотела видеть тебя мертвым. Брег был сильнее.

Улен кивнул. Конечно, это так. Брег был намного сильнее и опытнее. Но кроме этого есть удача и судьба.

— Брег умер, но дитя, которое во мне, это его дитя.

— Я понял, — сказал Улен.

— Ты простишь меня?

Мгновение он колебался.

— Простишь ли ты меня, Млава?

— Тебя? Но где твоя вина?

Улен подумал: неужели ей нравится его унижение?

— Я не защитил тебя... Зем опоил нас травой. Но он поплатился за свою уловку.

— Ты и его убил?

— Я спас его. Анар чуть его не загрыз.

«Если Улен уйдет, — подумала Млава, — что тогда будет со мной?» Она протянула к нему руку.

— Мне страшно, Улен. Нам не будет счастья здесь. Мы чужие. Вокруг нас враги.

Улен прижал ее руку к своей щеке.

— Не страшись, Млава. Пока мы вместе, нас никто не осилит. Так бывает всегда. Сначала худо, а потом ничего. Скоро весна. Снег растает. Мы переможемся. Невзор нам не враг. Он чего-то ждет от меня. Я заслужу его доверие. Утешься, Млава. К нам беда не пришла, только попугала. Я буду осторожен, и мы уцелеем.

— Невзор их вождь?

— Да. В нем много тайной силы. Он выше Богола.

— Он колдун?

— Наверное, духи беседуют с ним. Я говорил с ним без лукавства, поэтому он не дал мне умереть. Он позволил нам соединиться. Я его должник... Видишь, не так все плохо. Но если хочешь, мы ночью уйдем.

Млава замерла в напряжении. Его голос связывал ее с прошлой жизнью, из которой так отчаянно она шагнула в неведомое. Пока этот голос звучит, ей и впрямь нечего бояться. Млава качнулась к нему, он догадался и обнял ее. Безгрешное объятие разметало их хмарь и тоску. Заблудившиеся в пространстве дети, в чужом доме, куда недавно заглянула смерть, они чутко прислушивались к перестукиванию своих сердец. Все это потом повторится на свете с другими людьми, будет повторяться из века в век, но они впервые постигали сокровенный смысл бытия, который заключается в том, что соприкосновение с духовно близким тебе существом, свободное от желания восторжествовать над ним, приносит ощущение блаженного покоя.

Утром Улен пошел к Невзору. Вождь принял его радушно. Угостил горячим питьем, напоминавшим перебродивший мед. От нескольких глотков у Улена закружилась голова. Невзор говорил с ним довери-

тельно. Он требовал трудной службы. Улену предстояло надолго покинуть Млаву. Гордость его была задета.

— Ты молод,— Невзор погрузил прямо в его сердце усмешливый взгляд. — Ты горяч и бесстрашен, сметлив и памятлив, это все хорошо. Но твоя жизнь никому не нужна. Я могу стереть тебя с земли, как пылинку с ладони. Брег легко отнял у тебя женщину не потому, что ты спал, а потому, что ты бесприютен. Ты думаешь, мальчик становится мужчиной, когда прольет кровь врага? Это не совсем так. Истинный воин лишь тот, кто умеет спасти своих близких. Человека возвышает преданность общей заботе. Ты способен понять мои слова?

— Да, Невзор.

— Я говорю с тобой, как с равным, веришь ли ты мне?

— Да, Невзор.

В глазах вождя, ясных, внимательных, мелькнуло некое сожаление и кольнуло юношу в грудь, как предупреждение о далекой опасности.

— Ты пойдешь к теплому морю, минуя степи и горы, и твоего пути я точно не знаю. В чужих краях никто тебе не поможет, но обидит всякий.

Улен удержал рвавшийся с губ вопрос. Невежливо перебивать старшего. Все, что нужно, он скажет сам.

— Азол пойдет с тобой. Азол опытный воин, он осторожен, это уравновесит твою юную пылкость... Теперь о главном. Рано или поздно вы проберетесь в те края, где много чудес. Вы будете нашими глазами, ушами и памятью. Это и есть ваша служба. Но вы должны вернуться. Вы принесете знания, которые дороже любого оружия. В долгой борьбе побеждает тот, кто умеет предвидеть, откуда грозит беда, и заранее готовится к ней. Я все сказал, Улен. Можешь отказаться, если чувствуешь себя слабым. Тогда в дорогу соберутся другие, им достанутся честь и слава, Подумай, мальчик! Жизнь коротка, и не каждому человеку выпадает случай сослужить службу роду. Многие бы захотели быть на твоем месте.

Невзор отвернулся к оконцу, откуда в горницу вливался солнечный свет. Он знал про Улена больше, чем тот предполагал. Он и прежде встречал лесных людей и уважал их. Лесные люди были выносливы, бесстрашны и незлобивы. Вождь давно лелеял мысль сойтись с ними и забрать под свою опеку. Это будет хорошо для всех. В незапамятные времена их общие предки вышли из глухих чащоб, научились обрабатывать землю и пасти скот, но часть племени по каким-то причинам осталась в лесах. Улен вырвался оттуда, это вещий знак. Лесные люди самолюбивы, они полагают, что жизнь имеет смысл только там, где они родились, но это верно лишь отчасти. Люди все-таки не деревья, они ближе к птицам и зверям, которые покидают насиженные кочевья, когда чувствуют, что плодоносящие соки природы близки к истощению. Силу людям дает великий голос крови, который предостерегает от гибельного растворения в чуждых обычаях. Этот же голос повелевает удерживать, не дать погибнуть самым малым, вроде бы обреченным на исчезновение побегам. Невзор умел услышать зов вечности в самых тихих ее всплесках. Он в Улене признал родову, и прогонять его было ему тяжело. Но выхода у него не было. Он выполнял волю предков, хотя мало кто из сородичей понимал его сокровенные планы. Невзор не открыл Улену, что не первого лазутчика посылает он разведать иные земли. Уходили отчаянные, молодые и в летах, но за много времени никто не вернулся и весточки не подал. Соплеменники прощались со своими сынами, будто обрекая их на заклание неведомому божеству, и ропот возмущения зрел в душах. Почему по воле одного человека приходится раз за разом отсекать сочные куски от живого тела общины и бросать на прокорм неизвестным хищникам? Невзор знал, власть дана ему на короткий срок, а отвечать за нее придется веками. Невзор обрадовался появлению Улена. Вокруг пришельца зримо сияла удача. Было бы неразумно не воспользоваться этим.

Невзор видел, как мальчик растерян и как плачет его храброе сердце, но не сочувствовал ему. Когда-то у него было три сына: одного во младенчестве унесла болезнь, один погиб в схватке с волками, а третьего он сам в прошлом году отправил той же дорогой, по которой суждено было уйти Улену. Теперь никто не посмеет обвинить его в коварстве, хотя... Плох и глуп тот правитель, который надеется заслужить любовь соплеменников благими делами... Больше Невзор не захотел иметь детей. Зачем тешить немилостивую судьбу? Время высушило в нем многие чувства, и среди них — желание лелеять родное дитя. У него нет наследника, значит такова воля духов. После его смерти город выберет себе вождя, как его выбирает звериная стая. Обновление жизни во всем должно соответствовать природе. Самое обильное древо, плодонося год за годом, в конце концов начинает рожать уродцев. Следует выкорчевать одряхлевшее растение, и на его место впоследствии упадет свежее семя.

— Если я уйду, — Улен попытался поймать взгляд Невзора, воспаривший куда-то, — что станет с Млавой?

— Она будет ждать. Я сберегу ее.

Улен вдруг пожаловался, будто беседовал с Колодом:

— Как же так, Невзор? Я мало живу на свете и все время что-то теряю. Потерял мать и учителя. Млаву у меня отбирали дважды. А теперь ты хочешь, чтобы я оставил ее по собственной воле? Какой во всем этом смысл?

Невзор усмехнулся.

— Жизнь сплошь состоит из потерь, мальчик. Тот неразумен, кто надеется удержать что-то при себе. Мудрец принимает утраты с улыбкой. Но Млаву ты не потеряешь, покинув ее, а лишь обретешь. Ты будешь прославлен, когда вернешься, это придется ей по нраву. Два сильных чувства управляют женщиной: страх остаться одной и преклонение перед победителем. Ты убил Брега — это всего лишь везение. Бросить вызов судьбе и восторжествовать — вот участь, которая ослепит любую женщину.

Улен и так понимал, что отказаться не вправе. Невзор лишил его выбора. Если он останется, наступит день, когда кто-нибудь укажет на него пальцем: «Это тот, кто не решился уйти».

— Я послушен твоей воле. Я согласен, Невзор.

Вождь попрощался с ним легким уважительным поклоном.

Всю весну и половину лета Улена натаскивали, как натаскивают щенка для охоты. С утра до вечера с ним занимались самые многоопытные воины. Его учили приемам неожиданного нападения и исчезновения и еще множеству необходимых сведений. За короткий срок в него вдолбили столько премудростей, что голова у него распухла, как напитанная влагой гнилушка. Улен постигал воинскую науку с усердием, и наставники были им довольны. По ночам засыпал в объятиях Млавы, и она с трепетом вглядывалась в его изменившиеся черты. Его тихое дыхание отзывалось в ней мучительным стоном. Она почти забыла о таинственном существе, которое скребло лапками в ее округлившемся чреве.

Улен говорил ей, что он бессмертен и вернется к ней даже с того света.

Млава не верила ему.

На заре летнего яркого дня юный Улен и его седовласый товарищ Азол, заранее сокрушенный тяжелыми предчувствиями, посланники племени, которое спустя столетие назовут варварским, поднялись в седла рослых выносливых лошадей. Вскоре они канули в неизвестность. Невзор позвал к себе Млаву и выказал ей утешение.

— Не думаю, дева, что муж твой скоро вернется. Проще было бы тебе забыть его. Но мы будем ждать, и ты, и я. Нужда не коснется тебя. Помни одно, сколько бы ни минуло лет, ты должна быть ему верна.

— Пусть будет так, Невзор, — ответила Млава.

9

Пашута ждал восемь дней. Он страдал красиво. Целыми днями безвылазно сидел в Вариной комнате, а по ночам совершал прогулки, подобные марш-броскам, стараясь измотать себя. Он перестал бриться и ел только то, что приносила Урсула. Она приносила пироги, борщ в кастрюле и жареную рыбу скумбрию, неизвестно откуда взявшуюся. Урсула подолгу сидела с ним в кухоньке, поила чаем, и ей он первой сказал, что, по всей видимости, скоро умрет. С ней ему было хорошо, потому что она отзывалась о Варе уважительно. Только ей Пашута мог объяснить, какая Варенька чудесная женщина и как ему повезло, что встретил ее на жизненном пути. Остальные думали, что он болен, хотя и называли это по-разному. Пашуту забавляло, что гости приходили к нему поодиночке, словно подчеркивая тем самым некую зловещую интимность его положения.

Спирин не верил, что такого человека, как Павел Кирша, который при случае грыз гвозди зубами, мог сбить с панталыку обыкновенный житейский случай — женское предательство. Скорее всего, полагал он, Пашута валяет дурака, получая удовольствие от всеобщего сочувствия. Спирин говорил без обиняков:

— Заканчивай ты представление, Паша, третий день сидишь, как сыч. Работы невпроворот, не ко времени ты это затеял.

Пашуте стало обидно:

— Деревянный ты, оказывается, человек, Сеня. Неужели у тебя никогда душа не болела?

— Из-за кого? Из-за девицы?

— Не обязательно из-за девицы. Может, по другому поводу. Знаешь, как болит, Сеня? Вот будто воздух выкачали и все желания выкачали здоровенным насосом, и осталась во мне голая требуха. Не бывало у тебя так?

Спирин презрительно скривил губы.

— У всех это бывает, Паша, но не в твои годы. В твои годы, Паша, душа об отечестве болеть должна, в котором у нас множество беспорядков накопилось. Это я могу принять. Иной раз призадумаешься, действительно, хоть волком вой. Общество столько язв разъедает, а ты о чем? Не серчай, Паша, но если ты не в шутку, то мне стыдно за тебя. Я поражен. Как ты можешь из-за девки рассупониваться? Да если она на Хабилу клюнула, то, прости, Паша, цена ей не боле медяка.

— Ты не прав, Сеня. Она меня хотела покрепче ужучить. Ей удалось. До самых печенок достала.

У Спирина глаза сделались круглыми, как у совы, он вообще не мог вести такой разговор всерьез. А куда денешься, если Пашута ему друг.

— Хорошо. Допустим, она ушла с Хабилой, чтобы тебе насолить. И что? Это ее оправдывает?

И тут Пашута продемонстрировал, что он и впрямь вроде не в себе. Задумался как-то светло, улыбнулся ясной улыбкой, за которую его женщины любили и многое ему прощали.

— А я думаю, Сеня, Хабило ничем не хуже нас с тобой. Он живет, как ему судьба предназначила. И горе его ждет не слаще нашего. На Варьке он как раз зубы и обломает. Он ведь тоже не по плечу замахнулся, а понять того ему не дано. Мне его жалко, ей-богу...

— Опомнись, Паша!

— А чем ты отличаешься? Он каждого норовит за руку поймать, и ты всю дорогу виноватых ищешь. Какая же между вами разница?

Спирин возражать не стал, гулко втянул носом воздух и покинул друга, не попрощавшись.

Вскоре явилась Лилиан. Вид у нее был еще более печальный, чем у Пашуты. Она уж не первый раз приходила, да все невпопад. То у Пашуты кто-то был, то его дома не оказывалось. Все же прелест-

ная Лилиан успела ему намекнуть, что клин клином вышибают. Дескать, от чего болеем, тем и лечимся. Пашута на ее уловку не поддался, хотя в облике Лилиан сама бесхитростная и щедрая природа предлагала ему свои объятия. На сей раз Лилиан повела себя иначе. На Пашуту глядела с сочувствием. У него короткие волосы торчали дыбом, были давно нечесанные, из глаз струилась неземная благость, напугавшая Лилиан. Она степенно присела поодаль на стульчик, не делая никаких попыток к ласковому сближению.

— Заглянула к вам попрощаться, Павел Данилович. Завтра с утра отбудем восвояси, — сообщила с убитой миной.

— Чего так?

— А уж никому мы здесь не надобны. Раймун правильно говорит: занапрасно тащились в этакую даль.

— Это ты зря. Я тебе очень рад и Раймуну рад. Отдыхайте, кто вам мешает... Или насовсем оставайтесь. На меня не стоит обижаться. Ты же видишь, какая со мной катавасия приключилась.

— Но ведь ты же сам виноват, Пашенька.

— Конечно, сам. А почему ты так думаешь? Это тебя Спирин научил?

Лилиан застенчиво огладила юбку на пышных бедрах.

— При чем тут Спирин? Ты опасный для женщин человек, Пашенька. Поначалу приваживаешь, манишь, а после отпихиваешь, будто тебе неохота. Это не совсем учтиво. Мы, женщины, или Виля твоя, или я хотя бы, много горя видали и потому обиды не держим. А такая, как Варя, может все близко к сердцу принять. У меня пропавший муж на тебя был похожий. Для него вся жизнь — игра, а женщины — фишки. Хоть белую поставь, хоть черную. Варя не смогла фишкой быть, чего ж об ней горевать... Да не очень она тебе и подходила, Паша, тощая и глаза в разные стороны глядят. Вместо души у ней прейскурант цен. Такие, как она, мужика до тех пор любят, пока он угождает. А как в чем сплоховал, она об него сразу ноги вытрет. Бога должен благодарить, Паша, что легко отделался.

Добрая Лилиан подсказывала Пашуте объяснение, которое было лестно для его самолюбия, но мало соответствовало действительности. Все же слушать это было приятно.

— А с чего ты взяла, что у нее глаза разные? Врешь ты, Лилька, она красавица каких мало.

— Ты, Паша, красоту с молодостью не путай. Ты на ее молодость польстился, она тебе и кажется лучше всех. Красота вечная, а молодость завтра пройдет. Оглянуться не успеешь, а возле тебя заместо озорной девки старуха с бельмом... Про глаза я для сравнения сказала. Был бы ты нынче в здравом уме, Павел, ты бы меня понял. У таких, как она, один глаз тебе блаженство сулит, а другой прикидывает, сколь с тебя за блаженство взять можно.

Пашута вдруг удивился не смыслу ее слов, а тому, как она складно говорила. Раньше за ней такого не водилось. Что это с ней стряслось?

— Откуда ты таких слов набралась, милая Лилиан? Прейскурант, блаженство — кто тебя этому научил? Ты вроде раньше попроще была.

Лилиан стрельнула в него бедовой усмешкой:

— Тоже мне, покоритель сердец... Ой, Пашенька, да тебя обмануть, как пьянице в водку отравы подмешать. Ты даже того не понял, что женщина всегда такая, какой ей хочется быть. Мне думалось, тебе молчаливые телки по нраву. А коли не так, могу канарейкой щебетать или филином ухать. Подумай, Паша, со мной не заскучаешь.

Разговор внезапно вернул ее на любимую стезю, она с кошачьим потягиванием огладила бедро и вдруг кокетливо задрала юбку:

— Глянь, Паша, как я коленку расцарапала о проволоку.

— Вот этого не надо, — огорчился Пашута. Лилиан снова пригорюнилась.

— Эх, Паша, Паша... Верно дядя Раймун рассуждает, все люди — кроты слепые. Вот ты меня не распознал и про него, наверно, думаешь — бирюк дикий и темный. Не правда разве? А он, Пашенька, смолоду столько книг прочел, сколько нам с тобой за три жизни не осилить. Ты бы его тетрадки почитал, какие он пишет. Там такое про людей сказано, не всякий записной мудрец придумает.

— Он что же... сочиняет?

— Зачем сочиняет? Он заметки о жизни ведет. Прячет, а я украдкой заглядываю. Некоторые места наизусть помню. Вот послушай. «Вольному человеку жить невозможно, потому что человек рожден для оков. Главные оковы, ему уготованные, — любовь и тяжкий труд. Когда человек оковы эти добровольно примет, то сразу перестанет бояться жизни». Интересно, да?

Пашута от удивления на короткий миг забыл про Вареньку.

— Это Раймун так пишет?

— А ты думал, ангел небесный?.. Ох, надо уезжать, а жалко. В кой-то веки выбрались мир поглядеть.

— Да зачем уезжать, зачем?

— Плохо с ним, загоревал он. Я предвидела. Ему от хутора оторваться очень уж трудно. А тут еще дед этот наговорил ему чего-то. Он теперь сам не свой.

— Ты сейчас иди домой, Лилиан, а вечером я к вам загляну. Вместе все обсудим.

— Нечего обсуждать. Он тебе не откроется.

— Посмотрим, — задорно сказал Пашута.

Но вечером никуда не пошел, забыл обо всем. У него начались неполадки со временем. Оно вдруг сжималось в тугой ком и не двигалось. Пашута, ужасаясь, впивался взглядом в стрелки часов, которые издевательски отсчитывали безразмерные секунды, каждая долготой в вечность. А иногда, напротив, огромные куски времени выпадали из сознания бесследно, и это тоже было жутковато. Моргнешь глазом — полдня как не бывало, потянешься за сигаретой,— а уж ночь на дворе. Так и в этот раз случилось. Только он прилег после ухода Лилиан, только настроился какую-то скользкую, гибкую, как ящерица, мысль додумать до конца, как уже открывается дверь, входит смурной Владик Шпунтов и рассеянно сообщает, что «прибалты укатили восвояси», да и он тоже собирается отчалить, если Пашута не возражает. Но перед тем, как появиться Шпунтову, Пашуте померещилось вот что. Он будто на светлой поляне в роскошном лесу сидит на корявом пенечке, и прямо к глазам с деревьев спускаются длинные ветви с плодами, похожими на продолговатые дыни. Ему хочется пить, он знает, что плоды сочные, стоит протянуть руку, сорвать, вонзиться зубами в нежную мякоть — и в горло хлынет сладкий сок. Но что-то ему мешает. Он догадывается, что попал в ловушку. Опускает глаза и видит множество копошащихся под ногами маленьких, беленьких червячков и муравьев. Вся земля вокруг вспучилась шустрыми, отвратительными тварями. Смрад идет от них. Они не трогают его, пока он сидит неподвижно. Но он знает: только он шевельнется, потянется к ветке, червяки ринутся вверх по ногам всей своей липкой массой. Лес постепенно темнеет, солнце за спиной садится. Пашута знает и другое: когда наступит ночь, червячков и муравьев ничто не остановит. Они и дожидались ночи. Из липкой, бугристой мешанины нет-нет да и высверкивали остренькие, наблюдающие за ним глазки. За лесом течет река, если бы пробиться к ней, в воду за ним твари не сунутся. Они властны над ним только на этой поляне. Вон уже добрались до плодов, мириады крохотных челюстей заработали одновременно и слаженно, на его глазах спелые, ароматные дыни покрылись плесенью, почернели, скрутились в подобие сосулек, пролившись гнилой капелью. Никогда прежде Пашута не испытывал такого ледяного ужаса. Хотел куда-то ринуться... к реке ли, в бездну ли... И тут как раз вошел Владик Шпунтов.

— Я тебя разбудил, Павел Данилыч? — спросил деликатно и опустился на тот же стульчик, где недавно обреталась крутобедрая Лилиан.

— Привидится же мерзость, черт ее побери,— с облегчением выругался Пашута. — А вроде и не спал?

Шпунтов поморщился, дескать, какое все это имеет значение, кто спал, а кто бодрствовал, счастья-то все равно не видать.

— Я говорю, укатили прибалты. В минуту снялись. А ты чего ж не пришел попрощаться?

Пашута поинтересовался осторожно:

— А какое сегодня число? Что-то никак не соображу.

Владик назвал день и месяц, а заодно и год. Он был настроен саркастически.

— Ты меня не стесняйся, Павел Данилыч. Уж кто тебя сейчас поймет, так это я.

— А чего меня понимать? Я весь тут. Ничего не прячу. Число забыл, это со всяким бывает.

— Бывает, — согласился Шпунтов. — Но не со всяким. Ну и как же мы с тобой теперь разойдемся?

— В каком смысле разойдемся? — Пашута все более терялся и чувствовал себя неуютно, словно с ним обходятся, как с недоумком, а он тщится доказать обратное. А кому доказывать? И по какой надобности? Он здоров, трезв и отлично помнит, что Варя переместилась в город к Хабиле. Все остальное чепуха.

— Я Вильямину имею в виду. Ты ее к себе обратно заберешь или как?

Пашута нашарил в кармане сигареты и попросил у Шпунтова огонька. Вместе задымили.

— Уехали, значит, прибалты, — спохватился Пашута. — А Раймун ничего не наказывал?

— Никому он ничего не наказывал. Злой как черт уехал. Спирина облаял. И деда Тихона... Так ты разберись все-таки насчет Вильямины? Она ждет.

— Чего ждет?

— Твоего решения, чего еще, — в голосе Шпунтова зазвенели недобрые нотки. — Завладел ты бабой намертво, Павел Данилыч. Как только ухитрился... Вот открой по старому приятельству, чем ты ее так приманил?

У Пашуты от сигаретного дыма голова окончательно прояснилась.

— Мы с тобой братья по несчастью, Владик. Спасенья нам нет.

Шпунтов подался к нему.

— Ты меня в братья не записывай, Паша. Не надо... Хочешь правду? У меня иной раз такая злоба на тебя в душе... С великой охотой взял бы колун и врезал по башке. Знаю, не виноват ты ни в чем, а хочется... так уж хочется тебе врезать, Паша, мочи нет. Сегодня же уеду от греха.

— Я тебе сочувствую, Владик. Но врезать — дело нехитрое. Мы все врезать ловки. Потому и дурные. Всегда спешим кулак припечатать, где ум требуется. Сперва надо умом взвесить, а после приступать к действию.

— Ну и что ж ты своим умом решил, поделись? Про Вильямину я опять имею в виду.

— Она рассказывала, какое у ней прошлое?

— Мне это без надобности. Она не девочка, и я не мальчик.

— Вот это ты напрасно. Когда человека любишь, старайся побольше про него знать. Ключик к сердцу не в сегодняшнем дне. Ты не думай, мне Вилька тоже про себя ничего такого не рассказывала. Я сам догадался. Она своего прошлого стыдится. Знаешь почему? У ней там одни ошметки.

Шпунтов заинтересовался, но вслух возразил:

— У всех в прошлом ошметки. У одного тебя, Павел Данилович, там, похоже, райский сад цветет.

Пашута самодовольно ухмыльнулся. Если кто и мог его сейчас разозлить, то уж никак не Шпунтов.

— Не бесись, Владик, и не зуди. Я ведь на твой вопрос отвечаю... У Вильки душа до сих пор в крови. Потому ей каждое доброе слово, как пластырь на рану. Зато и обидеть ее легче легкого. Не так повернулся, а ей очень больно. Она людей через свои прошлые горести меряет. И никому не верит.

— Ага, понял тебя. Ты, выходит, добрыми словами ее доверие заслужил, она тебя и полюбила. А я, выходит, медведь косолапый. Да ты соберись, Павел Данилыч! Кому ты это говоришь? Я перед ней ковриком стелюсь. Ни перед кем раньше так не заискивал. На самого себя смотреть противно.

Пашута объяснил и эту загадку:

— Нетерпеливый ты, Владик. Ты к ней как к человеку отнесись, а не как к бабе. В постель ее не тащи, она к тебе сама придет. Ты с ней, может, добр, да не с того края. Ты в ней личность оцени. Она этого ждет.

— Во всем ты сведущ, Павел, — зловеще произнес Шпунтов. — Почему же от тебя самого молодая вертихвостка с мордатым кобелем сбежала? Чего ж тебе твой ум не помог?

— То-то и оно, — добродушно отозвался Пашута. — Мы других учить горазды, а сами вечно в луже сидим. Это у людей общий большой недостаток. В чужом глазу соринку видим... А ты думаешь, почему она сбежала? Как тебе представляется? Стар я, может, для нее?

— Ты стар, а тот совсем безусый, — Шпунтов, раздавленный собственной бедой, не упустил случая накоротке восторжествовать. — Скажи спасибо, что не раздела. Я таких девочек со змеиным жалом в Москве на одну левую по пять штук клал. Павел Дани-и-лович, умен ты, да с прорехой. У того фрайера «жигуль», вот он ей и по вкусу. Будь у тебя, к примеру, «Волга», тебе бы в ее глазах вообще цены не было. Ты бы вроде принца считался.

— Это и все твои мысли?

— На сегодняшний день — да.

— Скучный ты человек, Владик. Тебе тридцать лет, а ты жизнь на гнилой зуб пробуешь. Иди домой, надоел.

Владик поерзал на стульчике, будто крепче туда вминался. Изобразил на лице раскаяние. Ему не первый раз приходилось смирять гордыню перед этим человеком, но давалось это всегда с великим трудом. А что поделаешь? Стену лбом не прошибешь. Если в самом деле ринуться врукопашную, то и тут, пожалуй, с Пашутой не совладать. Шпунтов не робок и ухватист, бывал в переделках, но сила солому ломит. Этот перестарок мышцами, как канатами, весь обвит — Шпунтов не однажды в душевой любовался.

— Не торопи, уйду. Но Вильямине все же что передать? Оставаться ей или со мной ехать?

Отчаяние сделало Шпунтова невменяемым. Ему даже радостно было раз за разом расковыривать сердечную рану. Они с Пашутой действительно в одной пучине барахтались на ощупь, уже и не надеясь вынырнуть на поверхность. В этой пучине мольба не достигает посторонних ушей. И все же Пашута пожалел товарища, подтолкнул ему под ноги небольшую укрепу.

— Мне к Вильямине возврата нету. Как и ей ко мне. Забирай ее в Москву, так всем лучше будет. Ступай, Владик, ступай с богом.

Шпунтов выкатился из комнаты молча, желая в неприкосновенности донести Пашутины слова до любимой Вильямины.

А Пашута тут же забыл о его визите. Согрел чайник и с аппетитом поел Урсулиных пирогов, которые лежали на окне в промасленной бу-

маге. Несколько раз приходилось выскакивать из-за стола на скрип входной двери. Но скрип ему только мерещился.

Он покурил у открытой форточки. Из окна видна часть улицы, по которой должна была приехать Варя. Или прийти. За все это время он и на минуту не усомнился в ее скором возвращении. Вопрос был в том, как ее встретить. Пашута смаковал во всех подробностях три хороших варианта. Первый — сделать вид, что вообще ничего не случилось. Ну так, словно она ненадолго выбегала во двор. Удивится ли она, когда он спросит, как ни в чем не бывало: «Не собирается на улице дождик, Варенька?» Второй вариант был хирургического свойства. Как только она войдет, запереть дверь, повалить ее на кровать и совершить то, без чего они так долго обходились. Пусть визжит, пусть царапается, этот урок будет ей на пользу. Она с ним жестоко пошутила, и он так же отшутится. Обоим будет весело и, как говорится, никто не останется внакладе.

И наконец, можно, не говоря худого слова, вытолкать ее обратно за дверь и вдогонку швырнуть папку с рисунками, которую она в счастливой спешке забыла. Во всех трех вариантах было много заманчивого, но имелся общий недостаток. Они все не оставляли никаких надежд на будущую совместную жизнь. Даже если он сделает вид, что ничего особенного не произошло, она окончательно убедится в том, что он рохля и недотепа, и его можно водить на крючке, как полудохлую рыбу на мелководье.

На дороге промаячили три старухи, поддерживая друг друга за локотки, потянулись к дому Спирина. Они все к нему повадились с того картофельного вечера, видно, ожидая общественно полезных распоряжений. А тогда хорошо посидели, вспомнил Пашута. Пироги у Урсулы удались на славу, да еще трех кур зажарили. Спирин своей властью объявил на весну и лето сухой закон. Правда, дед Тихон предлагал Пашуте, видя его состояние, смотаться к нему домой, но Пашута отказался. Никогда он не был склонен к зелью, вековечному, но сомнительному утешителю скорбящих на Руси.

Посочувствовав лихо запоздалой устремленности старух, Пашута вернулся в Варину комнату и завалился на ее постель. С часик проканителился в сладкой полудреме, а потом пришла Урсула. На этот раз она принесла кастрюльку тушеного мяса с картошкой. Пашута ей обрадовался, хотя его раздражало, что она смотрит на него, как на калеку. Уселись вместе обедать, и Пашута сказал ей любезность:

— Как ты можешь жить с этим цербером, со своим мужем? Ты такая деликатная, а он такой варвар.

Не мешкая, запустил ложку в ароматное варево. У него что-то странное творилось с желудком. Сколь в него пищи не кидай, оставался пуст.

— Сеня хороший, добрый, — возразила Урсула, отворачиваясь от Пашутиного жадного мельтешения ложкой.

— Добрый, да? — Пашута, не пережевывая, заглотал жилистый кус мяса. — И работящий? Но я тебе, Урсула, советую от него уйти. Хоть к деду Тихону, хоть ко мне. Поживешь вон в Вариной комнатенке до ее приезда... Мы с тобой оба люди чувствительные, изнеженные. А твой Спирин — он железный. Сам железный, а голова у него деревянная и вместо сердца — пуговица. Ты привыкла к нему, ничего не замечаешь. Ему бы трактором уродиться, он бы всех людей перепахал для удобства будущих посевов. Веришь ли, он так о Варе нехорошо отзывается. А ведь она ни в чем не виновата... Ее Хабило обманом увез. Пообещал ей свою квартиру отдать, зарплату большую положил. Вот у ней глаза и загорелись. Разве можно ее осуждать? Как ты думаешь, скоро она вернется?

В угольных глазах Урсулы не отразилось ни удивления, ни осуждения.

— Семен ее не винит, — сказала Урсула. — Он за тебя переживает. Он не железный, нет.

— Тебе виднее, конечно... Тогда скажи, как ты сама к Варе относишься?

Урсула, слишком серьезно обдумывая вопрос, опустила глаза. Пашута наполовину опорожнил кастрюльку, прежде чем она ответила.

— Варя хорошая, у нее сердце как роза. Она не будет с Хабилой.

— Да я-то понимаю! — встрепенулся Пашута. — Ты молодец, Урсула. Я завтра сам скатаю в город, заберу ее оттуда. Но ты другое скажи. Для меня очень это важно. Я только у тебя спрашиваю... С Хабилой она не будет, а со мной? Я ей подхожу хоть немного? Вот как ты думаешь?

Урсула смутилась, черные молнии метнулись из глаз на стены. Пашута испугался, что она опять задумается надолго.

— Ну ты чего, Урсула? Обыкновенный вопрос. Одни люди подходят друг другу, другие не подходят. Тут ничего обидного нету. Главное — угадать. Про вас со Спиридом никак не скажешь, что вы пара, а угадали — и счастливы. Угадать очень трудно. Я думаю, Варя не угадает. Она молодая, ей внешность подавай. Шик чтоб был. А где я его возьму, этот шик?

— Всякой женщине одно надо — чтобы ее любили.

Пашута доскреб остатки из кастрюльки, с сожалением заглянул на дно.

— Я раньше тоже так думал. К любви все остальное приложится. Но ведь для любви сигнал нужен с обеих сторон. Двоим настроиться надо на одну волну. Я настроился на ее, а она на мою — нет. И чего мне теперь делать? Ты посоветуй, Урсула, раз ты мудрая.

— Какая я мудрая... Я глупая. Спирин говорит, у меня всего две извилины.

— Не можешь посоветовать?

— Могу. Тебе надо ждать.

— Чего?

— Она опомнится и все поймет.

— Пока поймет, я десять раз дуба дам. В любви — или сразу, или никогда. Нет, поеду в город. Сегодня же поеду. Поговорю с ней напрямик. Заодно Хабиле рыло начищу... На меня, Урсула, морок накатил. Будто я не я... Время чудно движется. То пропадает, то выныривает. Так ведь недолго и того... Но что характерно, Урсула, мне это нравится. Ничего не хочу менять. Пусть длится эта мука. Я не против. Я как вечно пьяный теперь...

Урсула была рада, что он умял кастрюльку мяса. Беда мужика не одолеет, пока он ест с аппетитом.

— Не обижайся на Сеню, — попросила. — Ты же знаешь, какой он. У него все от сердца. Он на Варю злится, потому что она тебя обидела. Ну, ему так кажется. Ты правда за ней хочешь ехать?

— Не решил пока. То ли ехать, то ли здесь дожидаться. Приеду, а она о себе возомнит бог весть что. Потом с ней сладу не будет. У меня с ней, Урсула, двояко быть не может. Или по-серьезному, или никак. Вот где вся закавыка.

— Тогда лучше здесь подождать. Пусть она в себе разберется. Пусть одна побудет.

— Одна с Хабилой?

Ледяная темень Урсуловых очей внезапно отворилась короткой усмешкой. И лицо ожило, тени отпрыгнули со щек. Пашута с удовольствием улыбнулся в ответ.

— Смеешься. Хитрая ты, как все бабы, хотя похожа на куклу. Ты почаще смейся, тебе идет... Думаешь, Хабило не конкурент?

— Петр Петрович человек важный... — не удержалась, прыснула в кулачок. — Ох, хотелось бы посмотреть, как с ним Варя обходится. Она такая выдумщица.

— И мне бы хотелось. — Большая порция мяса зарядила Пашуту новой энергией. Он проводил Урсулу до дома, а сам помчался в лес.

Он шел и с любопытством озирался по сторонам. Как чудесно разыгралась природа. Почки хлынули с деревьев, и трава поднялась на прогалинах озорными, зелеными ковриками. Пекло, как летом. На ходу Пашута скинул рубаху, подставил солнышку онемевшее от долгого безделья тело. Не ведая пути, ломил через чащу, исцарапался до крови, рубаху порвал, зацепив за сук. Несколько раз проваливался в пухлые глиняные ловушки-наметы, ноги промочил. Он не знал, куда спешит и кто его манит из леса, но когда наткнулся в густом малиннике на Тихона, ничуть не удивился. И не такие чудеса могли с ним, Пашутой, теперь приключиться. Дед Тихон стоял неподвижно, ухватясь за ствол молоденькой березки, и лицо у него было бледное, задумчивое. Он тоже не удивился Пашуте.

— Кажись, ногу повредил, — сообщил извиняющимся смешком. — Оступился. Как шагну, в голову шибко стреляет. Помоги до дому добрести, Павел.

— А чего тебя сюда занесло?

Старик многозначительно ухмыльнулся:

— Я, Павел, по направлению шел, как и ты.

Пашута довел деда до ближайшего пенька, усадил, снял с его ноги сапог, размотал портянку, осмотрел ступню. Выше щиколотки небольшая припухлость. Нога бело-розовая, гладкая, вовсе не стариковская. Пашута ее покрутил, подергал, помял.

— Не больно?

— Терпимо. Да мне не впервой с ней маяться. Она еще с гражданской подвернута в этом месте. С коня я, Паша, так удачно грохнулся, весь целый, а в ноге чтой-то стронулось. С той поры как ступлю нескладно, так, почитай, на месяц охромел.

Пашута заново его обул. Старику явно по душе было, как за ним ухаживают.

— Я издаля тебя почуял, Павел. Как ты лишь за деревню вышел. Другому, думаю, кому быть? Бедовалый завсегда к несчастному стремится. Не нами установлено.

— Чем же это я бедовалый, дедушка? — схитрил Пашута. — Если ты Варю имеешь в виду, так она со дня на день вернется. Да и не такое уж это горе — бабу потерять. Некоторые голову теряют, и ничего — благоденствуют.

— Себя не дури, парень, — строго заметил Тихон. — И бога не гневи. Другого горя нету. Он тебе сразу главное послал.

Пашута присел на соседний пенек, задымил. Деду протянул пачку. Тот с достоинством отказался. С вызовом глядел на Пашуту, ждал возражения, но Пашута скромно молчал.

— Все остальные беды, — продолжал вразумление дед, — проистекают естественным порядком. Там все сопоставлено. Родители мрут в порядке очереди, хотя бывает, робята их опережают. Но это из хода вещей выпадает. Когда ребенок допрежь родителей сгинет, это как бы роковая ошибка бытия. Стерпеть трудно, но приходится... Войны приключаются, мор на людей нисходит, дружка предают, ну и прочее такое... Все эти беды можно в одну строку уложить. Но с женщиной, Павел, особое дело. То есть ни со всякой женщиной, а с той, кою полюбил, а она тебе не откликнулась. Тут горе горькое, настоящее. Объясню почему... Обрывается, не завязавшись, узелок, новая возможная нить жизни, а что может быть страшнее? Это горе по самой человечьей середке бьет, по самой грезе души, где мягкое и беззащитное. Разве что смерть дитяти только и можно к этому горю приравнять... Неведомо какое солнце потухло. Теплом дохнуло, маревом — и кануло в пучине. Даже вспомнить нечего. Когда есть чего вспомнить, хоть плакать можно, а здесь и горсти слез не наскребешь на поминанье.

Старик умолк, уставился в пространство пустым, невидящим взором. Пашуту он ошеломил. Говорил коряво, но каждое слово в сознание проникало. Как прав старик! Обрывается именно не начатая нить жиз-

ни, вянет вещая надежда под сердцем,— что придумаешь горше? Надежда и память — два живых потока. Когда они иссякнут — зачем просыпаться поутру?

Пашута нахмурился:

— Пока мы болтаем с тобой, дед, она уже, может, домой вернулась.

— Она не вернется, ты же знаешь, Павел,— укорил его Тихон то ли в недомыслии, то ли в лукавстве. — У ней другие заботы. У ней срок возвращения не приспел. А вот тебе бы следовало прознать, куда ее сыч увез.

— Я уж думал об этом.

— Ты мужик серьезный, голоса до тебя доходят. Не пристало тебе гордость детскими обидами тешить. Да и грех это.

— И то верно.

Пашута разыскал удобную крепкую палку, отдал старику. Так и побрели потихоньку. Пашута за плечи поддерживал Тихона. Шли не ходко, но без особых трудностей. По пути поговорили уже о другом. Пашута из вежливости поинтересовался, хотя ответ знал заранее:

— Ты какие опять голоса помянул, дедушка?

Тихон внимательно следил, куда каждый раз ногу поставить. Оттого слова его звучали особенно убедительно.

— Ты, парень, как на меня наскочил?

Пашута не помнил.

— Никак не наскочил. Наобум шел, прогуливался.

— И ничего тебя не тянуло?

— Тоска меня тянула, дедушка, тоска.

Тихон прокашлялся.

— Тоска, парень, это тоже голос. Каждое человечье чувство обязательно звук дает. А как же... Особенно боль. Я когда об лесину споткнулся, так ажно все деревья вокруг трепыхнулись. Звука боли моей испугались... И приметь, чем крепче терпишь, тем окрест внятнее. От терпеливого человека жуткой силы сигналы идут. Ты вон на каком расстоянии мой крик услыхал? Но и это не предел... Мы с тобой чужие люди, а когда, допустим, родному плохо, дак на краю света встрепенешься.

— Выходит, ты любому человеку можешь сигнал послать?

— Любому, нет ли, а могу.

До Глухого Поля доковыляли близко к вечеру, и Тихон позвал Пашуту перекусить чем бог порадует. Пустой Пашутин желудок при упоминании о еде радостно заухал. Бог послал им на сей раз шматок сала, буханку коричневого хлеба неизвестной выпечки и миску квашеной капусты. Все это запивали они крепким чаем. Целым самоваром еле отпарили внутренности после лесной прогулки. Тихон запотел, обмяк на табурете, будто его вширь распялило. Но взгляд его по-прежнему был светел. В избе у старика пахло травами и было чисто прибрано. Пашута поинтересовался, откуда в доме такой порядок.

— Дак что ж, без помощи не бываю, — многозначительно объяснил Тихон. — Бабульки наведываются. Они ведь неугомонные. Пусть ходят, я не отваживаю.

Пашуту нещадно сморило, и он только о том и мечтал, как добраться до родной Вариной кровати. И вот тут, поглядев на него с остраткой, старик и выдал очередной сюрприз:

— Ты давеча полюбопытствовал, могу ли я на расстоянии с людьми общаться. Посмеяться вроде надо мной хотел. А это очень просто делается. Может, тебе, к примеру, Варвару в готовом виде представить? Не угодно ли?

В благообразном старческом лике вдруг злодейское что-то проступило. «Дед совсем того», — пожалел его Пашута. Хрустнув коленками, заставил себя встать.

— Советую тебе, дедушка, какую-нибудь старуху насовсем сюда переселить, малость ты все же одичал в одиночестве.

— Боишься никак? — со странной горячностью потянулся к нему Тихон. — А то давай?

— Да чего давать-то?

— Представим Варвару в исключительно внятном обличье.

— Нет, дедушка, мне твой спиритизм сегодня не годится.

Тихон от ученого слова поежился и протянутую на прощанье Пашутину руку пожал с неохотой. Да еще и задержал его на мгновение.

— Я, Павлуша, может статься, боле тебя не увижу, а потому хочу тебе небольшую памятку сделать. Вот возьми от меня в подарок. — И протянул гостю невесть как оказавшуюся у него в руках толстую, потрепанную тетрадку в коленкоровом переплете.

— Это чего?

— Да так, история одна записана. Почитай при случае. Может, тебе польза будет.

— А как она к тебе попала, эта тетрадка?

— Дак передали. Они — мне, я — тебе. Ты, коли захочешь, еще кому другому. Так ведь и ходят по свету старинные были.

— Ну спасибо, Тихон! Отдариться мне пока нечем.

— Об этом и не думай.

Дома Пашута повалился на кровать и сразу уснул. И вот тут, то ли стариковской волей, то ли в силу иных причин, действительно привиделась ему Варенька въяве. Постучала в дверь — а он вроде уже в московской квартире оказался, — на стук вышел в прихожую, отворил и прежде всего тому удивился, как Варенька постарела. Не юная дева пред ним стояла, утеха сердца, а почти ровесница. Печально струились из-под морщинистого лба ее очи, без улыбки, без света. И плечи как-то устало поникли, и одета она была не в платье, а в подобие длинного балахона. Горько ему стало, когда он все это разглядел. Провел ее в комнату, усадил, спросил уныло:

— Насовсем?

— А кому я теперь нужна? — С ужасом он увидел, что во рту у нее торчит два-три зуба. Более того, она вдруг полезла в рот, с радостной гримасой вытащила оттуда желтоватый клык и показала ему, точно похвалилась удачей. «Да Варвара ли это?» — засомневался Пашута. Заговорила она и вовсе дико:

— Вот, Пашенька, последний зубик! А все ты виноват. Ты меня мучил, а я не кукла. Пусть все узнают, чего ты натворил. Ха-ха-ха! Вон идут уже, слышишь, слышишь?

Он и впрямь услышал, как за дверью началась возня, там собралось множество людей, чтобы его доконать. Если они, разъяренные, ворвутся, то ему крышка. Он кинулся к двери, навалился плечом. А Варенька, уменьшившаяся, съежившаяся, как серая мышка, подкатилась под ноги и пыталась оттащить от двери, повизгивая, прикусывая за колено. Но силенок у нее не хватало. По-прежнему все происходило так явственно, как во сне не бывает. И тяжесть, навалившаяся с той стороны на дверь, и серенькая крохотуля с Вариным сморщенным личиком, скулящая у ног, — были вполне реальны, отчетливы. Даже на окне занавеска качалась от ветра. Но вдруг после его страшных усилий все переменилось. Они с Варей очутились на кухне, где она хватала с тарелки куски мяса и жадно запихивала в беззубый рот. Жевала, давилась, глотала.

— Что ж, он совсем не кормил тебя? — спросил Пашута.

Она вдруг перестала попадать себе в рот, промахивалась, пища большей частью валилась на пол, на ее колени, обтянутые балахоном, она испугалась, глаза вспыхнули мольбой — и наконец расплакалась горючими слезами. Он поднял ее на руки, невесомую, без тепла в теле, и отнес в комнату. Пока нес, она попискивала ему в ухо, и он уже точно знал, что обманут. Это не Варенька. Это кто-то другой. Он поло-

жил ее на одеяло, погладил, расправляя на ней складки, как на гладильной доске. Она была ровная и твердая. Только сияющее личико возвышалось над подушкой, и было видно, что всем довольна.

— Догадался, Пашенька? — спросила эта, другая Варенька, старая, утоленная. — Хоть и догадался, а никуда теперь не денешься.

Он лег рядом, стараясь не прикасаться к ее телу, зная, что ему неизбежно предстоит еще одно, кощунственное усилие. «Если она этого потребует, — подумал он, — мне амба». С этой мыслью и очнулся.

...В комнате он был один, вечерние тени вползали в окно. В воздухе пахло Вариными духами. То, что ему привиделось, невозможно было понять. Это не сон и не кошмар. Варино присутствие в комнате ощущалось не только запахом духов. Ее улыбка, кажется, проступала в трещинках штукатурки на потолке. «Крепко взяло меня в оборот, — подумал Пашута. — Что ж, коли смерть за мной приходила и жизнь уже кончилась, то так тому и быть».

Он не раз подмечал внезапную растерянность в глазах людей, которые натыкались на свой возраст, как на глухой забор. Есть роковая черта в жизни, когда будущее кажется безнадежным, а прошлое никчемным, и память полна сиротливых невнятных звуков. Пашута помнил, как после сорока лет глухо, намертво запил горькую его отец. И причин вроде у него не было. Семья нормальная, на работе ценили. Когда Пашута впервые попал на завод, его повсюду встречали уважительно: «Кирши сынок! Данилово чадо!»

Отец был строптивым человеком. Строптивые редко бросаются сослепу на зелье, они себя слишком высоко ценят... В чем же причина? А вот, видно, погнал отца в кабак страх перед никчемностью всех жизненных затей. Возраст, возраст! Только вчера было тебе все подвластно — и вдруг неожиданная слабость в коленках, будто кто-то невидимый враз высосал из тебя всю энергию. Утром заметишь, ты уже не тот, что вчера. Тяжко смирять гордыню, захочется напоследок распрямиться по-молодецки, чтобы кости затрещали, а как раз дыхание перехватит предательским спазмом. Выше головы не прыгнешь, нет. Был крепким мужиком, станешь осторожным. Научишься ловить течение стихий, чтобы не продуло ненароком. Ко многим движениям привыкнешь, которые прежде казались смешны. Только дураки живут, как трава растет, и срок жизни для них неисчерпаем. А ты, который любил побеждать, трижды проклянешь день и час своего рождения, который, оказывается, заведомо обрек тебя не только на смерть, но и на зловещую тягомотину увядания. И беда и радость идут чередой, как зима сменяет лето, только в молодость нет возврата. Кто привыкает, а кто и нет. Отец неполных десять лет находил утешение в бутылке, а после сомлел в одночасье. Не захотел перейти на ту сторону, где бродят по обочине жизни беспризорные старички, вымаливая участие, как милостыню.

Много лет спустя осознал Пашута этот жестокий урок. И ему стало тошно. Отец был не прав. Смерть желанна, когда приходит в свой срок. Кто домогся ее не ко времени, всего лишь беглец. Но в этом бегстве есть величие. Пашута не осуждал отца, он о нем горевал. Как бы славно они посидели нынче рядышком.

— Варенька! — окликнул он пропавшую суженую. — Роди мне сына, Варенька! Его никто не посмеет обидеть.

Окончание следует.

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО

* * *

Нет, не было неведенье блаженным,
Что красота,
Как жизнь, несовершенна:
Искал я
Так мучительно и страстно
Свою мечту повсюду...
И напрасно.
А красота, как будто ненароком,
В природе, в женщине,
в стихе высоком
Хоть чуточку, но мудро отступала
От замысла души — от идеала.
Она была реальна и доступна,
Судима разумом — но неподсудна.
И надо было попросту —
проснуться —
Увидеть красоту,
к ней прикоснуться,
Успеть ее согреть
теплом сердечным.
Поскольку все-таки она
Не вечна...

* * *

Вычернила ночь туманная
Мазаные хутора,
Как полотна домотканые —
Ясеневая кора...
С вечера в посуде глиняной,
Молча глядя на тропу,
Варишь «семя буйволиное» —
Приворотную траву...
И уже сквозь темень ватную,
До колен в густой росе,
Я иду к тебе левадами
От притихшего шоссе.
С наговором долгим плещется
Струйка гибкого ручья.
Родинки твои мерещатся —
На груди и у плеча...
Скоро, скоро в кухне крохотной,
Где стоит очажный жар,
Выпью я до дна безропотно
Вязкий колдовской отвар...
Непроглядно ляжет патина
На окно... И подо мной,
Словно прошлое, беспамятно
Пол качнется земляной...

Художник

Среди вчерашних
мертвых истин
Тебе мучительно и пусто...
Нет, не обманет, не унизит
Стыда спасительное чувство.
Но пусть вчерашние порывы
От заблуждений не свободны —
Вглядись:
Вчерашней верой
живы
Твои вчерашние полотна.

* * *

«Читать учитесь между строк...» —
Учителя нам повторяли.
Усваивали мы урок —
Доверие к словам теряли...
Но, может, тем душа жива,
Что были в ней водоразделом
Прямые, ясные слова —
Не расходящиеся с делом.

Волк

Как ты продержался, волк,
так долго
Среди этих пашен и стогов,
Среди близких деревень,
поселков,
Где давно забыли про волков?
Среди этих перелесков редких,
Химикатных жиденьких болот,
Где еще
гурьба спортсменов метких
Редких уток добивает влет?
Сколько хитрости собрал,
Чтоб выжить,
В снегопадах след заворожить!
Или из ума успел ты выжить,
Или надоело — этак — жить?..

Со своею полинялой шкурой
(От которой невеликий толк) —
Вот — лежишь
В подтеках крови бурой
На траве,
Самоубийца-волк...
Ждал ли ты добра
От этой встречи?!
Что ж затеял глупую игру,
Выйдя прямо под удар картечи
Лунной ночью — к моему костру?..

* * *

Помню много дней пьянящих,
Знаю и закон природы:
После паводков бурлящих
Медленно спадают воды...
То легко текут,
то грузно
От рассвета до рассвета...
И в естественное русло
Входят к середине лета.
Осень скорая настанет,
Волею дохнет студеной,—
И моя река предстанет
Синеватой, проясненной.
Выбелят ее морозы,
Сдавят сердце человека...
Вот и все метаморфозы —
От цветения до снега...
В небо вслушиваюсь чутко:
Где ты, гомон журавлиный?
Я хочу увидеть чудо:
Как река
ломает льдины...

Друзья

1

Много пар ботинок прочных
Мы до дыр поизносили.
Много точных и неточных —
Вслух — суждений выносили.
Только не умели виться
И менять лукаво кожу.
Есть нам
И чего стыдиться,
Но и чем гордиться — тоже...
И пускай нас как угодно
Судят — очно и заочно,—
Нам еще осталось много
Износить ботинок прочных.
Мы пройдем рисково, круто
До обрыва наших судеб.
А господь
До той минуты
Окончательно не судит...

2

Я постигал так медленно — на опыте мучительном,
Что в дружбе не позволено быть слишком расточительным:
Цена медяшка — чувствицам отмеренным, подсчитанным;
Но сердце — не гостиница... и не на всех рассчитано.
Ему довольно нескольких сердец — пусть неподатливых
На откровенья лестные, но — родственных, понятливых,

Нести способных тяжести... Поэтому и веришь им!
Они в тепле нуждаются и в обращенье бережном.
И проверять их — совестно. И ревновать их — незачем.
Оставим страсти бурные для мальчиков и девочек...
Не все, что бурно начато, достойно продолжается.
А истинное дружество крепится и мужается.
Пренебрегать гордынею ему хватает смелости.
Терпение и сдержанность приличествуют зрелости.
Приятельства неверные — давно без слез оплаканы...
У дружества
и мужества
законы одинаковы.

ВЛАДИМИР ШАЦКОВ

* * *

Не столько страшен высший
Страшный суд,
Как следствие, идущее веками,
Когда себе и всем на свете лгут,
В своих грехах
другого упрекая.

Когда, упав в ладони головой,
В раскаянье притворном
и слезливом
На очной ставке
с собственной судьбой
Признания бормочут торопливо.

Когда тюремный вызубрив устав,
Всем существом желанья сильных
ловят,
И никогда не скажут:
«Я был прав!» —
В своем последнем,
послесмертном слове.

* * *

Нет, только так, как Пересвет —
С открытой грудью,
без кольчуги
Мы, русские, руяне, руги
Пред богом и людьми
должны держать ответ.
Пусть обступает вновь
Мамаева орда
И тучи стрел закроют
лик Даждь-бога,

Мы — русские.
Как это значит много,
Когда придет на родину беда.
Кому-то нынче сном последним
спать,
А вьюга голосит,
готовя нам постели...
Что ж, жить в России
часто не умели,
Зато всегда умели умирать.

* * *

Я верую в поэзию, она
мне столько в этой прозе
помогала!
Вновь из стола,
как в «Фаусте» бывало,
струился ток волшебного вина.

Соединяя сущности стихий,
он мог огнем подземным оказаться,

но если быть сожженным опасаться,
не надо приниматься за стихи.

Не знаю кто,
князь солнца или тьмы,
открыл в душе
источник этот светлый...
Остановись, мгновение! Помедли!
Прекрасно ты, когда прекрасны мы.

* * *

Трава пружинит под ногами,
В ней распрямляемости суть.
В ней сила лета...
Я лугами
Опять иду «куда-нибудь».
«Куда-нибудь» — почти что адрес.
Что впереди? — река, холмы.
Зеленорусский яркий атлас,
Что в детстве изучали мы.
Вдали от школы, от тетрадей.
И больше сердцем, чем умом.
И рады, что такого ради —
В нас птичий посвист не умолк.
Здесь что-то было, что-то будет
Среди нетающих дымов.
Здесь все свои — деревья, люди,
Дома, и глушь, где нет домов.
Здесь день закончен,
здесь и начат.
В живой земле жива вода.
Идти «куда-нибудь» — не значит,
Совсем не значит — никуда!

* * *

Над речкой маленькой
огромно облако,
Оно на землю оперлось вдали.
И знаю по мальчишескому опыту:
На небо дождь восходит из земли.
Сюда он препожалует не скоро —
И надо сил собрать, и пересечь
Все небо,
чтобы со степным простором
Вести о новом урожае речь.
Ему из туч угрюмых, черных литься
Так весело! Живое все — живи!
А нам смеяться,
запрокинув лица —
Мордашки конопатые свои!
Да, радость обнародовать
сполна нам,
Так щедро осчастливленным весной!
Скакать под громким ливнем,
исполняя
По лужам танец ритуальный свой!
Конец сомнениям, тревогам,
спорам,
Дождь, дождь! —
когда и кто ему не рад?!
Один из сельских праздников,
которым
Пока еще не назначали дат!

* * *

Вечерний город,
час прощальный света.
Булыжника мерцающий покат.
Сквозь путаницу
черных голых веток
Бесцветный немигающий закат.
И шум густой на звуки поделен —
Мы узнаем трамвай,
автобус, птицу,
И самолет поверх всего...
Приснится
Все это нам,
когда придет наш сон.
Приснится,
как высокий тихий свет
В свет перейдет наземный,
электрический.
Привычный нам,
по-своему лирический,
Которого в далеком прошлом нет.
Приснится,
как звезда падет в реку
И вспыхнет
куст от серебристых капель.
Как отсвет фар пройдет по потолку
И по стене стечет куда-то на пол.
Приснится
на снежке блескучем след
Девчоночий, которым твердь
согрета.
Приснится свет.
Приснится жизни свет.
Выходит, и во сне
нельзя без света!

Е. Исаеву

Есть песни радости
и есть — утрат.
Есть под фамилией
и есть «ничейные».
А есть ли песни ночи и утра? —
Не знаю. Только эта вот —
вечерняя...
В ней нет заката,
но в ней есть закат!
И по закату — утки и два гуся.
Что за сопровожденье —
не берусь я
Судить. Но так столетия летят.
Летят, летят к Воронежу, куда
Уехал милый, ей тоску оставив.
И бьется низкий шелест крыл
о ставни,
О сердце, и не смолкнет никогда.
Закат, закат...
Плывут возы, как павы,
Под крышу свозят луг. И у села
Встречает их звезда.
И верб купавы
Встречают разнеможные сена.
И песня из конца в конец слышна,
Живет, как до нее другие жили.
И вроде бы о птицах, но она
О нас, сердечных.
Про себя ж сложили!
В ней путь слезы.
В ней рук девичьих дрожь.
Реки свечение, небес свечение.
Такую в душный полдень не спросишь.
Вечерняя она. Она вечерняя...

* * *

Рассвет имеет больше прав
На красоту. Он светоносен!
По грудь в траве,
как будто вплавь,
Пересекали луг два лося.
А луг был белым от росы,
И по нему большому скоро
Прошли две черных борозды
И уперлись в опушку бора.
Виденье это или нет? —
Луг пуст.
Но след заметный тянется
К деревьям. Он во мне останется.
Тот темный след, как светлый след!

* * *

Зальются в небе птицы и замрут.
Как будто сделав паузу до лета.
Томленье дня, озимых изумруд —
Не каменность ростков,
а сочность цвета.
О будущем пока суди-ряди.
Но будет будущее,
верим в доброе.
Еще хлебов лесистость впереди,
Все впереди,
что в страдный час нам дорого.
Собраться тучам по весне веля,
Ветра от гор,
от черноморья дунули.
И то, что мы когда-то не додумали,
За нас за всех додумает земля.

■

Н. М. КАРАМЗИН

История государства Российского

ТОМ IV

Глава V

Великий князь Димитрий Александрович
Г. 1276—1294

Состояние России. Россияне в Дагестане. Копорье. Ссора князей ростовских. Междоусобие в великом княжении. Бедствие Курской области. Независимость Тверского княжения. Опустошение России. Кончина Димитриева. Неустройства в Новегороде. Дела с немцами и шведами. Набеги литвы. Дела с Польшею. Кончина кн. Владимира Волынского. Добродетели Кирилла митрополита. Смерть Ногаева.

После страшной грозы Батыевой отечество наше как бы отдохнуло в течение лет тридцати, будучи обязано внутренним устройством и тишиною умному правлению Ярослава Всеволодовича и Св. Александра. Некоторые частные грабежи моголов, некоторые маловажные распри князей и самая утрата государственной независимости уже казались легким злом в сравнении с общими бедствиями минувших лет, еще свежими в памяти народа. Войны внешние были довольно счастливы: победа Невская и Раковорская свидетельствовали, что россияне еще умеют владеть мечом; а торговля, ободряемая даже грамотами ханскими, доставляла и купцам и земледельцам способ платить дань без затруднения. В таком состоянии находилось великое княжение, когда Димитрий Александрович восшел на престол оного, к несчастию подданных и своему, к стыду века и крови героя Невского.

Новогородцы тогда же признали Димитрия своим князем, следуя, во-первых, древнему правилу, что глава России есть и глава Новагорода, а во-вторых, и для того, чтобы он покровительствовал их важную торговлю в земле Низовской и не мешал им иметь свободное общение с Заволочьем.

[1277—1280 гг.] Димитрий немедленно отправился в Новгород, а другие князья — Борис Ростовский, Глеб Белозерский, Феодор Яро-

Окончание четвертого тома. Начало — в № 8.

славский и Андрей Городецкий, сын Невского, брат Димитриев — повели войско в Орду, чтобы вместе с ханом Мангу-Тимуром идти на кавказских ясов, или алан, из коих многие не хотели повиноваться татарам и еще с усилием противоборствовали их оружию. Князья наши завоевали ясский город Дедяков (в южном Дагестане), сожгли его, взяв знатную добычу, пленников, и сим подвигом заслужили отменное благоволение хана, изъявившего им оное не только великою хвалою, но и богатыми дарами. Феодор Ярославский и зять его, Михаил, сын Глебов, ходили и в следующий год помогать татарам, или единственно исполняя волю хана, или желая добычи, коею моголы охотно делились с россиянами, пользуясь их мужеством. Татары воевали тогда в Болгарии с одним славным бродягою, свинопасом, известным в греческих летописях под именем Лахана: сей человек приманил к себе многих людей, уверив их, что небо послало его освободить отечество от ига могольского; имел сперва удачу и женился на вдовствующей супруге царя болгарского, им злодейски умерщвленного; но был наконец разбит татарами и лишен жизни в стане Ногаевом.

Между тем великий князь Димитрий наказал данников Новагорода, корелов, *взяв* их землю на *щит*, то есть разорив оную и пленив многих жителей за ослушание или явный бунт: в надежде, может быть, на помощь магистра ливонского или короля шведского, они хотели свергнуть иго, возложенное Новымгородом на их предков. Чтобы немцы и шведы не могли свободно приставать к нашим берегам Финского залива, Димитрий заложил каменную крепость в Копорье, где прежде находилась деревянная, в его же время срубленная. Сия крепость сделала раздор между князем и народом: первый хотел присвоить оную лично себе и занять своею дружиною; а граждане не позволяли князю владеть чем-нибудь в области Новогородской, особенно же местом укрепленным — и Димитрий, с досадою уехав в Владимир, начал готовиться к войне. Тщетно посол, архиепископ Климент, преемник Далматов, уговаривал его оставить гнев на людей, обыкших соблюдать древние права свои: великий князь пошел с войском в область Новогородскую, начал неприятельские действия разорением многих селений и стал на Шелоне. Там архиепископ Климент вторичным молением и дарами склонил его к миру: новогородцы согласились поручить Копорье дружине княжеской, но с того времени невзлюбили Димитрия, ожидая случая отмстить ему за сие насилие, который скоро и представился.

[1281 г.] Димитрий, оставив своего чиновника в Новегороде, возвратился в Владимир быть посредником в ссоре князей ростовских. Борис Василькович еще в 1277 году скончался в Орде, где была с ним и супруга его, Мария. Глеб Белозерский, наследовав Ростов, чрез несколько месяцев умер. Сей меньший Васильков сын от юности своей пользовался отменною милостию ханов и служил им на войнах усердно, чтобы тем лучше служить отечеству: ибо угнетаемые моголами россияне всегда находили заступника и спасителя в великодушном Глебе, вообще благотворительном, щедром, отце сирых и бедных. По его кончине сыновья Борисовы, Димитрий и Константин, господствуя в Ростове, отняли у Глебова сына, Михаила, наследственную Белозерскую область и скоро поссорились между собою, так что Константин должен был прибегнуть к великому князю, а Димитрий Борисович начал собирать полки; но великий князь отвратил ненавистное кровопролитие: сам ездил в Ростов и посредством тамошнего епископа, Игнатия, уговорил братьев жить согласно.

В то самое время собственный его меньший брат, Андрей Александрович, князь Городца Волжского, действуя по совету злодея, Семена Тониглиевича, и других недостойных бояр, вздумал овладеть великим княжением, вопреки государственному уставу или древнему обыкновению, по коему старший в роде заступал место отца. Лестию и дарами задобрив хана, Андрей получил от него грамоту и войско, подступил к Мурому и велел всем удельным князьям явиться к нему в стан с их

дружинами. Никто не смел ослушаться: Феодор Ярославский, Михаил Иванович Стародубский (внук Всеволода III) и даже Константин Ростовский, облагодетельствованный Димитрием, соединились с Андреем. Изумленный сею внезапною грозою, великий князь искал спасения в бегстве; а татары, пользуясь случаем, напомнили России время Батыево. Муром, окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самого Торжка, были разорены ими: они жгли и грабили домы, монастыри, церкви, не оставляя ни икон, ни сосудов, ни книг, украшенных богатым переплетом; гнали людей толпами в плен или убивали. Юные монахини, жены священников были жертвою гнусного насилия. Спасая жизнь и вольность, земледельцы гибли в степях от жестоких морозов. Переславль, удельный город Димитриев, хотел обороняться и был ужасным образом за то наказан: не осталось жителя (по словам летописи), который не оплакал бы смерти отца или сына, брата или друга. Сие несчастие случилось декабря 19 [1281 г.]: в рождество Христово церкви стояли пусты; вместо священного пения раздавался в городе один плач и стон. Андрей, злобный сын отца столь великого и любезного России, праздновал один с татарами и, совершив дело свое, отпустил их с благодарностию к хану.

[1282 г.] Димитрий Александрович бежал к Новугороду и думал заключиться в Копорье. Новогородцы многочисленными полками встретили его на озере Ильмене. «Стой, князь! — говорили они: — мы помним твои обиды. Иди, куда хочешь». Они взяли дочерей и бояр Димитриевых в залог, дав слово освободить их, когда дружина княжеская добровольно выступит из Копорья, где находился тогда и славный Довмонт Псковский, зять великого князя. Доброхотствуя тестю, он с горстию воинов вломился в Ладогу, взял там казну его, даже много чужого, и возвратился в Копорье; но пользы не было: ибо новогородцы немедленно осадили сию крепость и, принудив Довмонта выйти оттуда со всеми людьми княжескими, срыли оную до основания. Внутренно, может быть, гнушаясь злодеянием Андрея Александровича, но жертвуя совестию особенным их выгодам, новогородцы призвали его и возвели на престол Св. Софии.

Между тем, сведав, что полки ханские оставили Россию, Димитрий возвратился в Переславль, где жители изъявляли к нему усердие, и начал собирать войско. Андрей, видя опасность, спешил в Орду. Новогородцы также не могли быть спокойны: имея недостаток в съестных припасах и боясь, чтобы Димитрий не занял хлебного Торжка, вверили защиту сего для них важного места надежному боярину, Семену Михайловичу; велели ему доставить оттуда весь излишний хлеб водою в Новгород и соединились с друзьями Андреевыми, меньшим его братом, Даниилом Московским, и Святославом Тверским. Они хотели изгнать великого князя; встретив же его готового к битве, в пяти верстах от Дмитрова, остановились и заключили мир *на всей воле своей:* то есть Димитрий отказался от Новагорода и дал слово никогда не мстить его жителям. Но Андрей нашел гораздо усерднейших помощников в моголах: сии варвары, всегда алчные к злодействам и добыче, не отказались и вторично услужить ему разорением великого княжения; напали со всех сторон на Суздальские области и стремились к Переславлю, означая свой путь кровию и пожарами. Димитрий не мог противиться: он бежал к сильному Ногаю, который, быв прежде воеводою ханским, тогда уже самовластно господствовал от степей Слободской Украинской и Екатеринославской губернии до берегов Черного моря и Дуная.

Таким образом князья российские в самом источнике насилий искали способа защитить себя от оных и жертвовали последними остатками народной гордости выгодам собственного, личного властолюбия. Димитрий не обманулся в надежде: убежденный его справедливостию или желая единственно доказать свое могущество, Ногай возвратил ему престол и власть не мечом и не кровопролитием, но одною повелительною грамотою. Андрей не дезнул быть ослушником, ибо сам новый хан,

Тудан-Мангу, боялся Ногая. Братья примирились, хотя и не искренно; меньший отказался от великого княжения и даже не мог защитить своих друзей от мести Димитриевой. Мы упоминали о вельможе Семене Тониглиевиче, главном советнике Андреевом, коему летописцы дают имя коварного мятежника: великий князь послал двух бояр умертвить его в Костроме, где он жил спокойно, надеясь на заключенный между братьями мир. Бояре, тайно схватив сего вельможу, напрасно хотели сведать, не имеет ли Андрей новых опасных замыслов: Семен ответствовал: «Я ничего не знаю. Братья ссорятся, братья мирятся; а мое дело верно служить государю». Запираясь в том, чтобы Андрей по его совету призывал моголов, и слыша угрозы, он равнодушно сказал: «И так великий князь не боится вероломства? клялся быть другом Андреевым и грозит казнию его боярам!» Тогда исполнители Димитриева повеления убили сего человека жестокого, но смелого и решительного: свойства, без коих злодеи не могли бы так часто успевать в своих намерениях.

[1283—1284 гг.] Андрей молчал и, не смея ни в чем спорить с Димитрием, уступил ему Новгород, хотя, будучи в Торжке, незадолго до сего времени дал клятву новогородским чиновникам жить или умереть с ними. Он ходил даже вместе с великим князем и с татарами смирять новогородцев, не хотевших повиноваться его брату. Чтобы не раздражить моголов и спасти свою область от разорения, они согласились наконец зависеть от Димитрия, уступив ему Волок.

Увидим, что Андрей, стараясь доказывать великому князю свое раскаяние и миролюбие, действовал как лицемер; но прежде описания его новых злодейств изобразим тогдашние бедствия области Курской, где господствовали Олег и Святослав, потомки древних владетелей черниговских: первый в Рыльске и Ворголе, а второй в Липецке. Баскаком сего княжения был Ахмат хивинец: взяв на откуп дань татарскую, он угнетал народ, не исключая ни бояр, ни князей, и завел близ Рыльска две слободы, куда стекались негодяи всякого рода, чтобы, снискав его покровительство, грабить окрестные селения. Олег с согласия Святослава пожаловался на то хану Телебуге, который, дав ему отряд моголов, велел разорить слободы Ахматовы: князья же, исполняя в точности приказ его, вывели оттуда своих беглых людей, а других оковали цепями. Ахмат находился тогда у Ногая и, слыша, что сделалось в области Курской, описал ему Олега и Святослава разбойниками, тайными его неприятелями. Сие обвинение имело некоторую тень истины: ибо легкомысленный Святослав, еще прежде Олегова возвращения из Орды, тревожил баскаковы селения ночными нападениями, похожими на разбой. «Чтобы увериться в справедливости моих слов,— говорил Ахмат Ногаю,— пошли сокольников в Олегову землю ловить лебедей и вели ему к тебе приехать: увидишь, что он не послушается». Олег не считал себя виновным, ибо исполнил только волю хана; но, боясь клеветы Ахматовой, не захотел ехать к Ногаю, который, будучи раздражен его ослушанием, послал войско наказать мнимого неприятеля. Мог ли князь двух или трех ничтожных городков думать о сопротивлении? Олег бежал к хану Телебуге, Святослав в леса воронежские, а моголы, разорив курское владение, схватили 13 бояр, также несколько странников и предали их скованных в жертву злобному баскаку. Он злодейски умертвил первых, освободил странников и, подарив им окровавленные одежды казненных бояр, сказал: «Ходите из земли в землю и громогласно объявляйте: *так будет всякому, кто дерзнет оскорбить баскака!*» Разоренные Ахматовы слободы вновь наполнились жителями, скотом и другими плодами всеместного грабежа в Курской области: люди бежали в пустыни, несмотря на жестокость зимы; города и села опустели так, что слуги баскаковы, возя повсюду головы и руки убитых бояр, видели, что некого было стращать сими знаками его ужасной мести. Однако ж Ахмат боялся ушедших князей и сам поехал к Ногаю, оставив вместо себя двух братьев для охране-

ния слобод. Что он предвидел, то и случилось. Бродяги, жители баскаковых деревень, скоро должны были все разбежаться: ибо Святослав возвратился, стерег их на дорогах и несколько человек умертвил, не заботясь о следствиях. Тогда же приехал из Орды и родственник его, Олег, собрать, успокоить народ и с христианскими обрядами воздать честь погребения убитым боярам, коих искаженные трупы еще висели на деревах. Желая отвратить новую беду от земли Курской, сей князь торжественно объявил Святослава преступником, говоря ему: «Мы были правы, а теперь стали виновны. Дело твое есть вторичный разбой, всего более ненавистный татарам и в самом нашем отечестве нетерпимый. Надлежало требовать суда от хана: ты же не хотел ехать к нему, укрываясь в темноте лесов как злодей. Моя совесть чиста. Иди, оправдайся пред царем». Но Святослав не слушал ни упреков, ни советов его, ответствуя гордо: «Я волен в своих делах; наказал врагов моих и прав». Тогда Олег поехал с жалобою к Телебуге и, ревностно исполняя волю его, умертвил Святослава! Достойно замечания, что летописцы сего времени нимало не винят убийцы, осуждая безрассудность убитого: столь рабство изменяет понятия людей о чести и справедливости! Святослав казался злодеем, ибо, отражая насилие насилием, подвергал россиян гневу сильного тирана; а жестокий Олег, вонзив меч в сердце единокровного князя, не заслужил их укоризны, ибо тем спасал себя и подданных от мести татарской... Но себя не спас: брат Святослава, Александр, убил его вместе с двумя сыновьями и нашел способ умилостивить моголов. Сии завоеватели требовали единственно повиновения и даров, оставляя нашим князьям право резать друг друга и, вступаясь иногда с великою ревностию за утесненного, готовы были тогда же взять сторону противную.

[1285 г.] Мы видели, что Ногай защитил Димитрия: увидим его и защитником Андрея. Сей князь городецкий, жив два года спокойно, призвал к себе какого-то царевича из Орды и начал явно готовиться к важным неприятельским действиям. Великий князь предупредил их: соединился с удельными владетелями, выгнал царевича и пленил бояр Андреевых. Сие действие могло оскорбить хана и казалось дерзостию: ростовцы поступили еще смелее. С неудовольствием смотря на множество татар, привлекаемых к ним корыстолюбием и хотевших быть во всем господами, они положили на вече изгнать сих беспокойных гостей и [в 1289 г.] разграбили их имение. Владетель ростовский, Димитрий Борисович, сват великого князя, немедленно послал в Орду брата своего Константина, чтобы оправдать народ или себя, и хан на сей раз не вступился за обиженных татар: чему были причиною или дары княжеские, или тогдашние внутренние неустройства в Орде. Ногай более и более стеснял власть ханскую: наконец [в 1291 г.] умертвил Телебугу и возвел на престол его брата, именем Тохту. К несчастию, Россия не могла еще воспользоваться сими междоусобиями ее тиранов, согласных в желании угнетать оную.

Великий князь, обязанный всем покровительству Ногая, мог быть еще спокойнее прежнего, видя его, располагающего судьбою ханов. Чтобы тем более угодить ему, он послал в Орду сына, юного Александра (который там и скончался). Но Андрей хитрыми происками успел склонить на свою сторону многих удельных князей, в особенности же Феодора Ярославского, любимца — и как вероятно — зятя Ногаева, представляя им Димитрия опасным и готовым стеснить их права, хотя великий князь совсем не думал о самовластии. За несколько лет до того времени оскорбленный тверским владетелем, Михаилом Ярославичем, юношею гордым, он ходил вместе с новогородцами воевать его области, но должен был заключить с ним мир у Кашина, не смев решиться на битву и как бы признав независимость Тверского княжения. Андрей и Феодор, вступив в тесную связь, очернили Димитрия в глазах Ногая, весьма равнодушного к справедливости и довольного случаем обогатить своих моголов новым впадением в Россию, где они били людей как птиц

и брали добычу, не подвергаясь ни малейшей опасности. [1293 г.] Ногай сказал слово, и многочисленные полки моголов устремились на разрушение. Дюдень, брат хана Тохты, предводительствовал ими; а князья, Андрей и Феодор, указывали ему путь в сердце отечества. Димитрий находился в Переславле: не имея отважности встретить Дюденя ни с оружием, ни с убедительными доказательствами своей невинности, он бежал через Волок в отдаленный Псков, к верному зятю Довмонту. Татары шли возвести Андрея на великое княжение и могли бы сделать то без всякого кровопролития: ибо никто не думал сопротивляться воле Ногаевой; но сей предлог был только обманом. Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск и еще несколько других городов были ими взяты как неприятельские, люди пленены, жены и девицы обруганы. Духовенство, свободное от дани ханской, не спаслося от всеобщего бедствия: обнажая церкви, татары выломали даже медный пол собора владимирского, называемый *чудесным* в летописях. — В Переславле они не нашли ни одного человека: ибо граждане удалились заблаговременно с женами и с детьми. Даниил Александрович Московский, брат и союзник Андреев, дружелюбно впустив татар в свой город, не мог защитить его от грабежа. Ужас царствовал повсюду. Одни леса дремучие, коими сия часть России тогда изобиловала, служили убежищем для земледельцев и граждан.

Дюдень, вступив в Тверскую область, думал взять столицу тем удобнее, что князь Михаил находился в Орде. К счастию, бояре и народ изъявили великодушную смелость: с обрядами священными дав клятву друг другу обороняться до последнего человека, они составили войско, довольно сильное числом; многие люди из других областей, спасаясь от моголов, прибежали в Тверь и вооружились вместе с ее мужественными гражданами. К внезапной их радости явился и князь Михаил, двадцатилетний юноша, любимый всеми. Не зная, что татары заняли Москву, он было едва не попался к ним в руки; но один сельский священник в окрестностях ее дал ему весть о том и показал дорогу безопасную. Духовенство встретило князя с крестами, народ с восхищением; думая, что он привез к ним спасение и победу, самые малодушные ободрились. Мужество в некоторых случаях так же легко сообщается, как и робость. — Недостойный князь Андрей, быв свидетелем всех злодейств татарских, уже вел Дюденя к Твери; но сведав, что жители ее под начальством Михаила готовы дать им отпор сильный, моголы обратились к Новогородской области, ибо искали в России не славы побед, а только одной безопасно добываемой корысти. Разорением Волока заключилось сие губительство. Прислав дары воеводе могольскому, новогородцы объявили там Андрею, что они всегда желали иметь его своим князем и что ему нет нужды идти к ним с татарами. Дюдень отступил и вышел из России. Андрей приехал в Новгород; союзник же его, Феодор Ростиславич, взял себе Переславль Залесский. Сей князь по смерти братьев, Глеба и Михаила Ростиславичей, господствовал и в Смоленске, но скоро должен был уступить оный племяннику, Александру Глебовичу, воину мужественному, который (в 1285 году) счастливо отразил от столицы своей князя брянского, Романа Михайловича.

Великий князь ждал только отбытия полков Дюденевых и хотел немедленно возратиться в свою наследственную Переславскую область, зная, что усердный к нему народ возьмет его сторону. Андрей с дружиною новогородскою перехватил брата на пути, близ Торжка. Великий князь, оставив казну свою в руках Андреевых, ушел в Тверь, где юный Михаил принял его со всею должною честию и вызвался быть миротворцем между ими, чтобы избавить отечество от дальнейших бедствий. Епископ тверской и Святослав (князь или вельможа) поехали в Торжок, убеждали, молили Андрея и наконец успели в благом деле своем. Великий князь отказался от старейшинства и престола владимирского, довольный наследственным переславским уделом; а новогo-

родцы получили обратно Волок. Согласно с главным условием мира, Феодору Ростиславичу надлежало оставить Переславль: он не мог противиться воле Андреевой, но, выезжая из сего города, обратил его в пепел. Димитрий сведал о том уже в последние часы своей жизни: занемог, постригся и близ Волока умер на пути: государь, памятный одними несчастиями, претерпенными Россиею в его княжение от Андреева безумного властолюбия! Летописцы прибавляют, что в сии горестные времена были страшные небесные знамения, громы, вихри и смертоносные болезни.

Новогородцы при Димитрии также не пользовались ни внутренним, ни внешним миром. В 1287 году смененный посадник, Симеон Михайлович, несправедливо обвиняемый во злоупотреблениях власти, был осажден в доме своем шумными вооруженными толпами; но архиепископ спас его, проводив в Софийскую церковь, куда мятежники не дерзнули вломиться. На другой день всеми признанный невинным, посадник умер с горести, видев легковерие и жестокость сограждан. *Конец* восставал на *конец*, улица на улицу: так называемая Прусская была вся выжжена за боярина Самуила Ратьшинича, убитого ее жителями на дворе архиепископском. В 1291 году крамольники опустошили богатые лавки купеческие: народ, вследствие торжественного суда, утопил двух главных виновников сего злодейства. — Немцы часто тревожили новогородцев, разбивали их суда на Ладожском озере и хотели обложить данию корелу: мужественный посадник Симеон, в устье Невы победив немецкого воеводу Трунду, истребил большую часть его *шнек* и *лойв*, или судов. Шведы, раздраженные нападением отряда новогородского на Финляндию, приходили разорять земли Ижерскую и Корельскую. Их было 800 человек: ни один не спасся; жители сих областей сами собою управились с ними. Но в следующий год (1293) шведы заложили крепость на границах Корелии, нынешний Выборг, и новогородцы, приступив к ней с малыми силами, возвратились без успеха. Король шведский, Биргер, желал утвердиться в Корелии для того, чтобы обуздать ее свирепых жителей, непрестанно беспокоивших его северо-восточные владения и грабивших суда купеческие на Финском заливе; хотел также укоренить в ней латинскую веру и присвоить себе господство над торговлею немцев с Новымгородом: чему свидетельством служит грамота, данная Биргером Любеку и другим городам приморским, в коей он, обещая им покровительство, строго запрещает их купцам ввозить оружие и всякое железо в Россию.

Набеги литовцев продолжались, особенно на области Тверскую и Новогородскую. Не только жители Волока, Торжка, Зубцева, Ржева, Твери, но и москвитяне с дмитровцами долженствовали вооружиться (в 1285 году) и, соединенными силами поразив толпы сих хищников, убили их князя, именем Домонта.

Гораздо важнее и несчастнее для России, как пишет историк Длугош, было (в 1280 году) сражение Льва Даниловича Галицкого с поляками. По кончине доброго Болеслава, умершего бездетным, Лев думал быть его наследником и государем всей Польши; не мог преклонить к тому вельмож краковских (избравших Лешка, Болеславова племянника) и, желая силою овладеть некоторыми из ближайших ее городов, сам ездил в Орду к Ногаю требовать от него войска. Однако ж, несмотря на многочисленные толпы моголов, данные ему ханом, воеводы Лешковы одержали над ним блестящую победу, взяв 2000 пленников, семь знамен и положив на месте 8000 человек. Князья благоразумные, Владимир-Иоанн и Мстислав Даниилович, весьма неохотно участвовали в сем походе, осуждая призвание моголов, которым слепое властолюбие Льва указывало путь к дальнейшим опустошениям стран христианских. Но провидение охраняло Запад. Так сильные вожди ханские, Ногай и Телебуга, в 1285 году предприяв совершенно разрушить венгерскую державу и взяв с собою князей галицких, наполнили стремнины Карпатские трупами своих воинов. Россияне были для них худыми

путеводителями: где надлежало идти три дня, там моголы скитались месяц; сделался голод, мор, и Телебуга возвратился *пеш с одною женою* и *кобылою*, по словам летописца. Около ста тысяч варваров погибло в горах и пустынях. Несмотря на то, Ногай и Телебуга в 1287 году с новыми силами явились на берегах Вислы: герцог Лешко бежал из Кракова; никто не мыслил обороняться в Польше: но, к ее спасению, вожди татарские боялись, ненавидели друг друга; не захотели действовать совокупно и, без битвы пленив множество людей, удалились. Телебуга на возвратном пути остановился в Галиции, требуя гостеприимства от ее князей, вместе с ним неволею ходивших за Вислу; а в благодарность за оное моголы грабили, убивали россиян и сообщили им язву, от коей умерло в одних Львовских областях 12 500 человек и которая, если верить сказанию Длугоша, произошла от того, что моголы испортили воды в Галиции ядом, будто бы извлеченным ими из мертвых тел. Сие бедствие уверило Льва Даниловича, что должно не призывать, а всячески отводить моголов от покушений на Запад: ибо Галич и Волыния, служа им перепутьем, страдали в таком случае не менее тех земель, куда стремились сии варвары.

Здесь подробные сказания волынского летописца о происшествиях его отчизны заключаются известием о болезни и кончине Владимира-Иоанна Васильковича, любителя правды, кроткого, милостивого, трезвого и за особенную ученость по тогдашнему времени названного *Философом*. Сей добрый князь владимирский четыре года страдал как Иов. Нижняя губа его начала гнить; лекарства не помогали: но снося терпеливо боль, он занимался делами и ездил на коне. Недуг усилился: вся мясная часть бороды отпала; нижние зубы и челюсти выгнили. Предвидя смерть, Владимир собрал все драгоценности, золотые и серебряные поясы отцовские и собственные, монисты бабкины, материны, большие серебряные блюда, золотые кубки; слил их в гривны и роздал бедным вместе с княжескими стадами. Не имея детей, он в духовном завещании объявил наследником своим Мстислава Даниловича, мимо старшего Льва и сына его Юрия (женатого на дочери Ярослава Тверского): ибо не любил их за лукавые происки. Так Лев, сведав о тяжкой болезни Владимира, прислал к нему святителя перемышльского, Мемнона, чтобы выпросить у него Брест, *на свечу для гроба Даниилова*, как говорил сей епископ. «А что брат наш Лев дал в память родителя моего? — сказал Владимир: — господствуя в трех княжениях, Галицком, Перемышльском, Бельзском, хочет взять и Брест; но не обманет меня». Тщетно и Юрий притворно жаловался ему на отца, будто бы лишенный им удела, и надеялся вымолить у дяди сию же область. Умирая, Владимир отказал супруге, именем Елене, город Кобрин, поручил ее наследнику своему, равно как и юную питомицу их, неизвестную княжну Изяславу, взятую ими в пеленах от матери, — и преставился в Любомле (в 1289 году), а погребен, *обвитый бархатом с кружевами*, в Владимире, в церкви св. Богоматери, епископом Евсегением. Нежная супруга и сестра Ольга оплакали его вместе с подданными и бывшими там иноземцами, в числе коих летописец именует евреев, сказывая далее, что сей князь был отменно высокого роста и прекрасный лицом, имел желтые кудреватые волосы, голос толстый, и стриг бороду вопреки обыкновению; что он построил город Каменец за Брестом на реке Льстне (где все места по кончине Романа, отца Даниилова, 80 лет пустели), везде исправил, обновил крепости, украсил многие церкви живописью, серебром, финифтью и наделил священными книгами, им самим списанными; что наследник Владимиров, Мстислав, уподоблялся ему в добродетелях: одною угрозою выгнал Юрия Львовича из Бреста, Каменца, Бельска и в наказание обложил их жителей необыкновенною податию. Летописец волынский жил в сие время: он называет его счастливым. Уже татары не беспокоили западной России и были довольны, получая от ее князей дань, собираемую с народа. Владетели литовские, братья Будикид и Буйвид, купили дружбу Мстислава, усту-

пив ему Волковыеск. Ятвяги, отчасти присоединенные к Литве Тройденом, не смели оскорблять россиян, желая получать от них хлеб и представляя им в обмен воск, бобров, черных куниц и даже серебро. Польша терзалась в междоусобиях: Болеслав и Конрад Самовитовичи, враги Генрика Вратиславского, искали благосклонности князей галицких. Лев, помогая им, осаждал Краков: не взял его от измены вельмож Болеславовых, но возвратился с великою добычею, разорив область Генрикову и заключив тесный союз с королем богемским. Одним словом, Галиция и Волыния отдохнули, славя мудрость и знаменитость своих государей. Еще род Святополка-Михаила господствовал в Пинске: последний князь его, нам известный, был Георгий Владимирович, *добрый* и *правдивый* (от того же, вероятно, колена произошли князья *Степанские,* упоминаемые в летописи Волынской). — Теперь обратимся к северной России.

Во время Димитрия Александровича возвысилось могуществом новое княжение Тверское, которое, быв частию Суздальского, или Владимирского, сделалось особенным при Ярославе Ярославиче, учредившем там епископию. Первый святитель тверской, Симеон, имел уже многие, богатые волости, Олешну и другие, данные ему князем; а преемник Симеонов, игумен Андрей, был сын литовского князя Гердеия и христианки Евпраксии, тетки Довмонта Псковского. Сего второго епископа тверского ставил уже новый митрополит Максим: ибо Кирилл (в 1280 году) скончался в Переславле Залесском, быв главою нашей церкви 31 год; тело его отвезли для погребения в Киев. Едва ли кто-нибудь из древних митрополитов российских превосходил Кирилла в добродетелях, истинно пастырских. Он мирил князей с народом, просвещал духовенство, искоренял заблуждения, одушевленный ревностию к вере и к чистоте евангельского учения. Расскажем один любопытный случай, который ясно представляет благоразумие сего митрополита. Услышав, что епископ ростовский, Игнатий, вздумал судить давно умершего доброго князя Глеба Васильковича и как недостойного велел ночью перенести в гробе из соборной церкви в монастырь Спасский, Кирилл, оскорбленный таким злоупотреблением духовной власти, отлучил епископа от службы и, наконец, простив его из уважения к ревностному предстательству князя Димитрия Борисовича Ростовского, сказал ему: «Игнатий! Оплакивай во всю жизнь свое безумие, дерзнув осудить мертвеца прежде суда божия! Когда Глеб был жив и властвовал, ты искал в нем милости, брал от него дары, вкусно ел и пил за столом княжеским, и в благодарность за то обругал тело покойника! Кайся во глубине сердца, да простит бог твое согрешение!» — Кирилл посылал епископа сарского, Феогноста, к патриарху константинопольскому, Иоанну Векку, славному ученостию и красноречием, но изменнику православия: ибо Иоанн хотел подчинить церковь восточную западной. Патриарх действовал так в угодность царю Михаилу Палеологу, а царь для безопасности своего царства и в надежде, что папа примирит его с братом Св. Людовика, опасным Карлом д'Анжу, который, господствуя на Средиземном море, угрожал империи Греческой. Российский епископ видел в Константинополе несчастный раскол, гонение и даже казнь многих ревностных сановников церкви, громогласно осуждавших царя, и возвратился (в 1279 году) к митрополиту с известиями печальными. Духовенство российское, по кончине знаменитого Кирилла, два года не имело главы, ибо не хотело, как вероятно, принять нового митрополита от злочестивого Иоанна Векка. Максим в 1283 году был посвящен старцем Иосифом, вторично призванным на патриаршество по смерти императора Михаила и предавшим анафеме уставы латинской церкви. — В одной летописи сказано, что преемник Кириллов, грек Максим, прибыв в Россию, ездил в Орду и после сзывал для чего-то всех наших епископов в Киев; но сие известие, не подтверждаемое другими достовернейшими летописцами, остается сомнительным. Доселе ни митрополиты, ни епископы наши не бывали в Орде, кроме сарского, жившего в ее сто-

лице. Достойно замечания, что епископ Феогност ездил оттуда в Константинополь не только по церковным делам, но и в качестве ханского посла к императору Михаилу, тестю Ногаеву. Сей славный Ногай — в тот самый год, как Дюденево войско злодействовало в России,— был побежден ханом Тохтою и найден между убитыми. Кажется, что в сие время уже разные воеводы могольские присвоивали себе имя царей: ибо в наших летописях упоминается еще о каком-то царе Токтомере, который (около 1293 году) приезжал в Тверь, утеснял народ и возвратился с богатою корыстию в свои улусы.

Глава VI

Великий князь Андрей Александрович
Г. 1294—1304

Браки. Свойства Андреевы. Суд князей. Сеймы княжеские. Москва усиливается. Смелость россиян. Смерть Даниила Московского. Междоусобия в княжениях. Война с орденом ливонским. Кончина и слава Довмонтова. Ландскрона. Мир с Данией. Смерть Андреева. Разные бедствия. Митрополиты в Владимире. Кончина Льва Галицкого. Двинская грамота.

Наконец властолюбивый Андрей уже мог назваться законным великим князем России; никто не спорил с ним о сем достоинстве. Константин Борисович, по кончине старшего брата, сел на престоле ростовском, отдав Углич своему сыну, Александру. Великий князь и Михаил Тверской женились на дочерях умершего Димитрия Борисовича, и два года протекли в тишине.

Но мог ли Андрей, разоритель отечества, требовать любви от народа и почтения от князей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человечества закрашивают иногда черноту свою: ни ревностного славолюбия, ни великодушного мужества; брал города, истреблял христиан руками моголов, не обнажав меча, не видав опасности и пролив множество невинной крови, не купил даже права назваться победителем!

[1295—1297 гг.] В тогдашних обстоятельствах России великому князю надлежало бы иметь превосходную душу Александра Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть главою частных владетелей, из коих всякий искал независимости. Михаил Тверской и Феодор Ярославский приобрели оную в княжение Димитрия, а Даниил Московский и сын Димитрия Александровича, Иоанн Переславский, хотели того же при Андрее. Открылась распря, дошедшая до вышнего судилища ханова: сам великий князь ездил в Орду с своею молодою супругою, чтобы снискать милость Тохты. Посол ханский, избранный быть миротворцем, созвал князей в Владимир. Они разделились на две стороны: Михаил Тверской взял Даниилову (Иоанн же находился в Орде; вместо его говорили бояре переславские): Феодор Черный и Константин Борисович стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с важностию и с гордым видом, но не мог удержать их в пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором князья и вельможи взялись было за мечи. Епископы, владимирский Симеон и сарский Исмаил, став посреди шумного сонма, не дали братьям резаться между собою. Суд кончился миром, или, лучше сказать, ничем. Посол ханов взял дары, а великий князь, дав слово оставить братьев и племянника в покое, в то же время начал собирать войско, чтобы смирить их как мятежников. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хотел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевом сильную рать тверскую и московскую: ибо Иоанн, отправляясь к хану, поручил свою область защите Михаила Ярославича. Вторично вступили в переговоры и вторично заключили мир, который, сверх чаяния, не был нарушен до самой кончины

Андреевой. Князья иногда ссорились, однако ж не прибегали к мечу и находили способ мириться без кровопролития.

[1298—1304 гг.] Древние сеймы княжеские, учрежденные Мономахом при Святополке II, тогда возобновились, в обстоятельствах подобных и с тем же добрым намерением: ибо ни Святополк, ни Андрей не мог силою обуздывать частных владетелей, и словесные убеждения, за недостатком иных средств, казались нужными. В сих торжественных собраниях присутствовали и знаменитые духовные особы, как толкователи святых устоев правды и совести. Первое из оных, по смерти Феодора Ярославского, было в Дмитрове, где Андрей с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаилом кончил все дела дружелюбно, но где князья тверской и переславский не могли в чем-то согласиться, доселе действовав единодушно. Хитрый Михаил привлек было на свою сторону и новогородцев, заключив с ними договор, по коему они взаимно обязывались помогать друг другу в случае утеснений от великого князя и самого хана: Новгород обещал правосудие всем тверским истцам в его области, а Михаил отступался от закабаленных ему должников новогородских, и проч. Андрей не мог помешать сему оскорбительному для него союзу и без сомнения был доволен размолвкою Михаила с Иоанном, которая уменьшала могущество первого. Но Иоанн, названный в летописях тихим, или кротким, тем согласнее жил с дядею своим, Даниилом, и в 1302 году, умирая бездетен, отказал ему Переславль. Князь московский, въехав в сей город, выгнал оттуда бояр Андрея, который считал себя истинным наследником Иоанновым, и, негодуя на властолюбие меньшего брата, поехал с жалобою к хану. Область Переславская вместе с Дмитровом была по Ростове знаменитейшею в великом княжении, как числом жителей, бояр, людей военных, так и крепостию столичного ее города, обведенного глубоким, наполненным водою рвом, высоким валом и двойною стеною под защитою двенадцати башен. Сие важное приобретение еще более утверждало независимость московского владетеля: Даниил же, за два года перед тем, победил и взял в плен рязанского князя, Константина Романовича, *убив* в сражении и *многих татар:* смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом россияне начинали ободряться и, пользуясь дремотою ханов, издалека острили мечи свои на конечное сокрушение тиранства.

Между тем как Андрей искал суда в Орде, Даниил внезапно скончался, однако ж успев принять схиму, по тогдашнему обыкновению людей набожных. Он первый возвеличил достоинство владетелей московских и первый из них был погребен в сем городе, в *церкви Св. Михаила,* оставив по себе долговременную память князя доброго, справедливого, благоразумного и приготовив Москву заступить место Владимира.

Сведав о кончине Даниловой, переславцы единодушно объявили князем своим сына его, Юрия, или Георгия, у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать на погребение отца, боясь, чтобы Андрей вторично не занял их города. Георгий, успокоив народ и будучи уверен или в покровительстве или в беспечности хана, не только без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми приобретениями умножить владения московские; соединился с братьями, завоевал Можайск, удел Смоленский, и привел пленником тамошнего князя, Святослава Глебовича, Феодорова племянника.

Наконец великий князь, быв целый год в Орде, возвратился с послами Тохты. Князья съехались в Переславле на общий сейм (осенью в 1303 году). Там, в присутствии митрополита Максима, читали ярлыки, или грамоты ханские, в коих сей надменный повелитель объявлял свою верховную волю, да наслаждается великое княжение тишиною, да пресекутся распри владетелей и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Андрей, Михаил и сыновья Даниловы возобновили договор мира; но Георгий удержал за собою Переславль, и, следственно, великий князь, хваляся впрочем милостию Тохты, не достигнул своей цели.

В сих княжеских съездах не участвовали ни рязанские, ни смоленские, ни другие владетели. Нашествие моголов уничтожило и последние связи между разными частями нашего отечества: великий князь, не удержав господства над собственными уделами Владимирскими, мог ли вмешиваться в дела иных областей и быть — ежели бы и хотел — душою общего согласия, порядка, справедливости? Как в великом, так и в частных княжениях единокровные восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив (в 1298 году) дядю своего, Феодора Черного, от Смоленска, хотел (чрез два года) взять Дорогобуж, город Смоленской области, ему непослушный; отнял у жителей воду, но, разбитый ими с помощию князя *вяземского,* Андрея, его родственника, отступил, исходя кровию от тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также был уязвлен стрелою; а юный сын последнего пал мертвый на месте сражения.

Мужество россиян гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с врагами иноплеменными... Ливонские рыцари (в 1299 году) неожидаемо осадили Псков и, разграбив монастыри в его предместии, убивали безоружных монахов, женщин, младенцев. Князь Довмонт, уже старец летами, но еще воин пылкий, немедленно вывел свою дружину малочисленную, сразился с немцами на берегу Великой, смял их в реку и, взяв в добычу множество оружия, брошенного ими в бегстве, отправил пленников, граждан эстонского Феллина, к великому князю. Командор ордена, предводитель немцев, был ранен в сем несчастном для них сражении, о коем ливонские историки не упоминают и которое было последним знаменитым делом храброго Довмонта. Он преставился чрез несколько месяцев от какой-то заразительной болезни, смертоносной тогда для многих псковитян, и кончина его была долгое время оплакиваема народом, самыми женами и детьми. Довмонт, названный в крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но, приняв веру Спасителеву, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян; тридцать три года служил богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом: удостоенный сана княжеского, не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери великого князя Димитрия, не оставлял сего изгнанника в несчастии и готов был положить за него свою голову; по смерти же Димитрия свято наблюдал обязанности князя удельного и в рассуждении Андрея. За то граждане Пскова любили Довмонта более всех других князей; воины, им предводимые, не боялись смерти. Обыкновенным его словом, в час опасности и кровопролития, было: «Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец; кто молод, тот брат! Помните отечество и церковь божию!» Он укрепил Псков новою каменною стеною, которая до самого XVI века называлась *Довмонтовою* и которую после (в 1309 году) посадник Борис довел от церкви св. Петра и Павла до реки Великой. Историк литовский пишет, что Довмонт господствовал и над *Полоцкою* областию; но в 1307 году литовцы *купили* оную у немецких рыцарей: ибо какой-то из тамошних князей, обращенный в латинскую веру, отказал сей город рижской церкви, не имея наследников.

Шведы, основав в Корелии Выборг, в 1295 году заложили и нынешний Кексгольм: воеводою их был витязь Сигге. Новогородцы взяли приступом сию крепость, не оставили ни одного шведа живого, срыли вал и, чувствуя необходимость иметь укрепленное место на берегу Финского залива, возобновили Копорье. Чрез пять лет сильный флот шведский, состоящий изо ста одиннадцати больших судов, вошел в Неву. Сам государственный правитель, или маршал, Торкель Кнутсон, предводительствовал оным и начал строить новый город, в семи верстах от нынешнего С. Петербурга, при устье Охты, употребив для того весьма искусных римских художников и назвав сию крепость Ландскроною, или *Венцом земли.* Летописец наш говорит только, что великого князя

не было тогда в Новегороде и что шведы, оставив в крепости войско, удалились; но историки шведские пишут, что россияне, имея намерение сжечь их флот, хотели при сильном ветре пустить несколько горящих судов из Ладожского озера в Неву; но что маршал Торкель, уведомленный о сем через лазутчиков, велел оградить исток Невы потаенными сваями; что новогородцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на шведов и с великим уроном отступили; что знаменитый Матфей Кеттильмундсон, бывший после опекуном шведского короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими всадниками, громогласно вызывая на поединок храбрецов российских, но что никто из них не принял его вызова. Сие известие может быть отчасти справедливо: ибо невероятно, чтобы новогородцы беспрепятственно дали маршалу основать и довершить крепость на берегу Невы. Чувствуя важность сего места, они убедительно звали к себе великого князя Андрея, который, долго медлив, наконец весною 1301 года пришел с полками низовскими. Осадили Ландскрону. Изнуренные голодом и болезнями шведы все еще бились мужественно, под начальством славного витязя, Стена, храброго, но беспечного или слишком надменного: ибо он не хотел заблаговременно требовать вспоможения от правителя Швеции, хладнокровно ответствуя другому благоразумнейшему витязю, именем Амундсону: «На что беспокоить великого маршала?» Россияне огнем и пращами в несколько дней истребили большую часть внешних укреплений и, не слушая никаких предложений Стеновых, готовились к решительному приступу. Тогда Амундсон напомнил своему начальнику слова его: «на что беспокоить великого маршала?» и вместе с ним был изрублен победителями. Новогородцы взяли крепость и сравняли ее с землею, пленив горсть шведов, которые долго оборонялись в погребе. Сей успех остался в летописях единственным достохвальным делом Андреевым: по крайней мере он участвовал в оном, имея в предмете безопасность отечества. Михаил Ярославич также хотел идти к берегам Невы; но узнал на пути, что страшная Ландскрона уже не существует.

Успокоенные со стороны шведов, новогородцы отправили за море послов и заключили мир (в 1302 году) с королем датским Эриком VI, чтобы прекратить свои частые войны с Эстониею, его областию. Впрочем, не надеясь пользоваться долговременною тишиною, опасаясь и внешних врагов и князей российских, они в тот же год заложили у себя большую *каменную* крепость: ибо вольность их ограждалась дотоле одним бренным *деревом*. Умножение опасностей требовало защиты твердейшей: умножение частных и казенных прибытков доставляло правительству способ воздвигнуть оную, без излишней тягости для граждан.

Великий князь Андрей скончал жизнь свою схимником в 1304 году [27 июля], заслужив ненависть современников и презрение потомства. Никто из князей Мономахова роду не сделал столько зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском Городце, далеко от священного праха родительского

Ужасы естественные и всякие несчастия ознаменовали десятилетнее время его княжения, так же как и Димитриево. К числу тогдашних явлений, воздушных и небесных, обыкновенно страшных для народа, принадлежала славная комета 1301 года, описанная китайскими астрономами и воспетая в стихах Пахимером. Были также вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары. В Твери сгорел дворец княжеский (в 1298) со всею казною и драгоценностями; не успели вынести ни серебра, ни золота, ни оружия; сам князь Михаил, ночью пробужденный огнем, едва мог спастися с юною супругою от пламени. В Новегороде обратились в пепел многие улицы (в 1299), Варяжская, Холопья, и немецкий гостиный двор. Изверги, пользуясь общим смятением, грабили имение, снесенное в церкви; убивали сторожей: злодейство, о коем летописец говорит с праведным омерзением.

В княжение Андреево (в 1299 году) митрополит Максим оставил навсегда Киев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного

тиранства моголов, и со всем клиросом переехал в Владимир; даже большая часть киевлян разбежалась по другим городам. После Ярослава и сына его, Александра Невского, великие князья уже не имели никакой власти над странами Днепровскими. Кто из потомков Св. Владимира господствовал в оных, неизвестно (в летописях упоминается только о князе поросьском Юрии, служившем Мстиславу Данииловичу). Лев Галицкий не заботился о древней столице своих предков, оставленной, таким образом, в жертву варварам. Любимый, оплаканный подданными, он скончался мирно и тихо в 1301 году, дожив до глубокой старости и велев предать земле тело свое без всяких знаков пышности: монахи одели его в простой саван и вложили ему в руку изображение креста. В городе Львове показывают две харатейные жалованные грамоты, будто бы данные сим князем тамошнему храму св. Николая и крылосскому (близ Галича) Успения Богоматери на имение и на исключительное право суда епископского; но та и другая кажутся изобретением позднейших времен. Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка русского с польским; в обеих именуются *особенные митрополиты галицкие,* коих не бывало, и в одной назван тогдашний *киевский* митрополит *Киприаном:* а Киприан пас церковь уже во время Димитрия Донского и сына его. — Преемником Льва был сын Юрий, или Георгий, который по смерти дяди, Мстислава Данииловича, наследовав и Владимирскую область, возобновил титул своего деда и подобно Даниилу именовался *королем Российским,* Rex Russiae, как изображено на печати сего князя, сохраненной в архиве кенигсбергском вместе с письмами галицких владетелей к великим магистрам немецкого ордена.

После несчастной для немцев осады Пскова россияне жили в мире и в тишине с орденом ливонским. Магистр в 1304 году призывал в Дерпт всех своих чиновников и епископов на сейм, где они единодушно положили всячески избегать войны с нашими князьями, прекращать ссоры дружелюбно и не вступаться за того, кто своевольно оскорбит новогородцев или псковитян и тем навлечет на себя месть их.

В числе наших собственных памятников сего времени заметим грамоту, писанную великим князем к посадникам, казначеям и к старостам Заволочья. Там сказано, что в силу договора, заключенного Андреем с Новымгородом, он может посылать три *ватаги* для ловли на море, под начальством *атамана* Крутицкого; что селения обязаны давать им корм и подводы, также и сыну атаманову, когда пошлют его оттуда с морскими птицами; что ловцы новогородские, согласно с уставом времен Александровых и Димитриевых, не должны в Заволочье ходить на *Терскую* сторону, и проч. Таким образом великие князья, участвуя в народных промыслах, старались умножать свои доходы.

Глава VII

Великий князь Михаил Ярославич
Г. 1304 — 1319

Спор о великом княжении. Злодейство князя московского. Дела новогородские. Узбеки. Мужество новогородцев. Георгий — зять ханов. Умеренность и добродушие Михаила. Победа над татарами. Суд в Орде. Пышная забава ханская. Великодушная кончина Михаилова. Город Маджары. Разбои моголов. Петр митрополит. Ярлык ханский. Разные бедствия.

[1304—1305 гг.] Как жизнь, так и кончина Андреева была несчастием для России. Два князя объявили себя его наследниками: Михаил Тверской и Георгий Даниилович Московский; но первый с бо́льшим правом, будучи внуком Ярослава Всеволодовича и дядею Георги-

евым, следственно, старейшим в роде. Сие право казалось вообще неоспоримым, и бояре великого княжения, предав земле тело Андреево, спешили в Тверь поздравить Михаила государем владимирским. Новогородцы также признали его своим главою, в уверении, что хан утвердит за ним великое княжение. Михаил обязался, подобно отцу, блюсти их уставы, восстановить древние границы между Новымгородом и землею Суздальскою; не требовать бывших волостей Димитриевых и Андреевых: купленные же им самим, княгинею или боярами его в земле Новогородской отдать на выкуп или прежним владельцам, или правительству; не позволять *самосуда* ни себе, ни княжеским судиям, но решить тяжбы единственно по законам; отправлять людей своих за Волок только из Новагорода, в двух ладиях, и проч.

Добрый митрополит Максим тщетно уговаривал Георгия не искать великого княжения, обещая ему именем Ксении, матери Михаиловой, и своим собственным любые города в прибавок к его Московской области. Дядя и племянник поехали судиться к хану, оставив Россию в несогласии и в мятеже. Одни города стояли за князя тверского, иные за московского. Георгий едва мог спастися от друзей Михаиловых, которые не хотели пустить его в Орду и думали задержать на пути в области Суздальской; а Бориса Даниловича, приехавшего в Кострому, схватили и послали в Тверь. Но второй Георгиев брат, Иоанн, разбил тверитян, хотевших взять Переславль, и воевода их, Акинф, остался на месте сражения в числе убитых. Наместники Михаиловы хотели въехать в Новгород: жители не впустили их, сказав: «Мы избрали Михаила с *условием,* да явит грамоту ханскую и будет тогда князем нашим, но не прежде!» — В других областях господствовало безначалие и неустройство. Граждане костромские, преданные Михаилу, ненавидя память Андрееву и злобствуя на бывших его любимцев, самовольно их судили и наказывали; а чернь Нижнего Новагорода, вследствие мятежного веча, умертвила многих бояр как мнимых врагов отечества. Князь нижегородский, Михаил, сын Андрея Ярославича, находился в Орде: он там женился и, возвратясь в свой удел, казнил виновников сего беззаконного веча: ибо чернь не имела власти судебной, исключительного права княжеского.

[1305—1308 гг.] Чрез несколько месяцев решилась неизвестность: Михаил превозмог соперника и приехал с ханскою грамотою в Владимир, где митрополит возвел его на престол великого княжения. Зная неуступчивость врага своего, он хотел оружием смирить Георгия и дважды приступал к Москве, однако ж без успеха; кровопролитный бой под ее стенами усилил только взаимную их злобу, бедственную для обоих, как увидим. Современные летописцы винят одного князя московского, который в противность древнему обыкновению спорил с дядею о старейшинстве. Сверх того Георгий по качествам черной души своей заслужил всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества. Мы говорили о несчастной судьбе рязанского владетеля, Константина, плененного Даниилом: он шесть лет томился в неволе; княжение его, лишенное главы, зависело некоторым образом от московского. Георгий велел умертвить Константина, считая сие злодейство нужным для беспрекословного господства над Рязанью, и весьма ошибся: ибо сын убиенного, Ярослав, под защитою хана спокойно наследовал престол отеческий как владетель независимый, оставив в добычу Георгию из городов своих одну Коломну. — Самые меньшие братья Георгиевы, дотоле служив ему верно, не могли с ним ужиться в согласии. Двое из них, Александр и Борис Даниловичи, уехали в Тверь, без сомнения недовольные его жестокостию.

Михаил несколько лет властвовал спокойно и жил большею частию в Твери. Его наместники правили великим княжением и Новымгородом, коего чиновники относились к нему во всех делах государственных. Так, они письменно жаловались Михаилу на двух княжеских

вельмож, Феодора и Бориса, бывших начальниками во Пскове и в области Корельской: первый, сведав о нашествии ливонских рыцарей (в 1307 году), уехал из города, принудив тем оставленных без вождя псковитян заключить с магистром, Гертом фон-Йокке, не весьма выгодный мир, и разорил многие села новогородские; второй, утесняя корелов, заставил их бежать к шведам и силою брал, что ему не принадлежало. Новогородцы желали навсегда избавиться от таких недостойных правителей, взносили деньги за села, купленные в их областях сими боярами, и предоставляли себе условиться изустно с князем о прочем. Он ездил из Твери к Святой Софии и был принят гражданами с обыкновенными знаками усердия; однако ж не хотел сам предводительствовать ими, когда они, построив новую крепость на месте нынешнего Кексгольма, ходили на судах в Финляндию до реки Черной, или Кумо, где [в 1311 г.] сожгли город Ванай, осаждали шведов в замке, на скале неприступной, и разорили множество селений. У бедных жителей, по словам летописца, не осталось ни одной рогатой скотины: ибо россияне истребили там все, чего не могли увести с собою.

[1312 г.] Совершив благополучно сей дальний поход, новогородцы начали ссориться с князем, жалуясь, что он не исполняет договорной грамоты; но когда оскорбленный Михаил, заняв войском Торжок, не велел пускать к ним хлеба, народ встревожился и, несмотря на весеннюю распутицу, отправил в Тверь своего архиепископа, Давида, чтобы обезоружить великого князя. Мир заключили скоро, ибо искренно желали его с обеих сторон: Новгород, опустошенный в сие время пожаром, имел необходимую нужду в подвозах и, лишенный оных, мог быть жертвою голода; а Михаил долженствовал немедленно ехать в Орду. Хан Тохта умер; сын его, юный Узбек, воцарился, славный в летописях Востока правосудием и ревностию к вере Магометовой, восстановленной им во всех могольских владениях: ибо Тохта был, кажется, язычником и не следовал учению Алкорана. Историк Абулгази пишет, что многие татары, в знак особенной любви к сему царю, назвалися его именем, или *узбеками,* доныне известными в Хиве и в землях окрестных.

[1313—1315 гг.] Взяв с новогородцев 1500 гривен серебра, Михаил возвратил им своих наместников и, поехав в Орду, жил там целые два года. Столь долговременное отсутствие, без сомнения невольное, имело вредные следствия для него и для России. Шведы [в 1314 г.] сожгли Ладогу: корелы, впустив их в Кексгольм, умертвили там многих россиян. Хотя новогородцы отмстили тем и другим, под начальством Михаилова наместника выгнали шведов и казнили изменников корельских, но винили Михаила, что он, пресмыкаясь в Орде у ног хановых, забывает отечество. Георгий Московский не замедлил воспользоваться сим расположением: родственник его, князь Феодор Ржевский, приехал в Новгород, взял под стражу наместников Михаиловых и так обольстил легкомысленных граждан, что они, признав Георгия своим начальником, объявили даже войну великому князю. Едва не дошло до битвы: на одном берегу Волги стояли новогородцы, на другом сын Михаилов, Димитрий, с верною тверскою ратию. К счастию, осенние морозы, покрыв реку тонким льдом, удалили кровопролитие, и новогородцы согласились на мир; а князь московский, обещая им благоденствие и вольность, сел на престоле Святой Софии.

Скоро позвали Георгия к хану дать ответ на справедливые жалобы Михаиловы. Он поручил Новгород брату своему Афанасию и, взяв с собою богатые дары, надеялся быть правым в таком судилище, где председательствовало алчное корыстолюбие. Но Михаил уже нес обнаженный меч и грамоту Узбекову. Сильные полки моголов окружили его и вступили в Россию с воеводою Тайтемерем. Сия грозная весть поколебала, однако ж не смирила новогородцев. Исчисляя в мыслях все одержанные ими победы со времен Рюрика до настоящего и вспомнив, что сам Михаил великодушною решимостию спас Тверь

от нашествия моголов, они вооружились и ждали неприятеля близ Торжка. Прошло шесть недель. Наконец явилась сильная рать Михаилова, владимирская, тверская и могольская. Переговоров не было: [10 февраля 1316 г.] вступили в бой, жестокий, хотя и неравный. Никогда новогородцы не изъявляли более мужества; чиновники и бояре находились впереди; купцы сражались как герои. Множество их легло на месте; остаток заключился в Торжке, и Михаил, как победитель, велел объявить, чтобы новогородцы выдали ему князей Афанасия и Феодора Ржевского, если хотят мира. Слабые числом, обагренные кровию, своею и чуждою, они единодушно ответствовали: «Умрем за Святую Софию и за Афанасия; честь всего дороже». Михаил требовал по крайней мере одного Феодора Ржевского: многие и того не хотели; наконец уступили необходимости и еще обязались заплатить великому князю знатное количество серебра. Некоторые из бояр новогородских вместе с князем Афанасием остались аманатами в руках победителя; другие отдали ему все, что имели: коней, оружие, деньги. Написали следующую грамоту: «Великий князь Михаил условился с владыкою и с Новымгородом не воспоминать прошедшего. Что с обеих сторон захвачено в междоусобие, того не отыскивать. Пленники свободны без окупа. Прежняя тверская Феоктистова грамота должна иметь всю силу свою. Новгород платит князю в разные сроки от второй недели великого поста до вербной, 12 000 гривен серебра, зачитая в сей платеж взятое в Торжке у бояр новогородских имение. Князь, приняв сполна вышеозначенную сумму, должен освободить аманатов, изрезать сию грамоту и править нами согласно с древним уставом».

Сей мир, вынужденный крайностию, не мог быть истинным, и великий князь, сведав, что послы новогородские тайно едут в Орду с жалобою на него, велел переловить их; отозвал наместников княжеских из Новагорода и пошел туда с войском. Новогородцы укрепили столицу, призвали жителей Пскова, Ладоги, Русы, корелов, ижерцев, вожан и ревностно готовились к битве, одушевленные любовию к вольности и ненавистию к великому князю. Он имел еще друзей между ими, но робких, безмолвных: ибо народ свирепо вопил на вече и грозил им казнию; свергнул одного боярина с моста за мнимую измену, а другого, совершенно невинного, умертвил по доносу раба, что господин его в переписке с Михаилом. — Такое ужасное остервенение и многочисленность собранных в Новегороде ратников изумили великого князя: он стоял несколько времени близ города, решился отступить и вздумал, к несчастию, идти назад ближайшею дорогою, сквозь леса дремучие. Там войско его между озерами и болотами тщетно искало пути удобного. Кони, люди падали мертвые от усталости и голода; воины сдирали кожу с щитов своих, чтобы питаться ею. Надлежало бросить или сжечь обозы. Князь вышел наконец из сих мрачных пустынь с одною пехотою, изнуренною и почти безоружною.

[1317 г.] Тогда новогородцы прислали в Тверь архиепископа Давида, без всякой надменности моля великого князя освободить их аманатов; предлагали ему серебро, мир и дружбу. «Дело сделано, — говорили они: — желаем спокойствия и тишины». Михаил отвергнул сие предложение; стыдился мира *бесчестного;* хотел победить и даровать его.

[1318 г.] Между тем Георгий жил в Орде, три года кланялся, дарил и приобрел наконец столь великую милость, что юный Узбек, дав ему старейшинство между князьями российскими, женил его на своей любимой сестре Кончаке, названной в крещении Агафиею: дело не весьма согласное с ревностию сего хана к вере Магометовой! Провождаемый моголами и воеводою их, Кавгадыем, Георгий возвратился в Россию и, пылая нетерпением сокрушить врага, хотел немедленно завоевать Тверь. Михаил отправил к нему послов. «Будь великим князем, если так угодно царю, — сказали они Георгию именем своего государя: — только оставь Михаила спокойно княжить в его на-

следии; иди в Владимир и распусти войско». Ответом князя московского было опустошение тверских сел и городов до самых берегов Волги. Тогда Михаил призвал на совет княжеский епископа и бояр. «Судите меня с племянником, — говорил он: — не сам ли хан утвердил меня на великом княжении? Не заплатил ли я ему *выхода,* или царской пошлины? Теперь отказываюсь от сего достоинства и не могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей; жжет, терзает мою наследственную область. Совесть меня не упрекает; но может быть, ошибаюсь. Скажите ваше мнение: виновен ли я пред Георгием?» Епископ и бояре, умиленные горестию и добросердечием князя, единогласно отвечали ему: «Ты прав, государь, пред лицом всевышнего, и когда смирение твое не могло тронуть ожесточенного врага, то возьми праведный меч в десницу; иди: с тобою бог и верные слуги, готовые умереть за доброго князя». — «Не за меня одного (сказал Михаил), но за множество людей невинных, лишаемых крова отеческого, свободы и жизни. Вспомните речь евангельскую: *кто положит душу свою за друга, той велик наречется.* Да будет нам слово господне во спасение!» Великий князь, предводительствуя войском мужественным, встретил полки Георгиевы, соединенные с татарами и мордвою, в 40 верстах от Твери, где ныне селение Бортново. Началась битва. Казалось, что Михаил искал смерти: шлем и латы его были все исстрелены, обсечены, но князь цел и невредим; везде отражал неприятелей и наконец обратил их в бегство. Сия победа [22 декабря] спасла множество несчастных россиян, жителей Тверской области, взятых в неволю татарами: смотря издали на кровопролитие, безоружные, скованные, они помогали своему князю усердными молитвами и, видя его торжество, плакали от радости. Михаилу представили жену Георгиеву, брата его Бориса Данииловича и воеводу Узбекова, Кавгадыя, вместе с другими пленниками. Великий князь запретил воинам убивать татар и, ласково угостив Кавгадыя в Твери, с богатыми дарами отпустил его к хану. Сей лицемер клялся быть ему другом; обвинял себя, Георгия и говорил, что они воевали Тверскую область без повеления Узбекова.

Князь московский бежал к новогородцам, которые, еще не знав об успехе его в Орде, дали Михаилу слово не вмешиваться в их распрю. (В сие время они мстили шведам за разбитие наших судов на Ладожском озере: воевали приморскую часть Финляндии; взяли город *финского князя* и другой — *епископов,* или нынешний Або.) Узнав торжество Михаилово, новогородцы вступились за Георгия: собрали полки и приближились к Волге. На другой стороне ее развевались знамена тверские, украшенные знаками свежей победы; однако ж великий князь не хотел вторичной жестокой битвы и предложил Георгию ехать с ним в Орду. «Хан рассудит нас, — говорил Михаил, — и воля его будет мне законом. Возвращаю свободу супруге твоей, брату и всем новогородским аманатам». На сем основании сочинили договорную грамоту, в коей *Георгий* именован *великим князем* и по коей новогородцы, в ожидании суда Узбекова, могли свободно торговать в Тверской области, а послы их ездить чрез оную безопасно. К несчастию, жена Георгиева скоропостижно умерла в Твери, и враги Михаиловы распустили слух, что она была отравлена ядом. Может быть, сам Георгий вымыслил сию клевету: по крайней мере охотно верил ей и воспользовался случаем очернить своего великодушного неприятеля в глазах Узбековых. Провождаемый многими князьми и боярами, он вместе с Кавгадыем отправился к хану; а неосторожный Михаил еще долго медлил, послав в Орду двенадцатилетнего сына, Константина, защитника слабого и бессловесного.

Между тем как враг его ревностно действовал в Сарае и подкупал вельмож могольских, великий князь, имея чистую совесть и готовый всем жертвовать благу России, спокойно занимался в Твери делами правления; наконец, взяв благословение у епископа, поехал. Великая

княгиня Анна провожала его до берегов Нерли: там он исповедался с умилением и, вверяя духовнику свою тайную мысль, сказал: «Может быть, в последний раз открываю тебе внутренность души моей. Я всегда любил отечество, но не мог прекратить наших злобных междоусобий: по крайней мере буду доволен, если хотя смерть моя успокоит его». Михаил, скрывая сие горестное предчувствие от нежной супруги, велел ей возвратиться. Посол ханский, именем Ахмыл, объявил ему в Владимире гнев Узбеков. «Спеши к царю, — говорил он: — или полки его чрез месяц вступят в твою область. Кавгадый уверяет, что ты не будешь повиноваться». Устрашенные сим известием, бояре советовали великому князю остановиться. Добрые сыновья Михаиловы, Димитрий и Александр, также заклинали отца не ездить в Орду и послать туда кого-нибудь из них, чтобы умилостивить хана. «Нет, — отвечал Михаил: — царь требует меня, а не вас: подвергну ли отечество новому несчастию? Можем ли бороться со всею силою неверных? За мое ослушание падет множество голов христианских; бедных россиян толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и тогда: не лучше ли же ныне, когда могу еще своею погибелию спасти других?» Он написал завещание, распорядил сыновьям уделы, дал им отеческое наставление, как жить добродетельно, и простился с ними навеки.

Михаил нашел Узбека на берегу моря *Сурожского,* или Азовского, при устье Дона; вручил дары хану, царице, вельможам и шесть недель жил спокойно в Орде, не слыша ни угроз, ни обвинений. Но вдруг, как бы вспомнив дело совершенно забытое, Узбек сказал вельможам своим, чтобы они рассудили Михаила с Георгием и без лицеприятия решили, кто из них достоин казни. Начался суд. Вельможи собрались в особенном шатре, подле царского; призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих баскаков, обвинявших его в том, что он не платил хану всей определенной дани. Великий князь ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бумагами; но злодей Кавгадый, главный доноситель, был и судиею! Во второе заседание привели Михаила уже связанного и грозно объявили ему две новые вины его, сказывая, что он дерзнул обнажить меч на посла царева и ядом отравил жену Георгиеву. Великий князь отвечал: «В битве не узнают послов; но я спас Кавгадыя и с честию отпустил его. Второе обвинение есть гнусная клевета: как христианин свидетельствуюсь богом, что у меня и на мысли не было такого злодеяния». Судии не слушали его, отдали под стражу, велели оковать цепями. Еще верные бояре и слуги не отходили от своего злосчастного государя: приставы удалили их, наложили ему на шею тяжелую колодку и разделили между собою все драгоценные одежды княжеские.

Узбек ехал тогда на ловлю к берегам Терека со всем войском, многими знаменитыми данниками и послами разных народов. Сия любимая забава ханова продолжалась обыкновенно месяц или два и разительно представляла их величие: несколько сот тысяч людей было в движении; каждый воин украшался лучшею своею одеждою и садился на лучшего коня; купцы на бесчисленных телегах везли товары индейские и греческие; роскошь, веселие господствовали в шумных, необозримых станах, и дикие степи казались улицами городов многолюдных. Вся Орда тронулась: вслед за нею повлекли и Михаила, ибо Узбек еще не решил судьбы его. Несчастный князь терпел уничижение и муку с великодушною твердостию. На пути из Владимира к морю Азовскому он несколько раз приобщался святых таин и, готовый умереть как должно христианину, изъявлял чудесное спокойствие. Печальные бояре снова имели к нему доступ: Михаил ободрял их и с веселым лицом говорил: «Друзья! Вы долго видели меня в чести и славе: будем ли неблагодарны? Вознегодуем ли на бога за уничижение кратковременное? Выя моя скоро освободится от сего древа, гне-

тущего оную». Ночи проводил он в молитве и в пении утешительных псалмов Давидовых; отрок княжеский держал перед ним книгу и перевертывал листы: ибо стражи всякую ночь связывали руки Михаилу. Желая мучить свою жертву, злобный Кавгадый в один день вывел его на торговую площадь, усыпанную людьми; поставил на колена, ругался над ним и вдруг, как бы тронутый сожалением, сказал ему: «Не унывай! Царь поступает так и с родными в случае гнева; но завтра, или скоро, объявят тебе милость, и снова будешь в чести». Торжествующий злодей удалился. Князь, изнуренный, слабый, сел на площади, и любопытные окружили его, рассказывая друг другу, что сей узник был великим государем в земле своей. Глаза Михаиловы наполнились слезами: он встал и пошел в вежу, или шатер, читая тихим голосом из псалма: *Вси видяще мя покиваху главами своими... Уповаю на Господа!* — Несколько раз верные слуги предлагали ему тайно уйти, сказывая, что кони и проводники готовы. «Я никогда не знал постыдного бегства, — отвечал Михаил: — оно может только спасти меня, а не отечество. Воля господня да будет!»

Орда находилась уже далеко за Тереком и горами Черкасскими, близ Врат Железных, или Дербента, подле ясского города Тетякова, в 1277 году взятого нашими князьями для хана Мангу-Тимура. Кавгадый ежедневно приступал к царю со мнимыми доказательствами, что великий князь есть злодей обличенный: Узбек, юный, неопытный, опасался быть несправедливым; наконец, обманутый согласием бессовестных судей, единомышленников Георгиевых и Кавгадыевых, утвердил их приговор.

Михаил сведал и не ужаснулся; отслушав заутреню (ибо с ним были игумен и два священника), благословил сына своего, Константина; поручил ему сказать матери и братьям, что он умирает их нежным другом; что они, конечно, не оставят верных бояр и слуг его, которые у престола и в темнице изъявляли государю равное усердие. Час решительный наступал. Михаил, взяв у священника псалтирь и разогнув оную, читал слова: *сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя.* Душа его невольно содрогнулась. Игумен сказал ему: «Государь! В сем же псалме, столь тебе известном, написано: *возверзи на Господа печаль твою».* Великий князь продолжал: *кто даст ли криле яко голубине? и полещу, и почию...* Умиленный сим живым образом свободы, он закрыл книгу, и в то самое мгновение вбежал в ставку один из его отроков с лицом бледным, сказывая дрожащим голосом, что князь Георгий Даниилович, Кавгадый и множество народа приближаются к шатру. «Ведаю, для чего, — ответствовал Михаил и немедленно послал юного сына своего к царице, именем Баялыни, будучи уверен в ее жалости. Георгий и Кавгадый остановились близ шатра, на площади, и сошли с коней, отрядив убийц совершить беззаконие. Всех людей княжеских разогнали: Михаил стоял один и молился. Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами. Один из них, именем *Романец* (следственно, христианской веры), вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Народ вломился в ставку для грабежа, позволенного у моголов в таком случае. — Георгий и Кавгадый, узнав о смерти святого мученика — ибо таковым справедливо признает его наша церковь — сели на коней и подъехали к шатру. Тело Михаилово лежало нагое. Кавгадый, свирепо взглянув на Георгия, сказал ему: «Он твой дядя: оставишь ли труп его на поругание?» Слуга Георгиев закрыл оный свой одеждою.

Михаил не обманулся в надежде на добродушие супруги Узбековой: она с чувствительностию приняла и старалась утешить юного Константина, защитила и бояр его, успевших отдать себя в ее покровительство: другие же, схваченные злобными врагами их государя, были истерзаны и заключены в оковы. — Георгий послал тело великого князя в Маджары, город торговый (на реке Куме, в Каказской губернии), где, как вероятно, обитали некогда угры, изгнанные пече-

негами из Лебедии. Там многие купцы, знав лично Михаила, желали прикрыть оное драгоценными плащеницами и внести в *церковь;* но бояре Георгиевы не пустили их к окровавленному трупу и поставили его в хлеве. В ясском городе *Бездеже* они также не хотели остановиться у *церкви христианской;* днем и ночью стерегли тело; наконец привезли в Москву и погребли в монастыре Спасском (в Кремле, где стоит еще древняя церковь Преображения).

Злодей Кавгадый чрез несколько месяцев кончил жизнь свою внезапно; увидим, что провидение наказало и жестокого Георгия; а память Михаилова была священна для современников и потомства: ибо сей князь, столь великодушный в бедствии, заслужил славное имя *отечестволюбца.* Кроме одних новогородцев, считавших его опасным врагом народной вольности, все жалели об нем искренно, но всех более верные, мужественные тверитяне: ибо он возвеличил сие княжение и любил их действительно как отец. Сверх достоинств государственных — ума проницательного, твердости, мужества — Михаил отличался и семейственными: нежною любовию к супруге, к детям, в особенности к матери, умной, добродетельной Ксении, воспитавшей его в правилах благочестия и скончавшей дни свои монахинею.

При сем великом князе Ростов, Кострома и Брянск были жертвою хищных татар. Наследник Константина Борисовича Ростовского, умевшего в Орде, сын его Василий (в 1316 году) приехал от хана в столицу свою с двумя могольскими вельможами, коих грабительство и насилие остались в ней надолго памятными. Такие разбойники назывались обыкновенно *послами.* Один из них (в 1318 году), убив в Костроме 120 человек, опустошил Ростов огнем и мечом, взял сокровища церковные, пленил многих людей. Несчастие Брянска произошло от междоусобия двух князей. Там господствовал Василий, внук Романов: изгнанный дядею, Святославом, он возвратился (в 1310 году) с шайкою моголов. Святослав, в надежде на усердие жителей, спешил отразить их; но граждане изменили ему: бросили знамена и побежали. Он не хотел уступить и лег на месте битвы со всею дружиною княжескою, оказав редкое, но бесполезное мужество. Победители расхитили город.

В Брянске находился тогда новый митрополит, преемник Максимов: он едва мог, ушедши в церковь, спастися от лютости татар. По кончине Максима (в 1305 году) какой-то игумен Геронтий вздумал было своевольно занять его место, присвоив себе утварь святительскую и жезл пастыря; но патриарх Афанасий в угодность князю галицкому, отвергнув Геронтия, (в 1308 году) посвятил в митрополиты *для всей России* Петра, волынского игумена, мужа столь ревностного в исполнении своих пастырских обязанностей, что духовенство северной России единогласно благословило его высокую добродетель. Один тверской епископ, сын князя литовского Герденя, легкомысленный и гордый, дерзнул злословить сего митрополита; но был торжественно обличен в клевете на соборе в Переславле Залесском, где присутствовали епископ ростовский, игумены, священники, князья, вельможи и посол цареградского патриарха. Истиною и любовию заградив уста клеветнику, Петр, вместо укоризн, сказал ему: *Мир ти о Христе, чадо! Отныне блюдися лжи; мимошедшая же да отпустит ти Господь!..* В других случаях сей кроткий архипастырь умел быть и строгим: снял епископский сан с Исмаила Сарского, без сомнения за важное преступление относительно к церкви или отечеству, и предал анафеме какого-то опасного еретика Сеита, обличенного им в богопротивном умствовании, но не хотевшего раскаяться. Как достойный учитель веры христианской, Петр склонял князей к миролюбию, заклинал несчастного Святослава Брянского не вступать в битву с Василием и старался прекратить вражду между князьями тверским и московским; не имея средств избавить народ от ига, желал по крайней мере оградить безопасностию церкви святые и домы ее служителей; ездил в Орду с Михаилом (в 1313 году) и выходил для них так называемый

ярлык, или грамоту льготную, в коей Узбек, следуя примеру бывших до него ханов, подтвердил важные права и выгоды российского духовенства. Мы имеем сей ярлык и многие иные новейшие, достопамятные содержанием и слогом. Хан пишет: «Вышнего и бессмертного бога волею и силою, величеством и милостию. Узбеково слово ко всем князям великим, средним и нижним, воеводам, книжникам, баскакам, писцам, мимоездящим послам, сокольникам, пардусникам во всех улусах и странах, где бога бессмертного силою наша власть *держит* и слово наше *владеет*. Да никто не обидит в Руси церковь соборную, Петра митрополита и людей его, архимандритов, игуменов, попов, и проч. Их грады, волости, села, земли, ловли, борти, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хуторы свободны от всякой дани и пошлины: ибо все то есть божие; ибо сии люди молитвою своею блюдут нас и наше воинство укрепляют. Да будут они подсудны единому митрополиту, согласно с древним законом их и грамотами прежних царей ордынских. Да пребывает митрополит в тихом и кротком житии; да правым сердцем и без печали молит бога за нас и детей наших. Кто возьмет что-нибудь у духовных, заплатит втрое; кто дерзнет порицать веру русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет! и проч. Писано Заячьего лета, осеннего первого месяца, четвертого *ветха* (то есть в четвертый день ущерба луны) на полях». Говоря о данях, собираемых в России, Узбек именует *поплужную,* или с каждой сохи, мостовую, береговую; увольняет церковников от воинской службы, подвод и всякой работы. В таком порабощении находились россияне, всего более угнетаемые ненасытным сребролюбием ханских пошлинников или откупщиков царской дани, между коими бывали иногда и жиды, обитатели Крыма, или Тавриды.

К сему общему государственному злу присоединялись тогда весьма частые естественные бедствия. Летописцы сказывают, что в 1309 году явилось везде чудесное множество мышей, которые съели хлеб на полях, рожь, овес, пшеницу: от чего в целой России произошли голод, мор на людей и на скот. В 1314 году Новгород терпел великий недостаток в съестных припасах; а народ псковский, угнетаемый дороговизною, грабил домы и села богатых людей так, что правительство долженствовало употребить весьма строгие меры для восстановления тишины и казнить пятьдесят главных мятежников. *Зобница* ржи стоила там 5 гривен. В 1318 году свирепствовала в Твери какая-то жестокая, смертоносная болезнь.

Глава VIII

Великие князья Георгий Даниилович, Димитрий и Александр Михайловичи

(Один после другого.)

Г. 1319—1328

Горесть тверитян. Рубли. Война с шведами. Дела с немцами ливонскими. Мир с шведами в Орехове. Князья устюжские. Убиение Георгия и Димитрия. Истребление моголов в Твери. Мщение ханское. Казнь рязанского князя. Литовцы-завоеватели. Сомнительное повествование Стриковского. Судьба южной и западной России. Последний князь галицкий. Характер Гедимина.

Утвержденный ханом на великом княжении и взяв с собою юного Константина Михайловича и бояр тверских в виде пленников, Георгий приехал господствовать в Владимир, а брата своего, Афанасия, послал наместником в Новгород. Услышав о том, нежная супруга Михаилова, сыновья, епископ и вельможи изумились: они еще не знали происшедшего в Орде, но, угадывая свое несчастие, велели гонцам спешить в Москву, чтобы разведать там о судьбе великого князя. Гонцы возвра-

тились с подробным, известием о всех ужасных обстоятельствах Михаиловой кончины. Горесть была общая: церковь и народ делили оную с княжеским семейством. Чрез несколько дней, посвященных слезам и молитве, Димитрий, как старший сын, наследовав власть родителя, отправил посольство в Владимир. Меньший брат его, Александр, и бояре тверские предстали Георгию в одежде печальной; не хотели укорять его: молили только отдать им драгоценные остатки князя, равно любезного супруге, детям и народу. Георгий согласился с условием, чтобы они прислали ему на обмен тело жены его, Кончаки, сестры Узбековой. Вдовствующая великая княгиня Анна и Димитрий Михайлович с братьями выехали по Волге в ладиях навстречу ко гробу Михаилову: епископ, духовенство, граждане ожидали его на берегу. Зрелище было умилительно. Народ вопил, стремился к телу и громогласно звал Михаила, как бы надеясь воскресить его. Знаменитые чиновники несли медленно раку и поставили перед монастырем Архангельским, где бесчисленное множество людей теснилось лобызать оную. Сняв крышку, с несказанною радостию увидели целость мощей, не поврежденных ни дальним путем от берегов моря Каспийского, ни пятимесячным лежанием в могиле. Народ благословил небо за сие чудо, и погребение казалось ему уже не печальным обрядом, но торжеством Михаиловой святости. — Чувствительная, набожная княгиня Анна отказалась от мира и кончила дни свои монахинею; а Димитрий и Александр, отерев слезы, думали только о мести.

[1320—1324 гг.] Георгий ходил между тем с войском к Рязани и, заставив тамошнего князя, Иоанна Ярославича, согласиться на все его предложения, готовился к нападению на Тверскую область, уверенный в справедливой ненависти к нему сыновей Михаиловых. Димитрий не боялся войны; но хотел прежде освободить брата своего, Константина, и бояр Михаиловых, бывших аманатами в Владимире: послал тверского епископа, Варсонофия, в Переславль и заключил мир, дав Георгию 2000 *рублей* и слово не спорить с ним о великом княжении. (Заметим, что здесь в первый раз упоминается о *рублях:* они были не что иное, как отрубки серебра, без всякого знака или клейма, весом около двадцати двух золотников.) — Обманутый коварным миром, Георгий успокоился и поехал в Новгород, коего чиновники звали его предводительствовать войском: ибо шведы старались овладеть Корелиею и Кексгольмом. Георгий приступил к Выборгу и хотя имел с собою шесть больших стенобитных орудий, но осаждал сию крепость без успеха от 12 августа до 9 сентября [1322 г.] Злобясь на шведов, россияне вешали пленников.

По возвращении в Новгород Георгий оплакал кончину верного брата, Афанасия, и сведал, что князь Иоанн Даниилович, быв в Орде, приехал оттуда с послом Узбековым, Ахмылом, который, объявив намерение учредить благоустройство в областях великого княжения, лил кровь людей, взял Ярославль как неприятельский город и с торжеством отправился назад к хану дать ему отчет в своем успешном посольстве. Вторая весть была для Георгия еще горестнее: Димитрий Михайлович нарушил данное ему слово, выходил для себя в Орде достоинство великого князя, и царь Узбек прислал с грамотою вельможу Севенч-Буга возвести его на престол владимирский. Тщетно Георгий молил новогородцев идти вместе с ним ко Владимиру: он должен был ехать туда один и на пути едва не попался в руки к Александру Михайловичу Тверскому, отнявшему у него обоз и казну. Георгий бежал во Псков, где чиновники и народ, помня завещание Александра Невского, приняли его ласково, но не могли дать ему войска, готовясь действовать всеми силами против немцев. Эстонские рыцари, несмотря на мир, убивали тогда купцов и звероловов псковских на Чудском озере и на берегах Наровы. Озабоченный собственною опасностию, великий князь уехал в Новгород; а псковитяне разорили Эстонию до самого Ревеля, взяв несколько тысяч пленников и не пощадив свя-

тыни церквей. Предводителем их был князь литовский Давид, славный в истории немецкого ордена под именем *Кастеллана Гарденского.* Заслужив благодарность псковитян, он возвратился в Литву и скоро имел случай оказать им еще важнейшую услугу. Немцы собрали весною многочисленное войско, осадили Псков, придвинули стенобитные орудия и, в 18 дней разрушив большую часть укреплений, уже готовили лестницы для приступа. Хотя наместник изборский, Евстафий (родом князь), нечаянно ударив на обозы немецкие за рекою Великою, освободил бывших там российских пленников; однако ж граждане находились в крайности и посылали гонца за гонцом в Новгород, требуя помощи. В сие время приспел мужественный Давид Литовский, соединил дружину свою с полками осажденных, разбил немцев наголову, взял в добычу стан их и все снаряды. Следствием победы был выгодный для псковитян осьмнадцатилетний мир с орденом.

Сведав, что Димитрий Михайлович, сверх покровительства Узбекова, имеет сильное войско в великом княжении и что народ, любив отца его, изъявляет усердие и к сыну, Георгий решился на некоторое время остаться в Новегороде: ибо мог отутствием утратить и сей важный престол. Новогородцы ходили с ним к берегам Невы и там, где она вытекает из Ладожского озера, на острову *Ореховом,* заложили крепость Ореховскую, или нынешний Шлиссельбург, чтобы шведы не могли свободно входить в сие озеро. Услышав о том и желая прекратить войну, столь часто бедственную для шведской Корелии и Финляндии, юный король Магнус прислал вельмож в стан Георгиев с дружелюбным предложением, соответственным обоюдной пользе. Оно было принято. Россияне, заключив договор с послами, в своей новой крепости торжествовали мир, коего главное условие состояло в восстановлении древних пределов между обеими державами в Корелии и в Финляндии.

Новогородцы должны были в сие время управиться с устюжанами, грабившими их купцов на пути в Югорскую землю, и с литовцами, которые злодействовали в окрестностях Ловоти. Разбив последних, они взяли Устюг; но, довольные сделанным там опустошением, на берегах Двины заключили мир с *князьями устюжскими,* наместниками ростовского. Тогда Георгий, заслужив искреннюю признательность новогородцев и обнадеженный в их верности, дружески простился с ними: он поехал к хану, чтобы вторично снискать его милость, низвергнуть Димитрия и вновь утвердить за собою великое княжение. Сие путешествие достойно замечания тем, что Георгий ехал от берегов Двины чрез область Пермскую; сел там на ладию и рекою Камою плыл до нынешней Казанской губернии.

[1325 г.] В следующий год отправился к хану и Димитрий. Там они увидели друг друга, и нежный сын, живо представив себе окровавленную тень Михаилову, — затрепетав от ужаса, от гнева, — вонзил меч в убийцу. Георгий испустил дух; а Димитрий, совершив месть, по его чувству справедливую и законную, спокойно ожидал следствий... Так одно злодеяние рождает в мире другое, и виновник первого ответствует за оба, по крайней мере в судилище вышнего! Тело Георгиево привезли в Москву, где княжил брат его, Иоанн Даниилович, и погребли в церкви Архангела Михаила. Митрополит Петр с четырьмя епископами совершил сей обряд печальный. Князь Иоанн и самый народ проливал искренние слезы, умиленный столь бедственною кончиною государя хотя и не добродетельного, однако ж знаменитого умом и славными предками. Новогородцы сожалели об нем: тверитяне хвалили дело своего князя, с беспокойством ожидая суда Узбекова.

Хан долго молчал. Друзья князя московского без сомнения представляли ему, что убийство столь наглое, совершенное пред его глазами, требует наказания, или будет пятном для чести царской, знаком

слабости и поводом к новым опасным своевольствам князей российских; что хан, сверх того, должен вступиться за Георгия как за своего зятя. Прошло десять месяцев. Брат Димитриев, Александр, спокойно возвратился из Орды с ханскими пошлинниками, надеясь, что дело уже кончилось и что Узбек не думает о мести. Но вдруг вышло грозное повеление, и несчастного Димитрия убили [15 сентября 1326 г.] в Орде (вместе с князем новосильским, потомком Михаила Черниговского, обвиненным также в каком-то преступлении). Сия весть, равнодушно принятая в Москве и в Новегороде, огорчила добрых тверитян, усердных к государям и видевших в юном своем князе славную жертву любви сыновней. Димитрий Михайлович, прозванием *Грозные Очи,* смелый, пылкий, имел только 27 лет от рождения; женатый на дочери князя литовского, Гедимина, он не оставил детей.

Несмотря на казнь Димитриеву, Узбек в знак милости признал его брата великим князем российским: по крайней мере так назван Александр Михайлович в договорной грамоте, коею новогородцы, не имея тогда главы и терпя от внутренних неустройств, обязались ему повиноваться как законному своему властителю. Сия грамота, писанная в 1327 году, есть повторение Ярославовых и Михаиловых с прибавлением, что новогородцы уступают Александру села, им самим или боярами его купленные, если княжеские дворяне, господствуя в оных, не будут вмешиваться в судные дела иных волостей и принимать вольных жителей на свою землю. — Но милость Узбекова и верность новогородцев скоро изменились.

В конце лета [1327 г.] явился в Твери ханский посол, Шевкал, сын Дюденев и двоюродный брат Узбека, со многочисленными толпами грабителей. Бедный народ, уже привыкнув терпеть насилия татарские, искал облегчения в одних бесполезных жалобах; но содрогнулся от ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный чтитель Алкорана, намерен обратить россиян в магометанскую веру, убить князя Александра с братьями, сесть на его престоле и все города наши раздать своим вельможам. Говорили, что он воспользуется праздником успения, к коему собралось в Тверь множество усердных христиан, и что моголы умертвят их всех до единого. Сех слух мог быть неоснователен: ибо Шевкал не имел достаточного войска для произведения в действо намерения столь важного и столь несогласного с политикою ханов, хотевших всегда быть покровителями духовенства и церкви в набожной России. Но люди угнетенные обыкновенно считают своих тиранов способными ко всякому злодейству; самая грубая клевета кажется им доказанною истиною. Бояре, воины, граждане, готовые на все для спасения веры и православных государей, окружили князя, юного и легкомысленного. Забыв пример отца, великодушно умершего для спокойствия подданных, Александр с жаром представлял тверитянам, что жизнь его в опасности; что моголы, убив Михаила и Димитрия, хотят истребить и весь род княжеский; что время справедливой мести настало; что не он, а Шевкал замыслил кровопролитие и что бог есть надежда правых. Граждане, усердные, пылкие, единодушно требовали оружия: князь на рассвете, 15 августа, повел их ко дворцу Михаилову, где жил брат Узбеков. Общее волнение, шум и стук оружия пробудили татар: они успели собраться к своему начальнику и выступили на площадь. Тверитяне устремились на них с воплем. Сеча была ужасна. От восхода солнечного до темного вечера резались на улицах с остервенением необычайным. Уступив превосходству сил, моголы заключились во дворце; Александр обратил его в пепел, и Шевкал сгорел там с остатком ханской дружины. К свету не было уже ни одного татарина живого. Граждане умертвили и купцов ордынских.

Сие дело, внушенное отчаянием, изумило Орду. Моголы думали, что вся Россия готова восстать и сокрушить свои цепи; но Россия только трепетала, боясь, чтобы мщение хана, заслуженное тверитяна-

ми, не коснулось и других ее пределов. Узбек, пылая гневом, клялся истребить гнездо мятежников; однако ж, действуя осторожно, призвал Иоанна Даниловича Московского, обещал сделать его великим князем и, дав ему в помощь 50 000 воинов, предводимых пятью ханскими темниками, велел идти на Александра, чтобы казнить россиян россиянами. К сему многочисленному войску присоединились еще суздальцы с владетелем своим, Александром Васильевичем, внуком Андрея Ярославича. Тогда князь тверской мог умереть великодушно, или в славной битве, или предав себя одного в руки моголов, чтобы спасти подданных; но сын Михаилов не имел добродетели отца. Видя грозу, он пекся единственно о собственной безопасности и думал искать убежища в Новегороде. Туда ехали уже наместники московские: граждане не хотели об нем слышать. Между тем Иоанн и князь суздальский, верные слуги Узбековой мести, приближались ко Твери, несмотря на глубокие снега и морозы жестокой зимы. Малодушный Александр, оставив свой добрый, несчастный народ, ушел во Псков, а братья его, Константин и Василий, в Ладогу. Началось бедствие. Тверь, Кашин, Торжок были взяты, опустошены со всеми пригородами; жители истреблены огнем и мечом, другие отведены в неволю. Самые новогородцы едва спаслися от хищности моголов, дав их послам 1000 рублей и щедро одарив всех воевод Узбековых.

[1328 г.] Хан с нетерпением ожидал вести из России: получив оную, изъявил удовольствие. Дымящиеся развалины тверских городов и селений казались ему славным памятником царского гнева, достаточным для обуздания строптивых рабов. В то же время казнив рязанского владетеля, Иоанна Ярославича, он посадил его сына, Иоанна Коротопола, на сей кровию отца обагренный престол и, будучи доволен верностию князя московского, дал ему самую милостивую грамоту на великое княжение, приобретенное бедствием столь многих россиян.

Описав следствия Георгиевой кончины, обратим внимание читателя на южные области России. Быв некогда лучшим ее достоянием, с половины XIII века они сделались как бы чужды для нашего северного отечества, коего жители брали столь мало участия в судьбе киевлян, волынян, галичан, что летописцы суздальские и новогородские не говорят об ней почти ни слова; а волынский не доходит до времен, наиболее любопытных важностию происшествий, когда народ бедный, дикий, платив несколько веков дань России и более ста лет умев только грабить, сведал от нас и немцев действия военного и гражданского искусства, в грозном ополчении выступил из темных лесов на феатр мира и быстрыми завоеваниями основал державу именитую. Говорим о Литве, уже сильной при Миндовге и Тройдене, но еще гораздо сильнейшей при Гедимине. Сей человек, разума и мужества необыкновенного, был конюшим литовского князя Витена или, вероятно, Буйвида: злодейски умертвив государя своего, он присвоил себе господство над всею землею Литовскою. Немцы, россияне, ляхи скоро увидели его властолюбие. Гедимин искал уже не добычи, но завоеваний — и древнее Пинское княжение, где долго властвовали потомки Святополка-Михаила, было силою оружия присоединено к Литве. Союзы брачные служили ему также способом приобретать земли. Выдавая дочерей за князей российских с одним благословением, он требовал богатого вена от сватов: дозволил сыновьям, Ольгерду и Любарту, креститься; женил первого на княжне витебской, а второго на владимирской: Ольгерд наследовал по смерти тестя всю его землю; а Любарт получил удел в Волынии. Юрий Львович, Галицкий и Волынский, скончался около 1316 года: ибо в сие время уже господствовали там Андрей и Лев, вероятно сыновья его, коих имена известны нам единственно по их сношениям с немецким орденом и которые в грамотах своих назывались *князьями всей Русской земли, Галицкой и Владимирской*. Один из сих князей, как надобно думать, был и тестем

Любартовым; историк же литовский именует его *Владимиром,* рассказывая следующие обстоятельства:

«Опасаясь властолюбивых замыслов Гедимина, князья российские, Владимир и Лев, хотели предупредить их, и в то время, как он воевал с немцами, напали на Литву. Владимир опустошил берега Вилии: Лев взял *Брест и Дрогичин, бывшие тогда уже во власти Гедиминовой.* Сей мужественный витязь, в 1319 году победою окончив войну с орденом, немедленно устремился на Владимир (где княжил тесть Любартов). Под стенами оного началася битва, в коей татары стояли за российского князя против россиян: ибо Гедимин имел полочан в своем войске, а князь владимирский наемную ханскую конницу. Густые толпы литовцев редели, осыпаемые стрелами татарскими; но Гедимин, поставив в ряды пехоту, вооруженную пращами и копьями, обратил моголов в бегство. Россияне замешались. Тщетно жены и старцы, зрители битвы, с городских стен кричали им, что она решит судьбу отечества: князь Владимир, оказав мужество, достойное героя, пал в сражении, и войско, лишенное бодрости, рассеялось. Город сдался. Гедимин, поручив его своим наместникам, спешил к Луцку, откуда Лев, устрашенный несчастием Владимира, бежал к брянскому князю, Роману, своему зятю: граждане не оборонялись, и победитель, изъявляя благоразумную кротость, уверил всех россиян в безопасности и защите. Утружденное войско его отдыхало целую зиму. Наградив щедро полководцев, он жил в Бресте и готовился к дальнейшим подвигам.

Как скоро весна наступила и земля покрылась травою, Гедимин с новою бодростию выступил в поле, взял Овруч, Житомир, города киевские и шел к Днепру. В Киеве властвовал Станислав, один из потомков Св. Владимира: он имел время призвать моголов, соединился с Олегом Переяславским, с изгнанным князем луцким Львом, с Романом Брянским; верстах в 25 от столицы, на берегу Ирпени, встретил неприятеля и долго спорил о победе; но отборная дружина литовская, ударив сбоку на россиян, смяла их. Олег положил голову на месте битвы: Лев также. Станислав и Роман ушли в Рязань; а Гедимин, отдав всю добычу воинам, осадил Киев. Еще жители не теряли надежды и мужественно отразили несколько приступов; наконец, не видя помощи ни от князя Станислава, ни от татар и зная, что Гедимин щадит побежденных, отворили ворота. Духовенство вышло со крестами и вместе с народом присягнуло быть верным государю литовскому, который, избавив Киев от ига моголов, оставил там наместником племянника своего, Миндова, князя голшанского, верою христианина, и скоро завоевал всю южную Россию до Путивля и Брянска».

Сие повествование историка не весьма основательного едва ли утверждено на каких-нибудь современных или достоверных свидетельствах. Оно тем сомнительнее, что баскаки ханские, как видно из наших летописей, до самого 1331 года находились в Киеве, где господствовал тогда не Миндов, а князь российский. Не зная, когда именно литовцы овладели странами Днепровскими, знаем только, что Киев при Димитрии Донском уже был в их власти (без сомнения и Черниговская область). Таким образом наше отечество утратило, и надолго, свою древнюю столицу, места славных воспоминаний, где оно росло в величии под щитом Олеговым, сведало бога истинного посредством Св. Владимира, приняло законы от Ярослава Великого и художества от греков!.. Что касается до княжения Владимиро-Волынского, то оно, в противность ложному сказанию литовского историка, вместе с Галициею еще несколько лет хранило свою независимость и силу. Владетели его, Андрей и Лев, преставились около 1324 года. Об них-то король польский, Владислав Локетек, говорит в письме к папе Иоанну XXII: «Извещаю Ваше святейшество о кончине двух последних князей российских, бывших для нас твердою защитою от свирепости татар. Сии жестокие враги христианства без сомнения пожелают ныне овладеть

Россиею, смежною с нашими землями, и мы будем в величайшей опасности». Но Андрей и Лев оставили малолетнего наследника, именем Георгия, праправнука Даниилова. В дружеских латинских грамотах к великим магистрам ордена немецкого, скрепленных печатями епископа, княжеского пестуна и воевод бельзского, перемышльского, львовского, луцкого, он писался *природным князем и государем всей Малой России,* обязываясь предохранять землю рыцарей от набега моголов; употреблял печать Юрия Львовича, своего деда, и жил то в Владимире, то во Львове. Бояре, в малолетство его управляя княжеством, не дерзнули остановить гибельных для южной России успехов литовского оружия, довольные тем, что Гедимин не отнимал собственных областей у Георгия (Любартова шурина, как вероятно) и надеясь, может быть, что сей честолюбивый завоеватель, расширяя свои владения к востоку и сближаясь с татарскими, обратит на себя грозную силу хана, или погибнет или счастливым противоборством ослабит ее; то и другое следствие могло казаться благоприятным для нашего отечества.

Но хитрый Гедимин умел снискать дружбу моголов; по крайней мере никогда не воевал с ними и не платил им дани. Властвуя над Литвою и завоеванною частию России, он именовал себя *великим князем Литовским и Российским;* жил в Вильне, им основанной; правил новыми подданными благоразумно, уважая их древние гражданские обыкновения, покровительствуя веру греческую и не мешая народу зависеть в церковных делах от митрополита московского; украшал новую столицу свою, ловил зверей в дремучих лесах и, желая прекратить всегдашнюю, кровопролитную и бесполезную войну с немецким орденом, писал к папе Иоанну: «Одолевая христиан в битвах, я не хочу истреблять веры их, а только защищаюсь от врагов, подобно всем другим государям. Монахи доминиканские и францисканские окружают меня: даю им волю учить и крестить людей в моем государстве; сам верю святой троице, желаю повиноваться тебе, главе церкви и пастырю царей; ручаюсь и за моих вельмож: только усмири злобу немцев», и проч. Иоанн, обрадованный столь благословенным известием, отправил в Литву епископа алетского, Варфоломея, и Бернарда, игумена пюйского; но Гедимин, вновь раздраженный неприятельскими действиями и вероломством прусского ордена, вдруг переменил мысли, встретил послов Иоанновых весьма немилостиво и сказал им: «Я не знаю вашего папы и знать не желаю. Исповедую веру моих предков и не изменю ей до гроба». Потупив глаза в землю, они должны были удалиться; и с того времени Гедимин слыл в Европе коварным обманщиком. Впрочем, история отдает справедливость многим его достохвальным делам и качествам. Он старался образовать народ свой; дозволял ганзейским купцам торговать в Литве без всякой пошлины; призывал людей ремесленных, серебреников, каменщиков, механиков; на десять лет освобождал всех новых поселенцев от дани, ручаясь им за безопасность личную и целость собственности, которую они приобретут своим трудолюбием; давал им гражданское право Риги и все возможные выгоды; построил для христиан церкви в Вильне и Новогродке и, не терпя монахов, под видом набожности скрывающих злое корыстолюбие и сердце развратное, любил иноков добродетельных, не мешая им распространять веру Иисусову; любил хвалиться верностию своих обещаний и ставил себя христианам в пример честности. Сии обстоятельства известны нам по грамоте, данной им в 1323 году любекским, ростокским, штеттинским и другим немцам, за его княжескою печатию.

Нет сомнения, что вся древняя область кривская, или нынешняя Белоруссия, уже совершенно зависела от Гедимина; но, держась правил умеренности в своем властолюбии, он не хотел изгнать тамошних князей и, довольствуясь их покорностию, оставлял им уделы наследственные. Так (в 1326 году) с братом его, Воином, приезжали из

Литвы в Новгород, для заключения мира, князь полоцкий Василий и минский Феодор Святославич, вероятно, потомки Св. Владимира от племени Рогнедина сына, Изяслава.

Глава IX

Великий князь Иоанн Даниилович, прозванием Калита
Г. 1328 – 1340

Северная Россия отдыхает. Москва — глава России. Предсказанце митрополита. Милость хана к Иоанну. Великодушие псковитян. Особенный епископ во Пскове. Происшествия новогородские. Закамское серебро. Политика Навагорода. Хан прощает Александра. Иоанн повелевает князьями. Несчастие Александра. Мир с Норвегиею. Неприязнь шведов. Разбои литовские. Ссора Иоаннова с Новымгородом. Поход к Смоленску. Кончина и достоинства Иоанновы. Прозвание Калиты. Кремник. Торг на Мологе. Завещание великого князя. Ярославская грамота. Судьба Галича.

Летописцы говорят, что с восшествием Иоанна на престол великого княжения мир и тишина воцарились в северной России; что моголы престали наконец опустошать ее страны и кровию бедных жителей орошать пепелища; что христиане на сорок лет опочили от *истомы* и насилий долговременных — то есть Узбек и преемники его, довольствуясь обыкновенною данию, уже не посылали воевод своих грабить великое княжение, занятые делами Востока и внутренними беспокойствами Орды или устрашаемые примером Твери, где Шевкал был жертвою ожесточенного народа. Отечество наше сетовало в уничижении; головы князей все еще падали в Орде по единому мановению ханов: но земледельцы могли спокойно трудиться на полях, купцы ездить из города в город с товарами, бояре наслаждаться избытком; кони татарские уже не топтали младенцев, девы хранили невинность, старцы не умирали на снегу. Первое добро государственное есть безопасность и покой; честь драгоценна для народов благоденствующих: угнетенные желают только облегчения и славят бога за оное.

Сия действительно благословенная по тогдашним обстоятельствам перемена ознаменовала возвышение Москвы, которая со времен Иоанновых сделалась истинною главою России. Мы видели, что и прежние великие князья любили свои удельные, или наследственные, города более Владимира, совершая в нем только обряд восшествия на главный престол российский: Димитрий Александрович жил в Переславле Залесском, Михаил Ярославич в Твери; следуя той же естественной привязанности к родине, Иоанн Даниилович не хотел выехать из Москвы, где находилась уже и кафедра митрополии: ибо Святой Петр, имев несколько раз случай быть в сем городе, полюбил его красивое местоположение и доброго князя, оставил знаменитую столицу Андрея Боголюбского, правимую тогда уже одними наместниками княжескими, и переселился к Иоанну. «Если ты, — говорил он князю в духе пророчества, как пишет митрополит Киприан в житии Св. Петра, — если ты успокоишь мою старость и воздвигнешь здесь храм, достойный богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится; кости мои останутся в сем граде; святители захотят обитать в оном, *и руки его взыдут на плеща врагов наших*». Иоанн исполнил желание старца и в 1326 году, 4 августа, заложил в Москве *на площади первую* церковь *каменную* во имя успения богоматери, при великом стечении народа. Святой митрополит, собственными руками построив себе каменный гроб в ее стене, зимою преставился; над прахом его в следующем году освятил сию церковь епископ ростовский, и новый митрополит, именем Феогност, родом грек, основал свою кафедру также в Москве, к неудовольствию других князей: ибо они предвидели, что наследники Иоанновы, имея у себя главу духо-

венства, захотят исключительно присвоить себе достоинство великокняжеское. Так и случилось, ко счастию России. В то время, когда она достигла вышней степени бедствия, видя лучшие свои области отторженные Литвою, все другие истерзанные моголами, — в то самое время началось ее государственное возрождение, и в городке, дотоле маловажном, созрела мысль благодетельного единодержавия, открылась мужественная воля прервать цепи ханские, изготовились средства независимости и величия государственного. Новгород знаменит бывшею в нем колыбелию монархии, Киев купелию христианства для россиян; но в Москве спаслися отечество и вера. — Сие время великих подвигов и славных усилий еще далеко. Обратимся к происшествиям.

Первым делом великого князя было ехать в Орду вместе с меньшим братом Александра Тверского, Константином Михайловичем, и с чиновниками новогородскими. Узбек признал Константина тверским князем; изъявил милость Иоанну: но отпуская их, требовал, чтобы они представили ему Александра. Вследствие того послы великого князя и новогородские, архиепископ Моисей и тысячский Аврам, прибыв во Псков, именем отечества убеждали Александра явиться на суд к хану и тем укротить его гнев, страшный для всех россиян. «И так вместо защиты, — ответствовал князь тверской, — я нахожу в вас гонителей! Христиане помогают неверным, служат им и предают своих братьев! Жизнь суетная и горестная не прельщает меня: я готов жертвовать собою для общего спокойствия». Но добрые псковитяне, умиленные его несчастным состоянием, сказали ему единодушно: «Останься с нами: клянемся, что тебя не выдадим; по крайней мере умрем с тобою». Они велели послам удалиться и вооружились. Так народ действует иногда по внушению чувствительности, забывая свою пользу, и стремится на опасность, плененный славою великодушия. Чем реже бывают сии случаи, тем они достопамятнее в летописях. Разделяя с Новымгородом выгоды немецкой торговли, псковитяне славились в сие время и богатством и воинственным духом. Под защитою высоких стен они готовились к мужественной обороне и построили еще новую каменную крепость в Изборске, на горе Жераве.

[1329 г.] Иоанн, боясь казаться хану ослушником или нерадивым исполнителем его воли, приехал в Новгород с митрополитом и многими князьями российскими, в числе коих находились и братья Александровы, Константин и Василий, также князь суздальский, Александр Васильевич. Ни угрозы, ни воинские приготовления Иоанновы не могли поколебать твердости псковитян: в надежде, что они одумаются, великий князь шел медленно к их границам и чрез три недели расположился станом близ Опоки; но видя, что надобно сражаться или уступить, прибегнул к иному способу, необыкновенному в древней России: склонил митрополита наложить проклятие на Александра и на всех жителей Пскова, если они не покорятся. Сия духовная казнь, соединенная с отлучением от церкви, устрашила народ. Однако ж граждане все еще не хотели предать несчастного сына Михаилова. Сам Александр великодушно отказался от их помощи. «Да не будет проклятия на моих друзьях и братьях ради меня! — сказал он им со слезами: — иду из вашего града, освобождая вас от данной мне клятвы». Александр уехал в Литву, поручив им свою печальную юную супругу. Горесть была общая: ибо они искренно любили его. Посадник их, именем Солога, объявил Иоанну, что изгнанник удалился. Великий князь был доволен, и митрополит, разрешив псковитян, дал им благословение. Хотя Иоанн в сем случае казался только невольным орудием ханского гнева, но добрые россияне не хвалили его за то, что он, в угодность неверным, гнал своего родственника и заставил Феогноста возложить церковное проклятие на усердных христиан, коих вина состояла в великодушии. — Новогородцы также неохотно участвовали в сем походе и спешили домой, чтобы смирить немцев и князей

устюжских: первые убили в Дерпте их посла, а вторые купцов и промышленников на пути в землю югорскую. Летописцы не говорят, каким образом новогородское правительство отмстило за то и другое оскорбление.

[1330—1332 гг.] Страх, наведенный Иоанном на Псков, не имел желаемого действия: ибо Александр, принятый дружелюбно Гедимином Литовским, обнадеженный им в защите и влекомый сердцем к добрым псковитянам, чрез 18 месяцев возвратился. Они приняли его с радостию и назвали своим князем; то есть отложились от Новагорода и, выбрав даже особенного для себя епископа, именем Арсения, послали его ставиться к митрополиту, бывшему тогда в Волынии. Александр Михайлович и сам Гедимин убеждали Феогноста исполнить волю псковитян; однако ж митрополит с твердостию отказал им и в то же время — с епископами полоцким, владимирским, галицким, перемышльским, хелмским — посвятил архиепископа Василия, избранного новогородцами, коего епархия, согласно с древним обыкновением, долженствовала заключать в себе и Псковскую область. Гедимин стерпел сие непослушание от митрополита, уважая в нем главу духовенства, но хотел перехватить архиепископа Василия и бояр новогородских на их возвратном пути из Волынии, так что они едва могли спастися, избрав иную дорогу, и принуждены были откупиться от киевского неизвестного нам князя Феодора, который гнался за ними до Чернигова с татарским баскаком.

Между тем как Иоанн, частыми путешествиями в Орду доказывая свою преданность хану, утверждал спокойствие в областях великого княжения, Новгород был в непрестанном движении от внутренних раздоров, или от внешних неприятелей, или ссорясь и мирясь с великим князем. Зная, что новогородцы, торгуя на границах Сибири, доставали много серебра из-за Камы, Иоанн требовал оного для себя и, получив отказ, вооружился, собрал всех князей низовских, рязанских; занял [в 1333 г.] Бежецк, Торжок и разорял окрестности. Тщетно новогородцы звали его к себе, чтобы дружелюбно прекратить взаимное неудовольствие: он не хотел слушать послов, и сам архиепископ Василий, ездив к нему в Переславль, не мог его умилостивить. Новогородцы давали великому князю 500 рублей серебра, с условием, чтобы он возвратил села и деревни, беззаконно им приобретенные в их области; но Иоанн не согласился и в гневе уехал тогда к хану.

Сия опасность заставила новогородцев примириться с князем Александром Михайловичем. Уже семь лет псковитяне не видали у себя архипастыря: святитель Василий, забыв их строптивость, приехал к ним с своим клиросом, благословил народ, чиновников и крестил сына у князя. Желая иметь еще надежнейшую опору, новогородцы подружились с Гедимином, несмотря на то, что он в сие время вступил в родственный союз с Иоанном Даниловичем, выдав за его сына, юного Симеона, дочь или внуку свою Августу (названную в крещении Анастасиею). Еще в 1331 году (как рассказывает один летописец) Гедимин, остановив архиепископа Василия и бояр новогородских, ехавших в Волынию, принудил их дать ему слово, что они уступят Нариманту, его сыну, Ладогу с другими местами в вечное и потомственное владение. Обстоятельство весьма сомнительное: в достовернейших летописях нет оного; и могло ли обещание, вынужденное насилием, быть действительным обязательством? Гораздо вероятнее, что Гедимин единственно изъявил новогородцам желание видеть Нариманта их удельным князем, обещая им защиту, или они сами вздумали таким образом приобрести оную, опасаясь Иоанна столько же, сколько и внешних врагов: политика не весьма согласная с общим благом государства Российского; но заботясь исключительно о собственных выгодах — думая, может быть, и то, что Россия, истерзанная моголами, стесняемая Литвою, должна скоро погибнуть, новогородцы искали способ устоять в ее падении с своею гражданскою воль-

ностию и частным избытком. Как бы то ни было, Нариманта, дотоле язычник, известил новогородцев, что он уже христианин и желает *поклониться Святой Софии*. Народное вече отправило за ним послов и, взяв с него клятву быть верным Новугороду, отдало ему Ладогу, Орехов, Кексгольм, всю землю Корельскую и половину Копорья *в отчину* и *в дедину,* с правом наследственным для его сыновей и внуков. Сие право состояло в судебной и воинской власти, соединенной с некоторыми определенными доходами.

[1334—1335 гг.] Однако ж новогородцы все еще старались утишить гнев великого князя и наконец в том успели посредством, кажется, митрополита Феогноста, с коим деятельный архиепископ Василий имел свидание в Владимире. Иоанн, возвратясь из Орды в Москву, выслушал милостиво их послов и сам приехал в Новгород. Все неудовольствия были преданы забвению. В знак благоволения за оказанную ему почесть и приветливость жителей, умевших иногда ласкать князя, Иоанн позвал в Москву архиепископа и главных их чиновников, чтобы за роскошное угощение отплатить им таким же. В сих взаимных изъявлениях доброжелательства он согласился с новогородцами вторично изгнать Александра Михайловича из России и смирить псковитян, исполняя волю татар или следуя движению личной на него злобы. Условились в мерах, но отложили поход до иного времени.

Спокойные с одной стороны, новогородцы искали врагов в стенах своих. Еще и прежде, сменяя посадника, народ ограбил домы и села некоторых бояр: в сем году река Волхов была как бы границею между двумя неприятельскими станами. Несогласие в делах внутреннего правления, основанного на определениях веча или на общей воле граждан, естественным образом рождали сии частые мятежи, бывающие главным злом свободы, всегда беспокойной и всегда любезной народу. Половина жителей восстала на другую; мечи и копья сверкали на обоих берегах Волхова. К счастию, угрозы не имели следствия кровопролитного, и зрелище ужаса скоро обратилось в картину трогательной братской любви. Примиренные ревностию благоразумных посредников, граждане дружески обнялися на мосту, и скромный летописец, умалчивая о вине сего междоусобия, говорит только, что оно было доказательством и гнева и милосердия небесного, ибо прекратилось столь счастливо — хотя и ненадолго. Чрез несколько времени опять упоминается в Новогородской летописи о возмущении, в коем пострадал один архимандрит, запертый и стерегомый народом в церкви как в темнице.

[1337 г.] Согласие с великим князем было вторично нарушено походом его войска в Двинскую область. Истощая казну свою частыми путешествиями в корыстолюбивую Орду и видя, что новогородцы не расположены добровольно поделиться с ним сокровищами сибирской торговли, он хотел вооруженною рукою перехватить оные. Полки Иоанновы шли зимою: изнуренные трудностями пути и встреченные сильным отпором двинских чиновников, они не имели успеха и возвратились, потеряв множество людей. Сие неприятельское действие заставило новогородцев опять искать дружбы псковитян чрез их общего духовного пастыря: архиепископ Василий отправился во Псков; но жители, считая новогородцев своими врагами, уже не хотели союза с ними: приняли владыку холодно и не дали ему обыкновенной так называемой судной *пошлины,* или десятой части из судебных казенных доходов. Напрасно Василий грозил чиновникам именем церкви и, следуя примеру митрополита Феогноста, объявил проклятие всему их городу. Псковитяне на сей раз выслушали оное спокойно, и разгневанный архиепископ уехал, видя, что они не верят действию клятвы, внушенной ему корыстолюбием или политикою и несогласной с духом христианства.

Впрочем, великий князь, испытав неудачу, оставил новогородцев в покое, встревоженный переменою в судьбе Александра Михайловича.

Жив около десяти лет во Пскове, Александр непрестанно помышлял о своей отчизне и средствах возвратиться с безопасностию в ее недра. «Если умру в изгнании, — говорил он друзьям, — то и дети мои останутся без наследия». Псковитяне любили его, но сила не соответствовала их усердию: он предвидел, что новогородцы не откажутся от древней власти над ними, воспользуются первым случаем смирить сих ослушников, выгонят его или оставят там из милости своим наместником. Покровительство Гедимина не могло возвратить ему тверского престола: ибо сей литовский князь избегал войны с ханом. Александр мог бы обратиться к великому князю; но, будучи им издавна ненавидим, надеялся скорее умилостивить грозного Узбека и послал к нему юного сына своего, Феодора, который (в 1336 году) благополучно возвратился в Россию с послом могольским. Привезенные вести были таковы, что Александр решился сам ехать в Орду и, взяв заочно благословение от митрополита Феогноста, отправился туда с боярами. Его немедленно представили Узбеку. «Царь верховный! — сказал он хану с видом покорности, но без робости и малодушия: — я заслужил гнев твой и вручаю тебе мою судьбу. Действуй по внушению неба и собственного сердца. Милуй или казни: в первом случае прославлю бога и твою милость. Хочешь ли головы моей? Она пред тобою». Свирепый хан смягчился, взглянул на него милостиво и с удовольствием объявил вельможам своим, что «князь Александр смиренною мудростию избавляет себя от казни». Узбек, осыпав его знаками благоволения, возвратил ему достоинство князя тверского.

[1338 г.] Александр с восхищением прибыл в свою отечественную столицу, где братья и народ встретили его с такою же искреннею радостию. Тверь, в 1327 году опустошенная моголами, уже возникла из своего пепла трудами и попечением Константина Михайловича; рассеянные жители собрались, и церкви, вновь украшенные их ревностию к святыне, сияли в прежнем велелепии. Добрый Константин, восстановитель сего княжения, охотно сдал правление старшему брату, коего безрассудная пылкость была виною столь великого несчастия, и желал, чтобы он превосходством опытного ума своего возвратил их отчизне знаменитость и силу, приобретенные во дни Михаиловы. Александр призвал супругу и детей из Пскова, велев объявить его добрым гражданам вечную благодарность за их любовь, и надеялся жить единственно для счастия подданных. Но судьба готовила ему иную долю.

Благоразумный Иоанн — видя, что все бедствия России произошли от несогласия и слабости князей — с самого восшествия на престол старался присвоить себе верховную власть над князьями древних уделов владимирских и действительно в том успел, особенно по кончине Александра Васильевича Суздальского, который, будучи внуком старшего сына Ярославова, имел законное право на достоинство великокняжеское, и хотя уступил оное Иоанну, однако ж, господствуя в своей частной области, управлял и Владимиром: так говорит один летописец, сказывая, что сей князь перевез было оттуда и древний вечевой колокол Успенской соборной церкви в Суздаль, но возратил оный, устрашенный его глухим звуком. Когда ж Александр (в 1333 году) преставился бездетным, Иоанн не дал Владимира его меньшему брату, Константину Васильевичу, и, пользуясь благосклонностию хана, начал смелее повелевать князьями; выдал дочь свою за Василия Давидовича Ярославского, другую за Константина Васильевича Ростовского и, действуя как глава России, предписывал им законы в собственных их областях. Так московский боярин, или воевода, именем Василий Кочева, уполномоченный Иоанном, жил в Ростове и казался истинным государем: свергнул тамошнего градоначальника, старейшего боярина Аверкия; вмешивался в суды, в расправу; отнимал и давал имение. Народ жаловался, говоря, что слава Ростова исчезла; что князья его лишились власти и что Москва тиранствует! Самые

владетели рязанские долженствовали следовать за Иоанном в походах; а Тверь, сетуя в развалинах и сиротствуя без Александра Михайловича, уже не смела помышлять о независимости. Но обстоятельства переменились, как скоро сей князь возвратился, бодрый, деятельный, честолюбивый. Быв некогда сам на престоле великокняжеском, мог ли он спокойно видеть на оном врага своего? Мог ли не думать о мести, снова уверенный в милости ханской? Владетели удельные хотя и повиновались Иоанну, но с неудовольствием, и рады были взять сторону тверского князя, чтобы ослабить страшное для них могущество первого: так и поступил Василий Ярославский, начав изъявлять недоброжелательство тестю и заключив союз с Александром. Боясь утратить первенство, и лестное для властолюбия, и нужное для спокойствия государства, Иоанн решился низвернуть опасного совместника.

В сие время многие бояре тверские, недовольные своим государем, переехали в Москву с семействами и слугами: что было тогда не бесчестною изменою, но делом весьма обыкновенным. Произвольно вступая в службу князя великого или удельного, боярин всегда мог оставить оную, возвратив ему земли и села, от него полученные. Вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые вельможи завидовали: например, мы знаем, что к нему выехал из Курляндии во Псков какой-то знаменитый немец, именем Доль, и сделался первостепенным чиновником двора его. Сие могло быть достаточным побуждением для тверских бояр искать службы в Москве, где они без сомнения не старались успокоить великого князя в рассуждении мнимых или действительных замыслов несчастного Александра Михайловича.

[1339 г.] Иоанн не хотел прибегнуть к оружию, ибо имел иное безопаснейшее средство погубить тверского князя: отправив юного сына, Андрея, к новогородцам, чтобы прекратить раздор с ними, он спешил в Орду и взял с собою двух старших сыновей, Симеона и Иоанна; представил их величавому Узбеку как будущих надежных, ревностных слуг его рода; искусным образом льстил ему, сыпал дары и, совершенно овладев доверенностию хана, мог уже смело приступить к главному делу, то есть к очернению тверского князя. Нет сомнения, что Иоанн описал его закоснелым врагом моголов, готовым возмутить против него всю Россию и новыми неприятельскими действиями изумить легковерное милосердие Узбеково. Царь, устрашенный опасностию, послал звать в Орду Александра, Василия Ярославского и других князей удельных, коварно обещая каждому из них, и в особенности первому, отменные знаки милости. Иоанн же, чтобы отвести от себя подозрение, немедленно возвратился в Москву ожидать следствий.

Хотя посол татарский всячески уверял Александра в благосклонном к нему расположении Узбековом, однако ж сей князь, опасаясь злых внушений Иоанновых в Орде, послал туда наперед сына своего, Феодора, чтобы узнать мысли хана; но, получив вторичный зов, должен был немедленно повиноваться. Мать, братья, вельможи, граждане трепетали, воспоминая участь Михаилову и Димитриеву. Казалось, что самая природа остерегала несчастного князя: в то время, как он сел в ладию, зашумел противный ветер, и гребцы едва могли одолеть стремление волн, которые несли оную назад к берегу. Сей случай казался народу бедственным предзнаменованием. Василий Михайлович проводил брата за несколько верст от города; а Константин лежал тогда в тяжкой болезни: чувствительный Александр всего более жалел о том, что не мог дождаться его выздоровления. — Вместе с тверским князем поехали в Орду Роман Михайлович Белозерский и двоюродный его брат, Василий Давидович Ярославский. Ненавидя последнего и зная, что он будет защищать Александра перед ханом, великий князь тайно отправил 500 воинов схватить его на пути; но

Василий отразил их и ехал в Орду с намерением жаловаться Узбеку на Иоанна, своего тестя.

Юный Феодор Александрович, встретив родителя в улусах, со слезами известил его о гневе хана. «Да будет воля божия!» — сказал Александр и понес богатые дары Узбеку и всему его двору. Их приняли с мрачным безмолвием. Прошел месяц: Александр молился богу и ждал суда. Некоторые вельможи татарские и царица вступались за сего князя; но прибытие в Орду сыновей Иоанновых решило дело: Узбек, подвигнутый ими или друзьями хитрого их отца, без всяких исследований объявил, что мятежный, неблагодарный князь тверской должен умереть. Еще Александр надеялся: ждал вестей от царицы и, сев на коня, спешил видеть своих доброжелателей; узнав же, что казнь его неминуема, возвратился домой, вместе с сыном причастился святых таин, обнял верных слуг и бодро вышел навстречу к убийцам, которые, отрубив голову ему и юному Феодору, *розняли их по составам!* Сии истерзанные остатки несчастных князей были привезены в Россию, отпеты в Владимире митрополитом Феогностом и преданы земле в тверской соборной церкви, подле Михаила и Димитрия: четыре жертвы Узбекова тиранства, оплаканные современниками и отмщенные потомством! Никто из ханов не умертвил столько российских владетелей, как сей: в 1330 году он казнил еще князя стародубского, Феодора Михайловича, думая, что сии страшные действия гнева царского утвердят господство моголов над Россиею. Оказалось следствие противное, и не хан, но великий князь воспользовался бедственною кончиною Александра, присвоив себе верховную власть над Тверским княжением: ибо Константин и Василий Михайловичи уже не дерзали ни в чем ослушаться Иоанна и как бы в знак своей зависимости должны были отослать в Москву вещь по тогдашнему времени важную: соборный колокол отменной величины, коим славились тверитяне. Узбек не знал, что слабость нашего отечества происходила от разделения сил оного и что, способствуя единовластию князя московского, он готовит свободу России и падение царства Капчакского.

Новогородцы, столь безжалостно отвергнув Александра в несчастии и способствовав его изгнанию, тужили о погибели сего князя: ибо предвидели, что Иоанн, не имея опасного соперника, будет менее уважать их вольность. Между тем они старались обеспечить себя со стороны внешних неприятелей. Мир, в 1323 году заключенный со шведами, продолжался около пятнадцати лет. Король Магнус, владея тогда Норвегиею, распространил его и на сию землю, нередко тревожимую новогородцами, которые издавна господствовали в восточной Лапландии. Так они, по летописям норвежским, в 1316 и 1323 году опустошили пределы Дронтгеймской области, и папа Иоанн XXII уступил Магнусу часть церковных доходов, чтобы он мог взять действительнейшие меры для защиты своих границ северных от россиян. Вельможа сего короля, именем Гаквин, в 1326 году, июня 3, подписал в Новегороде особенный мирный договор, по коему россияне и норвежцы на десять лет обещались не беспокоить друг друга набегами, восстановить древний рубеж между обоюдными владениями, забыть прежние обиды и взаимно покровительствовать людей торговых. Но в 1337 году шведы нарушили мир: дали убежище в Выборге мятежным российским корелам; помогли им умертвить купцов ладожских, новогородских и многих христиан греческой веры, бывших в Корелии; грабили на берегах Онежских, сожгли предместие Ладоги и хотели взять Копорье. В сей опасности новогородцы увидели худое к ним усердие Нариманта и бесполезность оказанной ему чести: еще и прежде (в 1335 году) — несмотря на его княжение в их области и на родственный союз Иоаннов с Гедимином — шайки литовских разбойников злодействовали в пределах Торжка: за что великий князь приказал своим воеводам сжечь в соседственной Литве несколько городов: Рясну, Осечен и другие, принадлежавшие некогда к Полоцкому княжению.

Хотя сии неприятельские действия тем и кончились, однако ж доказывали, что дружба Гедимина с россиянами была только мнимая. Когда же новогородцы, встревоженные нечаянною ратию шведскою, потребовали Нариманта (бывшего тогда в Литве) предводительствовать их войском, он не хотел ехать к ним и даже вывел сына своего, именем Александра, из Орехова, оставив там одного наместника. Но шведы имели более дерзости, нежели силы: гордо отвергнув благоразумные предложения новогородского посадника Феодора, ушли от Копорья и не могли защитить самых окрестностей Выборга, где россияне истребили все огнем и мечом. Скоро начальник сей крепости дал знать новогородцам, что предместник его сам собою начал войну и что король желает мира. Написали договор, согласный с ореховским и через несколько месяцев клятвенно утвержденный в Лунде, где послы российские нашли Магнуса. Они требовали еще, чтобы шведы выдали им всех беглых корелов; но Магнус не согласился, ответствуя, что сии люди уже приняли веру латинскую и что их число весьма невелико. «Корелы, — сказал он, — бывают обыкновенно виною раздоров между нами; и так возьмем строгие меры для отвращения сего зла: впредь казните без милости наших беглецов; а мы будем казнить ваших, чтобы они своими злобными наветами не мешали нам жить в согласии».

Окончив дело с шведами, новогородцы отправили обыкновенную ханскую дань к Иоанну; но великий князь, недовольный ею, требовал с них еще вдвое более серебра, будто бы для Узбека. Они ссылались на договорные грамоты и на древние Ярославовы, по коим отечество их свободно от всяких чрезвычайных налогов княжеских. «Чего не бывало от начала мира, того и не будет, — ответствовал народ послам московским: — князь, целовав святой крест в соблюдении наших уставов, должен исполнить клятву». Прошло несколько времени: великий князь ждал вестей из Орды. Когда же хан отпустил его сыновей с честию и всех других князей с грозным повелением слушаться московского: тогда Иоанн объявил гнев Новугороду и вывел оттуда своих наместников, думая, подобно Андрею Боголюбскому, что время унизить гордость сего величавого народа и решить вечную прю его вольности со властию княжескою. К счастию новогородцев, он должен был обратить силы свои к иной цели.

Хотя мы не видим по летописям, чтобы князья смоленские когда-нибудь ездили в Орду и платили ей дань: но сему причиною то, что повествователи наших государственных деяний, жив в других областях, вообще редко упоминают о Смоленске и его происшествиях. Возможно ли, чтобы княжение, столь малосильное, одно в России спаслося от ига, когда и Новгород, еще отдаленнейший, долженствовал повиноваться царю капчакскому? В Смоленске господствовал тогда Иоанн Александрович, внук Глебов, с коим Димитрий, князь брянский, в 1334 году имел войну. Татары помогали Димитрию; однако ж ни в чем не успели, и князья, пролив много крови, заключили мир. Вероятно, что хан не участвовал в предприятии Димитрия и что сему последнему служила за деньги одна вольница татарская; но Иоанн Александрович ободрился счастливым опытом своего мужества и, вступив в союз с Гедимином, захотел, кажется, совершенной независимости. По крайней мере Узбек объявил его мятежником, отрядил в Россию могольского воеводу, именем Товлубия, и дал [в 1340 г.] повеление всем нашим князьям идти на Смоленск. Владетель рязанский, Коротопол, выступил с одной стороны, а с другой сильная рать великокняжеская. Под знаменами московскими шли Константин Васильевич Суздальский, Константин Ростовский, Иоанн Ярославич Юрьевский, князь Иоанн Друцкий, выехавший из Витебской области, и Феодор Фоминский, князь смоленского удела. Не имея особенной склонности к воинским действиям, Иоанн Даниилович остался в столице и вверил начальство двум своим воеводам. Казалось, что соединенные полки моголов и князей российских должны

были одним ударом сокрушить державу смоленскую; но, подступив к городу, они только взглянули на стены и, не сделав ничего, удалились! Вероятно, что россияне не имели большого усердия истреблять своих братьев и что воевода Узбеков, смягченный дарами смолян, взялся умилостивить хана.

Сим заключилось достопамятное правление Иоанна Даниловича: остановленный в важных его намерениях внезапным недугом, он променял княжескую одежду на мантию схимника и кончил жизнь в летах зрелого мужества, указав наследникам путь к единовластию и к величию. Но справедливо хваля Иоанна за сие государственное благодеяние, простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной политики. Суд истории, единственный для государей — кроме суда небесного, — не извиняет и самого счастливого злодейства: ибо от человека зависит только дело, а следствие от бога.

Несмотря на коварство, употребленное Иоанном к погибели опасного совместника, москвитяне славили его благость и, прощаясь с ним во гробе, орошаемом слезами народными, единогласно дали ему имя *собрателя земли Русской* и государя-отца: ибо сей князь не любил проливать крови в войнах бесполезных, освободил великое княжение от грабителей внешних и внутренних, восстановил безопасность собственную и личную, строго казнил татей и был вообще правосуден. Жители других областей российских, от него независимых, завидовали устройству, тишине Иоанновых, будучи волнуемы злодействами малодушных князей или граждан своевольных: так в Козельске один из потомков Михаила Черниговского, князь Василий Пантелеймонович, умертвил дядю родного Андрея Мстиславича; так владетель рязанский, Коротопол, возвращаясь из Орды перед смоленским походом, схватил по дороге родственника своего, Александра Михайловича Пронского, ехавшего к хану с данию, ограбил его и лишил жизни в нынешней Рязани; так брянцы, вследствие мятежного веча, умертвили в (1340 году) князя Глеба Святославича, в самый великий для россиян праздник, в день св. Николая, несмотря на все благоразумные убеждения бывшего там митрополита Феогноста.

Отменная набожность, усердие к строению храмов и милосердие к нищим не менее иных добродетелей помогли Иоанну в снискании любви общей. Он всегда носил с собою мешок, или *калиту,* наполненную деньгами для бедных: отчего и прозван *Калитою.* Кроме собора Успенского им построены еще каменный Архангельский (где стояла его гробница и где с того времени погребали всех князей московских), церковь Иоанна Лествичника (на площади Кремлевской) и Св. Преображения, древнейшая из существующих ныне и бывшая тогда архимандритиею, которую основал еще отец Иоаннов на берегу Москвы-реки при созданной им деревяной церкви Св. Даниила: Иоанн же перевел сию обитель к своему дворцу, любил более всех иных, обогатил доходами; кормил, одевал там нищих и в ней постригся пред кончиною. — Украшая столицу каменными храмами, он окружил ее (в 1339 году) дубовыми стенами и возобновил сгоревший в его время *Кремник,* или *Кремль,* бывший внутреннею крепостию или, по старинному именованию, *детинцем.* В княжение Иоанна два раза горела Москва; были и другие несчастия: ужасное наводнение от сильного дождя и голод, названный в летописях *рослою рожью.* Но подданные, облаготворенные деятельным, отеческим правлением Калиты, не смели жаловаться на бедствия случайные и славили его счастливое время.

Тишина Иоаннова княжения способствовала обогащению России северной. Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и в другие области работу немецких фабрик. Восток, Греция, Италия (чрез Кафу и нынешний Азов) присылали нам свои товары. Уже купцы не боялись в окрестностях Владимира или Ярославля встретиться с шайками

татарских разбойников: милостивые грамоты Узбековы, данные великому князю, служили щитом для путешественников и жителей. Открылись новые способы мены, новые торжища в России: так в Ярославской области, на устье Мологи, где существовал *Холопий городок,* съезжались купцы немецкие, греческие, италиянские, персидские, и казна в течение летних месяцев собирала множество пошлинного серебра, как уверяет один писатель XVII века: бесчисленные суда покрывали Волгу, а шатры — прекрасный, необозримый луг Моложский, и народ веселился в семидесяти питейных домах. Сия ярмонка слыла первою в России до самого XVI столетия.

Добрая слава Калиты привлекла к нему людей знаменитых: из Орды выехал в Москву татарский мурза Чет, названный в крещении Захариею, от коего произошел царь Борис Федорович Годунов; а из Киева вельможа Родион Несторович, предок Квашниных, который был вызван Иоанном еще во время Михаила Тверского и привел с собою 1700 отроков, или детей боярских. Летописец рассказывает, что сей Родион, возведенный московским князем на первую степень боярства, возбудил зависть во всех других вельможах; что один из них, Акинф Гаврилович, не хотев уступить ему старшинства, бежал к Михаилу Тверскому, с сыновьями своими, оставив в *челядне,* или в людской избе, новорожденного внука Михаила, прозванного *Челяднею;* что усердный Родион спас Иоанна Даниловича в битве с тверитянами под городом Переславлем, в 1304 году, зашедши им в тыл, и, собственною рукою отрубив голову Акинфу, привез оную на копье к князю; что Иоанн наградил его половиною Волока, а Родион отнял другую у новогородцев, выгнав их наместника, и получил за то от великого князя еще иную волость в окрестностях реки Восходни. Сии обстоятельства прописаны также в челобитной Квашнина, поданной царю Иоанну Васильевичу на Бутурлиных, потомков боярина Акинфа, во время несчастных споров о боярском старейшинстве.

Древняя русская пословица: *близ царя, близ смерти,* родилась, думаю, тогда, как наше отечество носило цепи моголов. Князья ездили в Орду как на Страшный суд: счастлив, кто мог возвратиться с милостию царскою или по крайней мере с головою! Так Иоанн Данииловичь, в начале своего великокняжения отправляясь к Узбеку, написал завещание и распорядил наследие между тремя сыновьями и супругою, именем Еленою, которая преставилась монахинею в 1332 году. Сия древнейшая из подлинных духовных грамот княжеских, нам известных, свидетельствует, какие города принадлежали тогда к Московской области и как велико было достояние князей. После обыкновенных слов: «Во имя отца и сына и святого духа», Иоанн говорит: «Не зная, что всевышний готовит мне в Орде, куда еду, оставляю сию *душевную* грамоту, написанную мною добровольно, в целом уме и совершенном здравии. Приказываю, в случае смерти, сыновьям моим город Москву: отдаю Симеону Можайск, Коломну с волостями, Ивану Звенигород и Рузу; Андрею Лопастну, Серпухов, Перемышль; княгине моей с меньшими детьми села, бывшие в ее владении» (следуют имена их) ...«также оброк *городских волостей;* а купеческие пошлины, в оных собираемые, остаются доходом наших сыновей. Ежели татары отнимут волость или село у кого из вас, любезные дети, то вы обязаны снова уравнять свои части или уделы. Люди *численые»* — то есть вольные, окладные, плативше дань государственную — «должны быть под общим вашим ведением; а в раздел идут единственно купленные мною. Еще при жизни дал я сыну Симеону из золота четыре цепи, три пояса, две чаши, блюдо с жемчугом и два ковша, а серебром три блюда; Ивану из золота четыре цепи, два пояса с жемчугом и с каменьями, третий сердоликовый, два ковша, две круглые чаши, а серебром три блюда; Андрею из золота четыре цепи, пояс фряжский жемчужный, другой с крюком на червленом шелку, третий ханский, два ковша, две чарки, а серебром три блюда. Золото княгинино от-

дал я дочери Фетинье: четырнадцать колец, новый сделанный мною складень, ожерелье матери ее, *чело* и гривну; а мое собственное золото и коробочку золотую отказываю княгине своей с меньшими детьми. Из одежд моих назначаю Симеону шубу червленую с жемчугом и шапку золотую, Ивану желтую объяринную шубу с жемчугом и мантию с бармами, Андрею шубу соболью с наплечками, низанными жемчугом, и портище алое с нашитыми бармами; а две новые шубы, низанные жемчугом, меньшим детям, *Марье* и Федосье. Серебряные поясы и другие одежды мои раздать священникам, а 100 рублей, оставленных мною у казначея, по церквам. Большое серебряное блюдо о четырех кольцах отослать в храм Владимирской Богоматери. Прочее серебро и княжеские стада — кроме двух, отданных мною Симеону и Ивану — разделить моей супруге и детям. Тебе, Симеон, как старшему, приказываю меньших братьев и княгиню с дочерьми: будь им по боге главным защитником. — Грамоту писал дьяк великокняжеский Кострома, при духовных отцах моих, священниках Ефреме, Феодосии и Давиде; кто нарушит оную, тому бог судия». — К грамоте привешены две печати: одна серебряная вызолоченная с изображением Спасителя и св. Иоанна Предтечи и с надписью: *печать великого князя Ивана;* а другая свинцовая. — В сем завещании не сказано ни слова о Владимире, Костроме, Переславле и других городах, бывших достоянием великокняжеского сана: Иоанн, располагая только своею отчиною, не мог их отказать сыновьям, ибо назначение его преемника зависело от хана.

Исчисляя свои села, великий князь упоминает о купленных или вымененных им в Новегороде, Владимире, Костроме и Ростове: таким образом он старался приобретать наследственную собственность и вне Московской области, к неудовольствию других князей и вопреки условию, заключенному с новогородцами. Но еще несравненно важнейшим приобретением были города Углич, Белозерск и Галич, купленные Иоанном Даниловичем: первые два у потомков Константина I, а третий у наследников Константина Ярославича Галицкого, как сказано в одной из грамот Димитрия Донского: чему надлежало случиться незадолго до преставления Калиты. Однако ж сии уделы до времен Донского считались великокняжескими, а не московскими: потому не упоминается об них в завещаниях сыновей Калитиных.

Мы имеем еще иную достопамятную грамоту времен Иоанновых, данную Василием Давидовичем Ярославским архимандриту Спасской обители. Сей князь пишет, что он, следуя примеру деда, Феодора Черного, определяет жалованье монастырским людям, в год по два рубля; освобождает их от всех налогов, также от *яма,* или подвод, от постоя и стражи; далее говорит: «Судии мои, наместники и тиуны, да не шлют *дворян* своих за людьми св. Спаса без ведома игумена, который один судит их, или вместе с моим судиею, буде истец или ответчик не есть человек монастырский; в последнем случае часть денежной пени, налагаемой на виновного, идет в казну св. Спаса, а другая в княжескую. Жители *иных* областей, перезванные игуменом в его ведомство, считаются людьми монастырскими; но работники их, приписанные к моим селениям, остаются под судом княжеским. Черноризцы и крылошане спасские, торгуя в пользу святой обители, увольняются от пошлин: что однако ж не уничтожает древнего устава о перевозах и бобровых реках». Сия харатейная грамота скреплена черною восковою печатию и свидетельствует, какими гражданскими выгодами пользовались монастыри в России, согласно с уважением наших добрых предков к иноческому сану и в противность намерению, с коим были учреждены первые христианские обители, основанные единственно для трудов душеспасительных и чуждые миру.

Наконец, описав княжение Иоанново, должны мы в последний раз упомянуть о Галиции как о *Российской* области. Внук Юрия Львовича, князь Георгий, скончался около 1336 года, не оставив детей, и хан

прислал своих наместников в Галицию; но жители, по сказанию одного современного историка, тайно умертвили их и с дозволения ханского поддалися Болеславу, сыну Тройдена, князя мазовского, и Марии, сестры Георгиевой, затю Гедиминову, обязав его клятвою не отменять их уставов, не касаться сокровищ государственных или церковных и во всех делах важных требовать согласия народного или боярского: без чего город Львов — где находилось сильное войско, составленное отчасти из моголов, армян и других иностранцев — не хотел покориться сему князю. Но Болеслав не сдержал слова. Воспитанный в греческом исповедании, он в угодность папе и королю польскому, своему родственнику, сделался католиком: ибо вера нашего отечества, утесненного, растерзанного, казалась ему уже несогласною с мирскими выгодами. Сего мало: изменив православию, Болеслав хотел обратить и подданных в латинскую веру; сверх того угнетал их налогами, окружил себя немцами, ляхами, богемцами и, следуя прихотям гнусного сластолюбия, отнимал жен у супругов, дочерей у родителей. Такие злодеяния возмутили народ, и Болеслав умер скоропостижно, отравленный столь жестоким ядом, как уверяют летописцы, что тело его распалось на части. Казимир, свояк Болеславов, умел воспользоваться сим случаем и (в 1340 году) завладел Галициею, обещав жителям не теснить их веры. Львов, Перемышль, Галич, Любачев, Санок, Теребовль, Кременец присягнули ему как законному государю, и сокровища древних князей галицких — богатые одежды, седла, сосуды, два креста золотые с частию животворящего древа и две короны, осыпанные алмазами — были отвезены изо Львова в Краков. Довольный сим успехом, король ограничил на время свое властолюбие и, заключив мирный договор с Литвою, уступил Кестутию, сыну Гедиминову, Брест, а Любарту, женатому на княжне владимирской, — Холм, Луцк и Владимир, как бы законное наследство его супруги. Так рушилось совершенно знаменитое княжение, или королевство Даниилово, и древнее достояние России, приобретенное оружием Св. Владимира, долго называемое *городами червенскими,* а после *Галичем,* было разделено между иноплеменниками.

Глава X

Великий князь Симеон Иоаннович, прозванием Гордый
Г. 1340–1353

Корыстолюбие моголов. Твердость Симеона Гордого. Свойства Ольгердовы. Сношения папы с Ордою. Убиение Коротопола. Дела псковские и новогородские. Постыдное дело новогородцев. Война с Магнусом. Псков — брат Новагорода. Хитрость Ольгердова. Браки. Раздел западной России. Ссора псковитян с Литвою. Ольгерд миротворец. Черная смерть. Земной рай. Белый клобук. Кончина Симеона. Великий князь всея Руси. Привидение. Завещание. Св. Алексий. Ссоры удельных князей. Обновление Мурома. Начало Троицкой лавры. Художества в России.

Смерть Иоаннова была важным происшествием для князей российских: они спешили к хану. Два Константина, Тверской и Суздальский, могли искать великого княжения: другие желали им успеха, боясь исключительного первенства московских владетелей. Но Симеон Иоаннович (во время кончины родителя быв в Нижнем Новегороде) также поехал с братьями в Орду; представил Узбеку долговременную верность отца своего, обещал заслужить милость царскую и был объявлен великим князем: прочие долженствовали ему повиноваться как главе или старейшему. Без сомнения, не красноречие юного Симеона и не дружба ханова к его родителю произвела сие действие, но другая,

сильнейшая для варваров причина: корысть и подкуп. Моголы, некогда ужасные своею дикостию в снежных степях Татарии, изменились характером на берегах Черного моря, Дона и Волги, узнав приятности роскоши, доставляемые им торговлею образованной Европы и Азии; уже менее любили опасности битв и тем более удовольствие неги, соединенной с грубою пышностию: обольщались золотом как главным средством наслаждения. Любимцы прежних ханов искали завоеваний: любимцы Узбековы требовали взяток и продавали его милости; а князья московские, умножив свои доходы приобретением новых областей и новыми торговыми сборами, находили ревностных друзей в Орде, ибо могли удовлетворять алчному корыстолюбию ее вельмож и, называясь смиренным именем слуг ханских, сделались могущественными государями.

Симеон, в бодрой юности достигнув великокняжеского сана, умел пользоваться властию, не уступал в благоразумии отцу и следовал его правилам: ласкал ханов до уничижения, но строго повелевал князьями российскими и заслужил имя *Гордого*. Торжественно воссев на престол в соборном храме владимирском, он при гробе отца клялся братьям жить с ними в любви, иметь всегда одних друзей и врагов; взял с них такую же клятву и скоро имел случай доказать твердость своего правления. Считая себя законным государем Новагорода, он послал наместников в Торжок для собрания дани. Недовольные сим действием самовластия, тамошние бояре призвали новогородцев, которые, заключив наместников княжеских в цепи, объявили Симеону, что он только государь московский; что Новгород *избирает* князей и не терпит насилия. Симеон, не споря с ними о правах, готовил войско. Новогородцы также вооружались; но чернь требовала мира, а жители Торжка взбунтовались: выгнали от себя новогородских чиновников и бояр своих, убив одного знатнейшего и разломав домы прочих; освободили наместников Симеоновых и с усердными восклицаниями приняли великого князя, окруженного полками московскими, суздальскими, ярославскими и другими. Все удельные князья и бояре их составляли его двор воинский. Тут же был и митрополит Феогност. Встревоженные новогородцы велели областным жителям идти в столицу для ее защиты; послали архиепископа с боярами в Торжок требовать мира; уступили Симеону всю народную дань, собираемую в области сего пограничного города, или 1000 рублей серебра, и были довольны тем, что великий князь, следуя обыкновению, грамотою обязался наблюдать их древние уставы.

[1341 г.] Согласив честь княжескую с обычаем народа вольного, Симеон распустил войско и вдруг услышал, что Ольгерд, сын Гедиминов, князь витебский, осадил Можайск с намерением завоевать его для владетеля смоленского, союзника Литвы. Великий князь не успел сразиться с неприятелем: Ольгерд выжег предместие; но видя крепость города и мужество защитников, отступил, может быть и для того, что в сие время умер славный Гедимин, отказав каждому из семи сыновей особенный удел. Ольгерд, второй сын, превосходил братьев умом и славолюбием; вел жизнь трезвую, деятельную; не пил ни вина, ни крепкого меду; не терпел шумных пиршеств, и когда другие тратили время в суетных забавах, он советовался с вельможами или с самим собою о способах распространить власть свою.

В тот же год умер и знаменитый хан капчакский Узбек, памятный в нашей истории разорением Твери и бедствиями Михаилова рода, союзник и приятель папы Венедикта XII, который надеялся склонить его к христианству и коему он дозволял утверждать веру латинскую в странах Черноморских, особенно в земле ясов, обращенных монахом римским Ионою Валентом; жена ханова и сын присылали дары Венедикту, и генуэзцы, жители Кафы, ездили к нему в качестве послов татарских. Но Узбек не думал изменить Алкорану, терпя христиан единственно как политик благоразумный. [1342 г.] Сын его, Чанибек,

подобно отцу ревностный служитель Магометовой веры, открыл себе путь к престолу убиением двух братьев, и князья российские вместе с митрополитом долженствовали немедленно ехать в Орду, чтобы смиренно пасть пред окровавленным ее троном. С честию и милостию отпустив Симеона, хан долго держал митрополита, требуя, чтобы он, богатый доходами, серебром и золотом, ежегодно платил церковную дань татарам; но Феогност ссылался на льготные грамоты ханов, и Чанибек удовольствовался наконец шестьюстами рублей, даром единовременным: ибо — что достойно замечания — не дерзнул самовольно отменить устава своих предков; а Феогност за его твердость был прославлен нашим духовенством. Все осталось, как было при Узбеке; один князь пронский, Ярослав, сын убиенного Александра, милостию нового хана распространил свое владение. Гнусный убийца, Иоанн Коротопол, лишился престола и жизни. Провождаемый Киндяком, вельможею Чанибека, Ярослав осадил Иоанна в столице: сей злодей ночью бежал, однако ж не избавился от казни; его умертвили чрез несколько месяцев. К сожалению, татары, будучи орудиями справедливой мести, не могли действовать бескорыстно: они хотели добычи и пленили многих жителей Переславля Рязанского. Ярослав княжил с того времени в Ростиславле (ныне селе на берегу Оки) и чрез два года умер; а наследники его — кажется, добровольно — уступили после сие приобретение сыну Коротопола, Олегу.

В отсутствие Симеона псковитяне воевали с ливонскими немцами, которые убили в Летгаллии послов их. Во Пскове начальствовал князь Александр Всеволодович, коего род нам неизвестен: отмстив немцам разорением сел в юго-восточной Ливонии, он уехал в Новгород, и псковитяне тщетно убеждали его возвратиться, представляя ему свою опасность; тщетно молили и новогородское правительство дать им наместника и войско. Так говорит их собственный летописец, прибавляя, что немцы заложили крепость Нейгаузен в границах России на берегу реки Пижвы; что псковитяне, взяв предместие Ругодива, или Нарвы (города, основанного датчанами в 1223 году), и слыша о сильных вооружениях ордена, отправили в Витебск послов, которые сказали Ольгерду: «Братья наши, новогородцы, в злобе своей не помогают нам. Государь! Вступись за утесненных». Но летописец новогородский обвиняет псковитян в вероломстве: они сами, по его известию, выслали князя Александра Всеволодовича и, встретив новогородцев, шедших защитить их от рыцарей, советовали им возвратиться, уверяя, что опасность миновалась и что немцы строят крепость на своей земле. Сие было в начале весны: 20 июля Ольгерд как союзник явился во Пскове с дружиною и с братом Кестутием. Они думали идти в Ливонию; но рыцари, истребив их передовой отряд, вдруг осадили Изборск и, схватив племянника Гедиминова, Любка, изрубили его в куски. Огорченные смертию сего князя, Ольгерд и Кестутий отказались действовать для спасения осажденных, и жители, не имея ни капли воды, долженствовали бы сдаться, если бы немцы не отступили от города, испуганные, как вероятно, слухом о литовской силе. Хотя псковитяне не могли быть весьма довольны союзником, однако ж молили Ольгерда снова принять веру христианскую, им отверженную, и княжить в их области, надеясь, что в таком случае он будет уже верным ее защитником. Вместо себя Ольгерд дал им сына, именем Андрея, и позволил ему креститься; но как сей юный князь, оставив у них наместника, вслед за отцом уехал в Литву, то граждане для своей безопасности старались помириться с Новымгородом и признали верховную власть его над ними.

В сие время Новгород сам находился в обстоятельствах неблагоприятных. Пожары истребили большую часть оного: конец Неревский, Людин и Славянский; не уцелели ни дом архиепископа, ни мост, ни богатые церкви: Софийская, Борисо-Глебская и Сорока Мучеников. Люди бежали из домов и жили вне города, на поле, даже в лодках,

непрестанно ожидая новых пожаров, так что архиепископ едва успокоил их церковными ходами и молебнами. Другого рода несчастие состояло в дерзости и междоусобии граждан. В начале Симеонова княжения толпа их удальцов опустошила Устюжну и волости Белозерские, которые зависели от великого князя. Еще в 1294 году один из знатных бояр новогородских, построив крепость близ границ эстонских, хотел там властвовать независимо: оскорбленное правительство велело срыть оную и сжечь его село. Сей пример должного наказания не мог обуздать своевольных: сын умершего посадника Варфоломея, именем Лука, набрал шайку бродяг и, разорив множество деревень в Заволочье, по Двине и Ваге, основал для своей безопасности городок Орлец на реке Емце. Его умертвили жители как разбойника; но чернь новогородская, преданная ему, думала, что он убит слугами посадника Феодора, и требовала мести. Граждане разделились на два веча: одно было у Св. Софии за Луку, другое на дворе Ярослава за посадника. Архиепископ и наместник княжеский едва отвратили кровопролитие.

[1343 г.] Однако ж новогородцы были готовы стоять всеми силами за псковитян, которые, в надежде на их дружбу, решились смелее воевать Ливонию, предводимые каким-то князем Иоанном и Евстафием Изборским. Они пять дней не сходили с коней, опустошая села вокруг Оденпе. Магистр Бурхард гнался за ними до границы и с жаром начал битву, в коей россияне, утомленные и гораздо слабейшие числом, купили победу кровию некоторых лучших бояр своих, а немцы лишились славнейшего из их витязей, Иоанна Левенвольда. Между тем в Изборске и Пскове народ был в ужасе: один священник, прибежав с места битвы, объявил, что немцы умертвили всех россиян; но отправленные гонцы псковские нашли рать свою уже под стенами Изборска, где князья и воины отдыхали среди пленников и трофеев. Орден заключил мир с городом Псковом, ибо имел опасных неприятелей внутри собственных владений. Историк Ливонии говорит, что сия земля могла тогда справедливо назваться «небом дворян, раем духовенства, золотым рудником иностранцев и адом утесненных земледельцев». В 1343 году открылось всеобщее возмущение в Эстонии: народ умертвил множество датчан и немцев, осадил Ревель, взял крепость Эзельскую. Около двух лет продолжалась война кровопролитная: меч и голод истребили большую часть бедных жителей, и король датский за 19 000 марок серебра уступил немецкому ордену все права свои на Эстонию.

[1345 г.] В Литве сделалась перемена. Сын Гедиминов, Евнутий, княжил в Вильне, Наримант в Пинске, Кестутий в Троках. Последний вступил в тесный союз с Ольгердом: будучи оба властолюбивы, они условились соединить раздробленное отечество и неожидаемо взяли Вильну с другими городами. Евнутий ушел в Смоленск, Наримант к хану татарскому: Ольгерд же, присвоив себе господство над прочими братьями, сделался владыкою единодержавным. Устроив порядок внутри государства, сей князь обратил глаза на Россию: он слышал, что новогородцы явно поносят честь его; сверх того изгнанник Евнутий прибегнул к великому князю Симеону, крестился в Москве, названный христианским именем Иоанна, и хвалился дружбою россиян. Ольгерд вступил [в 1346 г.] в область Шелонскую: завоевал Опоку и берега Луги, взял 300 рублей дани с Порхова и велел сказать новогородцам: «Ваш посадник Евстафий осмелился всенародно назвать меня псом: обида столь наглая требует мести; иду на вас». Они вооружились, чтобы сразиться с Литвою. Но посадник имел врагов между согражданами, утверждавших, что безрассудно лить кровь многих за нескромность одного чиновника; что лучше принести его в жертву отечеству и тем удовольствовать раздраженного Ольгерда. Другие, уже будучи в походе, согласились с ними и, возвратясь с пути, умертвили Евстафия на вече. Сие дело, противное народной чести, противное всем законам, есть одно из постыднейших в истории новогородской,

буде летописцы не скрыли некоторых обстоятельств, уменьшающих его гнусность. Ольгерд был доволен уничижением гордейшего из народов российских и согласился на мир [в 1347 г.], чтобы воевать с немецким орденом, коего великий магистр чрез несколько месяцев одержал над Литвою блестящую победу, горестную для Витебска, Полоцка и Смоленска: ибо жители сих городов сражались под знаменами Ольгерда.

Гораздо лучше и великодушнее поступили новогородцы в делах с Швециею. Король Магнус, легкомысленный, надменный, вздумал загладить грехи своего нескромного сластолюбия, услужить папе и прославиться подвигом благочестивым; собрал в Стокгольме государственный совет и предложил ему силою обратить россиян в латинскую веру, требуя людей и денег. Сие намерение казалось совету достохвальным; но Швеция, истощенная корыстолюбием духовенства, могла только дать людей Магнусу. Король дерзнул прикоснуться к церковным сокровищам, или *доходам св. Петра;* презрел неудовольствие епископов и нанял многих немецких воинов. В сие время славилась там пророчествами и святостию вдовствующая супруга вельможи Гудмарсона, дочь Биргерова, именем Бригитта: она, как вдохновенная Пифия, заклинала Магнуса не брать с собою развратных иноземцев, но идти на Россию с одними набожными шведами и готами, достойными воевать для успехов истины: в противном случае грозила ему бедствием. Король смеялся над ее предсказанием и, с войском многочисленным приплыв [в 1348 г.] к острову Березовому, или Биорку, послал объявить новогородцам, чтобы они избрали русских *философов* для прения со шведскими о вере и приняли латинскую, если она будет найдена лучшею, или готовились воевать с ним. Архиепископ Василий, посадник, все чиновники и граждане, изумленные таким предложением, благоразумно ответствовали: «Ежели король хочет знать, какая вера лучше, греческая или римская, то может для состязания отправить людей ученых к патриарху цареградскому: ибо мы приняли Закон от греков и не намерены входить в суетные споры. Когда же Новгород чем-нибудь оскорбил шведов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим послам». Боярин Козма Твердиславич поехал для свидания с королем; но Магнус сказал ему, что он, не имея никаких причин к неудовольствию, желает только обратить россиян на путь душевного спасения, добровольно или оружием. Война началася. Шведы приступили к Орехову, предлагая окрестным жителям на выбор смерть или папу. Сие безумное насилие воспалило гнев и мужество в новогородцах. Воины стекались к ним из областей в Ладогу. Хотя Орехов (где был еще наместник сына Гедиминова, Нариманта) сдался Магнусу; но потеряв 500 человек в битве на берегах Ижеры, имея недостаток в съестных припасах, видя множество больных в своем войске и зная, что россияне идут со всех сторон окружить его флот на реке Неве, сей легкомысленный король уверился в истине Бригиттина предсказания, оставил несколько полков в Невской крепости и возвратился в отечество с одним стыдом и с десятью пленниками, в числе коих были Аврам тысячский и Козма Твердиславич, взятые в Орехове. Шведские летописцы говорят, что Магнус, овладев сим городком и неволею крестив жителей по обрядам римской церкви, *великодушно* освободил их; что они дали ему клятву склонить всех своих единоземцев к принятию латинской веры, но *коварно* обманули его и действовали после как самые злейшие неприятели шведов и папы.

Великий князь, по-видимому, мало заботился о новогородцах, и только однажды (в 1347 году) жил у них три недели, призванный ими чрез архиепископа. Слыша о нападении шведов, он долго медлил; наконец выступил с войском, но возвратился в Москву за каким-то ханским делом и вместо себя велел идти в Новгород брату своему Иоанну с Константином Ростовским; а сии князья — сведав, что Орехов завоеван Магнусом, — немедленно ушли назад, *не приняв,* как гово-

рит летописец, *архиепископского благословения, ни челобитья новогородского.* Вероятно, что не робость, но хитрые намерения политические были тому причиною: Симеон хотел, кажется, довести сей величавый народ до крайности и воспользоваться ею для утверждения своей власти над оным. — «Князь оставляет нас, — говорили новогородцы: — возложим упование на бога и на Святую Софию». Вспомогательная дружина псковская была в их стане под Ладогою: они хотели доказать свою благодарность за сие усердие и торжественно объявили, что знаменитый город Псков должен впредь называться *младшим братом Новагорода.* «Одна любовь и вера да утвердят искренний, вечный союз между нами! — сказали новогородцы псковитянам: — не будем давать вам посадников; не будем требовать вас на суд к Св. Софии: правьте и рядите сами; а для суда церковного архиепископ изберет наместника из ваших сограждан». Таким образом отчизна Св. Ольги приобрела гражданскую независимость — и, к сожалению, запятнала себя черным делом неблагодарности. Когда новогородцы в августе месяце приступили к Орехову и, видя упорство шведов, решились зимовать в стане: псковитяне, не захотев терпеть ненастья и холода, объявили, что идут обратно в землю свою, разоряемую немцами. Ливонские рыцари действительно, нарушив тогда мир, выжгли села на границе в области Изборской, Островской и самое предместие Пскова: следственно, обстоятельства извиняли псковитян, и новогородцы, согласные на их отступление, желали единственно, чтобы оно было ночью и чтобы неприятель не видал его; но чиновники псковские, в досаду великодушным благодетелям, вывели рать свою из стана в самый полдень, затрубили в трубы, ударили в бубны и тем порадовали шведов, которые, стоя на валу, громко смеялись. Оставленные великим князем и союзниками, новогородцы не уныли, сделали примет к стенам крепости, взяли оную 24 февраля [1349 г.], убив или пленив 800 неприятелей, и торжествовали сей успех как славное происшествие для отечества и веры. Они положили употребить отнятое ими у шведов серебро на украшение церкви Бориса и Глеба, отправили пленников в Москву к Симеону и, несмотря на худую верность псковитян, сдержали данное им слово, считая их с того времени уже не подданными, а совершенно вольными в избрании гражданских правителей. — Чтобы озаботить Магнуса с другой стороны его владений, новогородцы из Двинской земли ходили воевать Норвегию; разбили также шведов под Выборгом; наконец, заключив с ними мир в Дерпте, разменялись пленниками, с условием, чтобы область Яскиская, Эграпская и часть Саволакса принадлежали России: Систербек остался границею. Договор был подписан королем, графом Генриком Голштейнским, вельможами Турсоном, Геннингом, священником Вамундом и двумя готландскими купцами; также новогородским посадником Юрием, тысячским Авраамом и другими боярами. Хотя король в 1351 году замышлял новую войну против россиян и папа в угодность ему дозволил его витязям ознаменоваться святым крестом; но внутренние раздоры и несчастия Швеции не допустили сего ветреного монарха вторично безумствовать для мнимого душевного спасения.

Между тем великий князь был занят иными делами. Узнав, что Ольгерд, теснимый немцами, прислал к хану брата своего, Корияда, требовать помощи, Симеон внушил Чанибеку, что сей коварный язычник есть враг России, подвластной татарам, следственно и самих татар; а хан, убежденный представлениями московских бояр, выдал им Корияда с другими послами литовскими. Столь беззаконное действие могло справедливо раздражать Ольгерда; но, вместо злобы, он изъявил Симеону желание быть его другом: ибо тогдашние обстоятельства Литвы не позволяли ему искать новых неприятелей. Мы упоминали о мирном договоре Казимира Польского с Литвою, отдавшего Любарту и Кестутию всю западную Волынию с городом Брестом: переменив мысли, Казимир в 1349 году отнял у них сие владение, из мило-

сти дав Любарту один Луцк, а некоторых частных князей российских, потомков Св. Владимира, оставив господствовать в их уделах как своих присяжников. Сие происшествие заставило Ольгерда и братьев его искать дружбы Симеоновой, тем естественнее, что король польский, ободренный успехами, вздумал быть гонителем церкви греческой, теснил духовенство в Волынии и православные церкви обращал в латинские. Граждане стенали: утратив государственную независимость, они еще умели крепко стоять за веру отцов и, гнушаясь насилием папистов, славили терпимость литовского правления; а глас народа единокровного громко отзывался в Москве. Нет сомнения, что и митрополит ревностно ходатайствовал за князей литовских — которые не мешали ему повелевать духовенством в Волынии — особенно же за Любарта, усердного сына нашей церкви. И так великий князь, согласно с общим желанием, не только освободил Корияда, взяв за него окуп, но вступил и в тесную связь с сыновьями Гедимина, утвержденную свойством: Любарт женился на ростовской княжне, племяннице Симеона; язычник Ольгерд на его свояченице Иулиании, дочери Александра Михайловича Тверского. Сие второе бракосочетание затрудняло совесть великого князя; но митрополит Феогност благословил оное, в надежде, как вероятно, что Ольгерд рано или поздно будет христианином, и с условием, чтобы его дети воспитывались в истинной вере. Изгнанник Евнутий, покровительствуемый Россиею, мог безопасно возвратиться в отечество: братья дали ему удел в Минской области.

В то время, когда государь польский веселился и торжествовал свои успехи в Кракове, литовские князья в тишине собирали войско, имели тайные сношения с жителями Волынии и, желая еще более усыпить Казимира, обещали ему принять римскую веру, так, что папа, Климент VI, уже готовился послать им знаки королевского сана. Но хитрость обнаружилась: уверенные в дружбе московского князя и пользуясь его содействием для умножения своих ревностных доброжелателей в юго-западной России, Ольгерд, Кестутий и Любарт ударили на поляков и выгнали их из Волынии. — С сего времени *четыре* народа спорили о древнем достоянии нашего отечества: о Галиции, Подолии и земле Волынской. *Моголы,* по сказанию флорентийского современного историка, изгнанные из своих жилищ голодом, около 1351 года ворвались в землю Брацлавскую, где властвовал один из российских князей. Людовик, король венгерский, его покровитель, старался вытеснить их оттуда: в 1354 году, вместе с Казимиром Великим, перешел за Буг и взял в плен юного князя татарского. Однако ж моголы еще несколько лет держались в окрестностях Днестра. *Венгрия* хотела присвоить себе Галицию и наконец долженствовала уступить оную *Польше;* а князья *литовские* удерживали в своем подданстве большую часть других западных областей российских, до самого XVI века, когда Литва и Польша составили одно государство.

Несмотря на союз Гедиминовых сыновей с великим князем, псковитяне сделались неприятелями Литвы. Наместником Андрея Ольгердовича был у них вельможа княжеского рода, именем Юрий Витовтович, в 1349 году убитый немцами, в нечаянном набеге, под стенами Изборска: муж храбрый и благочестивый христианин, оплаканный народом и погребенный в соборной церкви. Его кончина прервала связь граждан псковских с Литвою. Взяв крепость, заложенную немцами на берегу Наровы, и гордясь сею удачею, они велели сказать князю Андрею: «Ты не хотел сам управлять нами: мы же не хотим теперь ни твоих наместников, ни тебя». Вследствие чего Ольгерд задержал купцов псковских, отняв у них товары; а сын его, Андрей, княживший тогда в Полоцке, опустошил несколько сел на реке Великой.

[1352 г.] Но хитрый Ольгерд пользовался дружбою Симеона. Сведав, что великий князь, недовольный смоленским владетелем, союзником Литвы, намерен объявить ему войну, Ольгерд желал быть их миротворцем. Послы литовские нашли Симеона, провождаемого брать-

ями и другими князьями, в Вышегороде, на берегу Протвы, и вручили ему богатые дары вместе с дружеским письмом от своего государя. Великий князь уважил его ходатайство, но шел далее к реке Угре: там, встретив послов смоленских, он заключил мир и возвратился в Москву быть свидетелем и, как вероятно, жертвою ужасного гнева небесного.

Еще в 1346 году был мор в странах Каспийских, Черноморских, в Армении, в земле Абазинской, Ясской и Черкесской, в Орне при устье Дона, в Бездеже, в Астрахани и в Сарае. Пишут, что сия жестокая язва, известная в летописях под именем *черной смерти,* началась в Китае, истребила там около тринадцати миллионов людей и достигла Греции, Сирии, Египта. Генуэзские корабли привезли оную в Италию, где, равно как и во Франции, в Англии, в Германии, целые города опустели. В Лондоне на одном кладбище было схоронено 50 000 человек. В Париже отчаянный народ требовал казни всех жидов, думая, что они сыплют яд в колодези. В 1349 году началась зараза и в Скандинавии; оттуда или из Немецкой земли перешла она во Псков и Новгород: в первом открылась весною 1352 года и свирепствовала до зимы с такою силою, что едва осталась треть жителей. Болезнь обнаруживалась железами в мягких впадинах тела; человек харкал кровию и на другой или на третий день издыхал. Нельзя, говорят летописцы, вообразить зрелища столь ужасного: юноши и старцы, супруги, дети лежали в гробах друг подле друга; в один день исчезали семейства многочисленные. Каждый иерей поутру находил в своей церкви 30 усопших и более; отпевали всех вместе, и на кладбищах уже не было места для новых могил: погребали за городом, в лесах. Сперва люди корыстолюбивые охотно служили умирающим в надежде спользоваться их наследством; когда же увидели, что язва сообщается прикосновением и что в самом имуществе зараженных таится жало смерти, тогда и богачи напрасно искали помощи: сын убегал отца, брат брата. Напротив того некоторые изъявляли великодушие: не только своих, но и чужих мертвецов носили в церковь; служили панихиды и с усердием молились среди гробов. Другие спешили оставить мир и заключались в монастырях или отказывали церквам свое богатство, села, рыбные ловли; питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом, думали, что всем умереть должно. — В сих обстоятельствах несчастные псковитяне звали к себе архиепископа Василия благословить их и вместе с ними принести жертву моления всевышнему: как достойный пастырь церкви он спешил их утешить, презирая опасность. Встреченный народом со изъявлениями живейшей благодарности, Василий облачился в ризы святительские; взял крест и, провождаемый духовенством, всеми гражданами, самыми младенцами, обошел вокруг города. Иереи пели божественные песни; иноки несли мощи; народ молился громогласно, и не было такого каменного сердца, по словам летописи, которое не изливалось бы в слезах пред Всевидящим Оком. Еще смерть не насытилась жертвами; но архиепископ успокоил души, и псковитяне, вкусив сладость христанского умиления, терпеливее ожидали конца своему бедствию: оно прекратилось в начале зимы.

Василий, без сомнения зараженный язвою, на возвратном пути скончался, к великому сожалению новогородцев и примиренных с ними псковитян. Сей архиепископ был отменно любим первыми: брал всегда ревностное участие в делах правления; строил не только храмы, но и мосты, нужные для удобного сообщения людей, и собственными руками заложил новую городскую стену на другой стороне Волхова; украсил Софийскую церковь медными, вызолоченными вратами и живописью греческою; славился также разумом: был учителем крестного сына своего, Михаила Александровича Тверского, и в образец тогдашних богословских понятий оставил нам письмо к епископу тверскому Феодору, доказывая в оном, что «рай и ад действительно суще-

ствуют на земле, вопреки мнению новых еретиков, которые признают их *мысленными* или духовными». Уважая гражданские и пастырские достоинства Василия, великодушно умершего для облегчения страждущих псковитян, осудим ли сего знаменитого мужа за то, что он искал рая на Белом море и верил, что некоторые путешественники новогородские видели оный издали? — Василий первый из архиепископов получил от митрополита *крещатые ризы* в знак отличия и *белый клобук,* как пишут, от патриарха цареградского, доныне хранимый в новогородской Софийской ризнице и прежде носимый в Греции теми святителями, которые были поставляемы из белого духовенства.

Скоро язва посетила и Новгород, где от 15 августа до пасхи умерло множество людей. То же было и в других областях российских: в Киеве, Чернигове, Смоленске, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного жителя. Таким образом от Пекина до берегов Евфрата и Ладоги недра земные наполнились миллионами трупов, и государства опустели. Иностранные историки сего бедствия сообщают нам два примечания: 1) везде гибло более молодых людей, нежели старых; 2) везде, когда зараза миновалась, род человеческий необыкновенно размножался: столь чудесна природа, всегда готовая заменять убыль в ее царствах новою деятельностию плодотворной силы!

[1353 г.] Летописцы наши сказывают, что *вся Россия* испытала тогда гнев небесный: следственно и Москва, хотя они не упоминают об ней в особенности. Сие тем вероятнее, что в короткое время скончались там митрополит Феогност, великий князь, два сына его и брат Андрей Иоаннович. Симеон имел не более тридцати шести лет от рождения. Сей государь, хитрый, благоразумный, пять раз ездил в Орду, чтобы соблюсти тишину в государстве; пользуясь отменною благосклонностию хана, исходатайствовал для разоренного Тверского княжения свободу не платить дани моголам, и первый, кажется, именовал себя великим князем *всея Руси,* как то вырезано на его печати. Видя внезапную смерть пред собою, он постригся (названный именем Созонта) и духовным завещанием распорядил свое достояние. По кончине первой супруги в 1345 году Симеон сочетался браком с Евпраксиею, дочерию одного из смоленских князей, Феодора Святославича, управлявшего Волоком в сане наместника; но чрез несколько месяцев отослал ее к отцу, будто бы для того, что «она на свадьбе была испорчена и всякую ночь казалась супругу мертвецом». К общему неудовольствию и соблазну правоверных, Евпраксия вышла за князя фоминского, Феодора Красного; а Симеон женился в третий раз на княжне тверской, Марии Александровне, прижил с нею четырех сыновей, умерших в детстве, и в знак любви отказал ей наследственные и купленные им волости, Можайск, Коломну, все сокровища, золото, жемчуг и *пятьдесят верховых* коней. «Кто из бояр, — пишет великий князь, — захочет служить моей княгине, тот, владея нашими селами, обязан давать ей половину дохода. Всем людям, купленным или за вину взятым мною в рабство: сельским тиунам (прикащикам), старостам, ключникам или женатым на их дочерях, объявляю вечную свободу. — Вам, любезные братья» (ибо Андрей жил еще около шести недель) «поручаю супругу и бояр моих и приказываю то же, что нам отец приказывал: живите согласно, не переменяйте уставленного мною в делах государственных или судных; не внимайте клеветникам и ссорщикам; слушайтесь добрых, старых бояр и нашего владыки *Алексия*». Сей знаменитый святитель был крестник Иоанна Даниловича, сын черниговского боярина, Феодора Бяконта, служившего еще отцу его, и назывался мирским именем Елевферия: в самой цветущей юности возненавидев свет, к огорчению родителей он постригся в московской обители Св. Богоявления, за добродетель свою получил сан митрополитова наместника и жил в одном доме с Феогностом, 12 лет управляя всеми делами церковными, между тем как митрополит ездил в Царь-

град, в Орду и в отдаленные епархии российские. Сии путешествия иногда не делали чести Феогносту: епископы обязывались щедро дарить его, сверх угощения, весьма для них тягостного. Но Алексий не думал о мзде и с неутомимою деятельностию занимался только общим церковным благоустройством. Поставленный епископом Владимиру, он гласом народа и двора княжеского был назначен заступить место Феогноста, который, готовясь к смерти, писал о том к патриарху, а Симеон к императору, Иоанну Кантакузину. Митрополит отправил послами в Царьград Артемия Коробьина и Михаила Грека, Симеон Дементия Давидовича и Юрия Воробьина: они возвратились уже по кончине великого князя с благоприятным ответом, чтобы Алексий ехал в столицу империи для поставления. Еще при жизни Феогноста терновский патриарх самовольно объявил митрополитом России какого-то инока Феодорита и прислал его в Киев с грамотою; но тамошнее духовенство не хотело иметь никакого дела с сим новым патриархом и единодушно отвергнуло Феодорита как самозванца.

Хотя Симеон умел быть действительно главою князей удельных, однако ж власть его не могла отвратить некоторых раздоров между ими. Константин Тверской ссорился с невесткою Анастасиею, вдовствующею супругою Александра Михайловича, и сыном ее, Всеволодом Холмским, насильственно захватывая их бояр и доходы. Огорченный Всеволод поехал с жалобами к великому князю и в Орду, вслед за дядею, который там и скончался. Хан — согласно, может быть, с волею Симеона — отдал Всеволоду Тверское княжение, а Василий Михайлович Кашинский, брат Константинов, взяв дань с Холма, спешил к моголам с богатыми дарами. Дядя и племянник встретились в городе Бездеже как неприятели: второй ограбил первого и, зная, что никто с пустыми руками не бывает прав в Орде, покойно сел на престоле Тверского княжения; но тамошний епископ Феодор убедил его примириться с дядею, уступить ему Тверь и довольствоваться Холмом. Тишина восстановилась: Симеон равно покровительствовал того и другого князя, будучи зятем Всеволода и тестем Михаила, сына Василиева; однако ж Василий не мог забыть своей обиды, изъявлял ненависть к племяннику и теснил его владение.

В государствование Симеона князь Юрий Ярославич Муромский обновил *древний* Муром, издавна запустевший, как сказывают летописцы: то есть он перенес сей город на его древнее место (в 1351 году), построив там дворец и многие церкви; бояре, купцы начали селиться вокруг дворца, и народ следовал их примеру. Сей Юрий, по Святом Глебе, есть достопамятнейший из муромских князей, о коих наша история говорит мало: ибо они жили тихо от недостатка в силах и со времен Андрея Боголюбского зависели более от великих князей владимирских, нежели от рязанских, хотя их удел издревле был областию Рязани.

К церковным достопамятностям сего времени принадлежит начало Троицкой лавры, столь знаменитой и по важным государственным делам, коих она была феатром. Один из бояр ростовских, Кирилл, с неудовольствием видя уничижение своего князя и самовольство московских чиновников в его земле при Калите, не хотел быть свидетелем оного и переехал в городок Радонеж, удел меньшего брата Симеонова, Андрея. Там охотно селились люди неизбыточные: ибо наместник княжеский давал им льготу и выгоды: Кирилл же, некогда богатый, от разных несчастий оскудел. Двое из юных сыновей его, Стефан и Варфоломей (названный в монашестве Сергием) искали убежища от мирских печалей в трудах святости: первый сделался игуменом Богоявленской обители в Москве, а второй, жив долго пустынником в лесах дремучих, среди безмолвного уединения и диких зверей, близ деревянной церкви Св. Троицы, им созданной, основал нынешнюю лавру: ибо слава о добродетели его привлекла к нему многих иноков. Строгая набожность и христианское смирение возвеличили

Св. Сергия между современниками: митрополит, князья, бояре изъявляли к нему отменное уважение, и мы увидим сего благочестивого мужа исполнителем трудных государственных поручений.

Чем реже находим в летописях известия о состоянии художеств в древней России, тем оные любопытнее для историка. В княжение Симеоново были расписаны в Москве три церкви: собор Успенский, Архангельский и храм Преображения; первый греческими живописцами Феогноста митрополита, второй *российскими придворными, Захариею, Иосифом и Николаем* с товарищами, а третий иностранцем *Гойтаном*. В сие же время отличался в литейном искусстве россиянин Борис: он лил колокола в Москве и Новегороде для церквей соборных. Греция все еще имела тесную связь с Россиею, присылая нам не только митрополитов, но и художников, которые учили русских. Образованная Германия могла также способствовать успеху гражданских искусств в нашем отечестве. Заметим, что при Симеоне начали употреблять в России *бумагу,* на коей писан договор его с братьями и духовное завещание. Вероятно, что она шла к нам из Немецкой земли чрез Новгород.

Глава XI

Великий князь Иоанн II Иоаннович

Г. 1353–1359

Характер великого князя. Жестокость Олегова. Властолюбие Ольгерда. Междоусобия. Действия духовной власти в Новегороде. Убийство в Москве. Дела церковные. Добродетели Св. Алексия. Слова юного Димитрия. Смерть и завещание великого князя. Начало княжества Молдавского и Волошского.

Все князья российские поехали в Орду узнать, кто будет их главою; а новогородцы особенно послали туда боярина своего Судокова просить хана, чтобы он удостоил сей чести Константина Суздальского, благоразумного и твердого. Вопреки им, Чанибек избрал Иоанна Иоанновича Московского, тихого, миролюбивого и слабого.

Еще новый государь не возвратился из Орды, когда юный Олег Рязанский, сын Коротопола, овладев всем княжением своего отца, дерзнул восстать на Московское. Он хотел быть совершенно независимым; хотел также отмстить за убиение в Москве предка его, Константина, и снова присоединить к Рязани берега Лопасни, где уже давно и бесспорно господствовали Калитины наследники. Сей предлог войны мог казаться отчасти справедливым; но юноша Олег, преждевременно зрелый в пороках жестокого сердца, действовал как будущий достойный союзник Мамаев: жег, грабил и, пленив лопаснинского наместника Иоаннова, не устыдился мучить его телесно; наконец дал ему свободу, взяв окуп и заслужив ненависть москвитян, хвалился любовию рязанцев, которые, приметив в нем смелость и решительность, в самом деле ожидали от него геройских подвигов.

Кроткий Иоанн уклонился от войны с Олегом, довольный освобождением своего наместника, и терпеливо сносил ослушание новогородцев, не хотевших быть ему подчиненными, до самого того времени, как суздальский князь, Константин Васильевич, ими любимый, скончался: тогда, уже не видя достойного соперника для великого князя, они приняли наместников Иоанновых; а Чанибек утвердил Нижний, Городец и Суздаль за сыном Константиновым, Андреем: ибо самое ближайшее право наследственное для владетелей российских не имело силы без ханского согласия. Так Иоанн Феодорович Стародубский по кончине старшего брата, Димитрия, ждал целый год грамоты Чанибековой, без коей он не мог назваться князем сего удела.

[1354—1359 гг.] Время государей тихих редко бывает спокойно: ибо мягкосердечие их имеет вид слабости, благоприятной для внешних врагов и мятежников внутренних. Ольгерд, выдав дочь свою за Бориса Константиновича Суздальского, брата Андреева, и женив племянника, Димитрия Кориядовича, на дочери великого князя, старался, несмотря на то, более и более стеснять Россию. Смоленск и Брянск уже давно зависели некоторым образом от литовского княжения, как союзник слабый обыкновенно зависит от сильного: еще не довольный сим правом, Ольгерд хотел совершенно овладеть ими и взял в плен юного князя Иоанна Васильевича, коего отец получил тогда от хана грамоту на удел брянский. Василий скоро умер, и сей несчастный город, быв долгое время жертвою мятежного безначалия, наконец (в 1356 году) поддался Литве. Чтобы открыть себе путь к Тверскому и Московскому княжению, Ольгерд занял было своим войском и городок Ржев; но тверитяне и жители Можайска, встревоженные столь опасным намерением, спешили вооружиться и выгнали оттуда литовцев. С другой стороны Андрей Ольгердович, князь полоцкий, все еще злобствовал на псковитян, называя их вероломными изменниками: они также мстили ему за разбой разбоями в его области, предводимые мужественным Евстафием Изборским.

Внутри России Муром, Тверь и Новгород страдали от междоусобия. Мы упоминали о князе Юрии Ярославиче Муромском: родственник его Феодор Глебович, собрав многочисленную толпу людей (в 1355 году), изгнал Юрия, обольстил бояр и весте с знатнейшими из них поехал искать милости ханской. Князь Юрий чрез неделю возвратился в Муром, взял остальных бояр и также отправился к Чанибеку. В Орде был торжественный суд между ими. Феодор превозмог: хан отдал ему не только княжение, но и самого Юрия, скоро умершего в несчастии. Сим первым и последним раздором князей муромских заключилась их краткая история; род оных исчез, и столица, как увидим, присоединилась к великому княжению.

Вражда между Василием Михайловичем Тверским и племянником его, Всеволодом Александровичем Холмским, не могла быть прекращена ни великим князем, ни митрополитом Алексием, желавшим усовестить их в Владимире, где они для того съезжались (в 1357 году). Василий, особенно покровительствуемый Иоанном, угнетал Всеволода, к огорчению доброго тверского епископа Феодора, хотевшего даже оставить свою епархию, чтобы не быть свидетелем сей несправедливости. Дядя требовал суда в Орде, узнав, что племянник, остановленный на пути великокняжескими наместниками, проехал туда через Литву — и хан (в 1358 году) без всякого исследования выдал бедного Всеволода послам Василия, который уже обходился с ним как с невольником, отнимал имение у бояр холмских и налагал тяжкие дани на чернь.

В Новегороде был великий мятеж по случаю смены посадника. Мы видели, что и Симеон мало входил в дела тамошнего внутреннего правления: Иоанн еще менее, и народ тем более самовольствовал, не уважая наместников княжеских. Граждане конца Славянского, из всех пяти знаменитейшего, вопреки общей воле отставили посадника Андреяна; пришли в доспехах на двор Ярославов, разогнали других граждан невооруженных, даже умертвили некоторых бояр, и выбрали Сильвестра на место Андреяново. Софийская сторона хотела отмстить Славянской: обе готовились к войне. В таких случаях одна духовная власть еще не теряла прав своих и могла смягчать сердца, ожесточенные злобою. Владыко Моисей, схимник, просьбою народа изведенный из двадцатилетнего уединения, чтобы вторично править церковию, и за болезнию принужденный возвратиться в оное; новый архиепископ Алексий, по жребию избранный из ключников Софийских; архимандрит юрьевский, игумены явились среди шумного стана воинского: ибо таковым казался весь город. Старец Моисей, опасностию отечества как

бы вызванный уже из гроба, благословлял народ, именуя всех своими любезными детьми духовными, и молил их не проливать крови братьев. Мятеж утих; самые неистовые с умилением внимали гласу святого отшельника, стоявшего на праге смерти, и не дерзнули быть ослушными. Но справедливость требовала наказать виновников действия насильственного и беззаконного: села честолюбивого Сильвестра и других вельмож Славянского конца были *взяты на щит,* то есть разорены по определению веча. Пострадали и невинные: ибо осторожная рассмотрительность не свойственна мятежному суду народному. На место Сильвестра избрали нового посадника, и город успокоился.

В самой тихой Москве, не знакомой с бурями гражданского своевольства, открылось дерзкое злодеяние, и дремлющее правительство оставило виновников под завесою тайны. Тысячский столицы, именем Алексей Петрович, важнейший из чиновников и подобно князю окруженный благородною, многочисленною дружиною, был в час заутрени найден мертвый среди городской площади, со всеми признаками убиенного — кем? неизвестно. Говорили явно, что он имел участь Андрея Боголюбского и что ближние бояре, подобно Кучковичам, умертвили его вследствие заговора. Народ встревожился: угадывали злодеев; именовали их и требовали суда. В самое то время некоторые из московских вельмож — опасаясь, как вероятно, торжественного обвинения — уехали с семействами в Рязань к Олегу, врагу их государя, и слабый Иоанн, дав время умолкнуть общему негодованию, снова перезвал оных к себе в службу.

Даже и церковь российская в Иоанново время представляла зрелище неустройства и соблазна для христиан верных. В год Симеоновой кончины архиепископ новогородский, Моисей, отправил посольство к греческому царю и к патриарху жаловаться на беззаконное самовластие митрополита: вероятно, что дело шло о церковных сборах, коими наши митрополиты отягчали духовенство, называя оные учтивым именем даров. Послы, принятые весьма благосклонно, возвратились с дружественными грамотами от императора Иоанна Кантакузина и патриарха Филофея, украшенными *златою печатию,* как сказано в летописи. Содержание грамот нам неизвестно; но кажется, что Филофей, как хитрый грек, отделался только ласковыми словами: ибо не хотел ссориться с российскими митрополитами, которые никогда не ездили в Царьград без даров богатых. В знак особенного уважения к святителю Моисею он прислал ему *крещатые ризы,* или *полиставрион.*

Сия жалоба новогородского духовенства на главу церкви — вынужденная сребролюбием предместника Алексиева, Феогноста — оскорбляла достоинство митрополитов. Другое происшествие сделало еще больше соблазна. Патриарх Филофей, вместо одного законного митрополита для России, поставил в Константинополе двух: Св. Алексия, избранного великим князем, и какого-то Романа (вероятно, грека). Сия новость изумила наше духовенство; оно не знало, кому повиноваться, ибо митрополиты были не согласны между собою: Роман же, обязанный святительством действию корысти, всего более думал о своих доходах и требовал серебра от епископов. Св. Алексий — *не искав чести,* по словам летописи, *но от чести взысканный* — вторично отправился в Константинополь с жалобами на беспорядок дел церковных, и Филофей, желая примирить совместников, объявил его митрополитом киевским и владимирским, а Романа литовским и волынским. Несмотря на то, сей последний без дозволения Алексиева жил несколько времени в Твери и вмешивался в дела епархии, призванный, кажется, Всеволодом Холмским, который сам ездил тогда в Литву. Роман заслужил его благодарность, убедив (в 1360 году) князя Василия Михайловича отдать племянникам третью часть Тверского княжения; был осыпан почестями и дарами при дворе, но не мог склонить на свою сторону епископа Феодора, не хотевшего иметь с ним никакого сношения.

Алексий же, более и более славясь добродетелями, имел случай оказать важную услугу отечеству. Жена Чанибекова, Тайдула, страдая в тяжкой болезни, требовала его помощи. Хан писал к великому князю: «Мы слышали, что небо ни в чем не отказывает молитве главного *попа* вашего: да испросит же он здравие моей супруге!» Св. Алексий поехал в Орду с надеждою на бога и не обманулся: Тайдула выздоровела и старалась всячески изъявить свою благодарность. В сие время ханский посол Кошак обременял российских князей беззаконными налогами: милость царицы прекратила зло; но *добрый* Чанибек — как называют его наши летописцы — жил недолго. Завоевав в Персии город Таврис (основанный любимою супругою славного калифа, Гарун-Алрашида, Зебеидою) и навьючив 400 вельблюдов взятыми в добычу драгоценностями, сей хан был (в 1357 году) злодейски убит сыном Бердибеком, который, следуя внушениям вельможи Товлубия, умертвил и 12 братьев. Митрополит, очевидец столь ужасного происшествия, едва успел возвратиться в Москву, когда Бердибек прислал вельможу Иткара с угрозами и с насильственными требованиями ко всем князьям российским. Они трепетали, слыша о жестоком нраве его: Св. Алексий взял на себя укротить сего тигра; снова поехал в столицу капчакскую и посредством матери Бердибековой, Тайдулы, исходатайствовал милость для государства и церкви. Великий князь, его семейство, бояре, народ встретили добродетельного митрополита как утешителя небесного, и — что было всего трогательнее— осьмилетний сын Иоаннов, Димитрий, в коем расцветала надежда отечества, умиленный знаками всеобщей любви к Алексию, проливая слезы, говорил ему с необыкновенною для своего нежного возраста силою: «О владыко! Ты даровал нам *житие мирное:* чем изъявим тебе свою признательность?» Столь рано открылась в Димитрии чувствительность к заслугам и к благодеяниям государственным! — Успокоив Россию, митрополит жил два года в Киеве, оставленном его предместниками, среди развалин и печальных следов долговременного запустения стараясь обновить церковное устройство и велелепие храмов.

Иоанн надеялся княжить мирно; но скоро царевич татарский, Мамат-Хожа, приехал в Рязань и велел объявить ему, что время утвердить законный рубеж между княжением Олеговым и Московским: то есть корыстолюбивый царевич, уже славный злодеяниями насилия, хотел грабить в обеих землях под видом размежевания оных. Великий князь, ссылаясь на грамоты ханские, ответствовал, что он не впустит посла в московские области, коих границы известны и несомнительны. Ответ смелый; но Иоанн знал, что Мамат-Хожа действует самовольно, без особенного ханского повеления; знал, может быть и то, что Бердибек уже недоволен сим вельможею, который скоро долженствовал возвратиться в Орду и заплатил там жизнию за убиение какого-то любимца царева.

Княжив 6 лет, Иоанн скончался монахом на тридцать третьем году от рождения [13 ноября 1359 г.], оставив по себе имя *Кроткого,* не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на общее уважение. — Подобно отцу и брату, он написал духовную, в коей приказывает Москву двум юным сыновьям, Димитрию и Иоанну, уступая треть ее доходов шестилетнему племяннику, Владимиру Андреевичу, и веля им вообще блюсти, судить и рядить земледельцев свободных, или *численых* людей; отдает супруге Александре разные волости и часть московских доходов, а Димитрию Можайск и Коломну с селами, Иоанну Звенигород и Рузу; утверждает за Владимиром Андреевичем удел отца его, за вдовствующею княгинею Симеона и Андреевою, именем Иулианиею, данные им от супругов волости, с тем, чтобы после Иулиании наследовали сыновья великого князя и Владимир Андреевич, а после Марии один Димитрий. Из драгоценностей оставляет Димитрию икону Св. Александра, золотую шапку, бармы, жемчужную серьгу, коробку сердоликовую, саблю и ши-

шак золотые; Иоанну также саблю и шишак, жемчужную серьгу, стакан цареградский, а двум будущим зятьям по золотой цепи и поясу; отказывает, вместо *руги,* некоторую долю княжеских прибытков церквам Богоматери на Крутицах, Успенской и Архангельской в Москве; дает волю казначеям своим, сельским тиунам, дьякам, всем купленным людям, и проч.

Достопамятным случаем Иоанновых времен, связанным с нашею историею, было происхождение нынешней Молдавской области, где в течение семи веков, от третьего до десятого, толпились полудикие народы Азии и Европы, изгоняя друг друга и стремясь грабить империю Греческую.

Нестор говорит, что славяне российские, лутичи и тивирцы, издавна жили по Днестру до самого моря и Дуная, имея селения и *города.* Князья галицкие во XII веке без сомнения владели частию Бессарабии и Молдавии, где обитали тогда, под именем волохов, остатки древних гетов, смешанных с римскими поселенцами первого столетия, также некоторые печенеги и половцы. Заметим еще, что в российской географии XIV века именованы Белгород (или Акерман), Романов, Сучава, Серет, Хотин, в числе *наших старинных* городов. Падение Галицкого княжения оставило Молдавию в жертву татарам, и сия земля, граждански образованная россиянами, снова обратилась в печальную степь: города и селения опустели. Когда же моголы, устрашенные счастливым оружием Людовика Венгерского, около половины XIV века удалились от Дуная: тогда волохи, предводимые Богданом или Драгошем, жив прежде в Венгрии, в Мармарошском графстве, явились на берегах Прута, нашли там еще многих *россиян* и поселились между ими на реке *Молдаве;* сперва угождали им и сообразовались с их гражданскими обычаями, для своей безопасности; наконец же сии гости столь размножились, что вытеснили хозяев и, возобновив древние наши города, составили особенную независимую державу, названную *Молдавиею,* коею управляли наследники Богдановы под именем воевод и где язык наш до самого XVII века был не только церковным, но и судебным, как то свидетельствуют подлинные грамоты молдавских господарей. Таким же образом произошло и княжение Волошское, но еще ранее: Нигер, если верить преданию, во XII или в XIII столетии вышедши из Трансильвании со многими своими единоземцами, волохами, основал Терговисто, Бухарест и властвовал там до конца жизни; преемниками его были другие, избираемые народом воеводы, которые зависели иногда от сильных государей венгерских.

Глава XII

Великий князь Димитрий Константинович
Г. 1359–1362

Царевичи могольские христианской веры. Наследственное право. Приобретения Ольгердовы. Мятежи в Орде. Суд князей с болгарами. Москва удерживает право велцкого княжения. Отрок Димитрий.

В одно время с великим князем Иоанном Иоанновичем умер и хан Бердибек, быв жертвою своего гнусного распутства, и Кульпа, родственник его, воцарился, имея двух сыновей христанской веры, Иоанна и Михаила, обращенных, может быть, римскими миссионерами или нашим епископом сарайским. Сие важное обстоятельство казалось весьма благоприятным для христиан; но Кульпа властвовал только 5 месяцев и погиб вместе с сыновьями, убитый Наврусом, одним из потомков Чингисова сына, Туши-хана. Князья России явились в Орде

с дарами, и новый царь дал великое княжение Димитрию Суздальскому, меньшему брату Андрея Константиновича: ибо Андрей, как сказано в некоторых летописях, не захотел сей чести. Современники удивились такой несправедливости, рассуждая, что сын, и еще меньший, не может требовать достоинства, коего не имели ни отец, ни дед его, и что оно принадлежит роду князей московских: мнение, основанное единственно на обычае; в самом же деле Андрей и Димитрий Константиновичи были коленом ближе к Ярославу II, нежели внуки Калитины, и малолетство последних также удаляло их от главного престола российского, окруженного опасностями и заботами.

Избранный ханом великий князь въехал [22 июня 1360 г.] в Владимир, к удовольствию жителей обещая снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Он надеялся, как вероятно, перезвать туда и митрополита; но Алексий, благословив его на княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обет святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба. — Новгород, не любя и боясь самовластия князей московских, охотно принял наместников Димитрия Константиновича; а Димитрий, желая только пользоваться княжескими доходами, согласился на все предложенные ему там условия. — В сие время новогородцы не имели войны, однако ж старались более и более укреплять столицу: взяли казну Софийскую, собранную архиепископом Моисеем, и поправили каменные городские стены. Духовенство не роптало на такое употребление церковного серебра, рассуждая благоразумно, что отечество и Святая София не раздельны и что безопасность первого утверждает благосостояние церкви. Немцы и шведы не тревожили Новагорода; но хищный Ольгерд устрашал его и всю Россию, непрестанно думая о завоеваниях. По кончине Иоанна Александровича Смоленского он взял город Мстиславль и Ржев; овладел еще прежде Белым, осаждал даже в Смоленске Иоаннова сына, князя Святослава, и беспокоил Тверскую область. Россия, с тайным удовольствием видя междоусобие моголов, в то же время опасалась быть жертвою литовского завоевателя.

Царство Капчакское явно клонилось к падению: смятение, измены, убийства изнуряли его внутренние силы. Один из полководцев, именем Хидырь, кочевав за рекою Уралом, пришел на берега Волги, обольстил вельмож ордынских, убил Навруса, царицу Тайдулу и сделался великим ханом. Еще князья наши рабски повиновались сим хищникам: Константин Ростовский выходил в Орде грамоту на всю наследственную область свою, а Димитрий Иоаннович, внук Давида Галицкого, на *Галич*, хотя сей удел был куплен Иоанном Даниловичем Калитою. Великий князь, брат его Андрей Нижегородский и Константин Ростовский долженствовали пред ханским послом судиться в Костроме с болгарами, ограбленными шайкою наших разбойников: князья, отыскав виновных, выдали их и сами поехали в Орду с данию. Но Хидырь уже плавал в крови своей, убиенный сыном Темирхожею. Сей злодей царствовал спокойно только шесть дней; в седьмой открылся бунт: темник Мамай, сильный и грозный, возмутил Орду, умертвил Темирхожу, перешел с луговой на правую сторону Волги и назвал ханом какого-то Авдула. Явились и другие цари: Кальдибек, мнимый сын Чанибеков, хотел заступить место отца, но скоро погиб; многие вельможи заключились в Сарае с ханом Мурутом, братом Хидыревым; князь Булактемир овладел землею болгарскою, а Тагай Бездежский мордовскою (где ныне город Наровчат). Они резались между собою в ужасном остервенении; тысячи падали в битвах или гибли в степях от голода. — Князья наши не знали, кто останется повелителем или тираном России, и спешили удалиться от феатра убийств; некоторые были ограблены в столице ханской, другие на возвратном пути, и едва спасли жизнь свою.

Юный Димитрий Иоаннович Московский также находился в Орде, но успел выехать оттуда еще до Хидыревой смерти и мятежа. Мать,

вдовствующая княгиня Александра, митрополит Алексий и верные бояре пеклися о благе отечества и государя: действуя по их внушениям, сей отрок объявил себя тогда соперником Димитрия Суздальского в достоинстве великокняжеском и звал его на ханский суд, чтобы решить дело без кровопролития. Царство Капчакское уже разделилось; но кто господствовал в Сарае, тот казался еще законным ханом Орды, и бояре московские вместе с суздальскими отправились к Муруту. Вероятно, что сия честь удивила его: угрожаемый со всех сторон опасностями, теснимый свирепым Мамаем и будучи на троне Батыевом только призраком могущества, имел ли он право располагать иными державами? Однако ж, представляя лицо древних ханов, Мурут судил послов и признал малолетнего Димитрия Иоанновича главою князей российских, для того, как вероятно, что, соединяя знаменитую Московскую державу с областями великого княжения, надеялся воспользоваться его силами для утверждения собственного престола.

Но как сей хан мог послать только грамоту, а не войско в Россию, то князь суздальский не уважил его суда и не хотел выехать ни из Владимира, ни из Переславля Залесского. Надлежало прибегнуть к оружию. Все бояре московские, одушевленные ревностию, сели на коней и выступили под начальством трех юных князей, Димитрия Иоанновича, меньшего брата его и Владимира Андреевича. Бывший великий князь не ожидал того: по крайней мере не дерзнул обнажить меча и бежал в Суздаль; а Димитрий Московский занял Переславль, с обыкновенными обрядами сел на трон Андрея Боголюбского в Владимире, жил там несколько дней и, возвратясь в Москву, распустил войско: ибо не думал гнать своего предместника, оставив его спокойно княжить в уделе наследственном.

Таким образом слабая рука двенадцатилетнего отрока взяла кормило государства раздробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусобием внутри. Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело единодержавия: Иоанн Иоаннович и Димитрий Суздальский остановили успехи оного и снова дали частным владетелям надежду быть независимыми от престола великокняжеского. Надлежало поправить расстроенное сими двумя князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с тою смелою решительностию, коими не многие государи славятся в истории. Природа одарила внука Калитина важными достоинствами; но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и государство успело бы между тем погибнуть, если бы провидение не даровало Димитрию пестунов и советников мудрых, воспитавших и юного князя и величие России.

Конец IV тома

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

* * *

Отчий край,
родное небо,
милая мечта,—
как ваше прошлое
в моей судьбе воссоздается!
Любовь. Измена. Смерть...
И вновь любви воскресшей чистота.
Все, чем живу,—
от вас передается!

Земля принадлежит тому,
кто землю засевает!
Для тех, кто окрылен,—
просторы в синеве!
Мечта возвысит тех,
кого и гибель за нее не испугает!
Мне,
чтобы выглядеть счастливым,
и этого достаточно вполне.

Отражения

Георгию Д. Гошкину

Не век один, а будто вечность
народ отыскивает Ботева приметы
в земле Околчицы,
и в небесах,
в легендах,
и в глазах
детей,
не счастье личное,
не драгоценный клад —
отыскивают люди Ботева останки.
На круче
в ярких метинах лучей
стальную челюсть
скалит экскаватор.
Валун теснит.
И выкорчевывает пни.
— Где основанья? —
спросишь ты.
А в том и суть —
народ отыскивает Ботева останки.
В открытых тайниках
отчетливо мерцанье
искринок древних кремневых ножей,
сосуд фракийский
переполнен тайной.
Но золото безвластным будет.
В хрустальных глыбах,
в жилах самородных
останки Ботева отыскивают люди.
Скупая наши дерзостные книги,
прочитывая строки,
над которыми
божественная птица смутно реет,—
народ отыскивает Ботева приметы.
В ночных трамваях
заскорузлыми руками
он перелистывает сборники стихов,
докапываясь
до хвастливых будней наших.
К загадкам стойкости духовной
след пулевой, как нить, уводит —
цель поисков освящена в народе!
И как тревожно пустота зияет!
Но верою живет народ,—
и, нас не презирая,
лишь завершится
долгий день рабочий,
вновь люди образуют очередь.
Не за ковригою —
за книгой,
за воздухом мечты.
И проступают
отражением в витринах
трагического Ботева черты.

Вариации на тему дельты

Величественный,
загрязненный,
течешь, Дунай,
неся Европу на восток,—
преодолев порог железный,—
от черных гор
до черноморской бездны.

И так внезапно расцветает дельта.
Вот и вся дорога.

Как поглотить реку,
не знает вечность,
ненароком,
в игре,
членя поток клинками островов.
Окончена дорога...
Дунайский вальс...
трехстопный эпилог...

Сверкучий треугольник солнца —
всевидящее око...

В час общего томления
крадется судно,
точно привидение,
как тайный замысел,
протоками воспоминаний,—
от листьев палуба
на грани возгоранья.
Ракита и камыш —
и в серебре и в злате.
И пеликаны розовеют на закате...
Отображенья легкие привады
проходят сквозь тебя,
как судно без команды.
И
листья падают.
Взлетают пеликаны.
Любимые, прощаясь, шепчут:
«С богом!..»
Пусть сердцу больно,
ни о чем не молишь...
Не бежишь.

Навешиваются замки
на двери рыбных
ресторанов
до будущей весны.

Густеет сумрак,
и среди ветвей зловещих
проглядывает светлячок окошка.
Здесь кто-то жительствует,
в дельте,
раздумывает про такие вещи,
как бытие,
как время на планете...
Неймется только
бешеной волчице Д. Р. Попеску[1] —
по зову
наслажденья кровью
все ищет, чем бы поживиться,
все рыщет, рыщет по низовью.
Так вечная вода
над нашей сушей насмехается.
Течет вперед,
а берег размывается.
Вопросов —
острова.
Разлука за разлукой —
как возвращенье миру
целостности чудной,
генозно переданной нам
с поры далекой
от предков неизвестных,
от тайн первоистока.

Как повседневность,
раздари себя без грусти —
расширится
твоя судьба, как устье.

И все же помни,
человек храним незримо
лишь тем,
что в нем от века неделимо,
как собственное имя.
Верой пламенной.
Мечтой о детях.
Памятью о маме.
Идеей,
что влечет, и вдохновляет,
и, точно тальвег,
островной уют
искореняет.

---

[1] Д. Р. Попеску — современный румынский прозаик и драматург.

Авторизованный перевод с болгарского
Сергея БОБКОВА

КРАСИН ХИМИРСКИ

Контрапункт

Когда перелетаешь через океан, нужно переставить стрелки на несколько часов назад.

Резво подпрыгнули
стрелки послушные.
Но как возвратить
мне душу назад?
Любовь заново переиграть?
Раны уснувшие растревожить?
Как лунатик в полночь,
жду, чтобы луч небо взорвал,
Вросшая в закат,
лишенная кислорода,
мечется моя душа.
И рождается в ней
образ Данко.
Не в силах дождаться утра,
из своей гремящей груди
вырываю восход.

УрбаМистическое

Никто никого не приветствует...
Мой город — как город немых.
Немота — словно бедствие
для старых и молодых.

Спешим мы за славой неверною —
ах, этот изменчивый лик!
В погоне забыли, наверное,
мы свой родной язык.

А может, в далекое время
пришельцы здесь поселились,
и вот теперь батареи
в их рациях разрядились.

Мои ж батареи вечные,
солнечные — я знаю.
В пространства бесконечные
слова я посылаю.

Кричу я в поисках связи.
Откликнись, разумный житель!
Но все сигналы гасит
беспощадный глушитель.

Бурьян

Я в саду полю бурьян,
он повсюду — слева, справа,
словно дух, несокрушим,
грозен, будто змей стоглавый.

Он сражается со мной,
брызжет злостью и отравой.
Он меня сбивает с ног,
рвет тигриными когтями.

Хвост его зажав в руке,
тяжко падаю на землю.
Он насмешливо взирает
на мою слепую ярость:
я не первый, не последний,
кто решил покончить с ним.

Как канатами стальными,
он меня в объятья тянет.

Тянет яростно во тьму,
вниз, в атласные покои,
вниз, где мой старинный род
с ним века уже воюет.

Перевод с болгарского Лорины ДЫМОВОЙ

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

ДВА РАССКАЗА

Два рассказа из первого сборника «Колымских рассказов» В. Т. Шаламова объединяет сквозная тема — момент постижения истины героями, выстраданной, предельной истины собственной души.

О первом рассказе В. Т. Шаламов писал: «В «Шерри-бренди» описана та самая пересылка во Владивостоке, на которой умер Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше».

Умирающий поэт понимает, что смыслом его жизни, самой жизнью было вдохновение, творческая радость, и ощущает свое бессмертие, а отчаявшийся доходяга всеми клетками своего истощенного мозга и тела чувствует — смысла жизни нет. Но жизнь словно опровергает его — он остается жив вопреки желанию.

Об этих же «звездных вопросах» размышляет и автор, понимающий мудрость и могущество инстинкта жизни, цену ее «маленьких удач» — доброго слова незнакомой женщины и раскуренной с товарищем папиросы — и находящий силы противостоять большим неудачам, оберегая в душе своей крохи мира, добра и красоты.

ШЕРРИ-БРЕНДИ

Поэт умирал. Большие вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли — для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела... И сейчас же он думал о другом — о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он, не спеша, думал о великом однообразии предсмертных движений — о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо — предсмертная маска человека — известна всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, — искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно

привычной. И все было равноправно — Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно... Старость — это только излечимая болезнь и, если бы не это неразгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, — он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, сзади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.

Был еще один путь бессмертия — тютчевский:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, — то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышиной беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивился себе — как он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал... и понял.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, — возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама, как самовластная хозяйка; он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.

Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.

И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.

Все, весь мир сравнивался со стихами — работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.

Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали, в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало — возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека —

тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И увидя, что он — это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается не бескорыстно, — это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?

Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока, и как Блок этого, кажется, не понимал...

Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.

Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это — его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии — ему было все равно.

Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер, как поэт? Что-то детски-наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное — как у Есенина, у Маяковского.

Умер, как актер, — это еще понятно. Но умер, как поэт?

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор — что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма. Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет, — тех, что привезли его сюда, — если сейчас умрет, — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.

Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятка была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы — воровать.

Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему; не запихивал в рот дрожащими

пальцами «довесок» — и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо — одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинговыми зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз...

Его останавливали соседи:

— Не ешь все, лучше потом съешь, потом...

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.

К вечеру он умер.

Но «списали» его на два дня позднее — изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов.

ДОЖДЬ

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы, и кайла заправлялись без всякой задержки — редкий случай: кузнецам было нечего «оттягивать» — работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки, не переставая. На каменистой почве нельзя узнать — час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей — даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» — известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов, мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу — мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить.

Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни — того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади, — я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от севера, от непо-

сильной работы, плохой пищи, побоев — и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, — они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был ФИЗИЧЕСКИ крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мою ногу. И я — навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом — и... камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось — я отдернул ногу в сторону. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины — вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что я не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей «удачей» был конец рабочего дня, три глотка горячего супу, — если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок — трехлитровая консервная банка — у меня есть. Закурить, вернее, докурить я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочь, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некоей тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке — и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей — первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода и крикнула: «Скоро, ребята, скоро». Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гётевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки — ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, — вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные

знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира — издалека, из-под «гриба».

— Слушайте, — кричал он, — слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

— Он заболел, — сказал я.

В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее, за покушение на самоубийство на него завели «дело», он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести — под горячую руку — следователю, свидетелям. Это — мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.

Публикация и подготовка текста
И. П. СИРОТИНСКОЙ

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

* * *

Пройдя пространства, горы,
встречи,
Припав и к мраку, и к лучу,
Пришел к исконно русской речи,
Как к первозданному ключу.

Проник к единственному слову.
И отыскал, обрел,
постиг
Первоначальную основу!
И внятен стал любой язык!

* * *

— Мудрец, что жизни этой повесть
Сумел до капли всю прочесть,
Скажи мне, что важней,
чем совесть,
Скажи мне, что важней, чем честь?

— Прочел, прочел я жизни повесть.
Не знаю, что важней, чем честь.
Не знаю, что важней,
чем совесть!
Но говорят, что что-то есть!

* * *

— Забрезжил новый мне предел.
Травой, листвой, сосновой медью.
Вдруг так заметно подобрел
Я к волку лютому, к медведю.

В душе моей иное, друг,
Иное что-то всколыхнулось.
— Звериное очнулось вдруг?
— Нет, дозвериное проснулось.

* * *

— Никого вокруг.
И куда, скажи,
Запропал мой друг?
— Утонул во лжи.

— Стало пусто вдруг.
И куда успел
Ускользнуть мой друг?
— От стыда сгорел.

Он сгорел в огне.
Он погряз в ругне.
Он исчез в волне.
Он лежит на дне.

Он исчез в волне,
Он лежит на дне.
В оглушенном сне
Он кричит во мне!

*

Вздымаются в белые выси
Вершины прямых тополей.
И их красота не зависит
От временной мысли твоей.

Им судьи — лишь вечные годы.
Блестящий вот этот простор.
Блестящие, вечные воды!
— ...А этот блестящий топор?

* * *

На житейской стезе не бездолен.
И живешь на земле не скорбя.
Ты умен и силен. Но безволен.
И в душе — презираешь себя.
Ты к высокому делу причастен.
Ты широкою славой любим.
Но несчастен, несчастен.
Несчастен.

Я смеюсь над несчастьем таким!
И того закружила дорога?
И того завертели пути?
Как же, как же вас, бедные,
много!
Где ж мне силы
Смеяться
Найти?

* * *

— А на лице всегда,
Как тень, следы видны.
Сокрытого стыда?
Таящейся вины?

— Какой же это стыд,
Коль он на всех лежит?

Какая ж то вина,
Коли на всех она?

— В сто раз больней вина,
Коль всех винит она.
В сто раз стыднее стыд,
Коль всех тот стыд язвит!

* * *

Весна сияла во всей красе.
Река волну свою качала.
И дружно шумели ветви все.
И лишь надломленная молчала.

Зима сияла во всей красе.
Снега белели. И синь сверкала.
И в страхе молчали ветви все.
И лишь надломленная шуршала.

* * *

— Я не могу никак понять —
Ну как ты сделал это?
Как мог бесчестно так солгать?
— Под дулом пистолета.

— Но ведь теперь не то совсем.
Теперь не бьют за это.
Так повинись пред миром всем!
— Под дулом пистолета!

* * *

Все меняется. Ну что ж.
Так оно и разумелось.
На тебя я стал похож.
Очень мне бы не хотелось.

Точно так же я смотрю,
Точно то же вижу ныне,
Так же, так же говорю.
...По совсем другой причине.

* * *

— И не щадил ты никого?
— О да. Как принципы велели.
— И предал друга своего?
— О да.
Во имя высшей цели.

— Одна владеет цель тобой?
— О да. И в том моя заслуга.
— Смысл, смысл высокой цели той?
—Бесстрашно жизнь отдать
за друга!

* * *

Земля под долгим, тяжким зноем,
Под бело-огненной жарой
Колючим зачерствела слоем.
И треснул этот жесткий слой.

Чтоб вынесть это пламя света,
Чтоб вытерпеть огонь лучей,
Любить, любить, любить все это,
Любить все это нужно ей.

БОРИС МИРОНОВ

КОРНИ ОТЕЧЕСТВА

Очерк и публицистика

Сполна отпущенный природой дар зодчего, граненный в лучших учебных студиях России и за рубежом, — сколь прекрасного мог явить миру великий мастер Василий Иванович Баженов, сложись его судьба иначе, без растраты сил и духа на неосуществленные проекты, незавершенные постройки. Остается сожалеть, что нет у нас его руки Большого Кремлевского Дворца, Царицынского града, Триумфальных врат, многого из прожектов и планов, что рождены его умом, сердцем. Остается сожалеть да беречь то немногое, что создал российский мастер, что, пережив лихолетья веков, радует нас красотой, полнит силой и гордостью за отечественный талант, и прежде всего — «волшебный замок» на Моховой для богатого капитан-поручика Пашкова, вознесенный Баженовым над суетной Москвой игрушкой на ладошке Ваганьковского холма, в равном соседстве с Кремлем.

Какие драматичные времена пережил дом, войны какие! Теперь уж, казалось, все: стой, чудо-чудное, славь Отечество, крепи народную душу, ан нет — нашествия иноземцев пережило дерзкого и славного ума творенье XVIII века, а в наши дни дом дрогнул: повалились потолки, вестниками нагрянувшей беды разбежались по стенам змейки трещин, кажется, уже не поймать их — все шире они, лопались, рвались на глазах «маяки» — контрольные бумажные наклейки на расползающихся трещинах. Специалисты установили опасные нарушения грунтов под зданием, отрыв одной из стен от фундамента, деформацию пола...

Рушился дом Пашкова, вместе с ним в бедственном положении оказались размещенные здесь отделы Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина — диссертаций, гигиены и реставрации, микрофотокопирования, и, самое главное, — фонды Отдела рукописей: единственные на планете Архангельское Евангелие 1092 года, глаголическая рукопись XI века — знаменитое Мариинское Евангелие, шедевр книжного искусства XIV века «Евангелие Хитрово» работы гениального художника Древней Руси Андрея Рублева... Десятки тысяч рукописных книг на старославянском и древнерусском языках. В соседстве с ними греческие, арабские, персидские, турецкие, индийские, китайские, японские, западноевропейские рукописи, свыше тысячи лет береженные... Здесь же, в уютном и всегда, казалось, надежном доме, в 1862 году принявшем собранную деятельным графом Н. П. Румянцевым богатейшую коллекцию книг, рукописей, археологических и этнографических материалов, которая стала основой первой бесплатной государственной публичной библиотеки России, выросшей в одну из самых богатых библиотек мира, хранятся личные архивы Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Островского, Достоевского, Чехова, Короленко, Блока, Брюсова, Есенина, Булгакова... — более шестисот. Все это в одночасье из дома не вынесешь, в другое место не перенесешь. Взамен надо много места, да еще с особыми условиями хранения.

Казалось, и этой беды за глаза, а еще не вся беда — полбеды.

В нелучшем положении оказалось основное девятнадцатиярусное книгохранили-

ще Государственной библиотеки СССР — двадцатидвухмиллионное собрание памяти и мудрости народной. В стенах здания образовались сквозные трещины, стали разрушаться несущие конструкции — сошли перекрытия с колонн, посыпалась штукатурка, потрескались оконные стекла... Предназначенные для вечного хранения книжные собрания, требующие абсолютной чистоты, жесткого режима температуры и влажности, оказались во власти царящего на улице ненастья. Условия для книг — губительные, как писали после обследования здания специалисты: «Последствия могут привести к фактической потере целых массивов ценнейшей литературы».

Откуда беда нашла? От метростроителей. В непосредственной близости от баженовского дворца, от других корпусов библиотеки они развернули строительную площадку для сооружения очень сложного, трудоемкого объекта — станции глубокого залегания «Боровицкая».

Метростроевцы штурмовали подземелье Ваганьковского холма всеми калибрами строительной техники: ревели мощные грузовики, с тяжелым уханьем молота «бабы» вколачивали в землю сваи, буровые установки дырявили Ваганьковский холм десятками скважин для откачки грунтовых вод. И холм, и все, что стояло на нем, сотрясалось от сильных подземных взрывов. Все это отмечено в обстоятельном, высококвалифицированном заключении Центральной инженерно-геологической и гидрогеологической экспедиции Министерства геологии РСФСР.

Конечно же, метро — стройка своенравная, схожие подземные участки попадаются крайне редко, по шаблону не сработаешь, всего действительно не посчитаешь, не упредишь, потому как наука прогнозирования пока еще не семи пядей во лбу. Так что от стройки метро всякого лиха можно ожидать, да еще в таком издревле густозастроенном месте, как столичный центр. Но прокладка тоннелей и сооружение станции «Боровицкая» привели к аварийному состоянию зданий национальной библиотеки, в числе которых шедевр мировой культуры — баженовского творения дворец, не потому, что неизбежны и вынужденный риск, и непредвиденные осложнения. И Главное архитектурно-планировочное управление столицы, давшее «добро» на объемные строительные работы с подземными мощными взрывами внутри Ваганьковского холма, и Мосметрострой, активно принявшийся здесь за дело, не могли не знать, что еще в 1924 году специалисты вынесли заключение: «дальнейших крупных выемок в холме, на котором покоится Пашков дом, делать нельзя». Ну ладно, допустим, не знали, хотя обязаны знать все о таком уникальном месте, коль пришли сюда, или знали, но не взяли в расчет, не без резона посчитав, что с тех далеких лет столько воды утекло, зодчие и теоретики, и практики так далеко ушли, что им рекомендации шестидесятилетней давности не указ. Не указ так не указ, как знаете, лишь бы ладно вышло. Вышло, как мы видим, совсем не ладно...

Допустим, без строительства станции «Боровицкая» в этом месте действительно не обойтись. Можно ли было при этом избежать губительных последствий? На страницах «Строительной газеты» профессиональную точку зрения на случившееся высказал заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор Б. А. Ржаницын.

«Проходка эскалаторного тоннеля, — писал он,— велась с применением способа искусственного замораживания грунта. Одновременно прокладывался подземный коридор от станции «Библиотека имени Ленина» до эскалаторных тоннелей станции «Боровицкая». При проходке песчаный грунт под углом здания книгохранилища, как это было установлено Мосгоргеотрестом, был разрыхлен, и в 1984 году началась осадка части фундаментов книгохранилища. Между тем в стране с 1933 года существует неоднократно описанный в литературе способ, который может помочь предотвратить или прекратить осадки фундаментов, превратив разрыхленный песчаный грунт в камень с прочностью при сжатии 40—60 кг/см². Этот способ основан на инъекции в грунт через забитые металлические трубки поочередно двух химических растворов: жидкого стекла и хлористого кальция. Химическое закрепление грунтов применено под фундаментами многих уникальных объектов, в том числе ряда объектов Московского Кремля, на многих промышленных предприятиях.

Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР (НИИОСП) настаивал на применении этого способа для сохранения дома Пашкова и других зданий Библиотеки имени В. И. Ленина, — свидетельствует ученый. — Однако осуществление предложений по закреплению песчаных грунтов по непонятным причинам было задержано, метростроевцы при проходке «выпустили» грунт из-под фундаментов, и тогда произошла быстрая осадка угловой части здания книгохранилища, которая затем перешла в равномерную, десятикратно превышающую допустимую осадку фундаментов».

Следует напомнить, что при строительстве первой очереди Московского метрополитена неизменно соблюдалось правило: там, где тоннели или станции расположены вблизи зданий, для их сохранности до начала подземных работ производилось закрепление грунтов под фундаментами. Так было сделано и в районе станции «Библиотека имени Ленина», где применяли способ силикатизации. До начала подземных работ грунт был закреплен под фундаментами домов. Все они не подверглись никаким деформациям, а фундаменты не имеют никаких осадок.

«В то время, — вспоминает профессор Б. Ржаницын, — при Метрострое существовала контора спецработ, которая выполняла операции по химическому закреплению грунтов. Впоследствии Метрострой «в целях экономии средств» перестал применять этот способ. А крупные затраты, которые понадобятся, когда опасность даст себя знать, Метрострой во внимание не принимает».

Правда, когда начальником Метростроя стал Полежаев, он вернулся к практике предварительного химического закрепления грунтов под фундаментами зданий, вблизи которых должна быть произведена выемка грунтов. С применением химического закрепления выполнили безосадочную проходку тоннеля для реки Неглинки под улицей 25-го Октября. Увы, Полежаев умер, и о способе химического закрепления грунтов Метрострой забыл.

Между тем за рубежом тоннели метро в застроенной части города ведут так, что поверхность не оседает: по ходу забоя забуриваются скважины длиной двадцать-тридцать метров, через них в грунт вводится раствор жидкого стекла с добавками, грунт закрепляется. Затем проходится тоннель — с выемкой полного объема грунта. При этом не происходит никаких осадок поверхности.

— Ясно, что разрушений библиотечного комплекса можно было избежать, — подытоживает Борис Александрович. — Что же помешало? Амбиции.

Метростроевцы уверенно шли напролом. Мощно, не считаясь ни с чем, штурмовали не только Ваганьковский холм, они штурмовали отечественные законы о сохранности заповедной зоны, о бережливом отношении к памятникам истории и культуры.

Авторы губительной стройки — руководители Главного архитектурно-планировочного управления столицы и Мосметростроя — вызывающе высокомерно держались на заседании коллегии Министерства культуры СССР, где обсуждались газетные статьи о трагедии национальной библиотеки.

— Проект станции «Боровицкая» утвержден еще в 1967 году. Это оптимальное расположение станции для лучшего обслуживания пассажиров, — веско вразумлял присутствующих на коллегии заместитель начальника ГлавАПУ Москвы Ю. А. Дыховичный. — Никакого аварийного состояния библиотеки нет. Как нет и угрозы аварии. Слухи сильно преувеличены. Да, есть небольшие деформации. Но осадки есть всегда, могу сослаться на опыт наш и зарубежный. Еще раз повторяю: аварийного состояния нет, и до того здания уже были в аварийном состоянии...

Безапелляционность, с какой вещал Юрий Абрамович, восполняла отсутствие логики. Утверждение, что аварийного состояния нет, тут же опровергалось указанием на то, что здания давно в аварийном состоянии. Утверждение его, что взрывные работы не проводились, несколько позже сменялось признанием, что взрывы были, но на такой глубине, что не могли сотрясти здание... Опровержения экспертов Ю. А. Дыховичный отрицал упорно, продолжал настаивать, что разговоры о критическом состоянии библиотеки сильно преувеличены.

— Вы говорите, что нет трещин и деформация прекратилась. А мы сегодня видели в библиотеке совершенно новые трещины, — не соглашался с Ю. А. Дыховичным и председательствующий на коллегии тогдашний министр культуры СССР П. Н. Демичев. Интересно развивался этот диалог:

— Петр Нилович, я был там вчера, никаких трещин, — ни на секунду не замешкавшись, отвечал Дыховичный.

— Но сегодня они появились, — повторил министр.

— Вчера не было, — стоял на своем Дыховичный.

— Мы час назад, как вернулись из библиотеки, и видели там трещины, — настаивал министр.

— Петр Нилович, это дело специалистов.

— Нам надо точно знать обстановку,— отступил министр.

— Еще раз заявляю: исследования проведены самые глубокие, каких еще не знали в Москве, — безапелляционно настаивал Дыховичный.

И заместитель начальника Мосметростроя Э. В. Сандуковский не чувствовал себя в роли ответчика.

— Мы как строители ничего не решаем, — говорил он на коллегии. — Дают распоряжение — строим. Но я согласен с Юрием Абрамовичем, что станция «Боровицкая» расположена очень удобно и занимает в развитии транспортных магистралей столицы важное стратегическое местонахождение.

Я воспроизвожу дословно разговор на коллегии.

— На дом Пашкова метростроители не оказали никакого влияния, — вопреки фактам уверял Сандуковский. — Это умышленная драматизация ситуации. В основном книгохранилище раскрылся температурно-влажностный шов — дело обычное.

Больше того, он потребовал найти и разобраться, кто и с какой целью занимается нагнетанием тревог.

Искать не требовалось. Эксперты, ученые, инженеры были в зале коллегии. Цифрами и фактами они доказывали, что драма библиотеки и дома Пашкова на совести ГлавАПУ и Метростроя. В их выступлениях звучала гражданская боль.

Дыховичный и Сандуковский, слушая их, снисходительно улыбались. Поражала их уверенность в своей безнаказанности.

— Вы улыбаетесь, потому что вам еще ни разу не приходилось отвечать за собственные преступления, — говорил, выступая на коллегии, первый заместитель министра культуры СССР Е. Зайцев. — Но вы должны за них ответить.

«За небрежение к народным ценностям должен быть строгий спрос», — считают все люди, преисполненные высокого гражданского чувства. «Требуем провести тщательное расследование и виновных, независимо от того, занимают они или нет в данный момент руководящие посты, требуем привлечь к суровой ответственности, квалифицируя их действия как антигосударственные. Нельзя преступные действия руководящих работников квалифицировать безобидным и ненаказуемым «бюрократизмом», — считают Голованов, Иванова, Панченко и другие научные работники из города Железнодорожного Московской области.

«Необходимо наказать прямых виновников и сообщить через газету», — требует доцент, кандидат исторических наук Д. Фимин из Ленинграда.

«Кто персонально ответил за катастрофу Библиотеки имени В. И. Ленина?» — спрашивает москвич, доктор геолого-минералогических наук С. Мейен.

«Где фамилии, имена, отчества должностных лиц, совершивших преступление? Выгнали их из партии, осудили за преступление перед национальной культурой?» — задает резонный вопрос Ю. Судаков из Таганрога.

Я цитирую письма, полученные мной в ответ на статьи о бедственном положении библиотеки, опубликованные в «Правде». Подобных писем — сотни, большинство их авторов требуют вмешательства прокуратуры, но когда руководители министерства культуры попытались возбудить уголовное дело против тех, кто вел разрушительную стройку и покровительствовал ей, оказалось, что оснований для этого недостаточно. Безупречно сработала отшлифованная десятилетиями техника ухода руководителей ГлавАПУ и Мосметростроя от ответственности.

Вот один из живых примеров, как это делается: проект станции, привязку его на местности осуществляет архитектурно-планировочное управление, но оно не претендует на авторские лавры, наоборот, стремится скромно выждать в тени, пока не получит «добро» на свои проекты в правительственных кругах. Вот тогда, прикрываясь щитом решения власти, действует без оглядки как исполнитель ее распоряжения. Точно по такому сценарию прошло вторжение и на заповедный Ваганьковский холм. Выступая в Центральном Доме литераторов, Э. В. Сандуковский заявил:

— Сооружая станцию метро во дворе и под корпусами Ленинской библиотеки, мы принимали все меры предосторожности. Пришли сюда не по своей воле, не как варвары, стремящиеся разрушить ценности. Создали станцию, нужную москвичам. А если образовалась трещина в углу флигеля дома Пашкова, то это неизбежные вещи, которые никто не мог предотвратить — ни проектировщики, ни строители... Мы быстро устранили последствия нашего пребывания под библиотекой, ликвидировали трещины, привели флигель в порядок, реконструируем типографию...

Присутствующие поинтересовались:

— Почему нельзя было строить «Боровицкую» в другом месте?

Эзар Владимирович как хорошо заученный урок произнес:

— Мы выполняли проект, претензии не к нам.

«Мы лишь исполнители» — знакомые слова. И полное спокойствие. Да и с чего беспокоиться, если перед глазами десятки живых примеров, когда никто еще за подобное не ответил. Ни за постройку выставочного зала, где гибнут шедевры русской живописи, ни за варварское отношение к ценнейшим историческим памятникам. Чтобы не быть голословным, приведу только несколько примеров из множества подобных, а начать хочу со славной страницы русской истории.

«...Налетели русские князья на силу татарскую. Затрещали копья каленые, зазвенели доспехи золоченые, застучали щиты червленые, загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом, на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля засеяны и кровью их земля полита. Могучие рати сошлись тут и потоптали холмы и луга, и замутили реки, потоки и озера... А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой Богородицы... Страшно и жалостно о том времени слышать: трава кровью полита была, а деревья от печали к земле склонились... А погибло у нас всей дружины двести пятьдесят тысяч... Положили вы головы свои за землю за Русскую». Так рассказывает «Задонщина» о великой битве на поле Куликовом, где, писал А. С. Пушкин, образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией.

«Дон-река три дня кровью текла». Восемь дней хоронили воины Дмитрия Донского павших братьев своих, «восемь дней стояли на костях». Дошло до нас немного имен героев, среди них Александр Пересвет и Родион Ослябя, иноки Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского на битву. Прологом битвы, испытанием судьбы стал на глазах татар и русских бой Мамаева богатыря Челубея с Пересветом. Пал Челубей с коня, и Пересвет убит. Да только вражья рать того не поняла. В седле Пересвет усидел, унес его конь к своим. Дрогнули в предчувствии беды сердца татар, надежной укрепились русские.

Захоронили Александра Пересвета с Родионом Ослябей на крутом берегу Москвы-реки, под стенами церкви Рождества Богородицы. Из поколения в поколение, вместе с завещанием Дмитрия Донского чтить павших на поле Куликовом доколе Русь стоит, могила героев бережно передавалась под особый догляд. К 500-летию Куликовской битвы над ней воздвигли гробницу с сенью. Еще через сто лет, золотым сентябрем 1980 года, «благодарным потомкам» оказалось некуда возложить венки, почтить память Пересвета и Осляби, а с ними тысяч безвестных воинов. Прямо на могиле великих сынов земли Русской работал, сотрясая окрестности, мощный компрессор завода «Динамо». Еще до войны памятную каждому россиянину церковь Рождества Богородицы превратили в заводскую компрессорную. И сколько за эти годы, особенно в канун празднования 600-летнего юбилея Куликовской битвы, было обращений, требований, мольб народных, и частных, и коллективных, от многочисленных обществ и организаций, с просьбой вернуть святыню и, казалось, услышанных, — принимались решения и постановления, да оставались они на бумаге. Не выполнялось решение исполкома Моссовета «О сохранении и использовании памятника архитектуры XVI—XIX вв. бывшей церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове». И только совсем недавно там завершились реставрационные работы и памятник вынесен за пределы завода.

В Витебске по указанию заместителя председателя горисполкома снесен Благовещенский собор XII века — двенадцатого! — и ничего.

В Ростове Великом, почитаемом нами одним из центров зарождения русского национального государства, для ублажения молодых заморских туристов разместили международный комплекс «Спутник» в Кремле. Строительство канализационных систем разрушило продуманную русскими зодчими систему осушения Успенского собора, и храм оказался на воде. Разваливается древний деревянный иконостас, осыпаются знаменитые фрески, гниют заживо иконы... Снова нет ответчика.

В Костроме сгорел Богоявленский собор XVII века вместе с областным государственным архивом. Директора архива Л. И. Федорову и заведующую архивным отделом облисполкома Н. А. Шепелеву хотели было привлечь к ответственности за необеспеченность должной охраны исторического здания и документов, представляющих историческую ценность, да по амнистии дело тут же прекратили. Вот и весь спрос.

Несть числа подобным примерам. Институт государства и права Академии наук СССР утверждает, что лица, виновные в невыполнении правил охраны, использования, учета и реставрации памятников истории и культуры, в нарушении режима зон охраны памятников, а также в других нарушениях законодательства об охране и использовании памятников, несут уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. То есть в принципе возможна и уголовная, и гражданско-правовая (имущественная), и административная ответственность. Однако в жизни иначе.

За последние годы уничтожено значительное число памятников деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях, Карельской АССР, повреждены и уничтожены десятки памятников в Москве, Московской области. По указанию Главного архитектурно-планировочного управления в Одессе снесена стена Коммунаров, разрушены памятники в Ярославле, Костроме, Саратове, Чернигове. Сносятся, перемещаются, перелицовываются, умышленно доводятся до саморазрушения сотни, тысячи дорогих уму и сердцу святынь. Никто за них не ответил.

Со времени принятия закона СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» прошло больше десяти лет. Нарушениям несть числа, однако к юридической ответственности не было привлечено ни одной организации, ни одного должностного лица, допустивших утрату памятника.

Понятие «бесценный памятник культуры», «бесценное художественное произведение» свели к буквальному смыслу этого слова. Сотворенное два века назад чудо архитектуры порой оценивается по балансовой ведомости не выше стоимости обычного сельского дома. Это ведь не анекдот, а реальный случай, когда председатель колхоза продал уникальную церковку приятелю из района за пятьдесят рублей под гараж. В селе Девятины Вычегодского района Вологодской области сгорела Успенская церковь XVIII века. С виновных взыскано... шесть тысяч рублей. В деревне Макарьино Онежского района Архангельской области за три сожженные церкви уплачено... девять тысяч рублей. По три тысячи за штуку. Дешевле самой дешевой машины, каких за час заводской конвейер штампует добрый десяток. И уже не удивляешься, узнавая, что знаменитая икона XVIII века из «Царских врат», что в Ленинграде, оценена в 500 рублей. Большая серебряная тарелка старинной работы, сработанная в 1868 году, в инвентаризационном списке имущества Таллинского прихода от 21 января 1984 года оценивается в один рубль. Серебряная купель для крещения (представляете ее размер!) и серебряный кубок для вина, сделанные в том же 1868 году, оценены в пять и шесть рублей...

Все это: десятилетнее бездействие Закона об охране памятников истории и культуры, обесцененное творение старинных мастеров, смехотворно малые — легкий испуг в денежном выражении — штрафы за пренебрежение памятью, историей народа — нынешние слепки объявленной в те недоброй памяти годы беспощадной войны с религией, когда не только позволялось, но и поощрялось стирание с лица земли церквей и монастырей — исторически сложившейся опоры русского духа. Страшно это отозвалось на детях и внуках крушителей. Основная причина гибели церквей XVII—XVIII веков в Вятской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях — поджоги ребятишками. Считают, что можно. И хотя принят Закон об охране культурного наследия предков, он до сих пор не стал надежным щитом. Дело не в ужесточении Закона — дело в неотвратимости наказания за его нарушение. А так безнаказанность тоже ведь воспитывает. Вчера руководителям завода «Динамо» сошло с рук пренебрежительное отношение к церкви Рождества Богородицы, где нашли последний приют Пересвет и Ослябя, сегодня метростроители не считаются с шедевром архитектуры — баженовским замком в центре столицы.

Два года назад, когда подземные взрывы метростроителей бедой отозвались на венчающем Ваганьковский холм доме Пашкова, когда ветер и дождь ворвались в трещины основного книгохранилища национальной библиотеки, газетные публикации привлекли внимание правительства, Министерства культуры СССР, Моссовета к нуждам и бедам главной библиотеки страны. Но после того как строители «подарили» москвичам еще одну станцию (какой ценой — не поминали) и покинули территорию библиотеки, наведя косметический лоск на пострадавших корпусах, библиотека опять осталась одна, отягощенная до предела бедами.

— Да ведь не рухнули, стоят и Пашков дом, и хранилище библиотеки. Мы же еще помогли привести их в божеский вид.

Заместитель начальника Мосметростроя Э. В. Сандуковский показывает мне открытку с видом дома Пашкова, на которой директор библиотеки Н. С. Карташов размашисто начертал свою благодарность Мосметрострою за оказанную помощь. Эзар Владимирович держит открытку Карташова под стеклом на рабочем столе. Она козыр-

ной туз у него, охранная грамота, индульгенция, заверяющая, что все страсти вокруг библиотеки позади, все нападки на Метрострой — наветы.

Верно, стоят и Пашков дом, и прочие дома библиотеки. Но вокруг них идут споры. Одни специалисты уверены, что опора зданий по-прежнему прочна. Другие — не менее авторитетные и квалифицированные — доказывают, что в результате долгой и интенсивной выкачки грунтовых вод метростроителями под корпусами библиотеки образовались пустоты. Рентгеном холм не просветишь. Даже точные данные об оседании фундамента станут ясны только через три года, когда специалисты Министерства геологии России закончат здесь обстоятельные исследования на основе новейших научных разработок. Но даже если все обойдется и не обнаружится под книгохранилищем пустота, то и тогда не исчезнет реальная угроза целостности многомиллионных собраний рукописей, книг, архивных материалов. Она — на долгие годы ремонта, реконструкции, строительства новых библиотечных корпусов. Только тогда, пройдя через переезды, временные хранилища, можно будет подвести черту под потерями книг. Только тогда станет ясно, во что обошлось нам и внукам аварийное состояние Библиотеки имени В. И. Ленина, давно бедствующей, катастрофически усугубленное «разуплотнением грунтов основания и изменением напряженного состояния пород в массиве из-за строительства подземных тоннелей и станции метро «Боровицкая».

Но можно ли винить во всем только строителей, не лежит ли столь же большая ответственность за беды величайшего культурного центра страны на союзном Министерстве культуры? Ведь грубое, непозволительное вторжение метростроителей на хранимый Ваганьковский холм послужило лишь развязкой давно назревшей здесь беды, но не первопричиной трагедии.

Больше шестидесяти лет назад, в 1924 году, когда был подписан Декрет о национализации Румянцевской публичной библиотеки, на квадратный библиотечный метр полезной площади приходилось 138 книг, газет и журналов. Тогда уже это считалось критическими условиями хранения. Что говорить о нынешних условиях, когда нагрузка на квадратный метр увеличилась уже в несколько раз, а фонды библиотеки продолжают стремительно расти, каждый год увеличиваются на миллион единиц? Назвать подобные условия жизнеопасными преувеличением не будет. Книги гибнут. Только за последние годы потеряно свыше 30 тысяч книг и более ста тысяч номеров журналов. И угроза потерь нарастает.

«Считаем своим долгом обратить ваше внимание на катастрофическое состояние сохранности фондов в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Особенную тревогу вызывает состояние изданий XIX — XX веков, среди которых 1 560 000 периодических и продолжающихся изданий. Если в самое ближайшее время не будет проведен комплекс кардинальных мероприятий по улучшению сохранности фондов, эти ценнейшие издания могут быть утрачены... Не обеспечены и условия оптимального хранения рукописей, редких и особенно ценных изданий... Резервные площади специального хранилища редких книг давно исчерпаны. В связи с этим нет возможности перевести сюда из основного хранения редкие и ценные издания XVI — XVIII веков, а также представляющие большой культурно-исторический интерес личные собрания XIX века, в свое время положенные в основу Румянцевского музея. Нет возможности перевести в фонд редких и особо ценных изданий книги и периодику первых лет Советской власти, представляющие колоссальный интерес для истории отечественной культуры, но в настоящее время находящиеся в состоянии, близком к окончательному разрушению. Более 6,5 тысячи рукописных книг XI—XV веков и до 40 000 единиц хранения архивных материалов нуждаются в срочной реставрации, которую библиотека, в силу ограниченности кадровых возможностей и отсутствия необходимых материалов, обеспечить не может. Необходимый температурно-влажностный режим в хранилищах рукописей и редких книг не поддерживается из-за отсутствия соответствующих технических устройств...»

Подобных документов много. Служебные записки, акты, протоколы обследований, бесстрастно констатирующие изработанность вентиляции, водоснабжения, сети освещения, пожарной сигнализации, лифтов, конвейеров в подсобных залах; «в ряде помещений многочисленные грибковые образования и выходы солей, сыро», «большие участки трубопроводов подвержены коррозии, изоляция нарушена», «групповая сеть освещения пришла в ветхое состояние», «пожарная сигнализация обеспечивает блокировку помещений только на 50—60 процентов», «система отоплений в аварийном состоянии», «плохое состояние канализации и водоснабжения не обеспечивает требуемый расход воды для нужд пожаротушения...» Многие документы, на выцветшей от времени бумаге, и пять, и восемь, и десять лет назад составлены. Положение за эти годы не только не улучшилось, а ухудшается катастрофически. Предупреждения грядущей беды раздаются все время. В Отделе редких книг ночью лопнула труба, и тугая струя горячей воды несколько часов хлестала по книгам из личных собраний классиков русской литературы. Часть книг удалось спасти, но вода смыла пометки и записки на полях их хозяев, великих писателей. Подобное случается то в читальном зале, то в основном книгохранилище, то в хранилище рукописей.

Подлинная катастрофа разразилась не в Библиотеке имени В. И. Ленина, а в столь же бесценной сокровищнице — в Библиотеке Академии наук СССР, в Ленинграде. Пожар, вспыхнувший здесь 14 февраля, по предварительным данным унес около четырехсот тысяч книг и других изданий, около двадцати одной тысячи газетных подшивок. Погибли книги, которых считанные единицы на земле, а есть и такие, что были только здесь, среди них издания 1665, 1682, 1686 годов. Точные цифры нам еще предстоит узнать после инвентаризации библиотеки. Но до сих пор в опасности более трех с половиной мил-

лионов изданий, пострадавших от воды и пара. Уже известные последствия пожара заставляют говорить о постигшей нас национальной трагедии. Когда у человека после болезни частично атрофируется мозг, он в нашем представлении калека. А здесь у целой нации отняли часть мозга, часть нашей всеобщей памяти — это ли не национальная беда!

И не стихия виной, когда не знаешь, откуда ждать напасти, здесь давно к тому шло: никуда не годная, а в части хранилищ и вообще отсутствующая сигнализация, обветшавшая система электропроводки, примитивная противопожарная установка...

Страшно после случившегося в Ленинграде — рука не подымается — проводить параллели, но ведь это один к одному условия Ленинской библиотеки. Как там, в Ленинграде, так и здесь, в Москве, все книгохранилище дышит на ладан, держится на ненадежном «авось». И что еще бросается в глаза поразительной схожестью при сравнении Библиотеки Академии наук СССР с Библиотекой имени В. И. Ленина — та и другая без настоящего, рачительного хозяина. Не нашлось для них хранителя, своего Гейченко. Первое, что предпринял после пожара директор ленинградской библиотеки В. Филов, попытался убедить общественность, что ничего страшного не произошло, сгоревшие книги особой ценности не представляют, их легко можно будет восстановить из резервного фонда, с помощью других библиотек. И это он говорил в то время, когда многие сотрудники библиотеки, располагая той же информацией, что и директор, прямо заявляли о национальной трагедии. Н. С. Карташов, директор «Ленинки», ведет себя точно так же. Из-за варварских методов строительства метро беда нависла над основным книгохранилищем, о трагичном положении уже поведали газеты, а Н. С. Карташов торопился успокоить читателей, рисуя радужное будущее «Ленинки». Тут тебе и мощная ЭВМ, и монорельсовая транспортная система, и микроформы, и даже голографические записи («Советская культура», 14 июня 1986 года). Что это, как не абсолютное равнодушие к судьбе уникального национального богатства? Одним в своих выступлениях, интервью озабочен Н. С. Карташов — как бы не вынести «сор из избы», как бы искреннее пропеть: «Все хорошо, прекрасная маркиза», как бы ненароком не испортить добрых отношений с министерством, зачем им досаждать лишний раз острой, нелицеприятной бумагой? Из-за Мосметростроя чуть не рухнула библиотека, а Н. С. Карташов строчит руководителю Мосметростроя благодарственную открыточку на память... И в том, что Библиотека имени В. И. Ленина по сей день влачит жалкое, опасное для жизни своих фондов существование, вина директора Н. С. Карташева немалая. Давайте, пока не поздно, виновных называть своими именами.

14 февраля в Ленинграде вспыхнул пожар, отсветы сгоревших в нем книг — отныне вечные «белые пятна» культуры. Случившееся, казалось, потрясло весь читающий, мыслящий мир, заставило с большей страстностью подумать о судьбе наших национальных богатств вообще, о библиотеках, таких, как Ленинская, в первую очередь. Но так только казалось. Спустя два месяца после случившегося две вполне интеллигентные комиссии — методики реставрации и приспособления памятников градостроительства и архитектуры и методики охраны памятников градостроительства и архитектуры советского времени Научно-методического совета по охране памятников культуры Министерства культуры СССР — рассмотрели проект реконструкции и реставрации Библиотеки имени В. И. Ленина и пришли к выводу, что проект негоден, потому как «противоречит требованиям охраны выдающегося памятника советской архитектуры» — специально построенного для библиотеки здания по проекту архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха. С поразительной бесстрастностью и леностью мысли в решении комиссии сказано, каким условиям и требованиям должен отвечать проект. В бумаге, подписанной председателем Научно-методического совета, нет и тени заботы о судьбе национальной библиотеки.

В том же мае, когда не остыл еще пепел ленинградского пожарища, Министерство внешних экономических связей СССР, вопреки постановлению Совета Министров СССР о привлечении к строительству и реконструкции Библиотеки имени В. И. Ленина иностранных фирм, отказывает в этом библиотеке. «В связи с полным использованием выделенных средств для оплаты строительства по заключенным с югославскими организациями контрактов», — мутно объясняет свой отказ первый заместитель министра внешних экономических связей А. И. Качанов.

Стыдно, нелепо и смешно в наш просвещенный век витийствовать за книгу, но вот она, нужда в который раз доказывать, казалось бы, очевидное, что многим мы можем пожертвовать временно, многое мы можем даже потерять, но наверстаем потом, возродим на плодоносящем слое культуры — книгах, а вот с потерей книг мы безвозвратно теряем память и мудрость нации.

20 лет назад, «юбилей нынче», как грустно шутит заместитель директора Ленинской библиотеки В. Г. Бойко, принято первое постановление Совета Министров СССР о реконструкции библиотеки. После него было еще два правительственных решения, последнее три года назад, 6 августа 1985 года. Ни одно не выполнено, ничего толком не сделано и для реализации последнего правительственного задания, безвозвратно теряем память и мудрость. Моссовет до сих пор не подыскал библиотеке помещения для временного, на годы реконструкции, размещения книжных фондов. Варианты были, но или неприемлемые для хранения бесценных книжных кладов, или в последний момент Моссовет отдавал предпочтение другим, например... магазину «Люкс», как было с домом на улице Пельше. А уже принятое исполкомом решение передать библиотеке в аренду Манеж — Центральный выставочный зал на площади 50-летия Октября — лучший из всех возможных вариантов (в двух шагах от библиотеки, что очень важно для

бесперебойной работы читальных залов, и большая площадь), самим же Моссоветом скоро было отменено под давлением художников, считающих, что только здесь можно развернуть «масштабные выставки, посвященные 70-летию Советской Армии и Военно-Морского флота, 70-летию Ленинского комсомола». Так объяснил корреспонденту газеты «Советская Россия» секретарь правления Союза художников СССР А. Ковалев. Руководители Моссовета «вошли в положение» столичных художников. Вот только в положение «хранительницы» наших знаний, памяти и духа никто не хочет войти. Как может ведущая библиотека страны, наше национальное книгохранилище, решать свои проблемы, имея годовой бюджет в десять миллионов рублей? Все познается в сравнении. Равная по значению нашей национальной библиотеке, Библиотека Конгресса США, которую посещают в год немногим больше двух миллионов человек, почти вполовину меньше, чем «Ленинку», и книг она выдает в четыре раза меньше (3,2 миллиона против 13 миллионов), располагает годовым бюджетом в 279,8 миллиона долларов.

Библиотеку Конгресса США обслуживают 5300 человек, на две тысячи человек больше, чем Библиотеку имени В. И. Ленина. Библиотечные площади американцев в два раза просторнее, причем 186 тысяч квадратных метров у них совершенно новые, полностью приспособленные под установку телевизионных и компьютерных систем. 3200 дисплеев помогают в работе американским читателям и библиотекарям. Восемьдесят терминалов в нашей библиотеке только для обслуживающего персонала.

С мирового книжного рынка в Библиотеку имени В. И. Ленина из-за ограниченности в средствах на приобретение поступает лишь 12 процентов новинок, американцы имеют практически все...

Можем ли мы при таком отношении к главной библиотеке страны называть себя культурной нацией? Вопрос мог бы показаться чересчур резким и обобщающим, если бы бедствующая «Ленинка» была не правилом, а исключением. Но ведь рядом с ней гибнет еще одно национальное сокровище — собрание Государственного исторического музея.

Убог и скуден наш национальный музей. В двадцать шагов экспозиции XVIII века, как будто мощь Российской империи не была тогда «одним из важнейших и грандиознейших феноменов Всемирной истории (академик Е. В. Тарле), столь же куц век XIX, и только XX век в последнее время был чуть поболее за счет оригинальной композиции — гигантской трубы, пролегшей через два зала, — о сегодняшнем дне Уренгоя. Сохи, прялки, бороны, ружья, мундиры, карты народных восстаний, портреты Пугачева, Суворова, Ушакова, словом, традиционный набор, какой вы отыщете непременно теперь в любом заштатном краеведческом музее. Обшарпанный пол, потрескавшиеся стены с въевшейся вековой пылью...

Большая разноязыковая группа иностранных гостей теснится в зале. Радушный экскурсовод знакомит их с многовековой историей великого и могучего нашего Отечества, не раз прикрывавшего собой мир от завоевателей, обогатившего его мировую культуру литературой, новой геометрией, учением о черноземе, паровозом, радио, паровой машиной, периодической системой химических элементов... Ничего этого гости, как и миллионы других посетителей музея, не увидят, не поймут, не прочувствуют.

Больше ста лет музею, его празднично открыли 27 мая 1883 года. Ключевое место на Красной площади музею подарила Государственная Дума, купившая прежде эту землю у казны для собственного строительства. Музею давно и тесно и опасно в прогнившем, обветшавшем доме. Целый век стоит без починки.

Музей, здание которого возведено по проекту инженера А. А. Семенова, был рассчитан на хранение и показ 300 тысяч экспонатов, сегодня обладает сокровищем в пять миллионов экспонатов да плюс десять миллионов листов исторических актов, рукописей, карт... Во всем этом кропотливый труд и напряженные поиски музейных работников, историков, археологов, филологов и тех тысяч и тысяч россиян, что сберегли, не порушили, не нажились на продаже охочим до наших сокровищ иноземцам бесценных для Отечества образцов, составляющих мозаику великого и могущественного государства Российского.

Один из основателей музея, историк И. Е. Забелин, видел в нем «вещественного выразителя и изобразителя тысячелетней истории русского народа во всех ее видоизменениях и бытовых положениях», да что толку от этих сокровищ, если музей обладает ими, как скупой рыцарь. Самая малая толика фондов экспонировалась в тесных музейных залах (с августа 1986 года музей наконец закрыт на ремонт), остальное находилось в фондохранилищах, подвалах.

Ни разу не выставлялась музеем уникальная коллекция русского деревянного промысла: карнавальные сани, возки, посуда, мебель. Не экспонировалась полностью коллекция русских зеркал, платков, костюма... Диво это, каждодневная бытовая красота, которая окружала русского человека, крестьянина, напрочь рушит насажденное и ставшее расхожим представление о России темной, нищей, сирой, лапотной. Да заперт свидетель в подвалах, в вечно закрытых сундуках.

Скупой рыцарь хоть подвалы имел верные, здесь и того нет. Сантехнические коммуникации в состоянии, «исключающем возможность нормальной эксплуатации», «в аварийном состоянии электропроводка», «стальные балки имеют трещины и отколы», в кирпичных сводах и арках «трещины с раскрытием до 15 миллиметров, обрушение кладки», «гидроизоляция перекрытия не обеспечивает защиту конструкций от атмосферных осадков»...

В ненадежных подвалах хранятся не дублоны золотого блеска — символы богатства, как у скупого рыцаря, хранятся сами богатства, хранится родословная народа, гордость нации, слава России.

Сердце какого русского не дрогнет, кровью не обольется при чтении разбухшей книги учета аварий, бесстрастно фиксирующей то и дело рвущуюся воду из проржавевших труб в отделах керамики,

дерева, оружия, основные фонды которых десятилетиями хранятся в ящиках. В них и палаш времен воеводы М. В. Скопина-Шуйского, сабля князя Д. М. Пожарского, и прекрасные златоустовские клинки героев войны 1812 года. «За храбрость» — выгравировано на гарде эфеса.

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Не лирик написал, не философ. Так сказал Суворов и заветом армии оставил. Таков дух войск, которые всегда отличало «благомудрое великодушие, нежели стремглавный военный меч».

И одного ящика с экспонатами не перебрали, так, взглянули поверху, а какое мощное эхо памяти, какой всплеск души! Да мы же сироты без этого!

Российский исторический музей строился несвойственно долго для своего времени — десять лет. Спор, задержавший работы, вызвал облик музея, предложенный художником-академиком И. О. Шервудом. Нынешние разговоры о ремонте музея продолжались значительно дольше. Казалось, дело сдвинулось с точки пустопорожних прений в 1982 году, когда Совет Министров РСФСР обязал Министерство культуры республики и Мосгорисполком «осуществить в 1983—1987 годах капитальный ремонт здания Государственного исторического музея». Но постановление оказалось лишь благим пожеланием на гербовой бумаге. Потом были намечены новые сроки ремонта — с 1986 по 1989 годы. Моссовет загодя расписал, кому, когда и что делать.

Однако разгрузить экспозиционные залы, чтоб можно было начать в них ремонтно-строительные работы, музей не смог ни к предписанному декабрю, ни к январю, ни к февралю — некуда вывезти фонды. Моссовет по сей день не выделил нужных помещений для временного размещения этих фондов. Впрочем, не такого уж и временного — минимум на четыре года, и сейчас нет гарантии, что работы исполнят в предписанные сроки.

Моссовет предлагает использовать под хранилища подземные гаражи, другие подвальные помещения. Что это такое? «Режим воздушной среды сооружений неудовлетворительный и не соответствует требованиям, предъявляемым к музейным хранилищам», — подытожил акт заключения старший научный сотрудник ЦНИИЭПЖилища А. В. Мушинский. «Без достаточной гидроизоляции, без надежной теплоизоляции, отсутствует естественная вентиляция. Непроветриваемые зоны устойчивого микроклимата, опасного в санитарно-биологическом отношении. Нет гарантии от протечек и коррозии. Сложенные там строительные металлические конструкции тут же начали ржаветь... Реальность катастрофических для музейных ценностей последствий...» Это выдержки еще из одного акта, подписанного ведущими специалистами музея старшими научными сотрудниками Н. Чевтайкиной, А. Афанасьевым, С. Морозовой, Э. Шульгиной.

Вы только вдумайтесь, о чем идет речь, что предлагается хранить в таких условиях? Уникальнейшую книжную сокровищницу музея — двадцать восемь тысяч рукописей и старопечатных книг. Патриаршью библиотеку Синода шестнадцатого века. Рукописи из Кремлевских соборов и Чудова монастыря. Свыше пятисот греческих рукописей, которые по поручению патриарха Никона привез с Афона келарь Троице-Сергиева монастыря Арсений Суханов в XVII веке. Писцовые книги XI—XIV веков на пергаменте. Изборник князя Святослава, писанный в 1073 году,— одна из семи сохранившихся на земле древнерусских книг XI века. Музыкальные произведения двенадцатого века с не прочитанными еще нотными знаками. Берестяные грамоты простолюдинов из древнего Новгорода — свидетели народной грамотности Руси.

Или, может, сырые затхлые подземелья годятся для сбережения неповторимой — впрочем, здесь все неповторимо — коллекции платков и шалей, среди которых чудо ткачества, идеал красоты — кашмирские? Шестьдесят искусных мастериц на мануфактуре Мерлиной за целый год срабатывали всего шестнадцать шалей. Такая искусная, многотерпеливая работа, завоевавшая признание всех международных выставок. Баснословно дорого стоила шаль — до двенадцати тысяч золотых рублей. Целое состояние! На этакое чудо дышать боязно, а мы его — в подвалы, где железо ржавеет?!

Или, может, пытку водой, духотой способны выдержать в подземных казематах поделки лаковой живописи, или «неожиданно живое и чарующее искусство» русских изразцов, или другие какие «золотых, серебряных и медных, и ценинных дел» рукодельные хитрости? Вообще, что способно сохраниться там, где гниет железо? Ковры, гобелены, скань, шедевры деревянного искусства?.. Что? Картины? Древние карты и дневники? Кресло царя Алексея Михайловича? Но ведь дерево по хрупкости на втором месте после стекла. Не случайно хранители Центрального музея В. И. Ленина держат стул, на котором Владимир Ильич сидел в Лондонской публичной библиотеке, в стеклянном кубе, изящно окаймленном бронзовым уголком. Истинный пример бережения.

Так что же можно хранить в предложенных Моссоветом казематах? Ничего! Сама мысль кощунственна — допустить хранение национальных сокровищ там, где существует «реальность катастрофических последствий».

Что с нами происходит? На каком крутом повороте истории отшибло нам память и стыд?

— 22 июня война началась, а уже через месяц, 28 июля, нам для эвакуации баржу выделили. Мы до Хвалынска, это в Саратовской области, по воде добирались. И тарные ящики нам дали, сколько нужно было, и машинами для подвоза в Южную гавань обеспечили. Все, как надо было организовано, а ведь война, самое начало, — вспоминает эвакуацию Исторического музея Нина Павловна Зверева. Она заведовала тогда музейной библиотекой. — И на всем пути, сколько плыли, а плыли долго, нас хорошо привечали. Поверите, запах свежевыпеченного хлеба, каким нас в Горьком снабжали, до сих пор помню. Везде старались нам помочь. В Хвалынске отдали под

фонды лучшее здание города — белокаменную школу в самом центре. А как стали и здешние места обстреливать, мы в Кустанай поехали. Все, что нужно было: вагоны под груз, пассажирские — для персонала — нам сразу дали. И в Кустанае нас всем без всяких проволочек обеспечили. Особняк такой крепкий, ладный выделили, каменный. Специальное отопление наладили. Еще был вариант, если что — в Омск ехать. Там для нас дом генерал-губернатора приготовили. Но мы туда уже не поехали. В 1943 году вернули все фонды до единого ящика в Москву. В это трудно, конечно, поверить, но за все переезды, переноски, перетаскивания, перегрузки и бомбежки, а пока плыли, нас немец не раз пытался достать, только одна ваза и разбилась, но осколки все равно привезли домой...

В июле 1941 года Москва нашла все: и баржу, и машины, и сопровождение, и охрану, чтобы спасти, сберечь национальные корни. Почему же сегодня жертвуем национальной памятью? Во имя чего?

Трудно поверить, чтобы тогда, в самом начале войны, у работников Моссовета, других правительственных учреждений было меньше забот и хлопот, на которые нынешние так любят ссылаться. Выходит, люди были другие. Не спрашивали, где находится Исторический музей. Я не шучу. Помощник бывшего председателя Моссовета В. Ф. Промыслова так и спросил по телефону директора музея К. Г. Левыкина: «Кстати, а где вы территориально находитесь?»

Работники Моссовета приходят и уходят, но их отношение к музею не меняется.

Последнее постановление Мосгорисполкома, которое игнорируется с первых дней, даже при скрупулезном исполнении все равно назревших проблем не решит. Судите сами: капитальный ремонт — не реконструкция, а именно ремонт (хотя все годы шел правомочный разговор о реконструкции музея) за счет перекрытия внутреннего двора добавит лишь 4100 квадратных метров. А ведь это ничтожно мало. Только один отдел археологии нуждается в половине ожидаемой прибавки площади. У него 1100 квадратных метров, а нужно не менее 3700. У отдела дерева по самым скромным подсчетам площадей вполовину меньше нужных ему. Отдел нумизматики ютится на пятачке в 213 квадратных метров, хотя требуется 1300. И все отделы в такой тесноте, недопустимой по правилам музейной организации дела. Уж про то не говорю, что музей — крупнейший научно-исследовательский центр, поработать с его фондами хотят многие, заявки поступают со всей страны и даже из-за рубежа. Музей очень часто — единственный первоисточник для искусствоведов, художников, историков, филологов, архитекторов, сотен научно-исследовательских институтов различного профиля. Но для исследователей нет даже махонькой свободной комнаты, стол — и то к стене приткнуть негде.

Что же делать?

Давайте выйдем из музея и остановимся вот здесь, на крестце Исторического проезда и улицы 25-го Октября, где от многолюдного потока, из метро устремляющегося в каньоны циклопического ГУМа, оттекает истонченный ручеек к историческим памятникам Красной площади, символам России,— к строго принаряженному Кремлю, к пьедесталу великого купца Кузьмы Минина, зовущего полководца Дмитрия Пожарского во главу ополчения; к храму Василия Блаженного, который изумляет не только полнотой красоты и вкуса, мастерством древних зодчих, а и милосердием своим — не так много храмов в мире в центре столичных градов, зовущихся именем юродивого, хранящим его могилу.

На углу, где остановились, замусоренный пустырь, окаймленный высоким каменным парапетом, вдоль которого бравая шеренга автоматов газированной воды. Пустырь не только на карте Москвы — он в нашей душе и памяти. Это пепелище Казанского собора, который, быть может, не изумлял современников изяществом форм и кружевом рукодельного камня, как, скажем, тоже сгинувший в тридцатые годы Чудов монастырь в Кремле, но с 1620 года стоял памятным знаком крепости русского народа, изгнавшего из Москвы шляхтичей короля Сигизмунда, вознамерившегося взойти на российский престол.

Одной трагичной судьбы с Казанским собором другие, строенные во славу русского народа. Глубокая яма, отделанная под бассейн, на месте храма Христа Спасителя, отстроенного вместо сожженного французами Алексеевского монастыря. Вознесен был храм высотою почти в два Больших театра на миллионные, помимо казны, миром собранные деньги «в память избавления России от галлов и с ними двунадесяти языков, приведенных Наполеоном». На мраморных досках именовались все полки, участвовавшие в Отечественной войне, назывались их потери. При входе в собор сияло: «Да будет сей храм стоять века, вознося славу русскому народу».

Жалкое существование влачит церковь Всех Святых на Кулишках «в память всех убиенных» на Куликовом поле.

Продолжается глумление над могилами героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби. «И помнить их будут доколе стоит Русская земля!» (Дмитрий Донской).

Тяжек и длинен этот поминальник.

На святой пяди земли — Красной площади и Кремля — динамитный смерч в тридцатые, сороковые годы жестоко оскальпировал нашу память, превратив в прах девять храмов — в камне и фресках сказание о земле Русской: храм Спаса на Бору, ставленный еще при собирателе Руси Иване Калите в 1330 году, Чудов монастырь с собором Вознесения (1386 год), церковь Константина и Елены (1470 год), церковь Благовещения Пресвятой Богородицы...

Рушили память, мысль и красоту, крушили национальные древние святыни, исторические памятники не только в Москве. Но в нашей столице произошли наиболее болезненные для здоровья нации потери, потому что Москва, как справедливо писал А. Н. Островский, — это патриотический центр государства, она недаром зовется центром России. В Москве всякий приезжий, посмотрев исторические достопамятности, невольно проникается русским духом. В Москве все русское становится понятнее и дороже. Через Москву волнами влива-

ется в Россию великорусская, народная сила.

Варварские разрушения некоторые сейчас объясняют так. Дескать, была борьба с религией. Но ведь крушили в первую очередь патриотические святыни, мало того, глумились над ними. За примером далеко и ходить незачем: вот на месте Казанского собора — хранителя иконы Казанской Богоматери, с которой воины Минина и Пожарского шли на бой с иноземцами и которую, оставляя Москву, Кутузов вывез на груди, под шинелью, — сейчас находится туалет.

Как тут снова не вспомнить кощунственные строки Дж. Алтаузена:

Подумаешь, они спасли Расею!
А может, лучше было не спасать.

Современная поэзия вроде бы избавилась от кощунства. Но его душок остался, и он не в словах, а в конкретных делах, в отношении к нашей памяти и наследию. С опозданием, но вроде бы остановлено нагромождение фанфаронского монумента на Поклонной горе, не выражавшего ни мыслей, ни чувств. Взамен, в лучших традициях России, объявили всенародный открытый конкурс с широким показом проектов в Центральном выставочном зале, что в Манеже. Да только бесспорного победителя — проект 206, получившего мощную поддержку ветеранов войны, молодежи, искусствоведов, писателей, заболтали устроители конкурса, погребли под идеей нового состязания. Автор «206»-го — известный скульптор, лауреат Государственной премии СССР Владислав Клыков сказал о народе-победителе просто и зримо, как давно уже не говорило наше монументальное искусство, сказал суть — победить мог только народ, имевший за плечами и Чудское озеро, и поле Куликово, и Бородино...

Мимо клыковского проекта не прошел никто. Памятник умный и страстный. К сожалению, право судить о нем оставили за теми, кто в свое время способствовал келейному утверждению сноса Поклонной горы в угоду монументу, чужеродному людской памяти, но доходному для авторов.

История — не толковый словарь, в ней нет и быть не может пометок «уст.» — устаревшее. Когда рушат святыни якобы прошлого, от этого рушатся идеалы сегодняшнего дня. Кладовые Исторического музея хранят не просто свидетелей веков минувших, они хранят радетелей завтрашнего опорного Отечества. Без них, национальных сокровищ, передающих мысль и дух отцов и дедов, не воспитать истинного гражданина, от души и совести которого в конечном итоге зависят и реализация сегодняшних планов и будущее Родины.

Наши отечественные корни могучи и глубоки. И надо не иссушать их, беречь, а это значит воспитывать новые поколения под стать великим предкам...

По соседству с Историческим музеем, на бывшей Никольской улице, ныне улице 25-го Октября, не один Казанский собор дорог и мил нашему сердцу. По левую руку стоит Печатный двор. «Подвигами и тщанием, трудами и снисканием» первопечатников Ивана Федорова с Петром Мстиславцем, Андроником Тимофеевым рождены здесь первые на Руси печатные книги «Апостол», «Часовник». Отсюда пошел по Руси свет — книжное слово, с тех пор доступное всем российским уголкам.

Печатня — свечка, далее светоч стоит — Заиконоспасский монастырь, достопамятный тем, что размещалась в нем Славяно-греколатинская академия — первое высшее учебное заведение России, давшее выдающихся деятелей культуры и просвещения, среди которых Ф. П. Поликарпов-Орлов, К. Истомин, Л. Ф. Магницкий, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов... Здесь же живо еще, не искрошено до конца временем и небрежением каменное узорье Монетного двора. Это и печальной памяти место — дорожное пристанище по пути в ссыльные края честных сынов российской многострадальной земли, лишенных царской милости. Среди них — автор пронзительного по боли и состраданию «Путешествия из Петербурга в Москву», опальный А. Н. Радищев. Об этом памятная доска на фасаде Монетного двора.

И радость, и горечь, и гордость, и позор России — все тут, на одном китайгородском пятачке. Место, самим временем сохраненное для службы истории Отечества, только бы распорядиться им по-хозяйски.

А пока... Что здесь пока: горсть контор с мало что говорящими названиями, кому и дела нет до святых камней, кто, не задумываясь, тянет нужный сей момент кабель или иную какую проводку прямо по каменью, узором старого мастера изукрашенному, бьет и крошит, перелицовывает палаты для насущных дел, ни с красотой, ни с древностью, ни с национальной памятью не сообразуясь. Для горстки контор все это — случайное, чужое, временное.

К зданию Славяно-греко-латинской академии и вовсе не подступиться. Академия застроена, перекрашена, перегорожена, завалена тарными ящиками. Вкривь и вкось измазана красной краской табличка «Прохода нет». Тянутся вдоль улицы парикмахерская, почта, сберкасса, магазины... Все ветхо и грязно.

Далеко-далеко от Москвы, на окраинах Отечества, берутся под охрану и зоркое око общественности — честь и хвала подвижникам! — восстанавливаются, а то и наново отстраиваются по старинным чертежам дорогие, памятные места России. Но вот парадокс: здесь, в самом сердце столицы, на виду центральных учреждений государства — из окон Совета Министров СССР видно — ветшают бесценные клади истории.

Возликовало было сердце, встрепенулась надеждой душа от известия, что весь этот комплекс — Монетный двор, Печатня, Заиконоспасский монастырь — будут избавлены от царствующих здесь временщиков, реставрированы, переходят к людям рачительным, знающим цену исторической вещи, умеющим ее беречь — администрации Центрального музея В. И. Ленина. Но тут же пришла тревога, а после разговора со специалистами «Моспроекта-2», занятого реставрацией и перестройкой центра Москвы, окрепло предчувствие новой беды. Если при нынешней бесхозности старинные палаты, так много значащие для нашего самосозна-

ния, ветшают, то при новом их назначении присоединиться к зданию бывшей Государственной Думы, вместе с ним создать единый ансамбль музея В. И. Ленина — вовсе потеряют свой облик. «При притирке зданий в единый комплекс, — говорят архитекторы, — неизбежна их стилизация».

Нуждающиеся в расширении экспозиции музея В. И. Ленина нацелены не в день вчерашний, они рассказывают о сегодняшнем и завтрашнем — о претворении в жизнь великих предначертаний вождя. Разве палаты XIV—XVIII веков лучшее для них пристанище? Нет, конечно. Тогда чем вызвано скоропалительное решение ГлавАПУ отдать историческую часть Китай-города музею, приспособить средневековый ансамбль под XXI век? Очевидно, нежеланием утруждать себя поиском разумного, точного решения, присущим ГлавАПУ пренебрежением к отечественной истории.

Больше десяти лет Главное архитектурно-планировочное управление столицы не хочет всерьез заниматься бедами Государственного исторического музея, не знающего починки с 1883 года.

— Я двенадцать лет министром и все двенадцать лет борюсь с ГлавАПУ, именно борюсь, другого, более точного слова не подобрать, — говорил на коллегии Министерства культуры СССР министр культуры России Ю. С. Мелентьев. — Открытое нежелание, доходящее до издевательства, сберечь, отремонтировать, реконструировать гордость национальной культуры — Государственный исторический музей. Всегда у них находятся причины, оттяжки, прикрывающие нежелание что-либо сделать. Рядом музей В. И. Ленина. На его ремонт и содержание в образцовом состоянии у ГлавАПУ всегда все находится. Знают, за музей Ленина спрос и ответственность другие. Потому и находят возможным каждый год его улучшать, обновлять, ремонтировать. А многолетнее оскорбительное отношение к национальному музею еще ни разу не привело руководителей ГлавАПУ к ответу.

Ленинский музей, по сути выросший в музей истории Коммунистической партии Советского Союза, должен находиться конечно же не в средневековых палатах. Зодчим хватит таланта и мастерства возвести здание в духе времени. А Монетный, Печатный дворы, Славяно-греко-латинскую академию, самим временем сбереженные для службы истории Отечества, необходимо передать Историческому музею, что давно и предлагают сделать архитекторы.

Еще одна возможность расширения Исторического музея, и тоже не нов вариант — лет двадцать ему: использовать под музей здание ГУМа.

Традиционно занимая место верхних торговых рядов, гигантский магазин стал спрутом в сердце столицы. Тяжелогруженные машины, контейнеровозы, хвостатые трайлеры безостановочно поставляют товары магазину, загромождая заповедные проулки, отравляют воздух. Миллионам посетителей, тысячам служащих магазина нужно все больше кафе, закусочных. Под них запланировано переделать часть местных, китайгородских построек...

Неужто отсвет торговой витрины лучшая подсветка Красной площади? Терпимо ли, когда миллионы людей стремятся к сердцу России, чтобы протолкаться несколько часов в очередях и с опустошенными, бесцветными глазами скатиться с площади в метро, так ничего и не увидев, кроме прилавков да вспотевших затылков впереди стоящих очередников. Где уж там прочувствовать дыхание Истории Отчизны!

— Не скажете, где тут Лобное место? — спрашиваю у людей, спускающихся по Историческому проезду к метро.

Пожимают плечами. Один, другой, третий...

— А! Это там, у этого, как его, ну, там еще этот стоит, в общем дальше проходите, увидите, — наконец растолковывает мужчина и спешит дальше.

— Как, закрыть ГУМ?! — сколько раз слышал этот искренний, драматичный вскрик от многих, с кем довелось встречаться, разговаривать, пока готовил материал.

Да, закрыть на Красной площади магазин. Тысячи других, выросших в Москве за последние годы, с лихвой перекрывают ГУМ. С 1961 года в Москве открыто четыре с половиной тысячи магазинов общей торговой площадью свыше миллиона двухсот тысяч квадратных метров! Только одни супермагазины, магазины-гиганты, появившиеся сравнительно недавно на карте столицы, внушительны в своем перечне: «Белград», «Бухарест», «Будапешт», «Варна», «Прага», «Лейпциг»... Да один новосел столицы — универмаг «Московский» по месту и объему продажи превосходит ГУМ!

С 1961 года число строящихся в Москве кинотеатров по пятилеткам выглядит так: 25, 29, 11, 4, 7. Библиотек прибавилось всего шестьдесят.... Клубных учреждений стало на 61 меньше. С 619 до 505 сократилось число киноустановок. О прибавлении театров, музеев, выставочных, концертных залов и писать стыдно. Да уж коли зашел разговор... Гордость наша — Большой театр, Малый, Концертный зал имени Чайковского, Театры Вахтангова, оперетты, старый МХАТ, Театр имени Пушкина, Колонный зал Дома Союзов — дореволюционной постройки. Половина театров Москвы выстроена в XIX веке, почти треть — в начале нынешнего века и только двадцать три процента — после 1917 года. Понятно, что их катастрофически не хватает. Если в Москве на миллион жителей приходится всего пять театров, то в Бухаресте — семь, в Берлине — девять, в Будапеште — десять, в Софии — одиннадцать, в Варшаве — двенадцать, в Праге — двадцать два. В 1913 году на один театральный коллектив приходилась 101 тысяча москвичей, в 1925 году — уже 90 тысяч, в 1940 году — 98, а сейчас аж 208 тысяч! В Париже, например, эта цифра в пять раз меньше. Тысяче москвичей достается всего-навсего пять театральных мест, при этой статистике в расчет не принимаются миллионы гостей, стремящихся попасть в московский театр. В 1913—1915 годах эта цифра была почти вдвое выше — 8,3 места.

Неустанно называя себя культурной державой, мы все эти годы сокращали объемы капитальных вложений в строительство объектов культуры. Действовал остаточный принцип выделения ресурсов. В результате за последние десять лет сеть клубных учреждений Министерства культуры увеличилась всего на 6,6 процента, число универсальных и массовых библиотек — на 9,9 процента. В итоге меньше трети наших городов и поселков имеют библиотеки. Только 62 процента городов с населением от 100 до 250 тысяч имеют театры. В городах с населением пятьдесят — сто тысяч театры и вовсе редки.

Есть города крупные, индустриально развитые, областного подчинения, Ангарск, например, или Набережные Челны, где нет ни одного театра. В знаменитом своими автомобилями Тольятти, в котором около шестисот тысяч жителей, всего один театр — кукол. Волгоград, Ростов-на-Дону, Запорожье скоро станут городами-миллионерами, а люди в них до сих пор живут без театров оперы и балета. Нет музыкальных театров в Туле, Ярославле, Ульяновске. Что уж там говорить о детских театрах, если их нет даже в некоторых столицах союзных республик... В общем так: в расчете на миллион жителей уровень обеспеченности театрами снизился по сравнению с 1940 годом в два раза.

А как сиротливо живется большинству театральных коллективов, если 104 из них не имеют собственной крыши над головой. Скитаются с места на место, снимают случайные неустроенные углы. Но и тем коллективам, что находятся в собственных стенах, чуть веселее. 206 зданий из имеющихся 541 комиссией Министерства культуры СССР признаны непригодными для работы в них. Настолько они ветхи, в большинстве случаев от старости, что им не могут уже помочь ни ремонт, ни реконструкция.

Половина концертных залов страны непригодна для прослушивания из-за плохой акустики. И неудивительно, ведь помещения в свое время были примитивно приспособлены под эти «очаги культуры». Новые залы, что построены за последние двадцать лет — их 68,— только называются концертными, на самом деле они в первую очередь предназначены для проведения общественных мероприятий и мало пригодны для филармонических концертов...

Вот такая печальная статистика, куда уж зримее показывающая, что драмы столпов нашей национальной культуры — Библиотеки имени В. И. Ленина и Государственного исторического музея — закономерно венчают многолетнее окраинное положение культуры в планах ведомств, облеченных правом распоряжаться государственной казной.

О закрытии ГУМа на Красной площади руководители Моссовета и слышать не хотят, при этом ссылаются на заботу об интересах москвичей и гостей столицы. Что ж, послушаем самих москвичей с гостями. Статистика здесь такова: на пять десятков писем, выражающих нетерпимость к торжищу на Красной площади, на святом сердцевинном месте России, одно, максимум два письма в защиту ГУМа. На каждые полсотни писем. Основной довод при этом, что «Красная площадь всегда была в прошлом торговым центром», как считает москвич С. Ефимов. По мнению другого москвича, инженера А. Боброва, Красная площадь потеряет немало привлекательности от ликвидации ГУМа. «Посещая ГУМ,— пишет А. Бобров, — люди посещают и Красную площадь». Но такие мнения, еще раз подчеркну, крайне редки, их считанные единицы. Абсолютное большинство жителей Москвы, других городов утверждают, что Красная площадь — не место для магазина. «Не может быть сомнений — ГУМ надо вывести с Красной площади!» — требует З. Жданова из Смоленска. «Пусть гости нашего города приходят на Красную площадь не для того, чтобы толкаться и ругаться в очередях, а соприкоснуться с русской историей», — желает кандидат экономических наук, преподаватель политэкономии И. Гусева. «На Красной площади, в сердце Родины, напротив Мавзолея В. И. Ленина магазинная толчея. Как это больно видеть!» — делится горечью Е. Шустова, приславшая письмо из Воронежа. Об этом же письмо доктора философских наук, заместителя главного редактора журнала «Философские науки» В. Шевченко: «Мне, коренному жителю столицы, стыдно, что Красная площадь вот уже много лет связывается в сознании многих людей прежде всего с расположенным здесь магазином. Давно всем ясно и понятно, как не вписывается ГУМ в святое для каждого гражданина нашей страны место». «Не могут, не должны существовать рядом очереди к Ленину и к прилавкам», — добавляет В. Васильев из Краснодара. «Если вдуматься, Красная площадь — некрополь, — такова точка зрения коренной москвички, участницы Великой Отечественной войны, ветерана труда Р. Шишковой. — Здесь не место для ярмарочной толчеи». Еще более категоричен свердловчанин В. Малинов: «Торговая точка лицом к Кремлю, к самому сердцу Отчизны? Кощунственно, недостойно!» «Нам, ленинградцам, — пишет доцент кафедры политэкономии Лесотехнической академии имени С. М. Кирова, Д. Балибалова, — трудно и даже невозможно себе представить, чтобы на Марсовом поле, около Смольного были торговые ряды. А в Москве, столице нашей, это стало обычным явлением. Нельзя на святом месте — Красной площади, против Мавзолея В. И. Ленина устраивать торжище».

Продолжать цитировать подобные письма можно долго. Боль и стыд за торжище в святом для истинного гражданина месте Отечества, когда рядом десятилетиями лежат в ящиках из-за нехватки места в экспозициях национальные сокровища Исторического музея. Общее мнение скупое и жесткое: Красная площадь не место для торговли. Никакими экономическими выгодами, коммерческими благами этого магазинного пристрастия не оправдать, не объяснить, потому что речь должна идти о душе, о чувстве Родины, национальной памяти славного предками великого народа.

Однако глаза не отведешь: магазин на Красной площади крепок, энергичен, бодр, недавно снова подлатан. Ломает под себя Китай-город — ему соседские дома нужны под кафе, закусочные, столовые, и «Моспроект-2» вынужден идти ему навстречу, рассматривать возможные варианты расширения ГУМа. Исторический же музей — хранитель души и памяти народной — рядом с ГУМом как бедный, никому не нужный родственник.

В. Синицын из города Ангарска Иркутской области вспоминает: «Пусть осеняет вас победоносное знамя великого Ленина и вдохновляют на ратные подвиги образы наших предков Александра Невского, Минина и Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, адмиралов Нахимова и Ушакова!». Вот с каким напутствием уходили бойцы с Красной площади в ноябре 1941 года. Память о России в те тяжелые для страны годы была священна. Кто же сегодня дал право исполкому Моссовета принимать решение о перевозе ценностей Исторического музея в сырые, неприспособленные подвалы? Кто позволил так обращаться с памятью народа?» В. Кузнецова из Челябинска добавляет: «Горько и обидно за нас, за русских, за наше отношение к своим святыням. Стыдно за тех, которые сидят в Моссовете. Да, у них действительно масса других забот: накормить, одеть, обеспечить жильем миллионы москвичей. Но если они при этом забывают о душе народа или их просто не хватает на то и другое, так пусть уступят свои руководящие места людям, которые наравне с хлебом и кровом будут болеть и за нашу отечественную культуру». «Конечно, люди должны быть сыты, одеты, должны иметь школы, жилье, больницы, должна быть крепкой наша оборона, — развивает мысль Кузнецовой Н. Сухомлин из Ленинграда, — но ведь это далеко не все. Очень важна проблема сохранения, преемственности культуры нашего народа. Без этого мы никогда не воспитаем истинных граждан земли Русской. Те руководители, которые этого не понимают, не могут отвечать за такой город, как Москва». «Надо напомнить руководителям Моссовета, что Исторический музей не просто хранитель каких-то реликвий, и это святое место не только для Москвы, это святыня всего нашего многонационального народа, это подлинная история земли Русской. И подобное нынешнему отношение руководителей Моссовета к национальной культуре — кощунство», — считает жительница Абакана Красноярского края С. Локтева.

Звенящие, как нерв, письма из разных уголков страны. Их много. Это и понятно. «От того, что разрушаются национальные святыни, — пишут из Москвы кандидаты медицинских наук Н. Немчинов, Д. Александров, — обрывается «связь времен», не прибавляется сил нашему народу, сохнут могучие корни, питающие ствол «древа жизни» нашего тысячелетнего государства».

И вот когда разверзлась пропасть зла: казнокрадство власть имущих, беззаконие служителей Фемиды, взяточничество чиновников всех мастей и рангов, засилие бюрократов, наркомания, проституция, социальная и трудовая апатия, когда мы, наконец-то, честно всмотрелись в себя и, задавшись праведным вопросом: «Да что же это с нами? откуда все это?», поиск ответов свели к сфере хозяйственной жизни страны. Полемики, дискуссии, монологи-откровения о децентрализации управления, кооперации, истинной самостоятельности предприятий, колхозов и совхозов, фондах и рынке... Несть числа подобным нужным разговорам, в многоголосице которых, однако, тонут редкие суждения о душе. Не вспоминается давно и точно сказанное, что народное хозяйство для своего подъема в первую очередь требует духовного здоровья народа. Самофинансирование и самообеспеченность, кооперация и правильное ценообразование способны решить многие проблемы общества, дать народу физическое здоровье, но не исцелят коренной его недуг — истощившееся чувство ответственности за отчий дом на родной земле. Полнит это чувство любовь к своему народу и вера в него. Да чтоб любить, надо знать, у слепой любви век недолог, а наши знания заперты в сундуках, в подвалах.

Будущее великого наследия великого народа — корней Отечества,— судя по планам, проектам, а самое главное — по отношению к их реализации, не радует. Да и как может радовать, если по-прежнему интересы универсального магазина на Красной площади довлеют над интересами Государственного исторического музея, а рядом с главной библиотекой страны, продолжающей влачить жалкое существование, процветают министерства и ведомства.

■

ВАДИМ САФОНОВ

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

ПЕСТРЫЕ МЫСЛИ ВСЛУХ

Очерк и публицистика

I

Мысли эти, по убеждению автора, при всей их пестроте проникнутые единством, касающиеся с разных сторон одного и того же, сложились у меня в сколько-нибудь завершенной форме минувшей зимой.

С нее и начну.

Выдалась она прихотливой, «сиротской».

И задержалась. Еще в первую декаду декабря приходило в голову, уж не приняла ли она на свой счет известных строк «Евгения Онегина»: «Снег выпал только в январе на третье в ночь».

Выпал он раньше, нерешительно — оттепель, подморозит, и тогда тротуары готовы для соревнований па побитие рекордов в конькобежном спорте. А прохожим не до тонких филологических различий между гололедом и гололедицей, на которых так настаивали вечерние телепрорицатели. Из закоулков памяти возникало видение хлопотливых людей в фартуках, с ведерками и совками. Но племя зимних «Сеятелей Золота», усердных Хранителей ног и затылков пешеходов, сгинуло, как неведомые историкам обры. И бог весть куда девался желтый песочек...

Как раз тогда программа «Время» сообщила: в ряде пунктов запасы песка в магазинах исчерпаны — самогонщики охотятся за сырьем. Но допустить, что это они по рассеянности спутали исходный продукт для зелья с тем, коему положено быть в лукошках и ведерках дворников, было бы слишком...

Стояли дивные дни с солнечным сверканием задолго до пришвинской Весны света. Как усидеть в четырех стенах? На улицу! Вновь и вновь побродить по Москве, ближе и родней которой нет тебе ничего на свете!..

Несколько лет назад, еще в первом издании «Вечного мгновения», описал я удивительный отрезок города. Подлинную сокровищницу исконного московского зодчества в переулках между Покровским бульваром, Солянкой и прежними Маросейкой и Покровкой: палаты Шуйских, знаменитого дьяка Украинцева, двор Мазепы. Допетровский XVII век. Я писал: «Почерневшие шатры дряхлых куполов, вросшие в землю стены, обветшавшие наличники. Люди идут не замечая».

Что изменилось здесь, в заповедной зоне, где в самых названиях — веяние московской старины, не смолкшей истории? Колпачный — гнездовье мастеров головных уборов. Хохловский, как и сама Маросейка — Малоросейка, — излюбленное место для гостей с Украины, а то и оседавших тут. Подкопаевский, слобода Подкопаево — копали глину из ям-карьеров для строек; много строили. Подколокольный...

Стоп, да ведь я в числе немногих, кто еще застал на месте нынешней площади Максима Горького (и не случайно имя — «На дне»!) Хитровку. Страшные тени людей в самодельных каменных кладках-дольменах, — видел, говорил с ними и не забуду до конца дней...

Сразу охватывает ни с чем не сравнимая атмосфера. Точно распахнулась уэллсовская «зеленая калитка». Все начинается, едва минуешь замыкающее Покровские ворота простое, строгое, плоско раскинутое здание гостиницы павловского времени, построенное зодчим В. П. Стасовым. Отцом громогласного великана, апологета русской культуры, неукротимого тургеневского оппонента, Владимира Стасова. Дедом Елены Стасовой, большевика ленинской гвардии.

Теперь направо, в Хохловский. Тотчас бросится в глаза дом стройных пропорций, редкостного изящества, резко выделяющийся посреди безликого окружения, хоть и очевидно, что ничего не предпринято, чтобы подчеркнуть, выделить, просто дать ему имя. Воскресенье. Никого. Наглухо задраенные чугунные ворота помещений первого этажа, несущего складскую службу.

Дорога чужда геометрической жесткости. Лестнички, скаты. Проходы-проезды, восходящие, ниспадающие. Странно ветвящиеся проулки; неожиданное за углом. И вдруг, прямо в лоб, — багряные, будто светящиеся обводы окон, крылья длинной стены завернуты куда-то вглубь, так что когда и уйдешь прочь своим путем, долго еще будут светить тебе вслед поверх крыш рдяные обводы.

Так вот она, старинная Москва! Не серая куча нагроможденных неуклюжих строений, куда попало выпирающих (что еще недавно мы внушали сами себе, так изображали художники, живописали в романах), но пестро, ярко, стройно, весело, к р а с и в о!

— Что за дом? — спросишь одного, другого встречного.

Равнодушно, торопливо:

— Типография. А вы что ищете?

Еще попытка. Две женщины.

— Вы здешние?

— Да, а что?

Вопрос и до них доходит не сразу.

— То есть вы про само здание? Когда строили? Тоня, ты не слышала, говорят, чуть не в семнадцатом веке? Да вам зачем? Вы что ищете?

Да и не спросишь с них строго! Ведь лишь на торце палат Шуйских я с трудом обнаружил поясняющую доску, припрятанную за какими-то неубранными подмостками.

Так вот — что изменилось? Все-таки многое. Нет вросших в землю стен. Почерневших куполов. На пригорке, на высоте — таков необычный силуэт этого места, Старого города! — белоснежные вертикали, стройные арки закомар с букетом глав в золотых поясках — далеко надо всем сияющее средоточие красоты. А рядом, впритык — вымахавший кирпичный бок достраивающегося дома.

Я писал: «Цех по производству сувениров в грубо приспособленных древних хоромах». Сейчас прямо насупротив хором Шуйских завод «Полиэтилен». Проходная, цеха, хранилища за окрестными седыми стенами.

Зияющая пасть котлована — какой небоскреб воздвигнется тут?

Всегда ли отдаем себе отчет в исконной н е о б ы ч а й н о с т и Москвы? Уютность, п р е л е с т ь, то, что с особенной теплотой доходило до сердца русских: Москва — матушка! Снова и снова открываю «Войну и мир», быть может, единственный роман — исторический и вместе современный; каким чудом сделано это? Книгу, настолько неисчерпаемую, что сколько ни перечитывай, не раз кажется — в ней сказано в с е. «Всякий русский человек, — читаю в третьем томе, — глядя на Москву, чувствует, что она мать». И опять, в томе четвертом, в речах Платона Каратаева: «Москва — она городам мать». Как поражала Москва иностранцев! Даже завоевателя, Наполеона с подручными, дожидавшегося «ключей» на Поклонной, в виду еще не тронутого, еще допожарного города. В котором еще лежал подлинник «Слова о полку Игореве». «Этот азиатский город... святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город...» — говорит у Толстого Наполеон. Пройдут десятилетия, Есенин повторит: «Я люблю этот город вязевый... золотая дремотная Азия опочила на куполах». При чем же Азия? Что она тут значит? Разве была похожа Москва на Пекин, Киото? На Дели, Тегеран, Бангкок? Ни в малой степени. И значило это лишь то, что подобного города не знала Европа. Не было в мире!

Вот уже не художественный вымысел, а неподдельные впечатления прибывших с завоевателем из Парижа — «пупа мира». «В получасе пути лежала огромная Москва, раскинувшаяся на таком протяжении, какого я еще никогда не видел ни у одного большого города» (Р. Роос. «С Наполеоном в России»). «Все до единого были очарованы красотой панорамы... Дома выкрашены в самые разнообразные цвета, купола церквей то золотые, то темные, свинцовые и крытые аспидным камнем. Все, вместе взятое, делало эту картину необычайно оригинальной и разнообразной... картину одного из знаменитых городов, в существование которых как-то не верится и которые, казалось бы, живут только в богатом воображении поэтов» (Е. Лабом. «Отчет о кампании в России»). «Мы не перестаем смотреть на огромный город с его разнообразными и причудливыми формами... Дворцы с цветущими террасами, островерхие башни, бесчисленные колокольни...» (Ложье. «Дневник офицера Великой армии»).

Авторы, «мелкие сошки», надо полагать, лучше владели шпагой, чем пером. Но вот генерал-адъютант, аристократ — дед его был военным министром еще у короля Людовика, граф Поль-Филипп де Сегюр. Человек близкий к Наполеону — и тем яснее видевший его колебания, его ошибки в этом походе, бесцельное варварство приказов: в ярости отчаяния, при бегстве, взорвать Кремль, собор Василия Блаженного («эту мечеть!»), сжечь Верею, Смоленск, уничтожить его стены.

Было два часа дня, отмечает Сегюр, когда показалась златоглавая Москва (Moscou aux coupoles dorées). «От одного солнечного луча этот великолепный город засверкал тысячью переливавшихся цветов. При виде его путешественник (!), точно зачарованный, останавливался в

ослеплении. Москва напоминала сказки восточных поэтов... Проникая внутрь и наблюдая вблизи, путешественник испытывал еще большее изумление».

Так вот чем была допожарная Москва!

Среди истребленного пламенем — единственный до наших дней список «Слова о полку Игореве». Нет прощения: что бы ни навьючивали на возы в обширном подворье Мусина-Пушкина на Разгуляе, чтобы вывезти графское добро,— да пропади оно пропадом, лишь бы уцелело «Слово»! Досталось в руки лет двадцать назад от игумена упраздненного ярославского монастыря, в рукописном «Хронографе» XVI века, и не выпускал из рук, мало кого подпускал — и бросил на произвол!..

Город встал из пепла. Уже несколько иной. Хуже ли? Не сужу. Бытовала поговорка: «Пожар послужил к украшению...» И снова прежнее впечатление единственности, неповторимости проходит через любые записки именитых гостей, писателей, ученых. Слово «сказочная» возникло под пером Кнута Гамсуна.

Какое же мертвое равнодушие, отмирание простого человеческого чувства собственных корней и истока привело к стиранию неповторимых черт и красок? К трудно исчислимым потерям? К торжествующей стандартизации Москвы? Как забыть хотя бы Сухареву башню, свидетельницу великого, переломного, петровского века? Всем ясно: нельзя, недопустимо умножать утраты. Необходимо возвести в закон, в азбучную истину: рост, развитие города не могут означать — снести тот, что достался, а на месте его выстроить новый.

Москва была так богата следами, отпечатками великой истории, что и посейчас их немало рассыпано по ее улицам. Но под какой угрозой находится и оставшееся! Жестокий нажим не слабеет. Запретительные рогатки не срабатывают. Ведомственным азартом отмечен район петровской Немецкой слободы. Немилосердно расчищаются площадки под административные и заводские корпуса. В угрюмое бетонное кольцо берутся остатки легендарного дома Анны Монс в Старокирочном. Необходим сигнал бедствия «SOS» — завтра станет поздно!

Я повел рассказ об удивительном уголке, где дело даже не в «объектах» (которые, и будучи восстановлены, иной раз на чужой им улице уподобляются выброшенной на берег рыбе), а в еще веющем воздухе сказочного Города. Я говорю о прояснении лежащего под спудом. О проявлении непроявленного. О целостном, ландшафтном восстановлении, когда «объекты» подадут друг другу руки.

О «зеленой калитке» в неведомый, но живой мир!

Меньше всего о музее — кстати, и немыслимом. Тут должны и будут жить сегодняшней, полнокровной жизнью наши с вами товарищи. Нынешние москвичи. Гордые своим местом жизни, а не местом случайной прописки.

И еще о том, чтобы стало невозможным равнодушно проходить мимо!

Ведь именно так сделано и делается в Польше, в Венгрии. У нас в Прибалтике. Взялись в Тбилиси. Должна ли краска стыда покрывать щеки москвичей?

В давнюю пору, когда я работал, как выражались тогда, «на философском фронте», мы сами усваивали и других учили, что один из признаков прекрасного — единство в многообразии.

Сегодняшняя Москва — это единство как бы многих городов, у каждого свое лицо, несхожее с другими, иной раз резко отличное. И каждый — частица Москвы, и все это — Москва. Нужно не стирать, не подравнивать их, а беречь их особую стать и облик.

Мощь мирового города. Рождающаяся новая красота — надо быть слепым, чтобы не видеть ее. Это остается у нас и с нами.

Но рядом с этим, вместе с этим должно нерушимым оставаться и то, чего не смеем забывать. Человеческая теплота живого сердца страны. То, что выражено словами: Москва-матушка. И что упускали, упускаем под гипнозом скоростных магистралей, «стали и бетона», наследия краспых линий пресловутого Генплана тридцать пятого года.

Мы, люди старшего поколения, хорошо помним Москву, какой мы ее получили. С какой начали. И кишащую под Башней Сухаревку. И Трубу, особенно в светлые весенние праздники, с зеленым лесом вайветвей, цветов. И всяческой живности. И «подводными жителями» в стеклянных трубочках. И чертиками «уйди-уйди». Москву Чехова, молодого Бунина, старого Толстого. От нее сохранились островки. Значительный — от Сретенки (которой, слышно, прочат стать заказником или вторым «новым» Арбатом), по переулкам вниз, к Цветному бульвару. Лазарь Карелин в последних повестях сумел передать несравненное, поэтическое своеобразие этого островка «изогнутых», по есенинскому слову, улиц, невысоких — любой со своей «душой» — домов, двориков — не каменных колодцев, а в тишине и ромашке. Но жители Трубной забили тревогу: грохочут бульдозеры, выгрызая сердцевину жилого массива, длинные полосы зданий, без разбора, «пока» стыдливо прикрываясь двумя пленками нетронутых — со стороны бульвара и улицы. Пока! Чтобы, когда поздно будет кому бы то ни было вмешаться, проткнуть и обе эти пленки.

2 июня 1986 года «Известия» напечатали стихотворение Роберта Рождественского:

Сказочные
острова
Посреди многоэтажек.
Наши корни.
Совесть наша.
Не Москва без них
Москва...

Повторю: запреты не срабатывают. Надо подумать и о другом. Об общественном контроле. Включая и голос тех, кого ближе всего (в буквальном смысле) касается — жителей района грянувшей реконструкции. Припомним, как начинались постановления в эпоху повальных переименований: «По просьбе трудящихся (города имярек, улицы, села)...»

То была мимикрия под демократию. Сейчас легко вообразить, с каким удивле-

нием узнавали упомянутые трудящиеся об этих своих просьбах и требованиях (Ботвинник в автобиографической книге «К достижению цели» рассказал, как по окончании турнира в английском городе Ноттингеме, где он разделил победу с Капабланкой, вызвала к телефону Москва и предложила ознакомиться с его письмом товарищу Сталину).

Надо каждый раз прислушиваться к подлинному голосу.

И чтобы без этого, либо при ясно выраженном протесте, вспыхивал без колебаний красный свет.

II

Я живу в Астраханском переулке у проспекта Мира. В большинстве маршрутов проспекта не минуешь. Тусклое, заволоченное тучами весеннее небо. Вдруг брызнувшее солнце заставило вскинуть голову. Солнце било сквозь окно, высоко вставленное в торчащую щербатую стену впереди. Выходящее в никуда — в небо! Как в театральной декорации.

Так вот чем кончилось! Я знал этот дом, да и кто не знал его? Дом Валерия Брюсова на проспекте Мира, бывшей Мещанской. Прихотливая архитектурная достопримечательность Москвы начала века. Дом поэта, писателя, кого Горький называл самым культурным в России. Бурная предреволюционная литературная жизнь, с ее воронками и водоворотами, кипела вокруг него. О нем рассказывали легенды. Дерзость того, с чем, эпатируя, он вступил в литературу, напрашивалась на пародии. Но поражал небывалый блеск стихов, яркость образов, неиссякаемое трудолюбие, подлинная академическая глубина универсальных знаний. Трудно представить, как все, им сделанное, уместилось в не такой уж долгий, по нашему нынешнему счету, век: он умер пятидесяти одного года, сраженный пневмонией (как и Толстой за 14 лет до него), болезнью, самое название которой пугало, которую не умели лечить. Основатель и глава русского символизма (декадентства, как с издевкой предпочитали писать еще недавно), автор однострочного, облетевшего страну, веселившего Чехова стихотворения «О, закрой свои бледные ноги», но и «Каменщика», которого заучивали наизусть в революционных кружках, романист, лингвист, историк, создатель первого и единственного в мире Высшего литературно-художественного института, где он, ректор, читал и высшую математику, и латынь, Брюсов сразу принял Октябрь, вступил в партию большевиков.

Бездна пролетевших лет; кто сейчас помнит живого Брюсова? Но как мне забыть сентябрьскую полночь двадцать третьего года, когда в ректорском кабинете Валерий Яковлевич, усталый после целого дня экзаменов, терпеливо выслушал стихи (плохие) приехавшего из далекой провинции юнца?

И вот — руины брюсовского дома. Где уже «вот-вот», как десятилетиями настаивала печать, должен был растворить двери памятный музей. Пока пустой дом не допустили до пожара. А потом, еще почти на десятилетие, вовсе заколотили.

— Руины? Что вы! Наоборот. Разберем, ведь дом горел, отстроим все наново — с иголочки! И экономичней, дешевле, чем выверять, укреплять каждый кирпичик.

Да, горел. Допустили. Толстой считал, что Москва, брошенная пустой, не могла не сгореть.

А насчет «куда дешевле!» Судьба, нависшая над множеством уникальных, то есть по-русски неповторимых и потому бесценных памятников, еще хранящих дыхание нашего, не побоимся слова, святого и потому невозместимого прошлого.

Улица Воровского, дом 52, где сейчас Союз писателей. По московскому поверью — «дом Ростовых». Как все, что касается Толстого и высочайшей вершины — «Войны и мира», не одна наша, но всемирная ценность. Чем кропотливо укреплять, не проще ли выстроить новый. Быть может — а почему бы нет? — даже лучше, чем строили те, допотопные, без наших строительных возможностей, каменщики «в фартуке белом». Устранить огрехи, тяжеловатости облегчить, где поскупились — расщедриться.

И разве не все равно, «кто нес кирпичи» (цитируя брюсовского «Каменщика»)?

...В память стучится странный рассказ, читанный давным-давно, когда я еще охотно читал фантастику.

Некто изобрел аппарат, избирательно улавливающий и в миллион раз усиливающий звуковые волны. Едет в Веймар, на Фрауэнплан, поднимается по лестнице царственного особняка, чтобы, миновав холодные парадные апартаменты, уставленные мраморными и гипсовыми антиками, затвориться в аскетически простых двух комнатках, где и протекала подлинная жизнь Гете. В рабочем кабинете и той, которая с наивной торжественностью обозначается Sterbezimmer — комната смерти. Так что невольно приходит в голову — не заведись тут эта Sterbezimmer, Гете, возможно, и вовсе бы не умер! Он не умер! Раздался глубокий, звучный, неповторимый голос, нет, он не произнес ничего для веков и истории, а лишь будничное, бытовое, то, что как раз и стоит в книгах, — тем выше следует оценить добросовестное усердие Эккермана, секретаря, честного, преданного, недалекого, стремившегося записать каждое слово своего великого патрона!

Не надо придираться к научной, равно как и к ненаучной фантастике. Тыкать перстом в пробелы и лакуны, выдергивать белые нитки.

Но одна главная мысль: что-то от человека еще живо, что-то отпечатлелось там, где свершилась его жизнь. Не все равно, кто нес, кто клал кирпичи, нет, не все равно!

Литература — совесть народа.

Сейчас с особенной остротой думаю, что в какой бы дальний угол ни завела судьба, везде поймешь, ощутишь (быть может, даже отчетливее, чем в столице), что значит для народа наша литература. Самое «звание» писателя. И память о тех, кто сумел сказать нужное надолго тысячам — пусть все мы сами преходящи на земле.

Жизнь моя крепче связала с двумя городами в стране, шире всех раскинувшейся в мире.

Маленький Льгов. Когда мне, совсем малышу, привелось прожить там несколько лет — отец работал на строительстве Северо-Донецкой железной дороги, — в городишке числилось 3000 жителей. Нынешний дом-гигант вместит едва ли не столько. А в старинном среднерусском Льгове Курской области (Льгов — из Ольгова, Олегова владения, и в памяти звучит «Как ныне сбирается вещий Олег») — сейчас два литературных музея, третий на подходе. Не в любых стенах, но в тех, что служили кровом замечательным людям, кого вспоминает город. Среди предметов, которых касались они своими руками. Родительская квартира Николая Асеева. Отцовская, учительская, при крошечной в те поры школе, — Аркадия Гайдара-Голикова. Дом, где написаны Валентином Овечкиным «Районные будни». Горячо поддерживает общественность, партийное, советское руководство. Тесная по-районному газета «Ленинский путь» выделила целую полосу, с портретами семи советских литераторов, чья жизнь, работа соединила их со Льговом. Нет безымянных дел. Никого из участников, ревнителей дела, не умаляя, хочу назвать Сергея Афанасьевича Хухрина, офицера в отставке, теперь, по собственному слову, «чудака», который нашел здесь новое содержание своей жизни. («Судьба музея — моя судьба. Иного пути нет», — написал он мне к Новому 88-му году.)

А сколько превосходных культурных начинаний стоит на «чудаках»!

И скольким иным местам, с несравнимо большими возможностями и средствами, служит примером Льгов!

Керчь, мой родной город. С единственной в своем роде двух с половиной тысячелетней судьбой. Город-герой Великой Отечественной войны. Рабочая, рыбацкая столица Крыма, юга России. О ней написаны книги. О сегодняшнем дне. Древностях, частью единственных в мире. Роспись Склепа Деметры печатно сравнивали с Сикстинской мадонной. О Предтеченской церкви читаю в книге Х. Х. Зенкевича «Керчь в прошедшем и настоящем», изданной в 1894 году: «древнейший памятник христианской веры в России», — построена при византийских императорах Константинах. И с гордостью вспомянешь, что крестили тебя, как было положено тогда, именно в этой церкви, а дьякона звали на редкость экзотически — Ахилл Антон-оглу.

Историко-археологический керченский музей, учрежденный в 1826 году, — в числе старейших в России.

А след города в изящной, как говорится, литературе?

Молодой, живой как ртуть Пушкин, едва высадившись, взбежал к «гробу Митридата», о чем писал брату. Там не раз бывал Чехов. И десятки русских, советских писателей, поэтов. Страницы Паустовского. Кассилевская «Улица младшего сына». Поэма Сельвинского об Аджимушкае. Отличная книга ялтинца Станислава Славича. Малое, первое, что пришло в голову!..

Литературный уголок в историко-археологическом свидетельствует о добрых намерениях, но его ли это дело?

В конце мая 1987 года, когда пришлось быть в Керчи, собрались литераторы — в мое время не было ни одного, сейчас больше сорока, около десятка членов Союза писателей. Надо ли говорить, как приняли предложение создать литературный музей — давно пора, и как это нет до сих пор, и насколько же больше оснований, чем во стольких иных местах! Протокол доработает В. Я. Маковецкий, чьи повести печатают и толстые московские журналы, и тотчас — в «Керченский рабочий», газету, по значению города уже года два выходящую в областном формате, не жалеющую места для литературы. Получено благословение горкома (ведь гордость города!) — первого и второго секретарей.

С тем я уехал.

И... и? Ничего. Месяц за месяцем. Ничего. Наконец в одном из праздничных писем (к семидесятилетию) читаю: «Чудака у нас действительно нет». Нелегко поверить. Чудаки в этом, человеческом, смысле находятся — если их поискать.

Приняты новые решения. Хочется верить, что им больше повезет. Тем более, что совесть города, владеющего поистине несчетными, пока втуне лежащими сокровищами, отягощают утраты, допущенные под ту же близорукую диктовку: «дешевле снести, чем...» О них сейчас думается особенно настойчиво.

Три примера. Три архитектурных узла, державших на себе существенную часть исторического облика Керчи.

«Храм Тезея», копия афинского, на Митридате. Когда-то, полтораста лет назад, там было пристанище знаменитого керченского музея. А белизна этого храма, точно опустившегося на терраску на полугоре, первой бросалась в глаза корабельщикам, держащим курс на Керчь. На его месте воздвигли — стекло и бетон — «современный ресторан». К счастью, он прогорел. И к счастью же, догадались его снести.

Дом с ротондой, ярусом стрельчатых окон, затененных полувенцом мощной, гранитно-темной колоннады на высоком цоколе. Один из красивейших. Опора всей прибрежной застройки. Его звали «Старой таможней», упорно веря, что именно сюда соскочил с корабля Пушкин. Колебания, надо отдать справедливость, длились долго. И закончились сносом. Пустым местом.

Керченская Александровская гимназия — двухэтажная, вытянутая на квартальчик, монументальная, как бастион, образец капитальной стройки времени после Крымской войны прошлого века, разорившей город. С примыкающим квадратом двора и церковью в нем. Определяющий центр всего района бывшей Строгановской улицы. Здесь учился А. И. Желябов, отнесенный Лениным к корифеям русского революционного движения. Дипломат чичеринской школы П. Л. Войков, погибший в Польше в 1927 году от пули белогвардейца; имени Войкова металлургический завод в Керчи. А школа имени Желябова успела отметить столетие, помянув и вышедшую из нее плеяду известных стране ученых,

писателей. А затем здание, построенное на совесть, с полутораршинной толщины стенами, объявили ветхим. Несколько лет простоял унылый забор, огородивший пустырь. Разбили сквер — самый простой выход. А школу, сохранившую имя, переместили вдаль по многокилометровой улице Кирова. Мне не убедить себя, что это — та самая, где я учился...

III

«Я иду, шагаю по Москве». Близится к двум, завились водочные очереди. И за всем, что разлито по бутылкам «с градусами». Пивные очереди — в Арбатском переулке, равно и перед другими, численно ничтожными барами. (В Праге вы можете без хлопот — придет охота — выпить кружку и в пивной, излюбленной бравым солдатом Швейком. Bierhalle немцы считают непременной принадлежностью чуть не каждого квартала.)

Громадный зал Смоленского гастронома заполнен битком в несколько раз сложенным «хвостом». За чем? — «Десертное вино!»

— Какое? Хванчкара, киндзмараули, мускат «Красный камень»? — Со снисходительным презрением к задающему дурацкие вопросы: «Вам объясняют: десертное!» Так и стоит на бутылке — не верь глазам: «Десертное вино».

В тот день я прочитал в журнале о самоубийстве всемирно известного винодела.

Сколько уже писалось, что надо что-то предпринять и с этакими хвостами. Ведь это тоже лицо города. Да и покусившись на сахар, эти «хвосты» смахнули долой — пора перестать мириться с этим! — и одеколон («одеколон не роскошь, а гигиена», гласили недавние рекламы), и зубную пасту (?!), совершенно невинную вещь — зубной эликсир, при безнадежности попыток заменить его аптекарскими снадобиями вроде настойки эвкалипта, календулы. Тщетно надеяться тронуть самыми красноречивыми доводами каменные сердца жриц в белых халатах:

— Разве вы не знаете, что еще при Иване Грозном Москва была оклеена плакатами:

Не шей,
боярин,
шубы,
А мой,
боярин,
зубы!

Но каменный голос неумолим:

— Тогда не было плакатов. А до Маяковского не сочиняли лесенкой.

Предновогодний месяц. Преддверие Женского дня. Первого мая. Не удивляемся очередям, задолго, ради двух-трех предстоящих праздничных дней. Сравнительно редкостное слово («Но обнес меня ты чарой в очередь мою») ворвалось, обжилось в обиходе. Сосчитано, что очереди обходятся, например, ленинградцам больше чем в 650 миллионов часов в год. А сил? А травмированная психика? Озлобление, падение жизненного тонуса, творческого потенциала... Сознание настолько сроднилось с облепленными людьми прилавками, что ловишь себя на постыдной мысли: нет очереди? значит, и смотреть нечего!

Застарелая язва нашей торговли. Видимо, русское «очередь» столь же известно в мире, как (только с обратным знаком) «спутник», «гласность», «перестройка».

До каких же пор проходить мимо?

Существует, к великому сожалению, неравномерное снабжение различных пунктов на карте страны. Отсюда почти фантастическое словосочетание: «продуктовая электричка». Продуктовые автобусы колесят по дорогам, не щадя бензина, с единственной целью поскорее вклиниться в скопища себе подобных, загромождающих улицы перед торговыми центрами пунктов, более удачливых. Вопрос об этом важен, верно, даже настолько важен, что, не решив его, ничего до конца не решим.

Все же для московских очередей хватает и москвичей. Со всем известным психологическим стереотипом: не «достану» сегодня, кто поручится, что куплю завтра?

Итак, первая заповедь: стабильность. Что в продаже сегодня, должно быть и завтра. Незачем «ухватывать», волочить, отдуваясь, тяжелую поклажу. Испишешь листы сотнями примеров — мелькнуло — поманило — исчезло. Из последних, пришедшие в голову пустячки: пена для ванн — была во всех парфюмерных магазинах; пакетики с забавным рисунком «Освежающий сухой шипучий напиток». Летом, дома, на даче — просто, легко, нравилось всем, кого знаю; кануло без объяснений. Создается впечатление — торговля движется прыжками, судорожными пароксизмами, при забвении первого условия: спокойного равномерного ритма (чего стоит весенняя «сахарная болезнь»!)

Где самое расхожее, дешевое — пастила, разноцветный мармелад, леденцы? Сгущенное молоко — голубоватые колонки баночек недавно выстраивались во всех молочных? Нарочно упоминаю мелочи, пустяки. То, в отношении чего не может быть отговорок: нет сырья. Так куда исчезли сыры? Как так «исчезли»?! А «Костромской»? А «Российский»? А «Пошехонский»? А... Увы! Все это один и тот же сыр, пресный, безвкусный. Они вполне могли бы приятельски обменяться этикетками. Невольно вспомнишь ходкий в оны времена анекдот о сортах водок: стоит бочка, черпай в бутылки, а потом лепи на них художественные наклейки, с какими душе угодно названиями и, соответственно, ценами.

Оставим в покое семнадцать разновидностей сыров, перед которыми разбегаются глаза пассажиров у шведского стола на рейсовом пароходе Берген — Осло. И сеть финских магазинов «Эланто». И гастрономические капища Парижей и Нью-Йорков. Бог с ними! Просто сравним ассортименты товаров наших обычных продуктовых, ну скажем, в половине пятидесятых, с нынешними. Одна треть? Пятая, десятая доля? Не отважиться ли на вторую веселую истину: принятое потребителем не может вот так, безо всякого



А. Косогов. Кремлевский холм. 1986

Москва заповедная

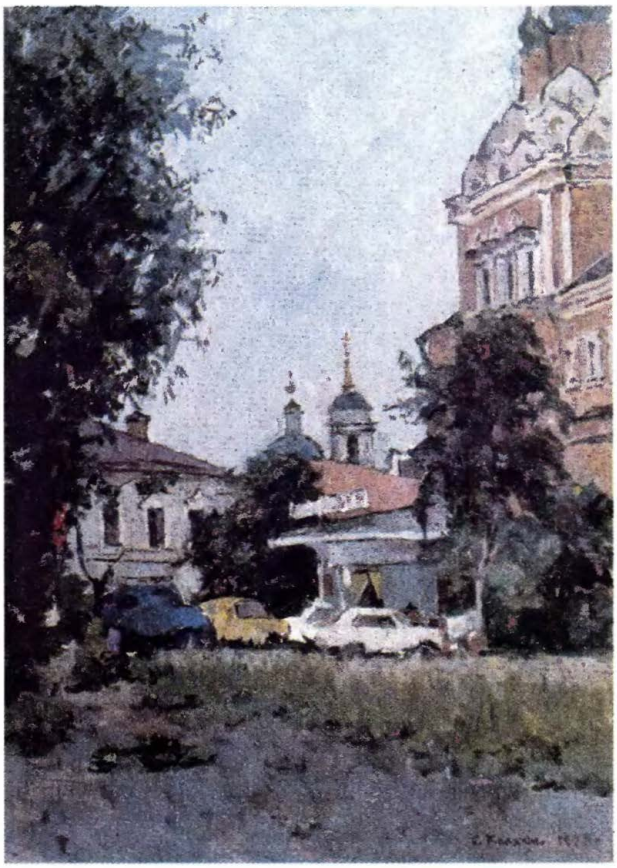
Галерея «Москвы»

ЖИВОПИСЬ СЕРГЕЯ КОЛЯДЫ
АКВАРЕЛИ АНАТОЛИЯ КОСОГОВА



С. Коляда. Денисовский переулок. 1984

Сергей Коляда



Швивая горка. 1975

Пречистенка. 1981



Анатолий Косогов



Вид на Кремль с набережной Мориса Тореза. 1986



За Смоленской площадью. 1987



У Новодевичьего монастыря. 1982

Сергей Коляда

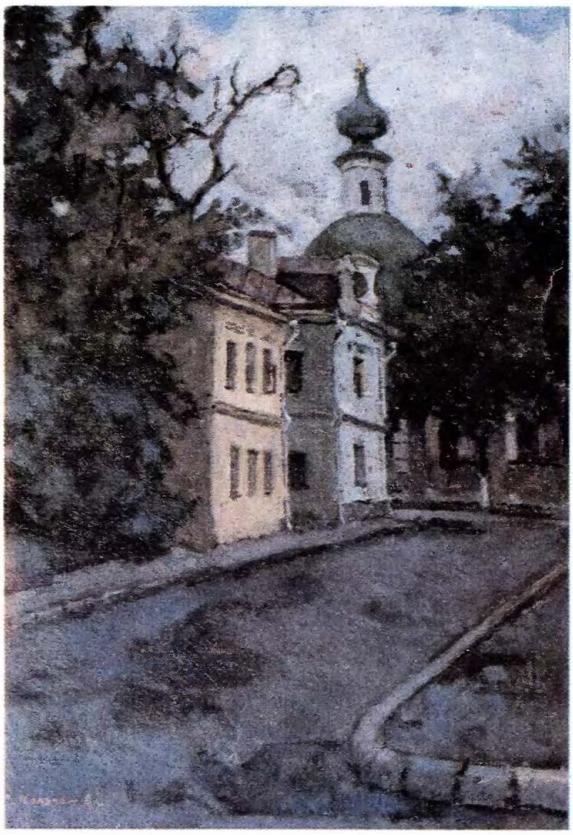


Печатный двор. 1982



Сретенка

Сергей Коляда



Большая Ордынка д. 55

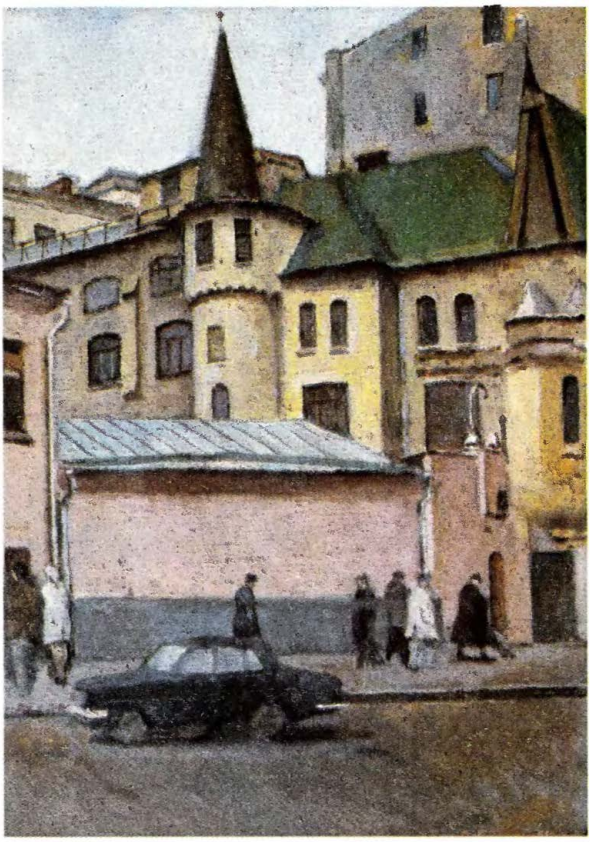


Весна в Москве. 1987

Анатолий Косогов



Вид на Кремль с проспекта Калинина. 1988



С. Коляда. Трехпрудный переулок

А. Косогов. Сивцев Вражек. 1986



ЧП — своя рука владыка — снято с производства.

Чтобы глаголы — «дают», «выбросили» — утратили наконец налипший, зловещий, Далю неведомый смысл!

Читаю на двери кафе вежливое (научились!): «Извините, мест нет». И даже не шевельнется нехитрая мыслишка: значит, нужны еще два, три, четыре кафе.

Одно из первых зарубежных впечатлений. Лавками, лавчонками, лавочками усеяны улицы. До ближайшей, где бы ни жил, за решительно всем для дневной потребы пятьдесят, сто шагов. Внутри один, два, а то и ни одного покупателя. Как сводят концы с концами? Как там у них с «планом»? Но живут же, не вылетают в трубу!

Любопытно, стало быть, еще и такое сравнение: число покупательских душ на одного продавца. Или, если угодно, на погонный метр прилавка.

Так не следует ли пересмотреть иные, исходные, «азбучные» торгово-финансовые нормативы, переосмыслив словечко «неперспективно»? И отогнать прочь с порога мечту о двойной, полуторной прибыли с оборота. Пусть 5—10 процентов. А то и... Какими громадными процентами подлинной выгоды, не переводимой на рублевый счет (да нет, и на это в конце концов переводимой), обернется дело!

На моем веку закрывали «лишние» парикмахерские: как так, зайдешь — и садись в кресло, без сакраментального вопроса: «а кто крайний?» Снимали и сокращали «недогруженные» маршруты — и люди по полчаса стояли на остановках, чтобы клясть весь белый свет, а втиснувшись, обнаружить, что яблоку упасть негде.

Очередь продавцов к покупателям во всех отношениях полезнее и выгоднее обществу, чем «хвост» покупателей.

Третья веселая истина.

О качестве читаем чаще и чаще. О хлебе. Чае. О штабелях консервов, наконец-то без «Завтрака туриста» — никогда небывалого туриста с луженым желудком. Но всяческая рыба в томате, «кусочками», ласкающая взор единственно своих изготовителей! Ломаешь голову; куда, куда бесследно удалилась закусочная, предпочитаемая всеми?

Мелочи, мелочи. Но ведь не зря говорят, что иной раз по капле воды можно судить и о море. Прошу прощения еще за одну, последнюю. Уж больно близко касается она пишущего эти строки. А конечно, и всех тех, кто, подобно ему, при серьезной письменной работе откладывает в сторону карандаши шариковые, пишущую машинку, а по старинке прибегает к перу и чернилам.

Итак, выбираем авторучку. Продавщица пододвинет чернильницу — макнуть и расчеркнуться на пробу на исчерканном листе. И лишь дома в разгаре работы с досадой убеждаешься, что чернильная река на кончике пера иссякла, и пошло оно царапать бумагу слепыми белыми чертами. Значит, ничего не выбрал, и ни к чему не послужили маканье и прихотливый росчерк на исчерканном листе. Незаметно становишься обладателем целой коллекции. На моем столе из пяти — московских, ленинградских, ярославских, с золотым и простым пером — только одна безотказна: самая дешевая.

А что если и в подобных случаях, малым примером которых служит рассказанное, вовсе не лишне подумать о госприемке?

Как же все-таки случилось, что великое завоевание — гласность, снятие табу с любых вопросов обернулось резким снижением эффективности печатных выступлений? Чуть не в обратной пропорциональности. Как в законе Ньютона.

Московский городской транспорт сначала в экспериментальном порядке, не успели оглянуться — и в окончательном (вот до чего удачен вышел блиц-эксперимент) ввел, разумеется — прогрессивную — реформу. Отставлен всюду, кроме метро, универсальный пятачок. Заблаговременно приобретайте даже не сброшюрованные книжечки, а мгновенно сминающиеся в карманах ленточки билетов. Прирост неудобств налицо. А преимущества? Борьба с зайцами? Но с мятой бумажкой, ей-богу же, куда сподручнее ездить при малой ловкости вплоть до превращения ее в грязный комочек. Да и как, с этической стороны, за немногих мошенников подозревать всех? Дешевизна транспорта, небывалая в мире, есть также завоевание нашего строя, примета образа жизни.

Человек любопытный, я опросил (благо, всяческие опросы вошли в моду) несколько десятков — не посчастливилось сойтись лицом к лицу хотя бы с одним ревнителем прогрессивной реформы.

Вопросительные знаки ставили газеты. Острое перо увлекательно описало в очень уважаемом органе, как командировочный, с ворохом московских бумажных лент, заплатил 3 рубля в первом же киевском автобусе как злостный безбилетник.

А Васька слушает да ест.

Десятки раз подымалось в печати: что же — замерзло начатое было возвращение легкодумно и с маху переименованным городам и весям, улицам и проулкам исконных имен — нашего общего исторического достояния? Сложно, дорого, обрывай тысячи связей, куда внедрилось имя? А когда чохом выкашивали те, что пережили столетия, было проще, дешевле?

Мы все пели: «Комсомольцы, беспокойные сердца. Комсомольцы все доводят до конца». Если бы мы доводили до конца начатое! Не бросали на полдороге!

Все для человека.

Верховный закон нашей жизни.

Во имя советского человека, его счастья, внутренней чистоты и нравственной высоты его, еще более неразрывной связи с родной землей, глубокими корнями народной жизни от прадедов к правнукам (без чего нет живого человека) предпринято, круто пошло огромное, смелое, как воздух необходимое обществу дело — перестройка.

Перестройка способов хозяйствования, укладов работы и быта.

Тот компас, масштаб, мерка, что даны

нам в руки. Та точка зрения, без которой не оценишь правильно окружающей действительности, в крупном ее и в ежедневном, обиходном.

О скольком важном, важнейшем не сказал на этих страницах!

О радостном и ненужном, вызывающем боль и досаду.

Вот ратую за соотношение коэффициента «покупатель — прилавок», но — свежее вчерашнее, житейское. Иллюстрация. Сели батарейки в приемнике, беда не велика, десятиминутная прогулка на Колхозную, в радиотовары, где десять лет покупаю их.

Открываю знакомую дверь — и ничего не узнаю.

— Вы что, не прочли вывеску: «Комиссионный»?

Как я недоглядел яркую киноварь свеженькой надписи!

— Вы что же, против нового комиссионного?

— Да ни боже мой! Только вот батарейки, батарейки...

Небрежный жест (надоело) указывает на вывешенную любезную подсказку (очевидно, немало народу являлось с тем же, что и я): адрес для всяческой радиомелочи — Бутырский вал, №... Но где Бутырский вал, а где Колхозная! Ну тогда ГУМ, ЦУМ, «Эфир» на Горького. Не с руки? Попробуйте в «Орбиту» у Бородинского моста!...

Так или иначе, а торговая сеть сузилась и еще на один магазин! На один, ой ли? Одновременно в ближайшей округе закрыто еще с полдюжины магазинов обиходных товаров массового спроса, включая продовольствие, и заменены рассчитанными на спрос, мягко говоря, элитарный. А то и так, оставлены втуне. Как нарочно! Теперь жителям громадного района надо за простой электрической лампочки пускаться, загружая транспорт, на другой конец города: «забота» о сбережении времени и удобстве, «борьба с очередями» — своя рука владыка. Закрытие магазина всегда ЧП.

Верно, следовало бы поговорить и о внезапных, дружно взявшихся ремонтах, пачками выключающих не одни торговые точки, сберкассы, но и культурные центры, без которых Москва не Москва. Большой зал консерватории. Третьяковку. На годы! И вот — к вопросу о реконструкции, благоустройстве, сбережении традиционного облика столицы, о чем столько разговоров. «Метрополь», неотъемлемый с чеховских времен от представления о сердце города. С далеко видными, ярко-цветными, бурно-фантастическими панно Врубеля. С Фонтанным залом, прославленным первым московским международным турниром двадцать пятого года с Капабланкой и Ласкером (а в кино родилась «Шахматная горячка» Пудовкина, а совсем недавно — кубино-советский фильм «Капабланка»). Излюбленное москвичами двухзальное, двухпрограммное кино... «Метрополь», обнесенный лесами, сколоченными из досок, пешеходными лазейками, полотнищами с наименованиями фирм-строителей. Он вынырнет совсем уже не «Метрополем», а неким для особо богатых гостей-иноземцев, надежно укрытым от москвичей приютом!..

Вечный ремонт: мы забыли, как даже выглядел знаменитый зал-«аквариум» московского почтамта!

А стройные шеренги многоэтажек, что, вопреки всем благим пожеланиям и установкам о пределах роста города, языками вытягиваются во все стороны и, радуя взоры с экранов телевизоров, славимые огненным печатным словом, победоносно штурмуют зеленые зоны, леса, поля, долы, дубовые рощи, березовые и сосновые перелески, поселки — заказники драгоценной, светлой памяти и для жителей столицы, и для всех советских людей?

В начале июня 1988 года жар заволжских степей хлынул на Москву. Милая сотрудница Гидрометцентра сказала с вечернего телеэкрана: «Превышены многолетние данные. Плюс тридцать пять! Но спасение (с улыбкой) есть: купаться. Тем более, что температура в Москве-реке...» Однако пройдитесь, километр за километром, по великолепной курортно-парковой зоне. Ленинские горы, Фили, Кунцево, Крылатское... Река взята в гранит, исполинскими лентами набережных твердь надежно отсечена от хляби, лаская взор торжеством чьей-то эстетики. Упущено лишь составляющее душу и смысл курортной зоны: где прежде манила река в своих глинистых берегах, нет больше заполненных людьми пляжей, сходов в воду. О них забыли. Купанье, особенно для пожилых, особенно чтобы им выбраться обратно на сушу, неотделимо от элементов циркового искусства.

Так чем же закончить? Не замечательным ли словом одного из самых удивительных деятелей русской культуры, человека неподкупной честности, несравненной смелости духа, высочайшего нравственного достоинства? Казалось бы, всего расщипанного на цитаты, среди которых однако не встречал такой:

«По моему мнению, стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать» (Белинский — Герцену, 26 января 1845 года).

ЮРОДИВЫЕ, ПРОРИЦАТЕЛИ И ДРУГИЕ

Народ считает юродивых Божьими людьми, находя нередко в бессознательных поступках их глубокий смысл...

В. Даль. Толковый словарь

Иван Яковлевич Корейша

Москва купеческая, Москва старушечья наполнилась горечью и слезами. В сентябре 1861 года все газеты опубликовали некролог. Вот, к примеру, что писали «Полицейские новости»:

«Находившийся в Преображенской больнице Иван Яковлевич Корейша сего сентября 6-го числа в четвертом часу пополудни скончался. Отпевание тела имеет быть в воскресенье 10-го числа в 10-м часу утра в приходской, что в Екатерининском Богаделенном доме, церкви, а погребение в Покровском монастыре».

Вся Москва отлично знала Корейшу. Тысячи и тысячи горожан двинулись к праху знаменитого юродивого. У одних он вызывал иронию, у других — желание страстно почитать его. Свидетелем этих событий стал известный русский этнограф И. Г. Прыжов, к числу поклонников юродивого не относившийся. В своей книге «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков» (Москва, 1865) Прыжов писал, что все несли ему и уксусу, и спирту, и духов, и масел для умащения его тела. Два дня стоял он в своей комнате, а народ не отходил от него, прикладывался к нему и помазывал его для уничтожения появившегося зловония. Благоразумные же поклонники сочли нужным вынести труп в часовню. Назначено было хоронить Корейшу в воскресенье... Одни хотели везти его в Смоленск, на родину; другие хлопотали, чтобы он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила; третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь. Были и такие, которые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово, да в конце концов они и одолели, а чтобы не украли тело, стоявшее в часовне, сначала приставили ему сторожа, а потом внесли в церковь...

Юродивый продолжал творить чудеса, даже покинув земные пределы. Когда явился профессор живописи и собрался было писать портрет с покойника, у того «тотчас начали вспухать глаза, губы начали вздуваться, и все решили, что Ивану Яковлевичу, вероятно, не угодно, чтобы с него снимали портрет, и портрет так и не снимали». Писали, что какой-то лекарь-католик прикоснулся к голове Ивана Яковлевича, это будто бы оскорбило покойника. Труп, по свидетельству очевидцев, стал еще больше вздуваться, и под гробом образовалась лужица.

Историк Г. Скавронский в «Очерках Москвы» (1862 г.) писал: «Некоторые дамы беспрестанно обкладывали покойника ватой и брали ее назад с чувством благоговения... Бабы провожали гроб воем и причитаниями: «На кого ты нас, батюшка, оставил, покинул сиротинушек, кто нас без тебя от всяких бед спасет, кто на ум-разум наставит?»

Действительно, великая слава Корейше была не только как чудотворцу, но и как просветленному человеку, дающему полезные советы на многие случаи жизни. Но расскажем о нем подробней.

Корейша родился под Смоленском в 1793 году в семье священника, учился в духовной академии, затем чем-то управлял, «что-то, — по словам И. Г. Прыжова, — наделал и ушел в лес, решившись юродствовать. Крестьяне нашли его в лесу копающим палкою землю, без шапки и без всякого имущества».

Крестьяне, как и большинство простого народа, издревле относились к юродивым как к несчастным, особенным людям, на которых «почила благодать Божья» и потому достойных всякой жалости. Они поставили в лесу избушку для отшельника, носили ему хлеб, кашу, квас. По окрестности пошла молва о старце. Слух о нем коснулся и некой девицы, которую посватал офицер, участник только что победоносно завершившейся войны 1812 года. Девица села в карету и отправилась к лесу, где подвизался Корейша, чтобы спросить у него совета. Отыскав отшельника, она обратилась к нему:

— Буду ли я счастлива в браке с таким-то?

От такого вопроса Иван Яковлевич пришел в сильное волнение. Он замахал на гостью палкой:

— Разбойники, воры! Бей, бей!

Невесте все стало ясно: ее жених плохой человек. Она заявила родителям, что идет не замуж, а в монастырь. На уговоры не сдалась и свое решение привела в дей-

ствие. Взбешенный жених бросился к губернатору. Он потребовал, чтобы общество избавили от безумного мужика, разрушающего семейные оковы. Губернатор распорядился, чтобы юродивого схватили и этапировали в Москву, поскольку в Смоленске, разрушенном войной, лечебницы для душевнобольных не было. Приказ был приведен в действие. (Как курьез добавим, что позже ходили слухи, что этот жених действительно в чем-то проворовался.)

Прыжов писал о том, как ехал Иван Яковлевич в Москву, а слава его бежала впереди, распространялся слух, что едет пророк, чудесно все угадывающий и предсказывающий: о женихах, о выздоровлениях, исцеляет болезни, пророчествует о морозах, о засухе, о бурях, о холере, войне и т. п. Ему приносят дары «с упованием некия пользы», но он сам ничем не пользуется (то есть не наживается), а все раздает окружающим его.

Корейша юродствовал в «безумном доме», куда на протяжении нескольких десятилетий тянулась нескончаемая вереница его почитателей и — главным образом — почитательниц. Многие люди, приобщившиеся к благодати Ивана Яковлевича, рассказывали о нем с восторгом: о том, как он излечил от страшной болезни, как помог устроить дело или дал правильный совет.

Как врачевал Корейша? Символом нездешнего духа Ивана Яковлевича, свидетельствовал автор, служили записочки, которые он раздавал приходящим. Записочки Ивана Яковлевича носили на кресте, они будто бы исцеляли от зубной боли, но главное — по смыслу написанного в них угадывалась судьба обладателя. Иван Яковлевич нарочно делал каракульки вместо слов, чтобы в его писании было больше чудесного. С этой же целью употреблял греческие и латинские слова.

Вернемся к книге Прыжова: «Предсказания его и записочки всегда загадочны..; в них можно видеть все и ничего не видеть, а потому, объясняемые с известной целью, они постоянно сбываются. Вот пункт, на котором никак не собьешь его поклонниц. Но говорят, что Иван Яковлевич в последнее время редко писал эти записки и что писанием их занимался бывавший ежедневно у него богаделенный дьякон, который и собирал материалы для жития Ивана Яковлевича. Из других способов, которыми передается врачующая сила Ивана Яковлевича, замечательны следующие: девушек он сажает к себе на колени и вертит их; пожилых женщин он обливает и обмазывает разными мерзостями, заворачивает им платье, дерется и ругается, без сомнения, придавая тому и другому символическое значение. Княгиня В-ая умирала, и лекаря отказались ее лечить. Она велела везти себя к Ивану Яковлевичу: вошла к нему, поддерживаемая двумя лакеями, и спрашивает о своем здоровье. В это время у Ивана Яковлевича были в руках два больших яблока. Ничего не говоря, он ударил княгиню этими яблоками по животу, с ней сделалось дурно и она упала: еле-еле довезли ее домой, и — чудо! — на другой день она была здорова».

Любопытно, что факт этого исцеления признавал и сам Прыжов.

Широкую огласку имела история одной купчихи, которая вела в Москве судебное дело, очень для нее важное, но получила на него в различных инстанциях отказ. Обратилась она к начальству, пытаясь доказать свою правду, но кончилось это тем, что ее подпиской обязали впредь начальство не беспокоить. Остался единственный путь — к юродивому... Тот дал ей советы, хотя и несколько невнятные, но, как выяснилось, решившие судебное дело в ее пользу.

Вот что пишет Прыжов о другом происшествии с этой же купчихой: «У нее же за долги было назначено в продажу имение. Завтра аукцион: что ей делать? Она — к Ивану Яковлевичу.

— Не бойся, — говорит он ей на своем мистическом языке, — все будет хорошо.

Она, грешная, не верит, идет домой, и что ж: ей дают взаймы денег, она платит, и именье остается за нею!

Но не ко всем добр Иван Яковлевич. *Настоящих дураков* и он даже гоняет от себя, особенно когда они обращаются к нему с нелепыми вопросами».

Думается, что это не случайная оговорка Прыжова, которую мы выделили курсивом,— *«настоящих дураков»*... Иронический и проницательный Прыжов самого Корейшу, стало быть, считал *дураком* ненастоящим.

Ф. М. Достоевский вывел Корейшу под именем Семена Яковлевича в романе «Бесы». В пятой главе II части он пишет о «чрезвычайно интересной экспедиции» к нашему юродивому, которого все посещали, особенно заезжие, добиваясь слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования были иногда значительные, Семен Яковлевич иногда распоряжался ими тут же сам, иногда они были набожно отправляемы в храм божий, и по преимуществу в Богородский монастырь. От монастыря с этою целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Денежные пожертвования почти все поступали в его кружку.

Корейша обладал всеми качествами, которые делали юродство «святым» в глазах простых людей, — бескорыстием, аскетизмом, своеобразным демократизмом в отношениях с людьми, когда богатого и знатного не выделяют среди бедных и непризнанных, смелостью в обращении с власть имущими.

Дмитрий Нехлюдов в XXII и XXV главах «Юности» Л. Н. Толстого с восторгом отзывается о Корейше: «...ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно — замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие».

Вскоре разгорелся жаркий спор: «— Во-первых, только самый *легкомысленный человек* может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как

Иван Яковлевич, — отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противную сторону от сестры, — а во-вторых, напротив, *ты* стараешься нарочно не видать хорошего, которое у тебя стоит перед глазами».

На кладбище в Черкизово, сразу же справа от входа, по сей день бережно сохраняется могила человека, который в прошлом веке был яркой московской достопримечательностью.

Предсказатель монах Авель

Славный русский генерал от инфантерии и от артиллерии Александр Петрович Ермолов (1777—1861) за покровительство декабристам был посажен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Кострому. Здесь он встретился с неким монахом Авелем, незадолго до этого вернувшимся из Москвы. Там он присутствовал, в частности, при коронации императора Николая I.

На Ермолова Авель произвел сильное впечатление. Дело в том, что этот монах обладал удивительным даром — умел предсказывать будущее. Генерал, не уступавший в мужестве ни одному солдату, грудью ходивший на приступы вражеских редутов, не боявшийся, как говорится, ни бога, ни черта, после встреч с монахом испытал некоторое душевное волнение. Более того, Ермолов даже счел необходимым упомянуть монаха в своих записках, впервые опубликованных в IV книге «Чтений Императорского общества истории и древностей российских» (1863): «В это время проживал в Костроме некто Авель, который был одарен способностью верно предсказывать будущее. Находясь однажды за столом у губернатора Лумпа, Авель предсказал день и час кончины императрицы Екатерины с необычной верностью. Простившись с жителями Костромы, он объявил им о намерении своем поговорить с государем Павлом Петровичем, но был, по приказанию его величества, посажен в крепость, из которой однако скоро выпущен... Авель тоже предсказал день и час кончины императора Павла. Все предсказанное Авелем буквально сбылось. Этот Авель находился в Москве...»

Редакция ежемесячного исторического издания «Русская старина», выходившего с 1870 года почти полвека и содержащего необъятное количество интереснейших публикаций и документов, в феврале 1876 года напечатала рукопись «Житие и страдание отца и монаха Авеля». В послесловии утверждается, что вероятней всего это «житие» создано или самим Авелем, или человеком, близко его знавшим. Повествование ведется от третьего лица.

Автор сообщает, что «сей отец Авель родился... в Московских пределах» в 1757 году. «Его жизнь достойна ужаса и удивления». В 1785 году он в Валаамском монастыре принял постриг, жил в пустыни. И здесь случилось ему «видение», после которого он «начал писать и сказывать что кому вместно. И велено ему выйти из пустыни в монастырь». Но вышел он вскоре и из монастыря, и начал «сказывать и проповедовать тайны божии и судьбы его. И ходил он тако по разным монастырям и пустыням девять годов».

И случилось ему написать «книгу мудрую и премудрую, в ней же написано о царской фамилии. В то время царствовала в Российской земле Вторая Екатерина; и показал ту книгу одному брату, имя ему отец Аркадий; он же ту книгу показал настоятелю той обители. Настоятель же собрал братию, и сотвориша совет: ту книгу и отца Авеля отправить в Кострому, в духовную консисторию; и бысть тако отправлен. Духовная же консистория: архимандрит, игумен, протопоп, благочинный и секретарь... вопросили его: он-ли ту книгу писал?»

А книга эта содержала различные «царские имена и царские секреты», предсказала и — самое жуткое! — дату смерти страшно боявшейся своего конца Екатерины II — 1796 год!

И погнали по этапам предсказателя вместе с его «секретной книгой», донесениями и рапортами — прямо в столицу. Здесь он был для начала помещен в сенате, а для караула поставили прапорщика и солдата. Потом его доставили к самому генералу Самойлову, «главнокомандующему всему сенату... Самойлов же рассмотрел ту отца Авеля книгу, и нашел в ней написано: якобы государыня Вторая Екатерина лишится скоро сей жизни. И смерть ей приключится скоропостижная, и прочая таковая написано в той книге. Самойлов же видя сие, и зело о том смутился; и скоро призвал к себе отца Авеля. И говорил ему с яростью: «Как ты, злой человек, посмел писать подобное на земного бога!» И как ударил его трижды по лицу, спрашивая его: кто научил его подобное писать, и зачем такую премудрую книгу составил?»

Генерал счел Авеля за юродивого и приказал посадить его в темнице, а сам отправился с докладом к Екатерине.

Екатерина тоже возмутилась и отдала распоряжение:

— Отправить этого вруна в Шлиссельбург! Пусть-ка там посидит до скончания живота моего. Если он такой умник, то сидеть ему осталось немного — ведь мне он каркает скорую смерть, в этом годе ешо.

Дело было скандальное, по всем губерниям тайком шептали — юрод кончину царице предсказал. Правда сие или враки?

Сам же виновник переполоха писал: «Дело было в лето 1796-е, месяца февраля и марта с первых чисел. И был заключен отец Авель в ту крепость по имянному повелению государыни Екатерины. И был он там всего время — *десять месяцев и десять дней*... Скончалась Вторая Екатерина (именно в 1796 г. — *В. Л.*); а вместо ей воцарился сын ее Павел. И начал сей государь исправлять, генерала Самойлова сменил князь Куракин. И нашлась та книга в секретных делах, которую писал отец Авель. Нашел ее князь Куракин и показал государю Павлу. Государь же Павел скоро повелел сыскать того человека, который написал ту книгу...»

И вот, милостью божьей, прорицатель

предстал пред светлые очи императора. Император, увидав «столь дивного человека», испытал «страх и радость». Он обратился к Авелю:

— Благослови, отче, меня и весь дом мой. Дабы сие благословение было нам во благо.

После того, как монаршья просьба была удовлетворена, он «по секрету спросил: что ему случится потом?»

С профессиональной скромностью прорицатель не раскрыл в своих записках ответ государю. Но, видимо, этот ответ не оскорбил императорский слух, ибо Павел поступил с Авелем милостиво, согласно просьбе последнего отправил его в монастырь. Первоначально это был Невский, а затем Авель вновь направил свои стопы (с согласия государя) в Валаам.

С этого момента история начала повторяться. Авель «составил другую книгу, подобну первой, но еще важнее, и отдал ее игумену отцу Назарию. Он же показал ту книгу своему казначею и прочим братьям, и сотвориша совет, отправил ту книгу в Петербург митрополиту».

Митрополит прочитал книгу и пришел в ужас, прочитав в ней «тайное и безвестное». Он незамедлительно передал ее в секретную палату начальнику господину генералу Макарову. Этот, прочтя Авелевы предсказания, «затрепетал от страха» и совокупно с донесением переслал книгу другому генералу — управляющему сенатом. «Тот доложил самому государю Павлу. Государь же скоро повелел взять с Валаама отца Авеля и заключить его в Петропавловскую крепость. И бысть тако».

Легко предположить, что Авель с удивительной прозорливостью предсказал быструю кончину самодержца. И вновь он сидел ровно *«десять месяцев и десять дней»*. За это время успело сбыться предсказание: Павел покинул земную юдоль. Новый царь, Александр I, отправил предсказателя подальше — в Соловецкий монастырь.

На брегах хладного моря Авель составил третью книгу, в которой сообщил о том, «как будет Москва взята и в который год. И дошла та книга до самого императора Александра. И приказано монаха Авеля абие (тотчас) заключить в Соловецкую тюрьму, и быть там ему дотоле, пока не сбудутся его пророчества. И был отец Авель в Соловецкой тюрьме *десять годов и десять месяцев*».

Человек, обладавший удивительным даром, испытал, по его словам, «доброе и недоброе, злое и благое, и всяческие искусы, которые и описать нельзя. Десять раз был под смертию, сто раз приходил во отчаяния; тысячу раз находился в непрестанных подвигах, а прочих искусов было... число многочисленное».

Но вот пришел 1812 год и вместе с ним сбылись пророчества Авеля: супостаты вступили в Москву. Надо лишь удивляться, что военные события не помешали Александру вспомнить бедного соловецкого узника. Царь «приказал князю Голицыну от лица своего написать письмо в Соловецкий монастырь..: «монаха отца Авеля выключить из числа колодников и включить его в число монахов на всю полную свободу». Еще приписано: «ежели он жив и здоров, то ехал бы к нам в Петербург: мы желаем его видеть и с ним нечто поговорить».

Тако написано от лица самого государя, а архимандриту приписано: «дать отцу Авелю на прогон денег до Петербурга».

Архимандрит, плохо относившийся к Авелю и «знавший за собой, что он отцу Авелю многие делал пакости и одно время хотел его совершенно уморить, — ответил... таким образом: "Ныне отец Авель болен и не может к вам быть, а разве на будущий год весною" и прочая таковая».

Царь на эту уловку не поддался. Специальным указом Синоду повелел: «непременно монаха Авеля выпустить из Соловецкого монастыря и дать ему паспорт во все российские города и монастыри. И чтобы он всем был доволен, платьем и деньгами».

Когда был получен сей указ, предсказатель по-прежнему пребывал в «смертельной тюрьме, в которой не токмо человеку жить нельзя, но и всякому животному невозможно. В той тюрьме темнота и теснота, голод и холод, нужда и стужа выше естества, дым и угар и подобное, затем скудность одежд и пищи, и от солдат истязание и ругание».

Авель бесстрашно стал обличать злодеев, уже замучавших до смерти двух колодников: «Дети, что делаете неугодное Богу? Если не прекратите зло, то вскоре все погибнете злою смертию и память ваша истребится на земле, чада ваши осиротеют и жены останутся вдовицами!»

И решили тогда злодеи уморить в этих самых темницах предсказателя. Но и на этот раз Авель предвидел правду: архимандрит вскоре был поражен «лютою болезнею и скончался», а остальные злодеи «погибоша и память их погибе с шумом... И начал отец Авель петь песнь победную и песнь спасительную».

Судя по всему, дальнейшая судьба Авеля складывалась благополучно. Первого июня 1813 года он покинул Соловецкий монастырь «и пришел в Петербург прямо ко князю Голицыну, имя ему и отчество Александр Николаевич, господину благочестиву и боголюбиву». Князь был рад Авелю, задавал ему различные «тайные» вопросы и «ужаснулся», услыхав на них ответы.

«Отпущенный с великим довольством», «видя у себя паспорт и свободу во все края и области», Авель пошел бродить по белу свету, больше не предсказывая судьбу монархам. Надо думать, что он проникся мыслью, которую высказал в письме боготворившей его графине Прасковье Андреевне Потемкиной (в девичестве Закревской): *«будь мудр, да больше молчи»*.

В «Житии» Авеля назван срок его жизни — 83 года и четыре месяца. Но это никак не служит доказательством, того, что записки писал не сам Авель. Если он умел предсказывать конец земной юдоли другим, то что стоило сделать это для самого себя?

Во всяком случае, крепкий характер был у отца Авеля...

ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ

НАДЕЖДА ТАИРОВА

ОБРЫВ?

Среди развлекающих, оглушающих нас изо дня в день звуковых волн — по преимуществу электронной, однообразной жесткой музыки, то заморской, то нашей, доморощенной, — вдруг коснется слуха ясный, таящий улыбку и нежность голос: «Дай, милый друг, на счастье руку...» Что за диво такое — эта пленительная простота мелодии, и сияющая четкость чуть гортанных звуков, и явь медленной улыбки, и старомодная, право же, нежность этих слов: «...на счастье руку»! И вдруг подумается: не странно ли, столько лет прошло, и какие только музыкальные впечатления не наполняли их, смешиваясь и взаимоисключая одно другое, с тех давних пор, как впервые услышала этот бесплотный, из небытия возникающий голос, но ощущение прежнее — что за диво такое...

А услышала — впервые — в доме моей учительницы музыки Лидии Георгиевны Кузнецовой, куда неудержимо влекли меня отнюдь не сами занятия. Тогда, в детстве, музыка и уроки музыки довольно продолжительное время воспринимались мной, как две нигде не пересекающиеся параллельные прямые. Иной был магнит в доме Лидии Георгиевны — ее мать, Ксения Николаевна, восторженное, легкомысленное, совершенно прелестное в свои очень преклонные годы существо, без тени старушечьей занудливости.

— Это ты, детка! — радостно восклицала она, открывая дверь. — Тебе придется поскучать со мной, Лидия Георгиевна еще не кончила заниматься с мальчиком Вовой.

Мальчик Вова, скашивая в мою сторону дурашливо сочувственный взгляд, тянул противным дискантом знакомое: «На-зе-леном-на-лу-гу...»

Ксения Николаевна прикладывала к губам прозрачный пальчик и уводила меня в свою комнату. Входя туда, я всякий раз чувствовала себя Али-Бабой в пещере, полной сокровищ. Чего там только не было! Стены комнаты сплошь закрывали старые афиши и портреты «звезд», блиставших в незапамятные времена на небосклоне русской эстрады, — о каждой из них Ксения Николаевна могла рассказывать бесконечно. А за выпуклыми, в чудных вензелях, стеклянными дверцами огромного книжного шкафа лежали стопками журналы с удивительными названиями: «Новости граммофона», «Граммофонный мир», «Граммофонная жизнь» и «Рампа и жизнь», и «Артист», и много еще чего. Там, аккуратно разложенные в специальные, бархатные изнутри футляры, хранились пластинки производства граммофонных фирм начала нашего века: «Сирена-рекорд», «Стелла-рекорд», «Орфеон», «Лирофон». Но главное сокровище стояло на низеньком столике, торжественно застеленном нарядной вязаной салфеткой, — сам граммофон, фестончатая труба которого волшебным образом оживляла давным-давно умолкнувшие голоса. Стоило только поставить антрацитово-черный диск на граммофонную вертушку, и сквозь треск и шипение светлым неостановимым потоком взмывал в высь легкий голос: «Пой, ласточка, пой...» А его обладательница, молодая и очень красивая, устало откинувшись в кресле, смотрела на нас с портрета — по белому кружевному платью вниз, к опущенной руке, скользила торопливая вязь надписи: «Милой Ксюше, моей усердной поклоннице, на добрую память. А. Вяльцева».

Чем был столь щедрый дар? Случайностью? Минутным порывом импульсивной натуры? Прихотью знаменитости, однажды обратившей свой взор к безвестной девочке у забора, огораживающего театр «Буфф» от неимущих почитателей выступавших там «звезд», меж тем как в свите усердных поклонников «королевы граммофона» состояли и великие князья? И отчего так неподдельно печален жест Вяльцевой на том портрете, безвольно откинута рука и мгла стоит в прекрасных глазах? Разгадка — в дате, поместившей снимок: лето 1912 года. Последнее концертное лето певицы, уже знавшей о скором конце, о неизбежности исхода съедавшей ее болезни. Все возвращалось на круги своя — к началу. К Насте Вяльцевой, никому не нужной юной хористочке, дрожавшей от холода (совсем как та девочка возле театра «Буфф») на летней эстраде сада «Аркадия» в дождливом Вильно, когда чье-то мимолетное внимание казалось незаслуженным подарком судьбы...

Отдельно, в свертке, бережно обернутом шелковистой бумагой и перетянутом черной креповой лентой, хранила Ксения Николаевна газеты и журналы, извещавшие о безвременной кончине Анастасии Дмитриевны Вяльцевой. На фотографиях, запечатлевших траурную процессию, — бескрайнее людское море, хоронил певицу весь Петербург. Где-то там, в скорбящей толпе, шла и гимназистка Ксюша Лихонина.

Но вот топот ног по лестнице — это мальчик Вова вырвался на свободу, туда, на зеленый если уж не луг, то сквер. Лидия Георгиевна заходит к нам, измученная не столько усилиями, затраченными на бестолкового ученика, сколько их бесполезностью.

— Откажусь, непременно откажусь.

Но даже я знаю: не откажется и будет добросовестно пытаться пробудить в лентяе хоть какой-то интерес к музыке. К тому же уроки — единственная для Лидии Георгиевны возможность заработать на жизнь.

А так замечательно все начиналось: она с блеском кончила вокальное отделение консерватории и спела Татьяну в «Евгении Онегине». Но потом вышла замуж за Ленского и после родов потеряла голос. Несчастье тем большее, что сын — увы! — этой жертвы вовсе не оценил. Ленский, кстати сказать, — тоже, ибо, обнаружив «разницу жизненных устремлений», жену с ребенком оставил. Впрочем, это уже другой рассказ — о подчас имеющем место несоответствии образа благородного героя и личности его воплотителя на сцене.

Лидия Георгиевна опускается на диванчик, прислушивается. А у нас весело, у нас Вяльцева поет: искрится под луной снег пушистый, и мчится в морозную ночь лихая тройка навстречу чьей-то большой любви...

— Тебе не кажется, — морщится Лидия Георгиевна, — что ты портишь вкус своей подруги?

Ксения Николаевна вспыхивает до кончиков серебристых волос:

— Может, и Блоку следует отказать во вкусе, поскольку он частенько заводил граммофон и переписывал в дневник тексты песенок из репертуара Вяльцевой и Паниной?

Как знать, не тогда ли определилась моя будущая профессия и — на долгие годы — любимый жанр: встреча с интересным собеседником. Но как жаль, что столь мелочно, пустяково избирательным было порой мое внимание к рассказам Ксении Николаевны. Теперь бы порасспросить обо всем, да поздно. Нет ни Ксении Николаевны, ни ее дочери, канули в небытие их вечные споры о том, что выше и нужнее людям — классическая музыка или эстрадная. Где теперь те портреты, украшавшие их теплый дом, — Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, Надежды Плевицкой, Наталии Тамары, Нины Дулькевич, Изы Кремер... И пластинки, среди которых большинство было фирмы «Сирена-рекорд», счастливо получившей некогда почти монопольное право на выпуск записей несравненной Вяльцевой...

Несравненная — здесь не всуе употребленный эпитет. Таково было непременное, едва ли не официальное приложение к имени певицы. Самые известные рецензенты в самых популярных газетах и журналах, захлебываясь от восторга, живописали концерты Несравненной. И даже знаменитый фельетонист Влас Дорошевич, сменив язвительное перо на лирическое, пылко возражал некоему серьезному критику, посмевшему утверждать, что искусство госпожи Вяльцевой невелико. И сам Кугель, заметивший Несравненную еще в крохотных сольных партиях на сцене петербургского Малого театра, написал о ней пространное блестящее эссе, чего удостаивались очень немногие из корифеев того времени. Однако газетчиков занимали не только триумфальные выступления Вяльцевой на лучших сценических площадках России — императорских в том числе. Не прочь и позлословить были в печати относительно бешеных цен на билеты (приставной стул стоил 25 рублей), устанавливаемых, по слухам, лично Несравненной, о баснословно высоких заработках, принесших Анастасии Дмитриевне трехмиллионное состояние, о собственном салон-вагоне. «Рампа и жизнь» сообщала своим читателям о покупке Вяльцевой за 150 тысяч рублей имения графа Игнатьева и присовокупляла ехидно: «Оказывается, не так скверно петь цыганские романсы!»

Допустим, не одни цыганские романсы пела Вяльцева. И хотя, что греха таить, по справедливости слыла деловой женщиной, не допускавшей «самотека» в финансовых и организационных вопросах своей концертной деятельности, но легко и много жертвовала на благотворительные цели, в помощь раненым во время русско-японской войны 1904 года, когда, отказавшись от выгодного ангажемента, сама отправилась на Дальневосточный фронт к раненому мужу — полковнику Бискупскому. И на подмостках миллионершу Вяльцеву отличала продуманная скромность сценического облика — изящное, всегда темное платье с одним только украшением в виде белого слоника «на счастье».

Феномен поистине всенародной популярности Вяльцевой в ту дотелевизионную эпоху поразителен. В России не существовало заштатного городишки, где бы не знали, по пластинкам хотя бы, ее голоса, несшего радость жизни, любимого и простым людом, и светским обществом. Побывавший однажды на концерте Вяльцевой в «Эрмитаже» Немирович-Данченко назвал ее большой артисткой, определив тем самым природу сенсационного успеха певицы у публики. Замечательных исполнителей на эстраде и тогда уже имелось немало — Вяльцева была единственной. Виртуозное мастерство, неподражаемая манера пения, теплая чувственная окраска голоса, яркий артистизм и обаяние неотразимой женственности принесли ей славу Несравненной.

Голос этот с удивлением открыли для себя сегодняшние поклонники эстрады, когда в 1974 году Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку Вяльцевой: ее составили отреставрированные записи 1905—1912 годов.

Но что же судьба самой Анастасии Дмитриевны? В чем ее поучительный смысл для нас, живущих три четверти века спустя, по другую сторону великого рубежа, в иное историческое время? И есть ли он вообще, этот смысл, если речь идет не о революционере и даже не о писателе-демократе, традиционно интересных нам своим противостоянием дореволюционному общественному строю? Казалось бы, эстрадный кумир, к тому же обласканный высшим светом. И сопутствующие приметы времени все какие-то несерьезные: газовые фонари, граммофоны, цветочные киоски, ландо, старинные романсы, поклонники, вечерняя музыка в Павловском вокзале, шляпки, шпильки, башмачки и... пленительная сладость вечной сказки о Золушке, ставшей королевой.

Не сказка, однако, ведь — быль. Родилась в семье бедного крестьянина из Орловской губернии. Восьми лет начала работать ученицей в мастерской модного дамского платья, потом — подгорничной в гостинице. С 13 лет выступала в составе провинциаль-

ной опереточной труппы, гастролировавшей по городам и весям России, — бессловесные роли пажей и купидонов, минимальное жалованье, голод, холод, унижения. Пела в хоре — это уже Петербург, известная оперетточная труппа Пальма. Из грошовых заработков исхитрилась скопить на уроки пения у профессора Сонки. В 1897 году — первый сольный концерт на сцене московского «Эрмитажа», принесший небывалый успех. Как оказалось, восходящая «звезда» обладала не только талантом и притягательной внешностью, но и сильным характером — успех ей голову не вскружил. Она выбрала себе — уже могла выбирать! — лучшего концертмейстера, равного которому в обучении дикции и фразировке не было: самого Таскина — приятеля Шаляпина, аккомпаниатора сладкоголосого Фигнера. Многому научившись, все же поехала еще и в Италию к тамошним знаменитостям, профессорам бельканто. На вершине преуспеяния вдруг — ко всеобщему изумлению — решилась выступить в ином амплуа и спела Далилу в опере Сен-Санса «Самсон и Далила». Репортеры, сообщавшие русской читающей публике сию сногсшибательную новость, посмеивались над капризами разбогатевшей эстрадной дивы, а она уже думала о других партиях на сцене Мариинского театра...

Нет, не сами по себе, не волей счастливого случая или сказочного везения пришли к Вяльцевой слава и богатство — всю жизнь ее сопровождали постоянное стремление к совершенствованию, труд и неустанный поиск. Всю ее короткую жизнь. Но, кажется, и в этой скоротечности скупо отпущенных лет — милосердие судьбы: Анастасии Дмитриевне не дано было пережить ни славу свою, ни любовь. Конечно, теперь можно только предполагать, какой горькой драмой обернулось бы ее семейное счастье всего через четыре года. Красавец Бискупский, которого женитьба на Вяльцевой сделала желанным в гостиных «большого света», революцию не принял и стал смертельным врагом новой России. В 1918 году он — близкий советник гетмана Скоропадского, с ним бежал потом в Кобург, где размещался двор «его императорского величества» Кирилла Владимировича. Там Бискупскому удалось пристроиться воспитателем наследника Владимира. Из дальнейших жизненных перипетий некогда безутешного вдовца стоит отметить его пребывание в фашистской Германии на должности управляющего по делам русских беженцев, полученной им по личному распоряжению Гитлера.

Но думается, Анастасия Дмитриевна не покинула бы Родину и ради горячо любимого мужа. Она со своей нетронутой (по выражению Кугеля) русской самобытностью была беззаветно предана России. Решительно отказывалась от всех заграничных турне. При этом говаривала не раз, что за границу едут славу искать, она же свою славу нашла в России, а заграничной ей не надобно...

Начало второго десятилетия нашего века горестно помечено утратой еще одной «звезды» русской эстрады. В 1911 году не стало Вари Паниной — певицы, которой принадлежало совершенно особое место в истории цыганского музыкального исполнительства. Варей Паниной восхищался Шаляпин. Под ее непосредственным влиянием (он сам признавался в этом) появилось в певческой манере великого певца естественное, свободное ведение звука, открытый живой язык чувств — все эти вздохи, восклицания, стоны, свойственные традициям цыганского пения. «О, если б навеки так было», — широко, распевно льется шаляпинский голос в романсе Рубинштейна, и вдруг на повторе фразы — протяжный, мукой и отчаянием захлебнувшийся стон от сознания хрупкости, недолговечности нежданно выпавшего счастья: «О-о-о, если б навеки...»

Слушать чарующее контральто Вари Паниной любил Антон Павлович Чехов, подаривший певице свою фотографию с уважительной надписью: «Варваре Васильевне Паниной».

А вот что записал однажды в дневник Александр Блок: «Сидели мы с Ремизовым, заводили граммофон, все больше Варю Панину».

Шаляпин, Чехов, Блок — такие разные творческие индивидуальности, но на таланте Вари Паниной они равно сходились в преклонении и восторге.

Панина достигла высшего официального признания, какого только мог достичь в те времена артист эстрадного жанра, — ее пригласили выступить в Мариинском театре. Наверное, Варварѐ Васильевне было холодно и неуютно на императорской сцене перед золотом блещущими ложами. Репертуар Вари Паниной, колдовское действие ее голоса предполагали интимность камерного зала, не стесненный условностями света ответный порыв зрителей, их слезы, искренность их волнения — все то, к чему привыкла исполнительница, что питало ее неповторимое дарование.

С младенческих лет родной стихией певицы был вольный воздух Петровского парка, где издавна селились московские цыгане, составлявшие многочисленные хоры. Работали они в ресторанах, трактирах, чайных Москвы. Своеобразие быта, всего уклада жизни целиком определялись потребностями нарождающегося делового сословия — купцов, промышленников, удачливого торгового люда, которые не мыслили себе веселья и разгула без цыган. В такой среде, по ее жестким, исключающим право на собственный выбор законам и выросла Варя Васильева. Ей и четырнадцати лет не исполнилось, когда она начала петь в хоре Александры Паниной, чью фамилию и прославила потом, выйдя замуж за племянника хозяйки.

Красота низкого густого голоса солистки хора из ресторана «Стрельня» привлекла внимание владельцев «Яра», а в «Яре», надо сказать, выступали только первоклассные певицы. Степанида, слушать которую сюда приезжал молодой Глинка и более трех десятилетий спустя пометил на рукописи одной из своих обработок народных песен: «петая знаменитой Стешкой». Таня Дементьева, очаровавшая когда-то Пушкина и Языкова. Олимпиада Федорова, Пиша — память о ней сохранилась в старой цыганской песне: «Что за хор певал у «Яра»! Он был Пишей знаменит».

В 90-х годах прошлого века в «Яр» стали ездить из-за Вари Паниной. Но чем шире становилась ее известность, тем чаще петь ей приходилось в отдельных кабинетах — нововведение, специально придуманное для денежных воротил, желающих «гулять» отдельно от прочей ресторанной публики, и чтоб Варя Панина — только для них. Очевидцы рассказывали: она садилась в неизменной позе, облокотившись о край стола, устремляла вверх невидящий взгляд и под тихое тремоло чутко следующих за ее голосом гитар вдохновенно, по-своему вела старые запетые романсы. О хризантемах, отцветающих в осеннем саду, о сладко пахнущей по весне белой акации, о чувствах, похожих, по словам одного из поклонников певицы, на большие изящные цветы. Ушедшая в себя, побледневшая, кого молила она: «Не уходи, побудь со мною...»? Куда, в какие немыслимые дали уносила ее прочь от прокуренных и залитых вином кабинетов «пара гнедых, запряженных с зарею»?

«Она пела голосом почти грубым, напоминавшим бас, совершенно не женским по тембру, но с чисто женскими, удивительными по остроте своей интонациями. Какие-то смутные образы рождались из ее песен и щемили душу...» Доверимся этому живому впечатлению, оставленному нам замечательным знатоком сцены Александром Кугелем (какие имена сияли над заметками об эстраде, почитавшейся тогда, видимо, искусством!), впечатлению тем более ценному, что представления о подлинном голосе Вари Паниной — дивном, редкостного виолончельного тембра контральто — мы, к великому сожалению, не имеем. Виной тому — не только несовершенство звукозаписывающей аппаратуры начала века, скорее несовпадение во времени этой новинки технического прогресса с легендарной порой расцвета творчества Вари Паниной. Известные нам пластинки напеты, когда голос очевидно тускнел и стремительно раскручивался последний виток ее жизни, отмеченный тем не менее решительными переменами. Варя Панина порывает с кафешантанной эстрадой.

Шаг отчаянный, если учесть, что уже давала о себе знать тяжелая болезнь сердца, а искать успеха предстояло у публики избалованной, искушенной, просвещенной. Перехитрить ли судьбу хотела Варвара Васильевна? Может быть... Страшна была участь примадонн цыганских хоров, и никто, даже самые знаменитые, никто не избежал ее: сегодня заливают волны любви и восторга, а завтра, чуть поубавится зажигательной игры в голосе да завлекательной легкости в ногах — отхлынут, будто и не бывало ничего. Дальше удел один до конца дней — забвение, нищета, зачастую голодная смерть.

Выступления Вари Паниной проходили на лучших сценических площадках Москвы и Петербурга. В воспоминаниях современников запечатлелся облик певицы тех лет — пожилой дородной женщины. А ведь Варвара Васильевна умерла на сороковом году жизни! Но — пятеро детей, заботы о которых были ее и ничьи больше. Но — золотая кабала «Яра», иссушающая душу, отнимающая силы и здоровье. По счастью — не талант: Уже не такой яркий и гибкий, как прежде, голос певицы приобрел теперь глубину выстраданных чувств, благородную простоту манеры, умение трогать сердца без дешевой слезливости или сентиментального жеманства. Искусство Вари Паниной несло возвышающую первозданную чистоту жанра старинного романса, столь редкую и тогда, и в наши дни.

Имя певицы после ее кончины долго еще не сходило с концертных афиш, используемое ловкими дельцами от эстрады для рекламы новых «звездочек». Анонсируя выступления одной из них, объявляли: «Юная Варя Панина». «Заместительница Вари Паниной», — кричали афиши про другую. «Продолжательница» — про третью. Но уникальное явление Варвары Васильевны Паниной так и осталось неповторимым, подобно ее влиянию на исполнительский стиль живших много позже и нынешних певцов из числа приверженцев старинного романса. Свет погасших больших «звезд» эстрады тоже, оказывается, продолжает идти сквозь годы.

Впрочем, бывают странные сближенья. Прошло восемь лет с тех пор, как не стало Вяльцевой. И вот однажды зимним вечером в квартиру ее бывшего концертмейстера А. В. Таскина на улице Кабинетской, в доме № 7, позвонили. Открывший дверь хозяин квартиры увидел на пороге двух прелестных девушек: одну — совсем молоденькую, другую — постарше.

— Вы не могли бы послушать мою сестру? — попросила старшая. — Она хорошо поет.

— Да? — Таскин недоверчиво оглядел застенчивое золотоволосое создание. — А где, позвольте полюбопытствовать?

— У нас в Ростове-на-Дону, — ответила за сестру старшая.

Деловито рассказала, что она уже учится здесь, в Петрограде, в консерватории по классу фортепьяно, а сестра с выбором жизненного пути замешкалась, хотя успех в любительских концертах у нее большой, но возможно, это так, мелкие домашние радости... Вот если сам товарищ Таскин одобрит, тогда — другое дело...

— Ну что ж, — суховато промолвил Таскин и сел к роялю, — если уж вы приехали... Что петь будем?

— Старинный романс, — сказала золотоволосая шепотом. — «Увидя вас один лишь раз...»

Когда она кончила петь, маэстро заговорил не сразу.

— Увидя вас один лишь раз, кое-какие выводы сделать можно, а главное, нужно... Как величают вас, милая незнакомка?

От смущения, должно быть, девушка представилась полным именем и фамилией:

— Изабелла Юрьева.

— Звучит, — задумчиво улыбнулся Таскин.

День тот помнится Изабелле Даниловне будто вчерашний. Ну да, потому что — начало, и все тогда решилось.

— А она сможет этим зарабатывать на хлеб? — засомневалась по долгу старшей сестры практичная Нюся.

— Даже с маслом, — твердо заверил Таскин и усмехнулся, вспомнив, наверное, гонорары Несравненной.

От активной концертной деятельности Алексей Владимирович уже отошел, но пообещал подготовить Изабеллу Юрьеву к дебюту, разучив с ней три романса. Это были бесценные уроки, уроки на всю жизнь. Исполнительница старинных романсов, говорил Таскин, должна непременно обладать способностями драматической актрисы. Спеть романс — значит сыграть миниатюрный спектакль, извлечь максимум содержания и смысла из двух-трех четверостиший текста, чтобы каждое слово жило, окрашивалось чувством и становилось выпуклым, зримым или проскальзывало, как бы затененное. Интонационная выразительность, вдохновенно вещал Алексей Владимирович, это тонкая игра света и тени. Разумеется, одной вокальной техники, пусть даже превосходной, тут мало. Ум, сердце, голос и труд — вот что образует исполнительницу старинных романсов. И боже упаси когда-нибудь, хотя бы в зените славы, взглянуть свысока на свое ремесло, решить, что в каждодневном труде уже нет нужды, что публика не заметит мелких погрешностей, небрежности в исполнении и холодного, пресыщенного успехами сердца...

Таскин сам договорился с кинотеатром «Колизей» о дебюте своей подопечной. В двадцатые годы стать участницей концерта перед началом киносеанса было делом не только не зазорным, но свидетельством признания высокого уровня исполнительства. Владельцы кинотеатров заключали контракты с лучшими из мастеров эстрады.

Изабеллу Юрьеву объявили сверх программы и представили в афише «многообещающей». Интерес к дебюту «многообещающей» был обусловлен, естественно, не ею самой, никому не известной певицей, а ее знаменитым аккомпаниатором. Это его имя, едва произнесенное конферансье, потонуло в аплодисментах.

— Ну, с богом, девочка! — шепнул Таскин и за руку вывел на сцену дебютантку.

Сбоку ударил яркий свет, и зал неразличимо поплыл у нее перед глазами. Что чувствовала она в ту минуту, идя к роялю на негнущихся ногах? Только страх перед любопытствующей публикой, только смятение и неуверенность в себе. И огромное волнение, не оставлявшее ее перед выходом на сцену и много позже, когда все узнали это звонкое имя — Изабелла Юрьева.

Довольно скоро после успешного дебюта в «Колизее» Москва предоставила ей самую, пожалуй, престижную из своих сценических площадок — театр сада «Эрмитаж». Аккомпанировал Изабелле Юрьевой начинающий композитор Артур Полонский. И московских любителей эстрады покорил удивительный голос певицы, так странно контрастирующий силой и широтой гортанных звуков с хрупкостью внешнего облика. Необычайно короток оказался путь застенчивой, краснеющей от комплиментов провинциалочки ко всеобщему признанию. И это — в степенной, не быстрой на любовь старой столице, хорошо помнившей триумфы Вяльцевой и Паниной, по-прежнему благоволившей к еще блистающим дореволюционным «звездам» — Нине Дулькевич и Наталии Тамаре. Было с кем сравнить. Но уже в 1925 году газета «Известия» высказалась об Изабелле Юрьевой весьма определенно: «Еще одна пропагандистка умирающего стиля «жестоких романсов». Однако Юрьева — несомненно лучшая из имеющихся у нас таких певиц. Она обладает значительным по силе, разнообразию и красивым по тембру голосом. У нее есть вкус, есть музыкальность, она чутка к декламации». Автор той статьи, между прочим, обратился к молодой певице с дружеским советом оставить «умирающий» жанр и попробовать себя в народной песне.

Совет, надо заметить, как покажет ближайшее будущее, не лишенный здравого смысла, но Изабеллой Юрьевой не принятый. И именно романс и песни, близкие к романсовым, принесли певице любовь слушателей. Были в ее репертуаре произведения, никем ни до, ни после нее не исполняемые. Случалось ей с бережностью талантливого реставратора восстанавливать произведения, нещадно и неграмотно запетые другими исполнителями, — очищать мелодию от многолетних искажений и возвращать старинному романсу изначальную тонкость чувств и благородство вокального материала.

В Изабелле Юрьевой счастливо соединились качества, образующие большую эстрадную певицу: очарование красоты и грациозной пластики движений (на эстраде после Вяльцевой и по сей день не было лица красивее!), свободный и гибкий голос, долго сохранявший обаяние молодости, высокое вокальное мастерство, восхищающее отточенностью и выразительностью каждой музыкальной фразы, каждой интонации, и несомненное драматическое дарование, яркое и сильное. Однако было еще нечто, выделяющее Изабеллу Юрьеву среди многих эстрадных «звезд» не только прошлых лет, но и сегодняшнего времени: ее творчество несло слушателям чистоту и богатство духовного мира самой певицы, открытые и не защищенные ни эффектной позой, ни спасительной иронией собственные ее представления о любви и счастье, верности и долге, душевном благородстве и женском достоинстве. И когда Изабелла Юрьева пела «Только раз бывает в жизни встреча», она не разыгрывала предложенную романсом ситуацию — она рассказывала о себе...

Поклонников эстрады, взыскующих пикантных подробностей из жизни «звезд», очень разочаровали бы детали аскетического бытия Изабеллы Юрьевой. С ней никогда не случалось происшествий, не одобряемых самой строгой моралью, — ее и представить было невозможно, скажем, громко где-то конфликтующей по «бытовым» или иным вопросам, как это случается ныне. Один и тот же мужчина всегда привозил ее на концерт и увозил после — муж, милый друг, на всем свете единственный... Натура романтическая, он писал стихи — некоторые из них положены на музыку композитором Борисом Фоминым, в том числе широко известный романс «Если можешь, прости». Чтобы быть всегда рядом с женой, он пожертвовал карьерой юриста и стал администратором концертного объединения. Годами полного совершенного счастья называет Изабелла Даниловна все сорок шесть вместе прожи-

тых ими лет. И умирая, он больше, чем от последней смертной муки, страдал от сознания, что оставляет жену одну — такую неделовую и непрактичную, робеющую перед простейшим житейским неустройством.

Есть какая-то особенная печать на обители старых артистов — трогательно откровенный знак ушедшего времени. Молодые портреты хозяев дома и их друзей, по большей части тех, что никогда уже не войдут сюда. Тяжелые шторы на окнах и несовременный уют квартиры. Афиши давным-давно состоявшихся концертов. А за окном здесь старый московский переулок, по которому каждый день ходили когда-то в гимназию две сестры: Марина и Анастасия Цветаевы. Матово поблескивает крышка рояля и глянцевито — желтизна нотных листов на нем. Удобное кресло у столика с телефоном — единственной, пожалуй, приметой сегодняшнего дня в этой квартире. Мебель едва ли не музейная. Старинное зеркало, отражавшее некогда еще совсем молодое лицо хозяйки. Изабелла Даниловна живет в этой квартире уже шесть десятилетий...

Ах, лукавил, конечно же, велеречивый дипломат Тютчев, когда в преклонных летах писал предмету своей юной страсти: «...и то же в вас очарованье»! Не то, ясно же, не то. Время неумолимо уносит былую красоту. Но можно, оказывается, и в старости сохранить очарование. Иное, но — очарование: прелестной лепки точеных черт лица и гладких легких волос, былое золото которых размыто серебром, ясности доверчивого взгляда и мужественного умения жить без праздников, какими полна была жизнь прежде. И еще — не случайность в одежде. Кто-то в ее возрасте сказал бы: да не все ли, мол, равно А она: вот юбку купила — ничего особенного, и не скажешь, что от Зайцева...

— Смотри, программка нашлась, — смеется тихо, — это я в Большом театре пела. Да, да, представь себе! Сборный концерт: Качалов, Пашенная, Гельцер, Козловский, Юрьева... Когда же это было? Старинный романс — в Большом театре... Ах да, в 1928 году 19 ноября! Тогда еще все было относительно благополучно...

— А когда стало плохо?

— Ну как тебе сказать, — задумывается Изабелла Даниловна. — Если говорить о жанре, то возня вокруг него началась много раньше, просто отдельным исполнителям позволялось — пока еще позволялось — брать в репертуар старинные романсы. Мой склонный к образному мышлению муж определил тогда ситуацию как эффект паука. Муха может бесстрашно ползать где-то рядом с паутиной, даже касаться, а опасности не чувствовать, потом вдруг — ап! И — пожалуйста! В один день объявлено: подготовить новый репертуар, чтобы романса — этой отрыжки гнилого буржуазного строя — и в помине не было! А если у меня назавтра концерт?

Легко написать: она на всю свою творческую жизнь сохранила верность старинному романсу. Красиво и благородно звучит — в духе именно старинного романса. Но какая драма судьбы стоит за этим!

Вскоре после возникшей в 1925 году Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) по ее же образу и подобию, с той же целью — бо́льшей социальной активности и действенности в деле всемерной помощи социалистическому строительству со стороны именно пролетарской прослойки творческой интеллигенции, была создана и Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ). Держались рапмовцы этаким единовластными вершителями судеб музыкального искусства в стране. Они повели решительную борьбу с буржуазными происками и в самой музыке, и в исполнительстве. Вся легкая музыка расценивалась как нэпманская, как музыка классового врага, специально рассчитанная на культивирование в народе нездоровых дряблых лирических настроений, а потому относиться к ней следует как ко всякого рода вредительству. Особенным гонениям подвергался старинный и цыганский романс. Успех его у слушателей объяснялся не иначе, чем тяжким рецидивом проклятого прошлого. «Довести до конца борьбу с нэпманской музыкой!» — таков был основной лозунг рапмовцев.

Довести до конца формально помешало историческое постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», где прямо указывалось, что и РАПП, и РАПМ, овладевшие командными высотами в литературе и искусстве, стремились навязывать писателям и музыкантам свои требования и вкусы, навешивая безответственные ярлыки.

Справедливость вроде бы была восстановлена, и директивные предписания, спущенные рапмовцами в учреждения, в чьем ведении и непосредственном подчинении находились артисты эстрады, должны были упразднятся, признаваться в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) ошибочными. Но этого не произошло. Требования вульгарно-прямолинейно связанного с современностью репертуара и исключение из него романса как явления социально чуждого остались в силе. Музтрест по-прежнему выпускал пластинки не со старинными романсами, а с пародиями на него, к чему не без успеха причастны были известные пародисты. И популярный романс «Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога» В. Я. Хенкин лихо переиначивал на потребу современным веяниям: «Вам девятнадцать лет, у вас своя корова...» Осмеивать жанр становилось все более модным.

Первая пластинка Изабеллы Юрьевой — по одному романсу с каждой стороны — вышла только в 1937 году. Музтреста к тому времени уже не существовало, а выпуск грампластинок относился к сфере деятельности Грампласттреста, предприятия энергичного и разворотливого. Легко предположить, что скромная эта пластинка, снабженная этикеткой «Апрелевский завод Памяти 1905 года», обязана своим появлением соображениям скорее коммерческого, нежели творческого порядка: с учетом необыкновенной популярности певицы можно было предвидеть мгновенную реализацию пластинки.

В стране наступил патефонный «бум». Портативный музыкальный ящик, утратив громоздкость и малую подвижность граммофона, стал привычной приметой быта тридцатых годов. Описывая начало своего отдыха в Крыму, Илья Ильф иронизирует, но вряд ли сильно преувеличивает положение:

«...на полуострове ударили сразу двадцать тысяч патефонов, завертелись и завизжали пятьдесят или пятьсот тысяч пластинок». Паточные голоса модных теноров мило грустили в ритме танго об утомленном солнце или красиво вспоминали под медленный фокстрот загадочный парк Чаир, где распускаются розы.

Взрыв танцевальной музыки распространялся как бы нижним слоем, нацеленным развлекать и повсеместно увеселять массы в минуты отдыха. Верхним же — все больше популяризировалась иная музыка и песни иные. Развернут и крылат был полет тех песен, призванных стать визитной карточкой жизни общества, характера и образа мыслей советского человека. Люди старшего поколения не забыли ошеломляющего распространения «Песни о встречном». Она несла в себе ритмы и настроение весеннего утра и утра страны, что «встает со славою». Бодрящая энергией всеобщего радостного подъема, песня эта словно родилась из воздуха эпохи — уже не упоминались в связи с ней ни автор мелодии Дмитрий Шостакович, ошельмованный разносной критикой за «сумбур вместо симфонической музыки», ни автор слов Борис Корнилов, репрессированный в 1938 году.

Лавры «крокодильца» Лебедева-Кумача, однажды утром проснувшегося знаменитым поэтом-песенником, не давали покоя и другим. Павел Герман, еще вчера писавший для композитора Бориса Фомина и Изабеллы Юрьевой проникновенное: «Только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить», сегодня отражал беспредельность больших, но общих чувств: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Мелодические, легко запоминающиеся песни тридцатых годов! Голоса, мысли, чувства — в мажорном унисоне. Иначе быть не может, не должно быть. Кто там шагает левой? Категоричность и призывность текста и упругих, в основном маршевых, ритмов были подобны мчащемуся горному потоку — не устоять. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!», «Мы жизни выходим навстречу», «...посылает нас страна», «...стремим мы полет наших птиц» — естественны и непреложны здесь местоимения во множественном числе: нам, мы, нас, наших. Если где и встретится «я», то уж не затем, чтобы выразить интим, — только глобальное: «Я другой такой страны не знаю...»

Впрочем, широко исполнялись тогда же и вокальные произведения, созданные совершенно в ином музыкальном ключе, — возвышенно одухотворенные, лиричные, то нарядно стилизованные под народные песни, мягко напевные: «...на дубу зеленом два сокола ясных вели разговоры. И как первый сокол со вторым прощался...», а то ярко озаренные романтикой пафоса: «...много есть имен на свете, но дороже всех — одно». И дальше — на светло взлетающих вверх нотах в экстазе почти молитвенном: «Пусть живет любимый Сталин много-много долгих лет».

Общеизвестно, Иосиф Виссарионович не оставлял развитие искусств без личного своего пригляда. Любил побаловать себя и товарищей по совместной работе — обычно после позднего ужина — выступлением мастеров разнообразных жанров. Прихоть вождя сводила оперного певца и пародиста, исполнительницу русских народных песен и чтеца. Вызывали на эти концерты неожиданно, отказаться от участия было немыслимо.

Однажды ночью звонок раздался и в квартире Изабеллы Юрьевой. Трубку снял муж. Подчеркнуто бесстрастный голос сообщил, что Изабелла Юрьева приглашается выступить в Кремле, машина за ней уже послана.

— Если вы действительно оттуда и там уже собрались другие артисты, пусть кто-то из них возьмет трубку.

— Да ты что? — шепнула мужу перепуганная Изабелла Даниловна. — Разве им можно не верить?

Но, как ни странно, на другом конце провода ответили довольно вежливо:

— Пожалуйста, можете поговорить с Иваном Семеновичем.

— Приезжай, Беллочка, здесь тебя ждут, — услышала знакомый голос.

Поехала вместе с мужем, естественно. Посидела за банкетным столом возле Калинина в ожидании своей очереди. Спела два романса. Раскланялась холодно: «Теперь я могу быть свободна?» Кто-то, она не помнит — кто, поблагодарил за доставленное удовольствие. Остался от того выступления осадок — на редкость неконтактная была публика...

Изабелла Даниловна еще раз удостоилась высочайшего приглашения — на банкет в Центральный дом Красной Армии. Знакомый певец (ах, умница — ныне народный артист СССР) выговаривал потом за угрюмую неприветливость и застенчивость, наверняка показавшуюся всем надменностью, — нет чтобы улыбнуться Самому, впечатление приятное произвести... Глядишь, и смягчился бы, потеплел климат вокруг опального старинного романса, а то ведь совсем озверел репертком — все вычеркивает, даже на слова Фета романс не пропустил...

Она до слез жалела тот романс, «Сияла ночь», — драгоценное кружево мелодии, томительность светлых чувств. А слова, какие слова — сами по себе музыка — написал волшебник Фет: «...тебя любить, обнять, и плакать над тобой».

Но слово «любить» стремительно исчезало с подмостков. В книге «Звезды советской эстрады» ее автор Г. А. Скороходов приводит по этому поводу любопытный факт. Когда фильм «Веселые ребята» вышел на экраны страны, никто из зрителей не заметил очевидного несовпадения артикуляции Утесова, поющего марш веселых ребят, с произносимыми словами: «Нам песня строить и жить помогает» — этой сразу же ставшей крылатой, лозунговой строчкой. Оказывается, ее перезаписали в последний момент перед выходом на экран, раньше пастух Костя пел несколько иное: «Нам песня жить и любить помогает», что посчитали несоответствием духу времени.

Вот почему не приходится удивляться состоянию, в котором пребывал, точнее, *не* пребывал на эстраде старинный романс как жанр любовной лирики. Выступления в его защиту малочисленны, похвалы сдержанны и скупы. Журнал «Советская музыка» в 1940 году статьей А. Живцова «Заметки о легком жанре» прямо говорит: «По своему положению в среде мастеров искусств «цыганские» певцы и певицы изгои». А цыган-

скими тогда назывались все старинные романсы.

На фоне судебных процессов над «вредителями» и «классовыми врагами», отчетами о которых заполнялись страницы газет, в Ленинграде в 1934 году вряд ли вызвало бы интерес одно печальное событие, даже если бы оно и стало достоянием гласности. Но узнали о нем только несколько жильцов, обнаруживших в каморке под лестницей — бывшей дворницкой — труп пожилой женщины, да прибывший по их звонку оперуполномоченный. Кто она — жильцы толком сказать не могли: жила тут, побиралась. Все имущество покойной состояло из жалкого узелка. Внимание оперуполномоченного, его развернувшего, привлекли какие-то письма, фотографии, несколько концертных афиш. На афишах — одно и то же лицо, крупно — фамилия исполнительницы арий из оперетт и старинных романсов: Наталия Тамара. «Неужели она?» — ахнули жильцы...

В той непосильной борьбе со зловещими тенями рапмовцев выстояли немногие исполнители старинных романсов, уцелели — единицы. На сегодняшний день — одна Изабелла Юрьева. «Мадам "вечный аншлаг"», как ее называли усердные поклонники. Любимая и по сей день желанная и дорогая не одними воспоминаниями старшего поколения — ее искусство завоевывает все новых и новых почитателей, никогда не видевших ее, а только слышавших по радио и на пластинках, все так же расходящихся в считанные часы. «Это же Изабелла Юрьева!» — сказала в магазине «Мелодия» на Калининском проспекте молоденькая продавщица. Но даже самоотверженное участие певицы с первого дня войны во фронтовых бригадах, ее концерты на передовой, в воинских частях и госпиталях оценены должным образом не были. Изабелла Юрьева не удостоилась никаких званий за всю свою сорокалетнюю творческую деятельность.

Что это было? Заговор ли молчания, с годами все более странный, лед ли равнодушия, растопить который не могла и «оттепель» пятидесятых годов? Чем, в конце концов, мог так досадить недавним культуртрегерам замечательный, популярный жанр старинного романса? Достаточно полно зная репертуар Изабеллы Юрьевой, могу свидетельствовать: все, что она исполняла, — вокальный материал высокой пробы и литература совсем не плохая, без намека на пошлость или халтуру. Изабелла Юрьева всю жизнь воспевала красоту и неизменность большой любви, верность, благородство, чувство собственного достоинства. Так, может быть, тут и лежит разгадка — в том, что несло людям искусство певицы, чем отзывались в сердцах слушателей исполняемые ею старинные романсы?

Официальные установки тридцатых и сороковых годов подняли в цене иные человеческие качества, исконно презираемые народом: предательство, прямой оговор, отречение жены от мужа, детей от отца и матери. Десятилетний срок заключения предусматривало тогдашнее законодательство за недоносительство жены на мужа — «врага народа», и тысячи прекрасных женщин оплатили здоровьем, а то и жизнью свою любовь и верность. А какой болью и нежностью, рассказывали мне, отзывались в душе по-новому тогда зазвучавшие слова старого романса Вяземского, исполнявшегося Изабеллой Юрьевой: «Теперь вдали от вас за сотни верст, к несчастью, когда мученья я терплю, тут только понял я, с какой безумной страстью я вас любил, я вас люблю...» Когда это было!..

Но отчего и в наши дни не сладко приходится старинному романсу, будто не коснулась его еще законная реабилитация, поднимающая ныне из беспамятства и бесчестия имена невинно пострадавших в те годы?

В прошлом году Ленинградское телевидение рассказало о поразительной судьбе исполнительницы старинных романсов Галины Барановой. Двадцать один год — подумать только! — не пускало ее к слушателям руководство Ленинградской филармонии. Теперь — после передачи, разумеется, — изменилось кое-что. Галина Баранова стала выступать. Услышали и телезрители ее голос — чудесное гибкое контральто, так напоминающее голос Вари Паниной...

А многие ли слышали московскую певицу Елизавету Разинову? Я — лишь однажды, случайно, в Доме культуры медработников на улице Герцена. Много и щедро пела Разинова в тот вечер. Прозвучал любимый романс Пушкина — «Что делать, сердце, мне с тобою?» и — Достоевского: «Расставаясь, она говорила...» Попали на концерт далеко не все желающие, а где и когда будет следующий — про то певица не могла сказать взволнованным слушателям, поскольку не связывается у нее что-то там с Москонцертом, тарификацией, планами и прочими какими-то страшно важными чиновничьими тонкостями...

Еще одно имя назвала мне сама Изабелла Даниловна Юрьева — Валентины Пономаревой: «Она понимает, о чем поет, — это теперь такая редкость. Благородство и утонченность манеры — удивительны».

Звезда Валентины Пономаревой взошла относительно недавно, когда она спела за кадром в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» несколько романсов Андрея Петрова. Спела так, что они образовали едва ли не главное достоинство картины. Во всяком случае, опоэтизировали ее, возвысили, внесли щемящую, подкупающую искренностью настоящего чувства ноту.

У солистки Росконцерта Валентины Пономаревой тоже нелегкая судьба, — видно, по-другому и быть не может у певицы, связавшей ее со старинным романсом. Работала в периферийном театре, 16-летней играла Машу в «Живом трупе», потом — несколько лет на сцене московского Театра «Ромэн». В его стенах родилось широко известное трио «Ромэн», с успехом выступавшее и у нас в стране, и за рубежом. Валя пропела в этом трио двенадцать лет, связанная общим репертуаром и своей ролью «очаровательной середины» меж двух певцов-мужчин. Но как хотелось петь одной, как вольно взлетел ее голос в романсе «Луны волшебной полосы», когда выпадало коротенькое соло — музыкальная фраза из Шопена, и реял в вышине свободно и грациозно, подобно птицам над полем...

Ушла из трио «Ромэн», можно сказать, в никуда, презрев благополучие и достаток, советы осторожных доброхотов. И вдруг эта работа в кино. Пусть за кадром, но ведь главное — петь романсы, где прекрасны и музыка и слова. Цветаева, Ахмадулина — поначалу и подступиться боязно было, все думала: разве это — мое? После выхода фильма на экраны романсы Петрова в исполнении Валентины Пономаревой зазвучали по радио. Заявки на них шли постоянно, и все плыл и плыл в эфире, то еле касаясь мелодии, то страстным и полным звуком ни на какой другой не похожий голос певицы.

Однако и здесь без ложки дегтя не обошлось. Голос Пономаревой в фильме «Жестокий романс» звучал, но ее фамилия в титрах отсутствовала. Вышла пластинка с аннотацией самого Рязанова — о Пономаревой опять ни слова. Ларчик открывался просто: фильм шел на госпремию, а что же это, скажите на милость, за исполнительница главной роли, поет за которую одна, говорит — другая, а сама она только позирует в красивых платьях...

— Все это уже пережито, — грустно улыбается Валя, — теперь у меня новые заботы, вот еще одну программу сдаю...

Ее первую программу старинных романсов поставил Михаил Казаков. Неожиданное для себя амплуа он объяснял тем, что является давним поклонником таланта Валентины Пономаревой: «Но не только поэтому, не только... Был еще и другой побудительный мотив: интерес к самой личности певицы, возникший, когда я однажды увидел ее на авторском концерте Альфреда Шнитке. Валя работала тогда в трио «Ромэн», а както не очень совмещались цыганские народные песни и романсы с произведениями Шнитке — композитора далеко не простого для восприятия... Что, на мой взгляд, отличает Пономареву? Духовная наполненность голоса, чудное единство слова, интонации, фразировки, безупречный вкус — эти верные признаки общей культуры. На репетициях, помню, сколько ни слушал ее, а запоет — снова заслушаюсь, будто впервые...»

Концерты Валентины Пономаревой с большим успехом идут по городам России — всегда в переполненных залах.

Москва сольных концертов Пономаревой пока не слышала, не торопится Росконцерт.

Парадоксальная, однако, складывается ситуация: право на существование должен доказывать демократичнейший жанр, который и сегодня, как столетие назад, трепетно любим и почитаем. Не отринут, не затерян в вихре новомодных музыкальных течений, направлений, стилей. Невеликое, но — звено, живое звено общей цепи. Все возрастающая духовная потребность в нем не случайна. Вот что писала в апреле этого года «Правда»: «Идущие в стране преобразования обостряют в народе жажду общения с культурным наследием веков, с работой ума и сердца наших далеких и близких предков. Умножая гуманистический потенциал общества, расковывая творческие силы масс, мы должны умело использовать, говоря словами М. С. Горбачева, «все соки, которые нам дают корни, глубоко уходящие в нашу историю».

Но сегодняшние приобретения далеко еще не возместили потерн на долгом пути пренебрежения всей полнотой нашего культурного наследия. Почти утеряно драгоценное свойство любого зала в домикрофонную эпоху — умение слушать, внимать каждому слову, каждой интонации любимого певца. Нужда в том отпала давно — музыка теперь сама врывается в уши. Изабелла Юрьева пела под аккомпанемент рояля или дуэта гитар, и ничего более, даже микрофона не было между певицей н залом. А, скажем, с Аллой Пугачевой едет на гастроли 23 тонны звуковой аппаратуры. Внушительный посредник!..

Но что-то меняется все же, что-то поворачивается — пусть со скрипом и скрежетом — к непреходящим нравственным ценностям. И уже хочется верить, что старинный романс полюбят и нынешние руководители концертных организаций, а сам жанр обретет все права гражданства — наравне хотя бы с популярными рок-группами, повсеместно, с таким размахом, вне зависимости от их качества пропагандируемыми сегодня, особенно Центральным телевидением. Вон даже всегда отличавшийся отменным вкусом «Музыкальный киоск» не остался в стороне.

— Да почему так уж необходимо официальное вмешательство в ситуацию? — удивился моему вопросу руководящий товарищ, просивший его фамилию не называть.

Он упорно не хотел замечать ни многолетней трагедии жанра, за которой стояли трагедии судеб артистов, ни того, что тень давнего, вроде бы забытого, но официально не отмененного постановления словно висит над старинным романсом и сейчас (известное постановление от 1946 года, так называемое ждановское, хоть и не действует — Ахматова и Зощенко широко печатаются — ведь тоже до сих пор не отменено).

— Совсем другое дело, — уверенно заявил мой собеседник. — Романс — что? Частность. И напрасно вы про распавшуюся связь времен. Ноты старые сохранились, исполнители есть — стало быть, ничего не распалось.

Обманчивая легкость возрождения старинного романса — от кажущейся простоты задачи: бери ноты и пой. Но как? Высочайшие достижения именно эстрадной вокальной культуры, неповторимое мастерство не одного поколения «звезд» русской и советской эстрады были оборваны и преданы забвению, их сметали директивными окриками. А известно — на раскорчеванном поле быстрее всего вырастают сорняки. Труден процесс воскрешения. Но ведь идет, несмотря ни на что. В этом — знамение времени.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

В адрес редакции журнала «Москва» и на имя автора статьи «Очерки литературных нравов» пришло свыше двухсот читательских писем. Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу публикацию. Но, к большому сожалению, опубликовать все письма, и к тому же в полном их объеме, а иные из них фактически маленькие статьи в десять — пятнадцать машинописных страниц, мы не имеем физической возможности. Стараемся в нынешнем диалоге автора статьи с читателями и читателя с читателем выделить принципиальные соображения наших корреспондентов и тем продолжить ранее начатый статьей Владимира Бондаренко разговор.

Многие читатели просят представить В. Бондаренко. Даем краткую справку.

Владимир Григорьевич Бондаренко родился в 1946 г. в г. Петрозаводске. Критик. Член КПСС с 1973 г. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию в 1969 г., Литературный институт им. А. М. Горького в 1979 г. Член СП СССР с 1983 г. Автор статей по современной советской литературе и проблемам развития современного театра.

Из множества писем, пришедших в журнал «Москва» после публикации «Очерков литературных нравов» (№ 12, 1987), резко отрицательных около двадцати. Не буду приводить самые крайние мнения — от навешивания на меня ярлыка мракобеса до возведения в духовные наследники и преемники великих критиков России. Полагаю, что обширная почта с откликами читателей, полученная журналом, интересна для всех нас не оценкой личности автора статьи, а общественным мнением по поводу проблем, поднятых в «Очерках». Об этом, в частности, пишет Марк Богославский:

«Уважаемый т. Бондаренко!

Я веду спор с Вами, а не с журналом «Москва», чью позицию считаю разумной. Но и лично к Вам у меня нет никаких претензий: я свожу счеты с общественной позицией, выраженной в Ваших «Очерках литературных нравов», а не с человеком Владимиром Бондаренко... Еще раз прошу: не обижайтесь на мою горячность. А вот знать, какие настроения вызвала в кругах «либеральной» интеллигенции Ваша статья, Вам нужно. Буду рад, если мое цисьмо толкнет Вас хотя бы на пересмотр Вашей позиции...»

О праве на публикацию...

«В заметках «Очерки литературных нравов» Вы подвергли жесткому критическому анализу многое из того, что я принял безоговорочно восторженно, и теперь, после прочтения Вашей статьи, могу добавить — бездумно... Я буду рад, если моя записка послужит для Вас поддержкой, и очень огорчусь, если в этом возникнет необходимость — это будет означать, что статья не достигла цели. Не все Ваши оценки я принял с той легкостью, с которой формировал свои. Кое в чем не согласен, но аргументировать затрудняюсь. Я не изменил симпатиям: произошло лишь то, к чему Вы призвали. Вы написали очень нужную статью. *Н. Менде.* Ленинград».

«Уважаемая редакция! Прочитал «Очерки литературных нравов» В. Бондаренко. Прочитал с большим вниманием, потом еще раз прочитал с огромным удовлетворением. Большое спасибо вам... и В. Бондаренко за «Очерки...». Жду подобных публикаций. С наилучшими пожеланиями. Лауреат Гос. премии СССР, д. т. н. профессор *Воробьев В. М.,* Ленинград».

«Уважаемый Владимир Бондаренко! С огромной радостью прочитал Ваши очерки... Действительно, в период разгула псевдодемократии практически невозможно ни прочитать, ни услышать голос здравый, честный, без какой-либо конъюнктуры... Боюсь только, что теперь на Вас выплеснут — нет, не ушат, цистерну какой-нибудь гадости, да и вряд ли будут еще печатать... Но знайте, что нормальные, не обремененные комплек-

сами снобизма или мифической угнетенности люди все равно будут очень долго с радостью вспоминать Ваше выступление... *Минин Олег Борисович.* Москва».

«Читали мы статью и говорили: «Какое же проглядывает между строчек лицо сталинского выкормыша!» Почему-то Вы не обратили внимания на серые, посредственные произведения, печатающиеся в журналах, а направили свой гнев против «Зубра», «Детей Арбата», кинофильма «Проверка на дорогах». Ясно, что здесь затронута позиция Вашего кумира. Как смели! Ах, как хорошо Вам было, когда зажали при Брежневе всякую правдивую мысль о прошлом нашей Родины... Да, хорошо в Вас воспитали зло, жестокость, подхалимство. Качества, которые растлевали душу человека в годы Сталина подхалимы, карьеристы, доносители и т. д... Кинофильм «Проверка на дорогах». Не можете простить автору сценария и создателям фильма, что они не утверждают сталинскую жестокость, подозрительность. Герой «волею судьбы» одел немецкую шинель, надеясь, что через этот путь (нет, не расстреливал наших людей такой человек!) придет к мести за свои унижения в плену... А Ваш особист, который готов погубить и военнопленных на барже, и нашего героя, сегодня, наверное, ходит в персональных пенсионерах, жив-здоров. Такой не полезет в пекло, он других пошлет! Вот такие — Ваши друзья и «патриоты». Вы и Рыбакова обвиняете, что не пишет больше «Кортиков»... *С. Крамаров.* Гомель».

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники журнала. Позвольте выразить Вам свою горечь и недоумение по поводу опубликования на страницах журнала полемических... заметок В. Бондаренко. Как Вы опустились до того, что опубликовали эту грязь, ложь, пропитанную ядом злобы и зависти. Есть, конечно, у автора и здравые мысли, но не о них речь... Хотя о чем я, Ваш журнал, вкупе с «Нашим современником» и «Молодой гвардией», у каждого здравомыслящего человека и патриота своей страны ассоциируется с застоем, групповщиной, ретроградством и беззубостью.... Извините за резкость, но терпеть и дальше брюзжание и злопыхательство Беловых, Кожиновых, Бондаренко, В. Горбачева и К° нет больше сил... Милый Вы мой, да вся Ваша жизнь, впрочем, как и моя, не стоят одного рассказа Т. Толстой или баллады Розенбаума о дороге жизни... А что касается Ваших домыслов об искренности, то скажу так: что бы подумали многие наши читатели, издай мы без купюр многие стихи Пушкина, «Сашку» Полежаева? Многие и Есенина знают лишь по «Москве кабацкой». Так что же, этот цикл зачеркивает все остальное его творчество? Примеры можно и продолжить, да не стоит. *А. Васильев.* Рудня, Смоленской обл.»

«...Напишу свое мнение о некоторых утверждениях В. Бондаренко. Он пишет о представителе «китч-культуры» А. Розенбауме. По сути, упрекая его в том, что свои песни о войне он пишет не от сердца, а для конъюнктуры, только потому, что у него есть такие песни, как «Гоп-стоп», «Нинка, как картинка» и другие «блатного периода», критик напрямую выходит на Владимира Высоцкого. Читатель ждет продолжения критики или объяснения, почему в таком случае Высоцкий, написавший «блата» не меньше Розенбаума, является не конъюнктурщиком, а «народным бардом»... В. Бондаренко пишет, что сыплются «от наших либералов» жалобы в самые высокие инстанции с требованием выгнать из партии, с работы, запретить печататься. Тоже все поставлено с ног на голову, если и были жалобы на непечатание своих произведений, потому что вся издательская власть в руках «несложных» писателей...

И вообще, сравнения в статье В. Бондаренко удивляют. Вот например: «Истинно художественное произведение всегда многомерно, объемно, поворачивается разными гранями к разным толкователям его. Почему бывают столь разны прочтения «Анны Карениной»?.. Почему по-разному был воспринят Иван Африканович у В. Белова?..»

Немногое, с чем согласен я с Бондаренко, то это его отношение к фильму «Проверка на дорогах» А. Германа. Здесь, думаю, тот случай, когда наша кинокритика не захотела непредвзято проанализировать фильм кинорежиссера, признанного сейчас. Много в фильме надуманного, предсказуемого...

Вы недовольны, что подвергают критике поэта Ю. Кузнецова, защищаете фильм «Лермонтов» Н. Бурляева и самого Лермонтова. То, что Лермонтов наш гений — спора нет, но то, что его человеческие качества были не на высоте, общеизвестно. И я думаю, каждый русский офицер вынужден был бы поступить так же, как Мартынов. Лермонтов оскорбил офицера в присутствии дам, и дуэль была законна. И критик литературный должен об этом знать, а не только курить фимиам великим только потому, что они великие... Вот еще цитата: «Не случайно Сергей Аверинцев, один из лидеров нашей интеллигенции, наиболее актуальную задачу современной интеллигенции видит в выработке «культуры несогласия».

Насчет «культуры несогласия» не знаю... Я хочу спорить о том, что Сергей Аверинцев один из лидеров нашей интеллигенции... Аверинцев утверждает, что Хемингуэй бескультурный человек, Гегель — «страшный человек», к Северянину Аверинцев равнодушен, у Розанова нет никакой философской системы. Очень уж оригинальное мнение у «одного из лидеров нынешней интеллигенции»... *Алифанов О. В.*»

Чтобы не быть голословным в своем утверждении относительно жалоб, приведу письмо студентов Индустриального института в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.

«Непонятно, как может советский критик, каким является Бондаренко, прикрываясь принципиальными критическими методами, так бессовестно обливать грязью стольких порядочных людей... Не от себя, видимо, написан этот очерк: за ним стоят те, кто с самого начала нашей перестройки постоянно льет грязь под видом критики... Ностальгия у них по старым временам застоя — когда они, лицемерные и лживые,

стояли у «руля» литературы... Как же нейменуется Росляковым, Бондаренко и иже с ними... Видимо, те, кто стоит за спиной Бондаренко, не на шутку испугались Вашей гласности, Вашей правды... Бондаренко даже не скрывает своих взглядов, дескать — нет ее и не будет — перестройки. Как не стыдно ему!.. Но мы, молодые, все понимаем... Мы хотим читать то, что пишут такие писатели, как Адамович, как пишет Дудинцев. Хотим смотреть спектакли в театре Ефремова, хотим слушать песни Высоцкого и Розенбаума...

Вообще, с самого начала те писатели, которые относятся к РСФСР, постоянно придираются к тем, что относятся к СП СССР. Даже стыдно за первых. (Ох какие эрудированные и стыдливые студенты Индустриального института! — *В. Б.*). Почитаешь результаты пленума СП РСФСР — все как один выступают против одних и тех же писателей из СП СССР. Что они им сделали? О культе личности пишут! Так совесть-то Ваша где?.. Уважаемый Михаил Сергеевич! Мы благодарны Вам за то, что мы читаем правду...» И дальше — длинный список фамилий.

Пришли и иные письма.

«...Умная, острая, изящная по форме, она (статья. — *В. Б.*) чем-то напоминает стиль моего великого однофамильца (за крайности любого рода не отвечаю.—*В. Б.*). Главное достоинство — аргументированность. Причем не оставляющая противной стороне сколько-нибудь внятного оправдания. В особенности аргументированны куски о «Зубре», о Розенбауме, о четверке на обложке «Огонька», о споре с «Молодой гвардией». Глубоки мысли о Революции и Социализме — впервые в нашей критической литературе. В двух-трех местах В. Бондаренко подставил себя под удар, но места эти не столь важны, хоть и не надо было ему сходить с академического спокойствия: оно, это спокойствие, действует сильнее, чем громкие слова... *А. И. Белинский.* Ленинград.»

«...Разрешите со всей искренностью поблагодарить... за публикацию материала Владимира Бондаренко... Это очерки — не только литературных нравов, а и вообще нравов нынешнего периода, нашей сегодняшней идейной жизни. Многие совершили «поворот на 180°» и, как в былые времена, ведут «игру в одни ворота», только теперь это не «те ворота», а «другие»... Дальше, вероятно, лучше не будет. Маленькое замечание: зачем подзаголовок «полемические заметки»? Всякая хорошая статья или монография — это всегда полемика против кого-то. (Знаю, потому что сам написал семь монографий). Жму руку. Желаю здоровья и успеха. Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии Костромского технологического института *А. В. Соловьев.*»

«...С большим интересом прочла статью «Очерки литературных нравов». Они, несомненно, вызовут дискуссию. Лично я во многом со статьей не согласна, но есть моменты, где я полностью разделяю точку зрения автора. Но сейчас не об этом. Я решила написать Вам, чтобы поблагодарить за очень нужную и, главное, интеллигентную работу. Во-первых, что очень важно, точка зрения автора изложена спокойно, без истерик, с выводами и логическими завершениями. Это особенно важно. Последние публикации некоторых газет и журналов грешат, как мне кажется, некоторой запальчивостью, и уж если ругают, то ругают наверняка и не всегда корректно. А если хвалят, то тоже порой беспредельно. Нет, критика нам очень нужна, но ведь по критике я как рядовой читатель сужу и о культурном уровне автора статьи. Честно говоря, с Вами как автором полемических заметок встретилась на страницах журнала впервые. И большое спасибо за такт, выдержку, деликатность. Все правильно, спор — спором, а уважать своего оппонента обязан. Вот за это и хочется сказать спасибо. Было очень приятно, что без нервозности, весьма тактично Вами отстаивалась собственная точка зрения. *Татьяна Титтель.* Красноярский край».

Это мнение опровергает Л. Тимофеева из г. Ангарска: «Не могла не откликнуться как читатель на полемические заметки Вл. Бондаренко «Очерки литературных нравов». Мне кажется, когда печатаются подобные материалы, нужно представлять автора, к сожалению, я ни как библиограф, ни как читатель, его не знаю, но очень возмущена, каким образом он ведет дискуссии, хотя сам говорит о культуре их ведения. Я не литературный критик, но предельно возмущена его «нападками» на «Огонек» и на другие, наиболее популярные сегодня журналы, еще более возмутительны выпады в адрес Розенбаума, Шатрова, Евтушенко, Ефремова...»

Итак, одна часть корреспондентов считает тон статьи выдержанным, доказательным, другая видит в статье только несправедливые нападки. К этим другим надо отнести и почти всю прессу, откликнувшуюся на «Очерки...» Б. Сарнов упрекает меня в использовании слов «провокация», «гапоновщина», А. Марченко пишет: «Бондаренко добился того, чего и жаждал: наконец-то он в эпицентре молвы, на самом пике полускандальной славы, и им занимается вся литературная и окололитературная Москва». И уж окончательный приговор выносит В. Кичин: «В трудные времена обострившихся споров наиболее разрушенной оказывается именно категория этики. Коллизия двоих на узкой дорожке доказывает, что безнравственность пользуется методами, какие нравственности и в голову не придут. Вот Бондаренко в журнале «Москва» подозревает редакцию «Недели» в том, что она едва не фабрикует письма читателей. Это, конечно, за гранью принятого в цивилизованном кругу. Вора в каждом встречном видит только нечистый на руку».

Надо, полагать, и в последнем случае и выше продемонстрирован истинный профессионализм, подлинно профессиональная этика, преподнесен высокопоучительный урок бытующих и ныне критических нравов.

И все-таки — что же рассердило моих уважаемых оппонентов-профессионалов? Несогласие с их точкой зрения? Непризнание их нескрываемого желания монополизировать истину?

Приведу два письма, присланных в адрес журнала уже после выступления В. Кичина. Т. М. Яковлева, искусствовед, работник Главного управления культуры исполкома Моссовета пишет: «...Разрешите также поделиться соображениями по поводу нападок В. Кичина на те положения статьи В. Бондаренко, в которых доказывается безнравственность использования анонимных писем. Удар В. Кичина обращен вовсе не на одного В. Бондаренко, а на тех, кто признал рассмотрение и использование таких писем аморальным и противозаконным... Президиум Верховного Совета вынужден был принять... Указ, ибо слишком часто некоторые издания, опираясь на некие подметные письма, стали огульно обвинять многомиллионный русский народ в прирожденных задатках антисемитизма и страсти к погромам. Одного не учел Президиум — остаются еще и ссылки на некие анонимные телефонные звонки...»

Эту мысль о сознательном использовании анонимок развивает журналист из Севастополя В. А. Дегтярев: «Вообще периодика последних лет нанесла удары по некоторым моим фундаментальным убеждениям... Я считал, что недостойно, невозможно для советской печати публиковать на своих страницах грязные антисемитские анонимки...»

Должен по этому поводу сказать: я упрекнул редакцию «Недели» за публикацию антисемитской анонимки и провокационное привязывание к ней имен В. Белова и О. Фокиной, усомнился вообще в правомерности использования анонимок, в ответ «Неделя» утверждает: «...это всего лишь «удобный прием»: «поди докажи»... На подавляющем большинстве из них, — неожиданно добавляет «Неделя» — между прочим, обратные адреса есть»... А это уже нечто новое — анонимки с обратным адресом. Кое-кто и впрямь запутался в своих обвинениях и оправданиях, словно не решил еще, как выгоднее подать дело. Сам я сторонник пусть самой жесткой, но открытой полемики, в которой вещи называются своими именами: ложь — ложью, фальсификация — фальсификацией. Скажем, по-разному можно относиться к пьесам Гельмана, но вот когда уважаемый драматург, будучи председателем жюри Всероссийского театрального фестиваля, после проведения тайного голосования отменил его результаты и заставил переголосовать, уже открытым голосованием, в пользу не набравшего нужных голосов спектакля Г. Товстоногова «На дне», к этому факту, на мой взгляд, по-разному относиться нельзя. С трибуны я квалифицировал это фальсификацией выборов. Говорят — неделикатно. С точки зрения нашей «либеральной интеллигенции», неделикатно, так как пример подобного нарушения демократических норм берется из ее ряда, вот здесь поделикатнее слова нужны, а то, глядишь, ненароком и разрушишь с таким напором воздвигаемую новую конструкцию нашей истории, да и нынешней жизни.

Большинство резко отрицательных печатных отзывов об «Очерках литературных нравов» связано с моим осуждением появления в печати антисемитских анонимок, развязывания шумной кампании против экстремистов из «Памяти». Раздражило это и Б. Сарнова, до такой степени, что в его статье «Кому улыбался Блок?» помимо набора бездоказательных политических обвинений читатель вряд ли что еще обнаружит. «Выступает он против перестройки»,— заявляет обо мне Б. Сарнов. Слова громкие, жду доказательств. Вместо этого следует обойма произведений, раскритикованных мною. Так я же могу привести другую обойму произведений, вроде бы поддержанных мною. Скажем, кинофильм А. Германа «Мой друг Иван Лапшин», то же «Покаяние», прозу Ч. Айтматова и А. Адамовича, В. Астафьева и А. Битова... Но зачем это Сарнову, ему нужны другие фамилии, которые он и выдергивает из контекста. Цитирует в пренебрежительном тоне — «Куда перестраиваться В. Распутину или В. Астафьеву, В. Быкову или Ю. Кузнецову?» — и на этом цитату обрывает, а дальше-то ведь следует: «Не вижу перестройки я в творчестве Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, Д. Самойлова, А. Межирова». Но это уже разрушает представление о шовинистическом тоне статьи, которое старается создать, а потом и навязать читателям Б. Сарнов. О подобном «творческом» методе, подобных этических нормах, которыми руководствуется данный автор, писал А. Неверов в «Правде» 19 июня сего года. Вот Сарнов критикует меня за употребление слов «провокация», «по-гапоновски». Дальше и подтвердил бы, что он считает обнародование чужих личных писем делом приличным, публикацию анонимок и пристегивание к ним известных литераторов — благородной акцией, но нет, не сказал, ни слова по существу статьи не произнес. На это обратили внимание многие авторы писем в редакцию.

«Когда же писатели обретут культуру полемики? Читаешь «Огонек» — против перестройки редакция «Молодой гвардии». Читаешь «Молодую гвардию» — против перестройки все, кто не с ними. И тут и там — те же слова о перестройке, гласности, демократии. Вы совершенно правы — одностороннее освещение событий хуже, чем просто умолчание... Извините за длинноты. Но уж очень все наболело. В 1987 году был какой-то ажиотаж — все читают, спорят, говорят, а критика — молчит.

Раньше говорили, что критика была комплиментарной. А теперь разве нет? Вот вышел фильм «Короткие встречи». И что? Обыкновенный средний фильм. Однако все его хвалят. А что касается А. Розенбаума, то я должна Вам сказать огромное спасибо. Этот певец уже позволяет себе выступать чуть ли не с матерными песенками... А в заключение признаюсь, что если бы не статья Б. Сарнова и не две-три другие ругательные статьи, я бы так и не узнала Вашу статью. А теперь буду всегда

читать. С уважением *Л. Михайлова,* Красноярск».

«Уважаемый журнал «Москва». Давно хотел поблагодарить Вас за публикацию «Очерков литературных нравов» В. Бондаренко. Считаю их явлением в литературной критике за последние годы. Но мы отучились от душевных порывов, и о моей оценке Вы так бы и не узнали, если бы не господин случай. Автором случая, его «крестником», стал Бенедикт Сарнов... Давно я не получал такого удовольствия. Даже на второй план ушли впечатления от телемостов, где нас спрашивают про Фому, а мы отвечаем про Ерему. У А. Райкина есть интермедия «Запустили дурочку». Подобную дурочку запустил в Ваш адрес Сарнов. Наиновейший политический ярлык, о котором предостерегал Бондаренко, на этот раз выглядит так: «Бондаренко против перестройки». Между строк чувствуется — враг... Многоцветные истины, о необходимости которых совершенно справедливо говорит Бондаренко, до сих пор не могут уяснить некоторые наши критики... *Боровец Д. Я.,* инженер. Москва».

Вот и критик Наталья Иванова ужасается, как это я смею писать, что «трепетные любители прогресса»... «еще немного — и тюремного заключения потребуют для нелиберально мыслящих». Не может такого быть, считает она. Но именно от «любителей прогресса» исходят требования «...создать общенародный механизм, гарантирующий ответственность публичного слова», а для этого учредить «компетентную и правомочную комиссию», которая бы определяла, что можно, а что нельзя говорить и писать. Уважаемый литератор Г. Петров, такая комиссия действительно необходима, это диктуют прежде всего нынешние выступления таких критиков, как Б. Сарнов, С. Рассадин. Выступления последнего, пожалуй, следует квалифицировать иными, нежели литературные, терминами, да не будем опускаться до столь блистательно продемонстрированных рассадинских пассажей... К тому же комиссия такая уже была и называлась она официально по-разному, в народе просто и ясно — цензурой. Разница только в том, что ныне цензуру хотят основать наши левые либералы, именно они жаждут жестко «править балом». Добились же прогрессисты от кино, чтобы ЦК ВЛКСМ чиновно указал на недопустимость появления в комсомольских газетах положительных отзывов на фильм Н. Бурляева «Лермонтов». Как с гордостью пишет все та же «Неделя»: «...в нашей газете было опубликовано официальное письмо заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ В. Фронина: «...В состоявшихся беседах с руководством Мурманского и Вологодского обкомов ВЛКСМ, местных молодежных изданий рекомендовано более взвешенно и ответственно подходить к подбору публикаций»... «Ассу» или «Покаяние» хвалить можно, наверное, даже должно, а вот «Лермонтова» — ни-ни... Значит, кое-кто полагается все на тот же административный запрет, с браздами правления в собственных руках — только попробуй преступи! Так ведь такое было уже: с 1917 года несколько лет искусством «управляли» крайне левые, и никакого инакомыслия не терпели — ни Мейерхольд, ни Пунин, ни Штеренберг, ни Чужак. Мейерхольд писал, к примеру, связав все открытия Станиславского с «социальным заказом» русской буржуазии: «Теперь нам понятен преобладающий состав аудиторий Московского Художественного театра, состоящий из остатков буржуазии, не сумевшей сесть на корабли в направлении к Константинополю». В ходу были ярлыки — «чеховско-станиславское смердение». Чем обернулись диктаторские замашки левых в двадцатые годы? Эстафетой, принятой из их рук чиновниками и бюрократами. Именно левые подготовили тот инструментарий, набор политических ярлыков, которыми и по сей день пользуются. Именно нравственный нигилизм левых подготовил почву для принятия решений в тридцатые годы. Как воздух сегодня нам необходимы не апологетизация и ниспровержение тех или иных литераторов, ученых, политиков, а издание сборников исторических документов, публицистики, критики за все предыдущие десятилетия. Тоталитарность мышления гонит многих нынешних публикаторов все к той же святочной модели героя. Раньше было — не трожь Маяковского и Горького (хотя сами они друг друга «трогали», не церемонясь), теперь — Булгакова, Пастернака, Ахматову, Зощенко. Но приемы и восхваления и уничижения остаются те же — крайне субъективистские. К примеру, читаю у Е. Евтушенко в «Огоньке» высказывания об известных поэтах, в частности, об А. Прокофьеве: «Лучшими стихами Прокофьева были не его риторические рифмованные декларации в стиле а-ля-рюс, а выросшие на благодатной почве северного фольклора народные озорные стихи... К сожалению, бывший бунтовщик и литературный задира, кореш Бориса Корнилова, став руководителем Ленинградской писательской организации, оставил о себе далеко не лучшую память, неоднократно выступая против писателей, требовавших гласности». Доказательств — никаких, верьте на слово. Следующий пример дает представление о той примитивной модели «нового видения истории литературы», которую небезуспешно навязывают читателям органы массовой информации. О. Б. Ручьеве: «В 1937 году был незаконно репрессирован, реабилитирован только в 1957 году... Однако в отличие от Смелякова, который в целом поддерживал «новую волну» советских поэтов, выступивших после 1953 года со стихами против Сталина, Ручьев неожиданно для нас всех стал критиковать это направление и за содержание и за новую форму». (Разрядка моя.— *В. Б.*). Теперь лишь нам разъяснили все значение «новой волны» так называемых «эстрадных поэтов». Суть их поэзии, оказывается, в том, что она «против Сталина». А те, кто критиковал «эстрадную поэзию», — «сталинисты». Можно отсидеть двадцать лет в Гулаге, но задеть Евтушенко или Вознесенского и — прослыть

«сталинистом». Трудно поверить, что, к примеру, Б. Ахмадулина или Р. Рождественский, Б. Окуджава или даже сам автор новой концепции «эстрадной поэзии» Е. Евтушенко всерьез считают, что смысл и значение их поэзии в том, что «новая волна» выступила «после 1953 года со стихами против Сталина»?! По этой логике поэзия Пушкина — «против Николая I», проза У. Фолкнера — «против Трумэна» и т. п.? Скажете, оглупляю — нисколько, перечитайте сами характеристику, данную Е. Евтушенко «новой волне». Скажете, что он сознательно сосредоточил в данном тексте внимание лишь на одной характерной черте «новой волны». А зачем? Чтобы доказать, что Б. Ручьев затронул «антисталинистов». И еще точнее: чтобы бросить грязный намек — по отношению к подобным новомодным политическим ярлыкам не хочу быть деликатным, — что Б. Ручьев — «сталинист». А как быть со сдержанным отношением А. Твардовского к «эстрадной поэзии»? Или самым непримиримым критиком этих «стихов против Сталина»—А. Солженицыным? Неужто такого сталиниста проглядели?! Опять наблюдаем подмену понятий. Может быть, в расчете на непосвященность, доверчивость, неразвитость массового читателя?

А как же быть с нормальной и неизбежной борьбой разных литературных направлений? Тургенев был в конфликте почти со всеми своими великими современниками. Кем же он был, по логике Евтушенко? Как нынче просто все делится: жертвы Сталина и его защитники, «кто не с нами, тот против нас». Как тянет нынешних «либералов» причислять своих противников к «врагам перестройки», к черносотенцам, к сталинистам. Вопреки элементарной логике и убедительности.

Но таким ли «антисталинистом» был, к примеру, сам Е. Евтушенко в те далекие годы? Ответ дают и его стихи тех лет, и свидетельства современников. Из Костромской области мне прислал письмо литератор Лев Болтовский. Он пишет о том, как Е. Евтушенко «...прибыл со станции Зима в Москву со стихами о великом Учителе и Вожде, а в целях личной безопасности написал стихи «Наследники Сталина», как убоялся проводить Б. Л. Пастернака в последний путь.. как приобщал себя своими стихами к поэтическим гигантам Я. Смелякову, А. Ахматовой и Н. Рубцову, которому при жизни мог и не протянул руку помощи... Вместе с тем, я считаю Евг. Евтушенко несомненным поэтом. Вот и надо бы ему в условиях гласности рассказать прежде о себе всю правду. Он бы нашел понимание наше. Он же выглядит ныне этаким Идолом Правды».

Что верно, то верно, мировоззренческие качели этого поэта давно уже перестали удивлять любителей поэзии и на Востоке, и на Западе. Только в прессе западных стран во время многочисленных гастролей Е. Евтушенко пишут откровенно и о его любви к дешевым сенсациям, и о неразборчивом политиканстве, и о сиюминутности многих творений последнего времени. И ведь не боятся западные газетчики, что им навесят ярлык «сталинистов», даже позволяют себе пренебрежительно отзываться о «Детях Арбата», о поэзии Высоцкого, о гастролях наших наилевейших театров. Думаю, полезно было бы в «Иностранной литературе», да и в газете «Советская культура», завести рубрику — «Мнения о советской культуре», где печатались бы наиболее характерные статьи и высказывания зарубежных зрителей и читателей о нашей культуре. Может быть, хоть это поуспокоило бы апологетов «перестроечного искусства», написавших на своем знамени сегодня знаменитый лозунг: «если враг не сдается, его уничтожают»; может быть, заставило бы задуматься, стоит ли сегодня ставить нашу культуру на рельсы гражданской войны, плодотворно ли это занятие?

Глубокое, заинтересованное «Открытое письмо В. Бондаренко» прислал в редакцию профессор, доктор биологических наук Ю. Б. Вахтин: «Я согласен с Вами, что «пришло время отделить идею Революции как таковой от идеи Социализма как философской политической системы.., как экономической доктрины». Но я не считаю правильным, что Вы исключаете из анализа гражданскую войну как самостоятельную категорию... Психология гражданской войны, в которой все противоборствующие стороны совершают и «преступления против человечности», при обычных войнах осуждаемые и рассматриваемые «как не имеющие срока давности», непригодна для нормальной жизни народа... Победа в гражданской войне сил, выступающих на стороне Революции, означает историческое утверждение в жизни тех основных идей, ради которых совершалась Революция. На основе этих основных идей народ из состояния Гражданской Войны переходит в нормальное состояние Гражданского Мира. Переход к Гражданскому Миру горек не только для той части народа, которая потерпела поражение в гражданской войне, для людей, которым не удалось утвердить в жизни те идеи, за которые они проливали кровь. Переход к миру горек и для победителей: многие из дорогих им идей реализуются в жизни не так, как было ими задумано...

Выход из состояния гражданской войны (на что были направлены усилия В. И. Ленина) был в нашей стране мучительно труден, и тенденция продолжать гражданскую войну до бесконечности существует в сознании многих людей до сих пор... Когда известный поэт Э. Багрицкий в 1927 г. провозглашает:

Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам,
Время настало в клыкастый камень
Грянуть свинцовыми кругляками —

— он демонстрирует нам не свою преданность идеям Революции (как считает Е. Евтушенко) и не свою приверженность идеалам Социализма: он отстаивает идеалы гражданской войны, он призывает продолжить ее! Не к прошлому, а к ближайшему будущему обращает тот же поэт в 1929 г. свой призыв:

И если он скажет: «Солги», — солги,
И если он скажет: «Убей», — убей...

Я считаю правильным говорить о Революции и гражданской войне. Из Вашей статьи создается впечатление, что для Вас существует некая Революция — гражданская война, нечто единое, не подлежащее расчленению на относительно независимые явления, а такое нерасчлененное восприятие Революции и гражданской войны мешает правильному пониманию и событий прошлого, и событий сегодняшнего дня... Осуждается продолжение гражданской войны в условиях гражданского мира, а людям кажется, что оскорбляют идеалы Революции и чернят идеи Социализма. Осуждают носителей идеи непрекращающейся гражданской вражды — а людям кажется, что пытаются опорочивать людей, преданных идеям Социализма. Пока мы остаемся в плену «психологии гражданской войны», мы не только не сможем выработать «объединяющую идею», мы не сможем даже непротиворечиво сформулировать эту идею... Замалчивание все еще ощутимых последствий гражданской войны приводит к грубым ошибкам в понимании многих событий в нашей истории, в том числе и событий, связанных с Великой Отечественной войной. Эта война началась на фоне «незавершенной гражданской войны», и фашистское руководство Германии пыталось максимально использовать это обстоятельство. Попытки были в значительной степени нейтрализованы мудрой политикой руководства нашей страны, обратившегося к народу со словами: «Братья и сестры!» и призвавшего народ защищать Родину — Родину как таковую — ту, которую получил от своих предков, и такую, какую он ее получил от своих предков. Идеалы гражданской войны были приглушены...

Вы совершенно правы, когда возмущаетесь, что в наши дни люди, считающие себя интеллигентными и дорожащими своим добрым именем, не стыдятся тем не менее совершать поступки, которые иначе как бесчестными назвать нельзя. Трудно не согласиться с Вами, что «в прошлом столетии дворяне вызвали бы подобного провокатора (человека, обнародовавшего чужие частные письма с целью скомпрометировать их владельца. — *Ю. В.*) — на дуэль, а чеховские интеллигенты никогда бы не подали ему руки и отказали от дома». Но Вы не даете никакого ответа на вопрос, почему же, говоря Вашими же словами, «ныне — иной уровень «интеллигентности», иные нравственные «нормы»?

Чеховские интеллигенты и дворяне прошлого столетия признавали для себя обязательным поступать, исходя из принципа — «честь — дороже присяги» (ответ генерала Раевского на вопрос Николая I: «Почему не донес о заговоре декабристов?»). В нашем обществе десятилетиями пропагандируется совершенно противоположный принцип — «присяга — дороже чести!». Живя в обществе, я постоянно «присягаю на верность» — и близким, и коллективу, в котором я работаю, и единомышленникам. Если действительно «присяга — дороже чести» — нельзя требовать от меня «порядочности», и я, увы, ни от кого порядочности ожидать не вправе. Принцип «честь — дороже присяги» не может победить в обществе, которое продолжает жить в атмосфере гражданской войны.

Если в обществе узаконены анонимные доносы («анонимки»), почему же, спрашивается, и газетам не печатать анонимные пасквили?..

Пока мы не покончим с атмосферой гражданской войны, плодотворное развитие нашей культуры как культуры целостной — невозможно. Идеи Революции в нашей стране победили, принципы Социализма прочно укоренились, и продолжение гражданской войны — бессмысленная трата духовных и физических сил нашего народа, нравственное растление народа.

Вот Вы справедливо возмущаетесь поведением представителей «передового мракобесия», тем, что они подвергают травле на страницах печати (и не только на страницах печати) всех, кто с ними расходится во взглядах, всех, кого они считают «консерваторами» и «реакционерами». Но ведь в атмосфере гражданской войны вопрос о недопустимости кого-либо травить не ставится, он неправомочен, он подменяется вопросом, кого именно надо травить в данный момент (на ком сосредоточить огонь) — М. Булгакова и С. Есенина или В. Астафьева и В. Белова? Или «безродных космополитов»?..

Когда Вы анализируете причины единства американской культуры и явление американского патриотизма, Вы упускаете, мне кажется, очень важный момент: американская культура давно покончила с психологией гражданской войны, американских детей не учат в школе относиться к героям южан как к предателям и преступникам, их не учат, что северяне и их потомки лучше южан и их потомков, их не учат, что южане были очень плохими людьми, а северяне — очень хорошими, их не учат радоваться, как много убили южан. А наших детей призывают ликовать при воспоминаниях о том, как:

Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись под приговором вилась,
Как кровь из простреленной головы. —

и радоваться тому, «как Саратов крестился последним крестом».

Наша гражданская война несоизмерима ни по масштабам, ни по своему историческому значению, ни по накалу страстей с гражданской войной в США. Поэтому нам неизмеримо труднее преодолеть ту психологию, которую породила наша гражданская война, то постоянно преследующее нас ощущение, что «не задушим — так нас задушат»...

В заключение хочу заверить Вас, что мое несогласие с рядом положений Вашей статьи, в которой наряду с совершенно правильным тезисом о необходимости выработать объединяющую идею, основанную на идеалах Социализма, я нахожу проявления «психологии гражданской войны», вовсе не означает, что я подозреваю Вас в преследовании каких-либо дурных целей, хотя, по моему убеждению, все действия, порожденные психологией гражданской войны, с неизбежностью должны приводить в том числе к дурным последствиям. Ус-

матривая в Вашей статье проявления «психологии гражданской войны», я не утверждаю, что сам я преодолел в себе эту психологию, которой пропитывали меня с самых ранних лет моей жизни (с детства, в частности, восхищался всеми цитированными выше строчками наших талантливых поэтов). Я даже не утверждаю, что заражен этой психологией меньше, чем Вы или Ваши оппоненты. Но я убежден, что пока психология гражданской войны не преодолена, ни о какой выработке «объединяющей идеи» не может идти и речи — эта психология никогда не позволит создать единство, основанное на разнообразии, и целостность, которой добровольно подчиняют свои интересы ее нестесненно развивающиеся части...»

Главные положения письма профессора Ю. Б. Вахтина мне близки, я воспринял их как развитие собственных взглядов на Революцию и Социализм. Важно и, увы, справедливо уточнение о живучести «психологии гражданской войны». Думаю, ею продиктованы и вышеупомянутые рассуждения Е. Евтушенко о Б. Ручьеве, и суждения Н. Ильиной о прозе молодых, и противопоставление Т. Толстой поэзии И. Бродского всей советской литературе... Поискам «объединяющей идеи» пока еще мешает неподготовленность к искреннему, откровенному разговору о больных проблемах, в частности, о проблеме национальной, проблеме национальных культур.

Сегодня — это одна из важнейших проблем в нашей культуре, еще одно «белое пятно», ибо десятилетиями мы только в парадных застольях «укрепляли» «общность братских литератур». Перекос в национальной политике, как и в любой другой, неизбежно мстит за себя. И не случайно сегодня происходят серьезные и неоднозначные события в Казахстане и Нагорном Карабахе, в Прибалтике и Якутии, эксцессы, связываемые с обществом «Память». Как видим, острота национальных проблем сегодня отнюдь не локального порядка. Касается она и русской, и еврейской, и других национальностей. Только в отличие от народов других национальностей долгое время русскому человеку говорить о проблемах русского народа считалось предосудительным. Не потому ли сегодня мы наблюдаем, и в нашей печати, беспрепятственное процветание русофобии? Не потому ли столько без преувеличения глобальных, во многом катастрофически упущенных жизнеопорных проблем в бытии Российской республики и всего нашего государства?

Казалось бы, чувствуешь свою боль, понимаешь свои беды — почувствуешь и поймешь боль соседскую, братскую. Не вопреки, а — в связи!

Делятся своей болью по этому поводу и читатели.

О. А. Павлова пишет: «Мне очень близок роман В. Белова «Все впереди», и когда началась травля писателя, мне было больно и обидно за нашу интеллигенцию, особенно писательскую. Я не могу понять, почему мы — русские люди, всю жизнь помогавшие национальным меньшинствам, должны вполголоса говорить о величии русской литературы, русского искусства, русских изобретателей, вообще о русской нации — это гордость, а не шовинизм. Надо честно говорить о проблемах именно своего народа. Вот поэтому я не поверила А. Рыбакову в «Детях Арбата», а больше верила его героям в «Тяжелом песке». О культе личности Сталина сейчас говорится много, и его произведение далеко не лучшее, и славу ему создала критика, которая пропела такую аллилуйю, что все молиться стали... Роман «Белые одежды» В. Дудинцева — самый настоящий из модной прозы. Назвать В. Дудинцева перестройщиком оскорбительно, потому что его герои не перестраивались и не пристраивались по времени, они жили по законам совести и делали все для своего народа...»

«...Сейчас, когда в значительной мере утеряно то, что именуется национальным самосознанием, журнал «Москва» всем своим содержанием содействует восстановлению этого важнейшего качества русского человека, без этого немыслимо существование ни одной нации... *В. А. Степанова,* Ленинград».

«Уже все это было, было, было. Люди начинают забывать о своих корнях, а многие забыли и, похоже, не хотят вспоминать. Наступивший год знаменателен большой датой — 1000-летием Крещения Руси. Чем журналы отметят это событие? Ожесточенная травля идет именно русской культуры. В 30-е годы «Известия» находили фашистское гнездо в мастерской прекрасного русского художника П. Корина. Любого человека теперь, если он произносит слова — «Отечество», «Родина», «русская культура», как совершенно правильно сказал в интервью «Литературной газете» В. Г. Распутин, можно обвинить (и обвиняют!) в шовинизме, национализме и пр., в принадлежности, как пишут некоторые журналисты, к пресловутой «Памяти». «Советский экран» обвиняет Н. Бурляева в том, что основные идеи фильма «Лермонтов» заимствованы из «арсеналов» «Памяти», В. Кожинова, авторитетного публициста и критика, журналистка Лосото из «Комсомольской правды» неоднократно называла идейным вдохновителем этой организации, художника И. Глазунова даже во Франции спросили — не он ли организовал «Память». Может, найдется специалист и причислит В. Г. Распутина к «Памяти» за доклад на V съезде Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры?» (г. Горький, июль 1987 г.). (Как знает читатель — такой специалист, конечно же, нашелся. — *В. Б.*).

«...Как удобно: произнес кто-то слово «монастырь» — заклеймим его, слово «патриот» — то же самое. Слово «русский» уже пахнет «шовинизмом». Ну не абсурд ли это? Абсолютно прав В. Г. Распутин, когда пишет: «Есть люди, которым очень не нравится опамятовавшая Россия. Поэтому слова «память» и «патриот» они готовы сделать ругательными, как это уже было в двадцатых годах, а великие творения предков наших объявить примитивом и националистическим дурманом». К этому не-

чего добавить. *Т. Ф. Гончаренко*, г. Химки Московской области.»

«...Сначала коротко представлюсь: войну прошел от Харькова до Сталинграда и в обратном направлении по югу страны, через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, под Будапештом был ранен. Чин был небольшой — командир взвода и затем начальник разведки дивизиона... Последние тридцать лет работал корреспондентом «Правды» в Белоруссии. Написал ряд книг, главным образом документальных... Бросилась в глаза Ваша статья, вся исчирканная и с пометками на полях, я зацепился взглядом и уже не смог оторваться, пока не дочитал до конца... Порой создается впечатление, что на страну нахлынула какая-то черная ядовитая туча... Причем действует она нагло, не стесняясь в средствах извращения фактов и явлений. Это нечто более изощренное и более организованное, чем было в свое время в Венгрии и Чехословакии. Меня поражает, что так мало находится среди литераторов смелых людей, которые решаются противостоять...

Полностью согласен с Вами, что главная цель этой тучи — лишить наш народ идеала, лишить цели в жизни, сделать беспамятными... *Иван Новиков.* Минск».

У авторов этих писем есть столь же убежденные оппоненты, безоговорочно заносящие выражения «опамятовавшая Россия», «русский народ» в разряд националистических понятий.

Да что читатели, когда критик Наталья Иванова пытается популярно вразумить читателя: «Задумаемся, например, что за новый термин такой (разрядка моя. — *В. Б.*) — «русский роман»?.. Явлений, слава тебе, господи, множество, и настоящая наука о литературе глубоко и серьезно их изучает. Нет лишь общего понятия «русский роман»... Если критик озабочен проблемами своей национальной культуры и хочет определить ее место в ряду других культур — это прекрасно. Но если ты заранее отделяешь иерархической кастовой чертой — как особые — качества своей культуры, неплохо было бы для начала взглянуть на проблему с другой, соседней национальной точки зрения...» Час от часу не легче. Иными словами, для того, чтобы понять, что такое русский роман, надо на него взглянуть глазами, скажем, китайского критика. Но если китайское либо любое другое национальное самосознание мне недоступно, что же, я не имею права порассуждать об отечественной культуре? Любопытно, согласится ли известный литовский критик А. Бучис с тем, что не существует такого понятия, как «литовский роман», или латиноамериканист В. Земсков — что нет в природе «латиноамериканского романа»? Видно, далеко же мы зашли в нашем великом заблуждении, когда размышляем о «французской поэзии» или восхищаемся «грузинским кинематографом». Или Н. Иванова дискриминирует лишь «русский роман»? А пока возможны в популярных журналах подобные «открытия», пока дает о себе знать и крайность обратного порядка — бряцание исконно русскими доспехами, мы вряд ли выйдем к «объединяющей идее», вряд ли осуществим общее дело перестройки, которое немыслимо без духовной оснащенности самих перестройщиков.

Общество ставит серьезные вопросы и ждет на них обоснованных ответов. И кажется, становится понятно, что сегодня вряд ли может быть окончательное решение национального вопроса: пока существует нация, пока идет ее развитие, будут возникать все новые межнациональные проблемы, в том числе и в области культуры.

Для меня, например, всегда важна почва писателя, народность его героев, культурная традиция. Кто же сегодня будет отрицать генетические, родовые корни и их влияние на характер человека, его мышление, его творчество? С другой стороны, не менее значимо влияние окружающей среды.

Чаще всего говорят, что национальное выражается в языке писателя. Наблюдая за творчеством Владимира Личутина и Анатолия Кима, вижу, как по-разному решают они проблему языка. У А. Кима язык выстроен, он шлифует его, подбирает слово к слову. В. Личутин словно купается в языковых переливах, разбрасывая пригоршнями связки метафор, сравнений. И при этом язык не обязательно обозначает принадлежность писателя к данной национальной культуре. Оставался ли Владимир Набоков русским писателем, когда писал свои последние романы на английском языке? Русский или карельский писатель поэт Олег Мишин? Почему творчество Бориса Пастернака — глубокое, крупнейшее явление русской культуры, а творчество Исаака Бабеля, писавшего тоже на русском языке,— ярчайшее явление еврейской литературы? Узбекскую душу раскрывает мне на русском языке Тимур Пулатов. Без почвы, взрастившей художника, по моему убеждению, он не может состояться. Оттого и однообразны во всем мире технические фантазии, что лишены они почвы. Посмотрите на «чистых авангардистов» от искусства — из Японии и Австралии, Москвы и Бомбея, Парижа и Чикаго,— насколько похожи друг на друга изобретения человеческого ума! Изобретатель или художник — все зависит от того, коснулась ли творений художника почва своего народа. Изобретательны научная фантастика и полицейские детективы, из одного технократического гнезда вышли и космополитическая массовая культура и космополитический авангард. Правда, слово «космополит» у нас сегодня с оглядкой произносится. Но вот читаю признание западного артиста — «по природе я космополит», встречаю в журнале «Америка» спокойные размышления о космополитизме в мировой живописи и понимаю, что слово-то верное, отражает реальное явление жизни, только нам надо вернуть ему истинный, политически ненаказуемый смысл.

И как надо нам всем наконец четко осознать пропасть между понятиями — «национальный» и «националистический».

Судя по читательским письмам, пришедшим в редакцию журнала, путаница эта ощутимо дает о себе знать.

«Вы стараетесь заменить великие слова «советский народ» понятиями сугубо националистическими. И делаете это Вы не в интересах великого советского народа, великой советской страны, а в угоду своей группировке.., — упрекает меня Л. Г. Кикинзон, считая, что статья моя... сводится к тезису: долой литературу социальную, давай литературу национальную. Не должно быть советской литературы. Должна быть литература русская, украинская, грузинская и т. д. Однако далее провозглашается тезис: «...утверждаю идею реального социализма как объединяющую национальные и т. д....»

Насколько я понял, явление «национальная литература» Л. Г. Кикинзон отождествляет с явлениями «сугубо националистическими». Вот с этим я категорически не могу согласиться. На мой взгляд, сначала идет литература национальная — русская, эстонская, грузинская и т. д. Все это и образует советскую литературу. На следующей ступени обобщения советская литература выступает как составная часть литературы европейской. И уж вершины всех национальных литератур мы называем мировой литературой.

Проявление национального в литературе — это не один язык, это и создание национальных типов того или иного народа. Из многих талантливых писателей всегда выделяются те немногие, кто сумел создать яркие, запоминающиеся типы своего народа. Когда мы восхищаемся бравым солдатом Швейком, внимаем высоте духа Дон Кихота, сопереживаем Тому Сойеру, мы через душу других народов приходим к пониманию общечеловеческого. Дата Туташхиа грузина Ч. Амирэджиби, Сандро из Чегема абхазца Ф. Искандера, Михаил Пряслин и Иван Африканович русских писателей Ф. Абрамова и В. Белова — яркие национальные типы. Даже сверхпопулярный герой не равнозначен национальному типу. Думаю, что даже истовые поклонники Юлиана Семенова не будут по Штирлицу судить о типично русском характере. А вот, скажем, образ Остапа Бендера у Ильфа и Петрова, на мой взгляд, явно недооценивается. Тем и притягателен, живуч этот образ, что писателями уловлен национальный тип.

Заметить развитие национального типа в данную эпоху — может, это и есть суть литературы, может, к этому, подчас подсознательно, и стремится писатель? Приходится только недоумевать, читая и следующее утверждение Натальи Ивановой, о том что я-де пекусь «все о той же нормативности, призывая литературу к «сильным характерам» (в этом призыве Н. Иванова видит «ермиловщину», а меня — сегодняшним потомком В. Ермилова). Н. Иванова будто не увидела ссылку на Ю. Трифонова, ибо о высказывании писателя знает не хуже меня. А я не вижу другого: где я навязываю, нормирую предписания литературе? Я утверждаю, что время само определяет своих героев. И не критики, не прозаики даже «выдумали» амбивалентного сорокалетнего, слабого человека, а время, которое мы сейчас называем «застойным». Нынешние лидеры литературной перестройки не признавали в «застойные годы» правду сорокалетних. Был свидетелем того, как нынешний главный редактор уважаемой газеты на заседании секретариата правления СП РСФСР «разносил» «Сороковой день» В. Крупина. Знаю, как в самый последний момент решили не печатать в «Дружбе народов» «Белку» А. Кима, писателю пришлось вернуть аванс в журнал. В Ленинграде ушел под нож тираж «Скитальцев» В. Личутина, пришлось потом набирать снова. В журнале «Знамя» сверхбдительная, тогда зав. отделом прозы, Н. Иванова (тот самый, ныне прогрессивный критик) доводила до «нормативности» и «долженствующего» все, что проходило через ее руки. С гневом вычеркнула она, к примеру, из рассказа А. Проханова упоминание об общем захоронении после боя и белых и красных. «Этого не должно быть» — таков ее вердикт.

Сегодня же я «предчувствую спад интереса» (позволю себе самоцитирование) к слабому человеку «не по причине субъективных пристрастий, а в силу явно намечающегося поворота общества к людям реального дела, глубокой, конструктивной мысли».

Уже сегодня в киноискусстве все более становятся популярны люди, сильные духом, с сильными характерами. Назову два, казалось бы, далеких друг от друга фильма: «Холодное лето пятьдесят третьего....» режиссера А. Прошкина и «Асса» С. Соловьева. В них мы видим борьбу по-настоящему сильных людей. Герои «Осеннего марафона» и «Полетов во сне и наяву», крупных явлений нашего современного киноискусства, остались в «застойном времени».

А критики не спешат перестраиваться. Вот и А. Латынина все добивается от Н. Шмелева осуждения моего предчувствия сильных героев, подсказывая, что, мол, В. Бондаренко именно прозу Н. Шмелева критиковал, говоря о «ставке на слабого человека». Любят нынче додумывать за оппонента. И Б. Сарнов, и Н. Иванова дружно воспроизводят тайный ход мысли В. Бондаренко, подразумевают мои ответы, расшифровывают мои подтексты. Очевидно, на них не имеет смысла обижаться, они мастера подтекста — сформировались на нем. Мне кажется, в беседе с А. Латыниной прозаик Н. Шмелев потому и уклонился от оценки моей статьи, что сам предпочитает людей с сильным характером, ибо и себя слабым и пассивным не считает.

Размышляют о духовно сильных личностях и авторы писем в редакцию. Мнения их и тут не совпадают. Л. Г. Кикинзон из Москвы считает: «Пока Вы только размахиваете шашкой. Но как бы развернулись Вы, если бы вернулось это страшное время, когда «сильные личности», вроде Вас, скручивали в бараний рог стальных

рыцарей революции и гражданской войны... Вы еще только разворачиваетесь. А дай Вам волю — не одна голова «вылетит в форточку»...» Весьма своеобразная трактовка сильных людей,— что же, «стальные рыцари революции» слабаками были? Впрочем, гораздо больше высказываний иного рода.

С. Трофимова из Ростова-на-Дону пишет: «Заметки В. Бондаренко затрагивают широкий круг нравственных аспектов творческого процесса. В целом ряде моментов его суждения отмечены печатью справедливости. Обозначу лишь некоторые. Действительно, каждый художник (в широком смысле этого слова) должен нести ответственность за все, что он создает. Вполне возможно, что не все пьесы Л. Петрушевской можно отнести к явлениям большого искусства. То же относится и к фильму «Проверка на дорогах», отчасти — и к пьесам М. Шатрова, да и к общему положению дел в нашем театральном хозяйстве,— во вдумчивости здесь автору не откажешь. Из всех «сюжетов», пожалуй, наибольший интерес представил третий — «Об одной дискуссии»: есть ценные мысли, наблюдения, предложения. Справедливы, актуальны замечания о необходимости высвечивания литературой не только «темного» и «мрачного», призывы к «культу личности каждого из нас», пробуждению творческих сил людей, — понимаю и разделяю боль автора по поводу того, что «народ отучается сам творить». Зорко подмечен «намечающийся поворот общества к людям реального дела»...

О повороте к сильным характерам пишет из Владивостока Н. М. Мельникова.

«Я представитель старшего поколения, сверстник «Детей Арбата». Для иллюстрации я сообщу вам: когда я закончила просмотр кинокартины «Покаяние», мои глаза были полны слез, но показать это я стеснялась и даже не прикладывала к глазам платок. Рядом со мной из кинотеатра шла молодежь. Меня обогнали два молодых человека лет двадцати пяти, и один сказал другому: «Ну грузины, закрутили». Оба засмеялись. Они ничего не поняли в этой картине, им показалась она фантастикой. Трудно понять современной молодежи сталинские времена. ...В Вашей статье Вы... раздракониваете такой «бестселлер», как «Зубр» Гранина. Тут я вполне разделяю Ваше мнение, это произведение вызвало у меня недоумение. Иронизируете над четверкой поэтов. Ну, тут я не люблю только Евтушенко, ни его стихи, ни особенно прозу. Вы сетуете, что мало современной критики, что критики молчат, но я не заметила, чтобы Вы отметили, что мало хороших современных произведений и что писатели тоже молчат... Из наиболее близких по времени произведений — это «Плаха» Айтматова. Какой огонь критики обрушился на голову писателя! Его обвиняли в богоискательстве.... Перестройка, гласность, хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование звучат теперь повсюду. Перестройка теперь касается всего и всех, мода на перестройку. А всем ли надо перестраиваться?

Я так думаю: перестройка очень нужна экономике. В прошлом я хозяйственник: руководила лабораторией, была начальником литейного цеха, имела звание инженера-капитана; и я за перестройку промышленности и сельского хозяйства... Я за выборность руководителя, ибо руководить — это талант... Думаю, крупные руководители на БАМе, на стройках Севера не жили с комфортом, а известный Травкин много шикует в своей жизни?.. Есть у нас такие самоотверженные, любящие работу, жаждущие крупномасштабной деятельности люди, обладающие талантом. Выборы могут помочь найти этих людей...

Перестраиваться нужно всяким управленческим аппаратам, исследовательским институтам. Если говорить о перестройке в области литературы и искусства, то надо оттуда убрать лишних, неталантливых людей, бороться с блатом, кумовством и стремлением создать династии. А зачем перестраиваться писателю, критику, режиссеру, артисту? Писатель настоящий — это талантливый человек, и становится он им по призванию, по требованию души. Писателю нужна гласность, как воздух, нужна правда, чтобы искренне выражать свои мысли и не прятаться за завуалированными фразами, боясь, что могут привлечь к ответственности. Кто как не писатели, которым трудно было молчать, смело выступали со своими произведениями в период застоя? А Федор Абрамов (жаль, его нет в живых) со своим произведением «Дом»? Разве не потрясли душу читателей его откровения? Он не испугался того времени, в которое работал и жил...

Как-то по телевидению выступал хороший писатель Проскурин. Ему задали вопрос: «Во что теперь верить?» Он ответил: «В человека». И я согласна с ним. Конечно, в жизни много хороших людей: честных, добросовестных, отзывчивых, трудолюбивых, самоотверженных. Не было бы людей с такими качествами, не было бы и героических поступков, и всего, созданного на земле человеком...

Никуда не денешься от факта, что есть лидеры и есть не лидеры в человеческом обществе... Лидер — это наиболее сильная личность, у него должна быть воля, и он должен обладать положительными, позитивными качествами, чтобы за ним пошли люди. Это особенно видно в малом звене, например, в бригаде в аварийных ситуациях. Он должен не растеряться, проявить решительность... Писатель и показывает такую личность. Особенно это нужно молодежи, которая ищет на первых порах образ для подражания, а порой, не находя, попадает под влияние человека злой воли.

В одной из телевизионных передач спросили у иностранцев: как им нравится советская литература. Они ответили: «Хорошая, нравится. но слишком мало в ней любви». Не надо делать нашу литературу выхолощенной от любви и заполненной лишь трудовой деятельностью. Любовь — хорошее человеческое чувство, и во имя ее во все века совершались прекрасные человеческие поступки. Этого тоже не надо забывать».

В спорах о конкретном

«Уважаемый Владимир Григорьевич!

Как-то в дружеском разговоре (по нашему российскому обычаю — обо всем на свете) такое определилось мнение, что всех нас, сегодня живущих, а критиков — особенно, можно по отношению к новому разделить на две группы: одни говорят с детски-искренним интересом и дружелюбием — «что это такое?», а другие с запальчивостью, тоже детской,— «как дам!»... Должен покаяться, по невнимательности, видимо, по беглому, отрывочному и поспешному прочтению я до «Очерков...» относил Вас ко второй группе. Отрадно было понять, что ошибся. Захотелось повиниться в ошибке и поблагодарить Вас. Много всякого в «Очерках...», с чем можно поспорить, немало — за что «уцепиться». В основном, увы, и «цеплялись» очень гадко люди с либеральной репутацией. Спорили — так, по мелочам. И никто (в печати, думаю, в читательском мире многие заметили), кажется, не откликнулся на в а ж н е й ш е е — что Социализм и Революция— не только не одно и то же, но — понятия спорящие, пытаться постоянно совместить их — все равно, что укреплять здоровье, непрестанно экспериментируя с хирургическим ножом.

Вот за эту б о л ь ш у ю базовую мысль — спасибо. Думается, что многих она остановит сначала, а затем выдвинет из той банально-либеральной каши, в которой находится «бедная русская мысль»...

Попробуйте эту мысль сопрягнуть с тем, что сказано у Вас о государстве. По моему ощущению, не о государстве надо бы тут говорить, а — об обществе. Ну хотя бы об Америке. Программа одного из президентов так и называлась — «Великое общество». В этом, видимо, и есть главный источник силы любого, говоря модным языком, этноса — в проработанности, органичности, многосложности внутренних связей, создающих общество. Тем-то и сильна Америка, тем-то Англия и устояла перед Гитлером. И социализм в идее — общество оптимальной, саморазвивающейся структуры.

А государство... Вот ведь мы все учили, но никто не помнит, что и государство и революция — формы насилия — неизбежного в чрезвычайных случаях,— но общества из насилия не построишь. И вся-то многовековая русская беда в том, что у нас... — мало общества. Более того, государство то и дело «ело» общество, из его созидающих соков питалось и разрасталось до безобразия... А общественное дело без двух вещей, по крайности, невозможно — без сотрудничества и чувства ответственности.

Соразмерны ли Ваши общие, исходные социально-нравственные посылки с конкретными разборами? Увы — так жаль! — то и дело не соразмерны. За всеми этими «издержками полемики» Вы отрезаете многим читателям (тем, что не разделяют Ваших конкретных оценок) возможность услышать и понять те действительно важные слова, которые есть в статье. Знаете ли Вы, что чем дальше идет эта бесконечная литературная перебранка «левых» и «правых», тем заметнее рождается и нарастает отвращение общественно мыслящего читателя ко всем вам — «инженерам человеческих душ», которые в пору возможности открытого слова главные силы направляют на то, чтобы метать друг в друга комья засохшей грязи? Ведь есть реальные критерии отсчета... Вот со многими Вашими теплыми словами о «Нашем современнике» я готов согласиться, но все это в прошлом. Вся программа журнала основывалась на обнаружении и указании (острее и настоятельнее, чем другие) — что «не так». Но вот мы подошли к тому времени, когда согласных с этим — большинство. А «так» — как надо? И вот на этот вопрос в круге «Нашего современника» мы слышим только ретроспективные ответы. Не столь обязательно «приветствовать будущее», как потрудиться понять его — куда оно пойдет? Память у нас почти у всех одна, у всех есть своя деревня Бердяйка, но ведь не вернемся мы пи туда, ни на Матренин двор, ни на Бобришный угор... Вот об этом и надо думать — а не о том, какие закорючки в некоем театре на занавесе. Логика духовного развития неизбежна — когда живешь неподвижным пониманием, без врага, который якобы нарушает это понимание,— не обойтись. А враг-то наш, как всегда,— внутри нас. Может, это и звучит отвлеченно — но все к тому, что есть более существенные духовные общественные задачи, чем препираться с каким-то А. Мальгиным, да хоть и с Е. Евтушенко.

Об этом главном и стоит всем нам думать — крупнее и строже. Времени в запасе — не много.

С искренним уважением и благодарностью *В. Рыбаков,* Москва».

«Уважаемый тов. Владимир Бондаренко.

Я с интересом и вниманием прочитал Вашу статью. Правда, я почти не читаю критиков, уверен — они переливают из пустого в порожнее, и благополучно читаю, не сообразуясь с их выводами. Прочесть Ваши «Очерки...» заставило то, что поднялся нездоровый шум в печати... Интерес мой к литературе закономерен, я с 1953 по 1964 год писал стихи. Они были всеми художественными журналами и властями признаны очернительскими и антисоветскими. Арестованный в 1969 году, я признался в антисоветской деятельности, отпущен с миром... Рыбакова «Дети Арбата», как Вы правильно написали,— явление политическое, а в художественном отношении — посредственное произведение со счастливым концом. Надо бы переиздать «Один день Ивана Денисовича», «Хранить вечно», «Четвертая рота» и т. д., и ажиотаж вокруг «Детей Арбата» спадет...

Перестройка не коснулась издательского дела. Как надо издавать? Любой автор несет рукопись в издательство и через неделю заключает договор за свои деньги на 1—100—500 экземпляров, по желанию автора. Автор распространяет книгу, если на нее поступают заявки, книга издается столько, сколько заказано. Если на сборник стихов В. Высоцкого поступили миллионы заявок, а на сборник стихов

Р. Рождественского мизерное количество, то так и издавать... Ваше предложение написать о Леопольде Авербахе, лучше в «Комсомольской правде»,— всецело поддерживаю. И о его сподвижниках — С. Родове, Г. Лелевиче. Племянник Свердлова Леопольд Авербах очень молодым получил неограниченную поддержку Сталина в вопросах литературы и искусства. Он резко громил и комсомольских вожаков, типа Щацкина, и поэтов, прозаиков, драматургов, артистов. Тех, кого «надо отправить на свалку». Заменен он был Ждановым... Мавр сделал свое дело — мавр должен уйти. Авербах поработал редактором магнитогорской газеты — места опальных вождей: Хитарова, Ломинадзе, Чемоданова и т. д. Затем был репрессирован...

Вы совершенно правы, говоря, что у нас не умеют спорить, критиковать, обсуждать. Или хвалебные дифирамбы, или обухом в лоб...

Валентин Ефимов, Ярославль».

«Владимир Григорьевич! Добрый день. От чистого сердца спасибо. Читал, как песню пел. Статья придаст смелости и уверенности многим. Главное, не сведение счетов, не месть, а объективный показ. Я за Горбачева из «Молодой гвардии», но он все испортил выведением в гении людей своего круга. Вот и вышло: одни — своих, другие — своих.

У меня написана статья для «Подъема» о состоянии театров Центрального Черноземья. Мы уже вузами и школой порядком испортили зрителя, которому не нужен Гоголь, Достоевский. В Воронежском театре режиссер Иванов отлично поставил «Женитьбу», но через несколько вечеров зал пустой — давай зрителю, к чему он привык. Театрал, точнее, думающий человек, от театров постепенно отлучился, а в него рванули девочки и мальчики с проспекта. Их привлекли раздеваниями, голыми тетками, бегающими по сцене... Валом повалили. Но эти мальчики сходят раз, два в такой театр, у него же есть пределы... Дальше раздевания пойти трудно. Уже не интересно. Не то зрелище. Ну, это Вам и без меня известно... Дай Вам сил и здоровья.

Э. Ефремов. Журналист. Воронеж».

«...Статья Ваша написана талантливо, но сразу хочу сказать, что талант у Вас разрушительный... Направляя критические стрелы в адрес «отрицательной культуры» и демонстрируя свою объективность и строгость в оценках, Вы почему-то многое прощаете не менее отрицательным представителям другой группировки.

Вот где бы Вам показать свое презрительное отношение к групповщине и резать правду-матку. Что ни говори, а Вознесенский и Евтушенко были действительно не всегда последовательны и заслуживают упреков. Но все-таки на них нет каиновой печати в виде письма некоторых писателей против... своего собрата по перу А. Твардовского (разрядка моя. — *В. Б.*). Вы очень много пишете о политических кампаниях... но почему бы Вам не упомянуть о классическом политическом доносе того, милого Вашему сердцу, софроновского «Огонька» и здравствующих авторах доноса М. Алексееве, С. Викулове, А. Иванове, П. Проскурине. Боюсь, что не позволяют Вам это сделать групповые интересы, против которых на словах Вы столь энергично выступаете. И тем более, что трое из них редакторы толстых журналов, то есть Ваши прямые и потенциальные работодатели... Желаю благ!

Г. В. Власов, инженер-строитель. Минск».

На этом письме мне бы хотелось немного остановиться и прокомментировать основные его положения.

Первое. Сегодня кое-кто настоятельно требует покаяния от авторов письма одиннадцати, опубликованного в «Огоньке» в 1969 году. Читателей дружно уверяют, что статья эта направлена против выдающегося русского советского поэта А. Т. Твардовского. Что это был акт травли поэта со стороны власть имущих. Сейчас можно считать совершенно доказанным, что подобные заявления — ложь. Уже вспоминались строчки Василия Федорова:

Не ворошите старые могилы,
Они чреваты новою бедой.

Эта мудрая мысль талантливого поэта предостерегает нас, — вступая на путь опасного познания, мы должны понимать, что теперь уже обрывками правды не отделаешься, подменой одних ложных ценностей другими — либеральными ложными версиями не обойдешься.

Сегодня, как воздух, литературе необходимы сборники наиболее характерных и принципиальных статей двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов, без малейшего корректирования.

И тогда мы увидим, что кроме всего ценного, что, к примеру, сделал журнал «Новый мир» в шестидесятые годы, в основном в прозе, вообще значительного вклада в советскую культуру, журнал еще вел и активную литературную политику, утверждал определенную эстетическую и мировоззренческую программу. При этом стремился ошельмовать не согласующиеся с его позицией литературные направления и творчество отдельных писателей. И сегодня, яро абсолютизируя эстетическую платформу «Нового мира» тех лет, не добиваемся ли мы того же тоталитарного единомыслия в искусстве? За бортом «Нового мира» были и лидеры «исповедальной прозы» В. Аксенов, А. Гладилин, А. Кузнецов, и та же «эстрадная поэзия», претендующая сегодня, в лице того же Е. Евтушенко, как бы представлять все «прогрессивное» в шестидесятые годы. Не скрывал «Новый мир» своего отрицательного отношения и к театру «Современник». Но самые агрессивные политические нападки идеологи «Нового мира» совершали в адрес нарождающегося тогда «почвеннического» направления «Молодой гвардии». Я не говорю об общеизвестном противостоянии «Нового мира» и «Октября». Что же, неужели и на самом деле «все лучшие культурные силы» страны, по вы-

ражению Ю. Буртина, печатались в «Новом мире»? Создается культ «Нового мира». А в это время в статьях «Нового мира» частенько пестрили политические ярлыки, навешиваемые на противников, которые никогда не вызывали восторга у либерально мыслящей интеллигенции. Наиболее выразительным примером подобного и стала печально известная статья А. Г. Дементьева, обрушившего на «молодогвардейскую» прозу, поэзию и критику целый шквал грубых измышлений, политических обвинений. Вы думаете, это в 1949 году умудряются обвинить своих оппонентов в «извращении марксизма-ленинизма», одновременно в «догматизме» и «ревизионизме»? Вы думаете, это рапповцы утверждают недопустимость самого обращения к трудам славянофилов и философов-идеалистов? Кто намекает на «церковное красноречие» идеологически невыдержанных поэтов? Да все тот же наш единственный оплот «лучших культурных сил», заявивший во всеуслышание, что с приходом «молодогвардейской» волны в литературу выросла угроза «проникновения идеалистических и вульгарно-материалистических, ревизионистских и догматических извращений марксизма-ленинизма!» И панацею от нарисованных бед критика «Нового мира» находит в описании «производительности труда», в воспевании «духовного смысла и поэзии колхозного земледельческого труда и социалистического преобразования деревни», узнавшей, по мнению А. Г Дементьева, именно в эти годы «большие перемены», уточним, в годы, когда под бременем новых налогов вырубались все сады, когда крестьяне вынуждены были резать коров и свиней...

Эта статья Дементьева послужила поводом для учиненного, уже официозного, разгрома редакции «Молодой гвардии»: с главным ее редактором А. Никоновым расправились в одночасье. Так может быть, «новомировцам» прежде самим нужно покаяться? Ведь такая разгромная статья и ее последствия дело рук не одного критика, а всей тогдашней редколлегии, да, во главе с А. Т. Твардовским. К слову сказать, резко против этой статьи А. Г. Дементьева выступил и А. Солженицын, названный за это А. Твардовским «двенадцатым подписантом». Не собираюсь брать его в союзники, но факты — упрямая вещь, по логике нынешних «вымогателей покаяния», и А. Солженицына пора поставить в ряд сталинистов и травителей Твардовского.

Не собираюсь полностью оправдывать «огоньковское письмо» одиннадцати писателей, и оно уязвимо по линии ярлыков. Но оно является ответом на вышеназванную статью А. Дементьева, да и на небезобидную линию критического раздела журнала. И в том письме не упоминается имени А. Т. Твардовского... Надо вообще сказать, что вся критика шестидесятых годов еще была во власти идеологических ярлыков, цитат из классиков марксизма-ленинизма и выступлений руководителей государства. Посмотрите, сколь обильно оснащены цитатами из Хрущева и других деятелей ЦК КПСС, к примеру, статьи утонченного В. Лакшина; переиздавая их сейчас, уважаемый критик наверняка постарается свести их к минимуму. Можно только с умилением читать сегодня и критику «Юности», которая прозу В. Аксенова, А. Гладилина и других «исповедальщиков» (я не беру в расчет их будущие судьбы) несла к читателю на языке усредненного марксиста, забаррикадированного цитатами из Ленина.

К чему я все это пишу? К тому, что время конца шестидесятых в чем-то уподобляло друг другу даже непримиримых оппонентов. Чиновниками велась травля не только «Нового мира» и самого А. Твардовского, но и всего живого, независимого, выделяющегося из серой массы. Прорабатывали и катаевскую «Юность» (не понимаю, почему сегодня за нее никто не заступится?), и «Молодую гвардию», и журналы «Север», «Волга». Не устраивал чиновников даже ортодоксальный «Октябрь». Постепенно все эти журналы потеряли своего лица не общее выражение.

Но кроме бюрократического катка, давящего все живое в литературе, существовала в те шестидесятые годы, как и всегда, борьба литературных направлений, шла ожесточенная полемика между самими художниками. И хотя, как мы уже говорили, далеко не на высоте оказывались полемические приемы тех лет, все же это была литературная борьба, полемика в духе того времени. Конечно, борьба, небезобидная для всех: примеры из «новомировских» статей попали в официальный документ, осуждающий неправильную линию «Молодой гвардии», цитаты из огоньковского письма тоже брались на вооружение в низвержении «Нового мира» Твардовского. Кому было надо, приводили и письмо против «Доктора Живаго» Б. Пастернака, подписанное А. Твардовским и другими известными писателями. Зачем же сособочивать реальную картину литературной жизни тех лет! Неужто это и есть по-нынешнему — правда?! К тому же смешивать сложнейшую литературную борьбу с потугами бюрократических зажимщиков литературы вряд ли плодотворно вообще.

Ныне у нас образовалась монополия на демократию и гласность. И всех, кто позволяет себе хоть в чем-то не согласиться с «монополистами», срочно начинают записывать в сталинисты. Вот и Г. Власов из Минска противников «отрицательной культуры» сразу же записывает в стан друзей «вождя народов» — чохом и «Москву», и «Наш современник»... Это В. Астафьев — сталинист? Или В. Распутин? М. Антонов или И. Васильев? В. Белов или В. Крупин? Посмотрите, как старательно примеряют этот ярлык к Т. Глушковой за ее блестящую статью в «Литературной газете» и ее оппонент Е. Сидоров, и постоянный ее хулитель С. Рассадин. Зачем же так, товарищи демократы? Спорьте, полемизируйте, но не сочиняйте наиновейших политических наветов. От монополии на демократию один шаг до «охоты на ведьм», что и продемонстрировал не так давно секретариат Союза театральных деятелей РСФСР, исключивший из СТД (а вскоре и восстановивший в том же Союзе) театрального критика Марка Любомудрова, как понимаем, за инакомыслие,— не о том пишет!

И последнее положение из письма Г. Власова, уводящее нас опять к «психологии гражданской войны», по меткому определению профессора Ю. Вахтина. «Данные о росте тиражей — вот точный вывод, за кого читатель» — с одной стороны, «спекулятивный рост тиража «Москвы» — с другой. Кажется, всем ясно, что небывалый взлет тиражей литературных журналов во многом связан с публикациями из литературного наследия. Почему же публикация «Доктора Живаго» в «Новом мире» — это хорошо, а публикация «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина в «Москве» — это спекуляция? Есть ли тут здравая логика? Или уж быть против любых публикаций, или сохранять объективность. С точки зрения насущной необходимости, думаю, вряд ли кто будет спорить — «История...» Карамзина нужна как воздух. Кто же так боится, что народ узнает свою историю? Как неуклюжи оправдания отказа от всенародной подписки на собрания сочинений В. Соловьева и В. Ключевского. Изыми Госкомиздат из плана на год-другой несколько собраний сочинений, и вся проблема бы решилась. Я бы согласился подождать даже с любимым Э. Хемингуэем, даже (опять подставляюсь под удар) с выходом собрания сочинений М. Булгакова, не говоря уже о продолжающихся подписках на нынешний литературный генералитет, и проголосовал бы за возможность появления в каждой семье важнейших исторических сочинений. Здесь полезен любой ажиотаж, любая реклама. Помню, в свое время в прекрасной книге А. Битова об Армении прочитал о том, что в любом армянском доме обязательно есть книга об истории Армении. Это как Библия для верующих. Как букварь для первоклассников. Даже не обязательно прочитать всю «Историю государства Российского» или все собрание сочинений Ключевкого, но обязательно знать, что в доме такие книги есть... Увы, не будет ни Ключевского, распространявшегося среди все той же партийно-торговой элиты, ни Карамзина, ведь, наверное, не случайно подписку на «Москву» ограничили такими жесткими нормами, и это на фоне довольно свободной (на текущий год) подписки на остальные журналы! (Тов. Власов, от этого тоже зависят тиражи журналов!) Что говорить — демократия по-нынешнему.

«Уважаемый тов. Бондаренко!

В целом Ваша статья мне понравилась. Но хотелось бы поделиться с Вами некоторыми своими соображениями.

Вы пишете: «Сейчас с удовольствием нам показывают изнанку советского семидесятилетия». Полноте. Неужели Вы это допускаете? У нормального человека удовольствия от показа теневых сторон не должно быть. За редкими аномалиями. Если такие люди есть, то укажите их конкретно. Не думаю, чтобы Рыбаков, Бек и другие, описывая теневые стороны, испытывали удовольствие... Горечь, наверное. А показывать теневые стороны надо. Это нормальное явление. Другое дело, теневые стороны были не только во времена культа. Во времена так называемого застоя они тоже были. Но у меня создается впечатление, что нас искусственно уводят от застоя и направляют во времена Сталина. Или боятся писать о теневых сторонах застоя? Или литераторы, чувствуя свою вину, не хотят, что ли?..

Далее, Вы замечаете: «Народу внушается мысль о его «некачественности», а этот самый народ тем временем жадно читает историческую литературу, ищет в искусстве сильные характеры»... Допускаю, что кто-то и внушает. Но кто — не знаю, и из Ваших заметок так и не узнал. Считаю, что эта мысль у народа может возникнуть и без всякого внушения... От «прекрасной экономической ситуации». От рек крови, которые в мирное время превысили реки крови войны... От нехватки и качества товаров ширпотреба... А когда сын говорит, что наши товары — дерьмо... Чем я ему буду возражать? Как воспитывать патриота Родины? А Вы сетуете, что ее внушают. Да она витает в народе. Это, конечно, мое личное мнение.

Вы глухо коснулись диссидентов. Надо говорить до конца. Лично мне, например, Солженицын нравится больше, чем Рыбаков. Но каковы литературные нравы в вопросах «диссидентских» писателей, мне не ясно. Вроде бы инакомыслие не осуждается нынче... Но критики пока молчат. *А. В. Платонов,* Москва».

Во многом я согласен с автором этого искреннего письма, во многом — нет. По крайней мере, этот читатель, подобно иным оппонентам, не домысливает за меня, а интересуется, кого я имею в виду конкретно, говоря об «изнанке». Спустя полгода после выхода статьи это пристрастие стало куда более заметно. И не романы и повести А. Бека, В. Дудинцева и т. д. я подразумевал, говоря об «удовольствии от изнанки семидесятилетия». Тем более, эти произведения не сейчас написаны. Сейчас это — «Ненаписанные романы» Ю. Семенова, это «Дальше... дальше... дальше!» М. Шатрова, это десятки скоропалительных газетных и журнальных сенсаций, без малейшего внутреннего переживания, сострадания и жалости вываливающих на читателя любые, в том числе и сомнительного порядка, сведения, лишь бы погрязнее. Так поступил, например, В. Смехов в своей статье о «Таганке» в журнале «Театр», в очередной раз оболгавший А. Эфроса. Жертвами «изнаночной печати» уже стали Булгаков и Шолохов, Высоцкий и Бухарин, Вишневский и Маяковский, думаю, ряд не замедлит пополниться.

Любопытна мысль о том, что о культурной политике времен застоя наши смелые журналы молчат. А вот понятие «патриотизм» привязывать только к экономическому положению страны я бы не стал. Что же, в бедных африканских странах не должно или не может быть патриотов? Скорее, наоборот...

«Я живу далеко от Москвы, в северном городе Николаевске-на-Амуре, и последняя книжка Вашего журнала за прошлый год пришла к нам недавно. Огромное спасибо за статью Бондаренко. Такая пуб-

ликация вряд ли всем будет по нраву, я имею в виду тех, кто на сложившейся конъюнктуре сейчас с таким рвением зарабатывает имя и славу. Большинство простого люда не приемлет недостойных игр современных «прорабов духа», «перестройщиков», и не потому, что они против перестройки. Наоборот — за!

Всем надоели парадность, ханжество, ориентация только на верха, полнейшее пренебрежение нуждами народа, шумное славословие. Но тех, кто мгновенно «прозревает» и с ходу начинает оплевывать то, чему вчера молился, трудно уважать, и тем более невозможно им верить. Ведь кто писал «Возрождение» и «Малую землю», кто присуждал им Ленинскую премию и призывал писателей учиться у них мастерству, кто вешал на автора звезды Героя? Не видели, не знали разве всю постыдную фальшь всего этого? Видели и знали, но молчали. Говорить стали, когда дозволили. Ведь это, наверное, только у нас: при жизни лакействуем, после смерти оплевываем. В таком случае, честнее молчать, а не выдавать нынче за гражданское мужество то, что и порядочным назвать трудно. Нельзя назвать гражданским мужеством и действия Хрущева, потому что сам он шел к вершинам власти при Сталине, и если бы не служил ему верно, то не дошел бы до них. Велика ли честь пинать мертвого? Народ должен знать свою историю, но ведь есть опасность обратной ее фальсификации... Ведь в стремлении все очернить можно вообще зачеркнуть все семьдесят лет истории, вообще остаться голыми. Трудно понять, какими творческими задачами руководствовались режиссер и артистка в «Забытой мелодии для флейты», когда она обнажается на экране, но еще труднее согласиться с тем, что раздевают до исподнего всю страну. Во имя правды? Но правда не терпит суеты и вседозволенности, иначе вместо одной неправды вырастает вторая, не менее опасная. Ведь посмотрите, как бросились к кормушке, как спешат опередить друг друга. И как взахлеб хвалят критики, совершенно не замечая художественной слабости ряда сенсационных поделок. Да, Рыбакова читают в очередь. Но, в первую очередь, потому, что там рассказывается, «как Сталин Кирова убил». Рыбаков сам говорит в интервью, что документами не располагает. На чем же он тогда строит «внутренние монологи» Сталина? На художественном домысле, как Толстой в «Войне и мире»? Но «Война и мир» писалась через сколько лет, а эти события еще слишком близки, и здесь нужен не домысел, а документ. Так не лучше ли подождать этих документов? Нельзя, вдруг перехватят!.. У нас все — крайности. Во времена Хрущева стали оправдывать всех подряд. Мне встретилась женщина, потерявшая в годы войны мужа по доносу предателя. Одна, без помощи поднимала троих детей, ютилась в землянке. А этот полицай вернулся,— как пострадавший невинно, получил дом и усадьбу и с усмешкой смотрел на всех. Несправедливо, если вместе с невинно пострадавшими жертвами будут под сурдинку реабилитированы и настоящие предатели. Очень правильно говорил один парнишка на встрече читателей с Ю. Бондаревым, что предательства прощать нельзя.

В Вашем журнале — серьезная публикация М. Чудаковой о М. Булгакове. Из нее понятна трагедия человека, не сразу принявшего новое. Но вот в другом журнале — старые очерки Булгакова. Рядовой читатель прочтет: а что особенного, почему столько разговоров? Очерки эти уместны в собрании сочинений, а выхваченные, не могут раскрыть суть и степень таланта писателя. Публикуют, чтобы не отстать от модного движения, нанося вред пониманию Булгакова. Да, старое публиковать надо, но тоже без суеты и ажиотажа.

Ведь по-прежнему многое делается бездумно, по команде, этим гробятся хорошие дела. Даешь кооперативы, и в Хабаровске рабочую столовую закрывают, а на ее месте открывают кооперативное кафе по бешеным ценам. Люди вынуждены питаться. Писателей это не беспокоит? Или растущее расслоение общества, появление элитарных групп? Искусство для посвященных, ориентация на то, чтобы похвалили на Западе, а свой народ пусть не понимает. Зачем рядовой женщине демонстрация умопомрачительных мод и даже журнал «Бурда», если обыкновенные колготки купить нельзя. Теперь уже толкуют, что больше социализма в том, что богатый будет за плату лечиться у первоклассного врача, а другой — бедный — у казенного доктора. Стоит ли нам брать за общественный идеал только предприимчивого человека?

Мне кажется, чем с таким рвением копаться в прошлом, инженеры душ наших должны повернуться к сегодняшним болячкам. Ведь сколько бы ни призывали народ к живой, активной работе на благо перестройки, он не станет подлинным хозяином, если видит, что живы еще бюрократы и зажимщики критики, что нет реальных мер к устранению социальной несправедливости, что так велик еще разрыв между словом и делом. *Т. Пойлова.* Николаевск-на-Амуре».

«...Благодарим Вас за прекрасную публикацию в «Москве». Получается так, что чуть ли не все критики и писатели сейчас причисляют себя к «пострадавшим». А те, кто травил Пастернака, Зощенко и др., сейчас кричат об их таланте, трубят о восстановлении справедливости. Рязанов поспешно (чтобы первым) ставит фильм о Высоцком. Что в нем о Высоцком? Привлекает лишь исполнение песен самим Высоцким. А эта пастораль со стариками смешна и лжива. Стыдно. Мы не жаждем крови. Не все понимали Высоцкого. В том числе и родители. Что в этом стыдного? Стыдно лгать! Нужно было эту тему обойти молчанием.

Мы столько надавали разных премий ни за что ловкачам, дельцам и наглецам, что пора остановиться и оглянуться... *Воробьева А., Баринова А., Петров В., Губарь А., Лазаричева К., Карпова Л.,* Москва».

«Уважаемый тов. В. Бондаренко! Ваша статья — это позиция круговой оборо-

ны... Мне, человеку, далекому от литературного мира — я по профессии политэконом, — понятны Ваши чувства... Очень хороши мысли об «отрицательной культуре». Но как ее изжить? Она закономерна, потому что сознание большинства находится на кризисном уровне, а не на уровне перестройки. Ситуация такова потому, что вся страна пока еще находится на этом уровне. Кроме того, «отрицательная культура» — это культура людей, сложившихся в застойные годы, много претерпевших и разуверившихся. Их ой как много. Думается, по этой причине «отрицательная культура» будет еще долго сопутствовать нашей жизни. Непонятно, зачем после многих страниц откровенности Вы делаете удивленные глаза по поводу того, что молодые литераторы стыдливо относятся к слову «коммунист». Оно ведь много лет уже заменено словом «член партии». Вы должны знать, потому что это звание доступное, что к тем, кто занимается партийной и комсомольской общественной работой, во многих учреждениях и на многих предприятиях относятся как к карьеристам, жаждущим партбилета или других выгод. Представление о людях чести, верности, долга и представление о коммунисте сегодня разошлись слишком далеко. Закономерный результат социально-экономического развития нашей Родины.

Со многим в Вашей статье согласен. «Дети Арбата». Да, конечно, в большей степени социальное, чем литературное явление. Литература в романе на уровне Гарина-Михайловского — герои просты, психология их прямолинейна, сюжет заранее прогнозируем... Но уже год хочется спросить: почему все время о сталинизме? Неужели нет никого, кто бы заинтересовался более близкими временами? Или слишком много живых и сильных деятелей этих времен? Или такова политика, налагающая вето на более близкие годы?... И еще. Ваша статья повернута лицом к литераторам. Но литература — это не ведомственное дело, не самостоятельная жизнь, а только часть нашей общей жизни. Но посмотрите, как везде к этому подходят. Статья проблемная, статья критическая, еще и еще, ну и на закуску несколько врезок — письма читателей. Читатели по отношению к печатному органу оказываются в отношении младшего к старшему. А как на пресс-конференциях наши маститые затыкают рты читателям. Те, бедняги, и так робко выступают, чаще заискивают, чем спрашивают, а «отцы» их поучают. Кстати, у Бондарева это прорезалось. Хороший писатель, жалко. Из сказанного Вами и многими другими составляется мнение об оторванности журналов от читателей... В вашей рубке — литературной — нет нас. Сейчас, как и раньше, во многих областях разводят руками и говорят: нет людей, некому поручить и т. п. Мы есть, но нас никто не ищет. Нас ищут среди челяди, среди своих, там, где нас и заведомо быть не может. Для того, чтобы люди находились сами, т. е. находили свой путь и упорно по нему шли, ох сколько им нужно понять и обрести сил. Людей надо собирать, как собирали наши князья после Батыева и других нашествий на Русь... Пока что ото всех споров о перестройке литературы остается ощущение жуткого одиночества, опять мы в стороне. Идет феодальная междоусобица, нам достается, но в ней мы не участвуем. Кончится драка, и те, кто возьмет верх, начнет снова указывать нам, что такое хорошо и что такое плохо. *В. Потапов.* Кандидат экономических наук. Институт научной информации по общественным наукам АН СССР».

«Уважаемый Владимир Бондаренко!.. Из многих проблем, поднятых в очерках, я хотела бы остановиться на важнейшей: настоятельной необходимости именно сейчас, в эпоху перестройки, искать, анализировать и утверждать образ осуществившегося человека социализма. «Как бы нам с этой «новой правдой» не утонуть в болоте новой лжи» — пишете Вы.

Эта «новая ложь» особенно видна в изобразительном искусстве. Я помню выставки, посвященные образу современника. Всем известно, что именно статуя «Рабочий и колхозница» В. Мухиной принесла русскому искусству успех за рубежом, который специалисты могут сравнить разве только с успехом «сверкающей кисти» К. Брюллова — его картины «Последний день Помпеи». «Ваша статуя, — сказал в то время Мухиной Ф. Мазерель, — ударила нас, французских художников, как обухом по голове. Мы иногда целыми вечерами говорим о ней».

1987 год принес советскому изобразительному искусству странную ситуацию: во многих городах советское искусство, советская классика из глаз зрителей попросту исчезла... Третьяковка и галерея на Крымском валу в юбилейном году закрыты. В мае 1987 года, впервые будучи в Минске, я выяснила, что советский раздел республиканской галереи целиком закрыт без сколько-нибудь понятных причин. Насколько мне известно, так же обстояли дела и в Русском музее в Ленинграде, хотя к концу лета, говорят, открылся зал с показом работ «забытых» художников... Центральная печать ведет яростную борьбу против направления социалистического реализма, на всесоюзной искусствоведческой конференции этот термин предлагали вообще снять. Напрасно журнал «Огонек» высмеивает «жуткий заговор против реализма», реалистический образ человека с большинства выставок почти исчез. А между тем гласность, возможность говорить правду, может быть, в большей степени нужна тем, кто утверждает осуществившегося человека, нежели даже тому, кто его отрицает. Я помню, как плакал художник Аркадий Александрович Пластов, рассказывая, как жил в годы войны народ. «Хоть на год бросить бы нам эти фанфары и сказать правду о человеке», — говорил мне старый художник М. Труфанов... Мне самой на поздравление из высоких инстанций по поводу одной моей брошюры довелось в отчаянии кричать: «Я считаю, что написала умную партийную книжку, а ее превратили в глупую партийную книжку — так ее исказили!»

Вы правы: «долгие годы монополией на

социалистического человека владели лицемеры и бюрократы», и это привело к тому, что «реальный человек перестал верить в социалистического человека».

В невозможности «объемно», как выражаетесь Вы, утверждать человека и была основная трагедия застойных десятилетий, а не в умалчивании. Пусть без конца репродуцируют и показывают в музеях Малевича, Кандинского, Шагала. Да ради бога!.. Гораздо хуже другое — то, что на юбилейной выставке «Страна Советов» мы Страны Советов, по существу, и не видели, нам предлагают в качестве произведения искусства металлическую полуфигуру Ленина, абсурдно повисшую среди прозрачных конструкций, или (на других выставках) портрет Маркса, сбрившего себе ровно половину бороды, или портрет Чернышевского на каторге, похожего на обезьяну. Гораздо хуже то, что художников отучили интересоваться современностью. Антиобщественные установки особенно охотно выставляемых сегодня художников и приводят к тому, что на всероссийской выставке «Художник и время» зрители писали такие отзывы: «Выставка произвела грустное впечатление. Чем объяснить странный подбор — в своей основе — картин: мрачные пейзажи, мрачные люди?» (О. Тихонов), «Были в Москве, зашли на выставку в Манеже. Стало страшно жить. Никаких эмоций... А я оптимист... Чем дальше жить?» (Е. Муравьева). Народу внушается мысль о его «некачественности», как совершенно справедливо пишете Вы.

Я горячо и настоятельно поддерживаю Вашу идею начать широкую дискуссию об образе человека в искусстве, осуществившегося человека. Здесь примут участие все: и те, кто создает искусство, и те, кто потребляет, и те, кто, будучи далек от искусства, просто живет в стране социализма, и даже те, кто уехал за рубеж, думая, что ненавидит социализм, и там вдруг ощутил себя человеком советским и, пережив великую трагедию, понял, чем для него, чем для всего человечества является социализм.

Мне представляется необходимым, чтобы эта дискуссия охватила все виды искусства. Сейчас очень модно говорить о синтезе. Так пусть это и будет спор об объемном образе реализовавшегося человека социализма — о герое, утверждаемом всеми видами искусств. Но для такой дискуссии нужен застрельщик. Хорошо бы им стал журнал, любимый многими, — «Москва». С глубоким уважением. *А. Жукова.* Искусствовед. Москва».

И впрямь, говоря на страницах всесоюзных изданий о проблемах общества и их выражении в кино, театре, литературе, даже в музыке, мы крайне редко обращаем внимание на изобразительное искусство. Мы отучились интересоваться им. Возможен ли сегодня журнал типа «Аполлон», «Весы», «Золотое руно», где искусство и литература гармонично сосуществовали вместе? Знают ли писатели, что происходит в современной живописи? Читают ли художники современную литературу? Нужны ли сегодня критики, подобные Стасову или Философову, Дягилеву или Луначарскому? Тем более, что процессы, происходящие в литературе и искусстве, аналогичны даже в стилистических поисках. Дискуссия вокруг М. Шагала в Белоруссии, кроме всего прочего, полезна тем, что вовлекла в круг интересов изобразительного искусства большое количество людей. Понятно и неприятие большинством идеи срочного создания мемориального комплекса М. Шагала в Витебске. Опять нам навязывают революционный метод действия, опять заставляют перешагивать через необходимые эволюционные ступени. Люди, никогда в жизни не видевшие работ Шагала ни в подлиннике, ни даже в репродукциях, вынуждены голосовать «за» или «против» музея. Это же опять навязывание сверху. Принципиально, нет разницы, «навязывают» М. Шагала или помпезный памятник на Поклонной горе. Предлагается же не частный, а государственный музей, так не лучше ли сначала хотя бы устроить несколько выставок художника в Минске, Витебске, познакомить поближе жителей города с его творчеством, а потом уже городу и решать, создавать музей или нет.

Попробуй А. Вознесенский навязать свое желание создать музей И. Бунина — во Франции, Владимира Даля — в Дании, К. Росси — в Италии, не спросясь решения мэрии. А почему бы не потребовать от США открыть городской музей Джона Рида? Не последние ведь все люди на земле! Когда же мы, крича во все горло о демократии, перестанем навязывать народу не прочувствованные им самим решения? Когда мы все спорные вопросы начнем решать истинным народным плебисцитом, будь то в рамках города, республики или всей страны?

«...Большущее спасибо за статью Владимира Бондаренко. Прочла даже дважды и прочту еще, а пока читают друзья. Целиком согласна с тем, что критика должна восприниматься только как критика, без личностных обвинений. Положение создалось дикое, можно сколько хочешь ругать Астафьева, кстати, за прекрасную его работу «Ловля пескарей в Грузии», обвинять его в национализме — это бог знает что. Ругали на съезде, в разных статьях и в этих отвратительных письмах (провокационных, по-моему). Прекрасный писатель, да, бичующий негативное, разве мало достается там и русским? У него особое видение, и ведь боль, не насмешка же, и любовь, и сочувствие к беде других. Выдернув из контекста, в «Комсомолке» обвинили в «заигрывании с боженькой» и Айтматова, как и В. Быкова, тоже замечательного писателя. А В. Белова уж как не обзывали (разве это критика?) только за то, что вывел такой типичный образ Миши Бриша, в конце романа гуляющего по Колпачному. Что, этого не бывает? Ведь и не сказано ничего, а «на воре шапка горит». Айтматова тоже критиковали, и очень, и не со всем можно согласиться... Вот вышел «Доктор Живаго». Думала, впечатление от самиздатского — на одну ночь, да плохая фотокопия — нельзя брать в расчет. Но вот читаю легально, и не идет. А поэт, кто спорит, большой, есть удивительные вещи.

Кстати, сам он не читал Мандельштама, и ничего. Вот так и выходит, что нельзя критиковать то, что на волне. Испытала большое огорчение, прочтя «Детей Арбата». Писать не стала — ретроградом окажешься, да и неудобно, человек «вскрывает правду». Только я не увидела там той правды, что помню сама и знаю от близких. Увидела взгляд из прошлого, мерками трусости, всеобщего страха, выработавшегося уже к тому времени. И взгляд на личные взаимоотношения, рестораны, секс — это тоже из шестидесятых. Не верю, что за Сашу Панкратова не вступился никто из студентов и преподавателей. Не верю, что в деревне в Сибири все были такие. Не верю, что Варя могла так разменяться. Образы смешаны: либо не так заданы вначале, либо не так себя ведут. Сужу об этом изнутри. Меня все это коснулось. Жила, правда, не на Арбате, а в доме на набережной... Да, были знакомые и «друзья», которые переходили на другую сторону улицы, но были и верные, мужественные люди, подчас даже совсем чужие — прятали, помогали, спасли от режимного детдома, а позже укрывали от ареста, когда не отказалась от отца. Гордилась им! Он боролся за людей.

Очень сложное у меня отношение к произведению А. Рыбакова. Конечно, я не специалист, но показалось оно недоработанным, схематичным, нехудожественным, что ли. Думала, может быть, и стоит ему написать — учтет какие-то факты, но кажется почему-то, что совсем у него другой подход, какая-то заданность заранее. Почему-то боюсь даже его продолжения, объявленного уже. Глупо, но оскорбляет он, что ли, память мою.

Главный герой А. Бека выписан лучше, он сродни дяде Саши Панкратова, таких, увы, было много, для строительства — идеальных, а для общества, жизни — это машины, колебавшиеся с общей линией. Когда станут известны стенограммы съездов, пленумов и т. д., тогда все узнают, что и голосовали против, и выступали против, и покидали из-за протеста заседания, настаивали, боролись. И отнюдь не все себя так вели на процессах. Это несчастье нашей страны. Не осуждаю, не знаю, что их сломило. Многие из них, наверное, и не были бойцами, больше политиками, теоретиками, часто были в эмиграции. Но знаю, что многие остались верны, несгибаемы — ничего не подписали, никого не назвали, вели себя мужественно. Мне показали в Военной коллегии папино дело. Оно говорит о силе духа, красоте человека. Это мой кошмар, боль, но и гордость моя. А литература? Разве не должна она отражать во всем многообразии, но давать и лучшее. А женщины? Сколько было преданности, недаром сажали и жен. Сколько чужих людей — соседи, домработницы, сослуживцы — брали и тайно, переименовав, воспитывали детей репрессированных, хранили их вещи, фотографии даже. «Белые одежды» намного человечнее, читаются с большим интересом, но тоже хотелось бы их большей убедительности...

P. S. Простите, еще вопрос — почему ограничили подписку? Разве это справедливо? Понимаю, из-за Карамзина, которого всем хочется иметь. И все же каждый москвич должен иметь право подписки на свой журнал. Знаю одну пенсионерку (персональную, союзного значения, родившуюся даже в Бутырке, в одиночке), не сумевшую из-за болезни вовремя оформить подписку и очень горюющую поэтому. А она потомственная москвичка: пра-пра-пра — колен семь схоронены в Москве. Если есть какая-то возможность помочь ей в этом, было бы прекрасно. Это Кульман Мария Николаевна. Еще раз всего доброго. *М. В. Михайлова.* Москва».

«Прочел «Очерки литературных нравов» В. Бондаренко и подумал: наверняка уже скрипят перья возмущенных ура-перестройщиков, и недолго ждать, когда на него со страниц различных изданий обрушится тьма критических стрел. «Знай наших!» — напомнят автору мастаки превращать литературные дискуссии в «выяснение отношений». Перестройщики — публика особая. Все они за правду. Но боже упаси выставить за ушко да на солнышко их самих. Возмездие последует жестокое...

Вопрос первый — не слишком ли много парадчости в оценках литературного процесса наших дней? Разумеется, значение того, что ныне появляются книги на некогда закрытые темы, умалять нельзя. Они заслуживают внимательного и всестороннего анализа. Но почему-то остропроблемные произведения сплошь и рядом становятся предметом аллилуйщины. Похоже, что вот-вот грянут фанфары, а хор славословящих критиков затянет «Марш победителей литературной перестройки».

Обратимся к статье Б. Никольского «Время работы» («Нева», № 11, 1987 г.). В ней немало интересного, настраивающего на деловой лад. Но предостаточно и слащавой парадности.

«Прочтите. Вдумайтесь. Какое мощное созвездие имен, какое сильное обращение к глубинным пластам нашей жизни, какая смелость художественного и социального анализа», — пишет Б. Никольский, перечислив ряд авторов и произведений из опубликованных ныне.

Читали. Вдумывались. И убедились, что одним произведениям, которые привели Б. Никольского в восторг, явно недостает художественности, другим — реалистичности...

Вопрос второй — о показе отрицательных реальностей прошлого. Сейчас это особой смелости не требует. Закрытых тем для литературы не стало. Но, простите за каламбур, благотворный ветер гласности оказался не свободным от поветрий... Разве только трагизм человеческих судеб был характерен для тех времен? Речь не о том, что надо дозировать в произведении «деготь» и «мед». Не должно быть предвзятости в изображении действительности.

«Кто чувствует себя виноватым, — писал В. И. Ленин, — тот может каяться. Но при этом пусть он посыплет пеплом с в о ю г л а в у и раздирает с в о и одежды, а не чужие. Извращать же историю и клеветать в порыве раскаяния даже на себя, — отнюдь не следует». (ПСС, т. 14, с. 69).

Вопрос третий — о принципиальности

критики. Хорошо известны песенки В. Высоцкого о Мишке Шифмане, про «светило, которое было еврей» и др. Ядовитые, пошлые вещицы. Их вредность умножается тем, что сработаны они талантливым мастером. Но об этой стороне творчества В. Высоцкого критика — молчок. А появился роман В. Белова «Все впереди» — стражи нравов сразу всполошились. Какими только упреками не засыпали писателя. Выяснилось, что, по мнению рассерженных критиков, показать в художественном произведении персонажей еврейской национальности — уже антисемитизм. Но разве образы надуманны? Или мы не знаем о тысячах евреев, которые предпочли нашей стране «демократическую» чужбину, не видели бришей, мирских, саманских на антисоветских демонстрациях? Всем, наверное, памятна телепередача «Позиция» — о сборище самозваных «еврейских активистов». Вот где воистину было представлено национальное высокомерие в конкретных лицах!

Да, признаем, в художественном отношении роман «Все впереди» не безупречен. Литературная критика отмечала это. Но будем до конца справедливы. В. Белов написал интересную, нужную книгу. Любой шовинизм, национализм — зло. И русский, и украинский, и казахский, и еврейский... Писатели не должны уклоняться от вторжения в эту тему. Будем надеяться, что роман В. Белова — лишь один из починов, и все — впереди... *В. Елесин.* Ветеран Северного флота».

Как видим, одна из постоянно возникающих сегодня тем — тема покаяния. Скажу честно, в споре Д. Лихачева с Ю. Бондаревым поначалу мне показался более убедительным Д. Лихачев. Все мы несем ответственность за свое время. Но развернувшаяся кампания модного коллективного покаяния, когда многие не столько каются, сколько ищут оправдания и за свое прошлое, и за будущее, притом, бывает, и за чужой счет, заставила меня изменить свое мнение. Читаю статью М. Швыдкого в журнале «Театр», слушаю его выступление на Всесоюзном совещании драматургов — это прямо-таки агрессивное покаяние. «Мы все виноваты, — обращается он к критику В. Максимовой, — и потому не смей критиковать М. Шатрова за конъюнктурность в брежневские годы». «Мы все виноваты, — обращается он к критику Б. Любимову, — и потому не смей критиковать О. Ефремова за многочисленные уступки власть имущим». А на страницах «Студенческого меридиана» уже сам О. Ефремов не столько кается, сколь воинственно защищает свои компромиссы с совестью, опускаясь до пересказа оскорбляющей память Станиславского театральной байки о том, будто бы Константин Сергеевич стоял на коленях перед пьяным Рябушинским и целовал ему руку, вымаливая у него деньги (в подтексте звучит — почему бы и мне не выставить в кабинете всем на обозрение свою фотографию, где я обнимаюсь с Брежневым и т. п.). Люди не безгрешны, но зачем же так, по слухам, без документального обоснования, уничижать Станиславского во имя самооправдания? Критик М. Швыдкой на самом деле «грешил» конъюнктурой, в годы застоя, но не хочу я с ним наравне каяться. Когда меня критиковали в «Правде» в самые «застойные» годы за «внеклассовый подход», когда секретариат правления Союза писателей СССР в своем постановлении указывал на недопустимость моих антиисторических суждений за одно лишь упоминание имен А. Ремизова и Н. Бердяева, когда я получал выговоры и вынужден был уходить с работы за публикацию острых статей И. Золотусского, М. Захарова, за цитаты из запрещенных тогда Е. Замятина и В. Меньшикова, критик М. Швыдкой писал более чем благополучные статьи. Знаю свои компромиссы и не люблю изображать себя жертвой, но не хочу я быть «виноватым» вместе с теми, кто благоденствовал. Потому мне понятен протест В. Максимовой с трибуны в адрес Швыдкого по поводу его настоятельного призыва к покаянию.

Покаяние вообще-то дело сугубо индивидуальное. Бывали случаи, когда самые безгрешные в монастырях отмаливали грехи своей родни, а то и всего своего народа — а родня тем временем продолжала грешить. Бывали и Кудеяры, замаливавшие свои собственные великие грехи. Вспомним конец жизни Ивана Грозного. Только в атмосфере воинствующего атеизма могла возникнуть идея коллективного покаяния. Критики Б. Любимов и В. Максимова — не святые, но все эти годы были куда более объективны и искренни, чем подлаживающийся под господствующее настроение любитель апологетики М. Швыдкой.

Теперь обращусь к тем конкретным позициям в моей статье, которые вызвали нескрываемое недоумение и раздражение у читателей.

Самые разные мнения у читателей о кинофильме «Проверка на дорогах». Из Саратова пишет Голубева Ольга Тимофеевна:

«...После просмотра фильма «Проверка на дорогах» я приставала ко многим товарищам: «Что же тут нового о войне?» Почему меня заставляют жалеть предателя? Мы так и не поняли, почему так долго его не допускали до экранов и решили, что мог бы до сих пор лежать на полках. Слабый фильм. Я всю войну летала на ПО-2 штурманом. Сделала 600 боевых вылетов на бомбежку вражеских объектов. Первый раз вылетела на задание в 18 лет. Я разбивалась, горела... И снова садилась в самолет во имя Победы. Надо было преодолевать боль, страх, отчаяние, тоску по дому, маме, уюту... На моих глазах горели над целью фанерно-полотняные самолеты, а в их открытых кабинах, как в мотоцикле, — две девчонки. Представьте: падает горящий самолет, разбрызгивая огненные струи, из кабины штурмана, взрываясь, вылетают ракеты. Красная... Белая... Зеленая... От нестерпимого жара рвутся они. Штурман посылает последний привет. Радио на ПО-2 не было. Не было у нас и парашютов. Вместе с самолетом горят девчата. Хотелось закричать! Поднять в воздух

всех. Смотрите, как горят самолеты, а в них девушки. Им по 19—20 лет. Они хотят жить. Не дайте им умереть!..

А «Зубр» Д. Гранина? Вы задали Д. Гранину все те вопросы, ответы на которые хотелось услышать многим, особенно фронтовикам. Нет, я не могу, да и не имею права простить, оправдать Зубра. И я протестую, чтобы его пропагандировали в качестве героя для моих детей и внуков! Взахлеб о нем говорят по радио, на конференциях... Это не гласность, скорее, наоборот. За все Ваши сюжеты большое спасибо».

В письмах М. Богославского из Харькова, Ю. Егорова и М. Копелиовича из Ленинграда, как и в рецензии Ю. Богомолова в «Советской культуре», оспаривается моя критика этого фильма. Меня дружно упрекают в том, что я придумал за героя его предысторию. Выясняется, что сам режиссер в первых кадрах фильма показывает, за какие «подвиги» наш страдалец из отряда карателей получил заслуженный отпуск. (Правда, большинство зрителей вряд ли присоединится к этой сентенции.) А во-вторых, «наш страдалец», с легкой руки В. Бондаренко, превратился еще и в убийцу детей!» — М. Копелиович. «Смотрел кинофильм «Проверка на дорогах» и совершенно по-другому отношусь к главному герою. От Вас узнал, что ему дали отпуск за образцовое выполнение карательных мероприятий. А так ли это?.. Откуда мы узнали про отпуск? Из ответа его своему дружку — охраннику на железнодорожной станции. Значит, наш герой из роты охраны?.. Или, может быть, карателей переквалифицировали в охранников? Вряд ли...» — Ю. Егоров. «Вы, помимо всего прочего, отважились досочинить за А. Германа мрачно-преступное прошлое его героя...» — М. Богославский. «В. Бондаренко, как и замполит командира отряда... предлагает свою версию цепи событий... Во-первых, он власовец, во-вторых, ребенка убил... По всем меркам критический анализ, который В. Бондаренко демонстрирует, называется оговором...» — Ю. Богомолов.

Я засомневался — может, по телевидению показывали сокращенный вариант фильма? Уточнил. Напоминаю не версию, а сюжет. Начинается фильм с того, что приезжает машина с карателями в деревню, жители которой скрылись в лесу, и наш герой среди тех, кто поливает обнаруженную яму со спрятанным картофелем ядовитой жидкостью, обрекая жителей на голодную смерть. Не я, уважаемые авторы писем и известный кинокритик Ю. Богомолов, а голос диктора сообщает, что голодный ребенок не вытерпел и съел отравленную картошку. И умер... И не рота железнодорожной охраны ездит по деревням, выполняя четкие карательные функции (или, может быть, уничтожение всего оставшегося продовольствия всего лишь благотворительная акция, невинная забава, а я опять оговариваю невинных карателей?).

Но чтобы ощутить происходившее с людьми во время войны как свое, может быть, нужно приблизить к нам ситуацию? Попробуем. К примеру, в колхозное картофелехранилище забирается злоумышленник и травит точно так же, как наш герой, колхозную картошку, и чей-то ребенок от этого погибает. А злоумышленник? Он раскается. Что делать будем? Или это не преступление и не убийство ребенка? Или то — не мрачно-преступное прошлое? А далее герой фильма едет в отпуск. Это же известно, что не только во время войны (и у нас, и у немцев), но и сегодня, в мирной армии, отпуск домой расценивается как награда за отличную службу! Что дает мне основание предположить, видно, не один раз участвовал в подобных операциях герой «Проверки на дорогах», прежде чем решился уйти в партизаны. В своем решении он искренен и последователен, но о чем будет думать отец того отравленного ребенка, столкнись он с этим героем, что стал бы делать?.. А среди партизан большинство было таких отцов. И в любой армии, в любое столетие неприятие людей в «чужих шинелях» людьми в своих шинелях неизбежно. Вот об этом бы и поставить фильм, а не склонять нас к осуждению людей в своих шинелях. Не стоит всех людей со «сложной биографией» возводить в новые святые. Ведь в аналогичных ситуациях каждый выбирал с в о й путь. И потому Карбышев — это Карбышев, Вавилов — это Вавилов, а Власов — это Власов. Беру крайние полюсы ситуации. Спрашиваю одного молодого, но уже известного кинокритика, неужели никто не видит художественных просчетов этого фильма? «Видят, но боятся, — ответил он.— В киноискусстве сейчас новые неприкасаемые, прежде всего Абуладзе и Герман...» Не верю своим ушам. Два прекрасных, умных мастера кино, неужели это им, или, может быть, зрителю, искусству или самому обществу необходимы новые идолы? Сомневаюсь. Видно, все-таки наша инерция сильнее нашего разума.

И уж совсем неожиданными для меня оказались письма, в которых их авторы защищают и оправдывают поведение Н. Эйдельмана в истории личной его переписки с В. Астафьевым. Так получилось, что оправдание Эйдельмана соединяется в них с поддержкой А. Розенбаума. Признаюсь, я даже не сразу решился говорить об этих письмах, устрашившись было упреков в тенденциозном подборе имен, но по размышлении понял — именно замалчивание этих писем заслуживает резонных нареканий. Итак — эти письма.

«Замечу кое-что по двум сюжетам.

1. Переписка Астафьева и Эйдельмана. Не знаю, кто распространил эту переписку, но она отнюдь не личная. Высказывания Астафьева достойны всеобщего знания их... Ему не только руки нельзя подавать, но и читать его не стоит. Что может написать правдивого человек... до сих пор плачущий по царской семье? Вообще, тон Ваших пассажей говорит о том, что Вы разделяете его взгляды.

2. ...Об Александре Розенбауме. Он писал блатные песни. А кто их не писал? Очень удобный вид иронической песни. Хотя Высоцкий для Вас, конечно, не указ... Что касается Белова, то он из Вашей ко-

горты. На предмет подачи руки и прочего. Я никогда не собиралась никуда уезжать, но после Астафьева, Белова, Бондаренко... я стала думать: «А не собрать ли в охапку кушак и шапку»? Уважения Вам не выражаю. *И. Цветкова.* Москва».

(Оговорюсь сразу, что наиболее экстремистские и оскорбительные — прежде всего для самих авторов писем — выражения — решил не приводить, дабы пощадить уважаемых читателей журнала.)

«Сюжет второй: осуждение «грязной провокации», как назвал В. Бондаренко факт оглашения Н. Эйдельманом его переписки с В. Астафьевым... Против Н. Эйдельмана выстраивается (слава богу, что только на бумаге) целая шеренга бойцов — с А. Пушкиным на правом фланге и Г. Бёллем на левом. В. Бондаренко точно знает, как бы поступили с «провокатором» дворяне и чеховские интеллигенты, но, рассуждая о «прецедентах подобных провокаций с письмами», почему-то забывает историю переписки Белинского и Гоголя. Мало того, что оба корреспондента ничего не имели против распространения их писем в рукописных копиях, они, кажется, еще прямо и рассчитывали на это, так как не имели другой возможности обнародовать свои взгляды. Ну и что, поколебало это их нравственный авторитет? Нисколько! Тут, конечно, есть одна закавыка. Гоголь не стеснялся своих взглядов, а В. Астафьев, вероятно, с удовольствием взял бы обратно некоторые выражения, вырвавшиеся у него в пылу полемики... *М. Копелиович.* Ленинград». (Будь моя воля, я с удовольствием бы полностью опубликовал письма, а фактически статьи по 15—20 страниц убористого текста, присланные в редакцию М. Богославским из Харькова и Л. Кикинзоном из Москвы, и поспорил бы с ними, но такой возможности у журнала нет, и приходится ограничиваться лишь выписками).

«Жалко мне Вас, — пишет М. Богославский. — Одна лишь оплошность, всего одна статья... — и вот загублена едва начавшая складываться репутация. Ох и расправится же с Вами «либеральная жандармерия»!.. Думаю, что в своем первом письме к В. Астафьеву Н. Эйдельман и в самом деле взял не ту ноту, а к тому же явно нарушил литературный табель о рангах. Но сыр-бор разгорелся-то по другому поводу... Н. Эйдельман показал письмо, которое возмутило его до глубины души, своим друзьям. Это криминал? Так честные люди не поступают? А дальше история повернулась так: друзья, сами задетые, более того, раненные пассажами Астафьева, сняли для себя с диковинного астафьевского письма копии — и пошла писать губерния!.. Неужели Вам, профессиональному литературоведу, не известны случаи из нашей классической литературы, когда частная переписка становилась событием общественного значения? И неужели Вы до сих пор придерживаетесь мнения, что у порядочного человека могут быть две веры: одна, так сказать, для личного пользования, другая — для общественных нужд?..

Когда я читал первое письмо Эйдельмана, у меня не возникало сомнений в теоретической правомерности его позиции, — но чисто по-человечески я сочувствовал Астафьеву: он мне ближе как художник, а к человеческим слабостям я отношусь терпимо... К тому же, что означает астафьевское простодушное желание, чтобы Лермонтова и Достоевского комментировали одни лишь чистокровные русаки?.. Однако уж если до конца идти по этой линии, то мы обязательно дойдем до отлучения от русской культуры таких «чужаков», как Феофан Грек, Владимир Даль, Исаак Левитан... Не побоюсь сказать прямее: коли изъять из русской культуры таких несомненно крупных художников, как Астафьев, Белов, а вкупе с ними Викулова, Куняева, Бурляева, она обеднеет несравненно меньше, чем в том случае, если из нее удалить Феофана, Даля, Левитана...

В «Войне и мире» есть такое место. Пьера Безухова поразила мысль масона Осипа Алексеевича (кому и зачем говорю я о масонах?): «Дабы светлая вера вошла в сосуд твоей души и осталась светлой, надо сосуд сей очистить от грязи...»

Мысль М. Богославского на самом деле хороша, но что понимать под «светлой верой», очевидно, решают разные люди поразному. И всем ли близка «светлая вера» масона Осипа Алексеевича, к которому и у Л. Толстого, если вы помните, достаточно скептическое отношение? Да и где, у кого из крупных художников прошлого ли, нынешнего ли времени найдете вы высказывания об «одних лишь» чистокровных русаках? Скорее крик самозащиты от вторжения в самые исповедальные, самые заповедные области национального самосознания, от прикосновения иных расчетливых потребителей, отрицающих любые корни и любую почву, к кровоточащим ранам нашей истории, слышим мы в письмах Ф. Достоевского и А. Чехова, А. Куприна и А. Блока, С. Есенина и М. Булгакова.

«Мне тоже не нравятся песни Розенбаума. Но кому-то они нравятся. Сквозь зубы Вы признаете его «проникновенные» песни о войне, блокаде, Ленинграде. Признаете, хоть и с добавкой «вроде бы», что все «соответствует истине»... Согласно Вашей теории, главное — добиться популярности любой ценой. Потом можно писать, петь, демонстрировать, что угодно, — популярность будет только возрастать. Именно в этом, по Вашей логике, причина успеха Высоцкого и Розенбаума...

Каждому объективному читателю ясно, что Эренбург и Катаев не «перестройщики», как утверждаете Вы, и не меняли они свои взгляды, а вынуждены были с к р ы в а т ь их в определенные периоды нашей жизни. Как это были вынуждены делать многие, чтобы не расстаться с головой...

Наверное, оглашать переписку без согласования не следовало бы. За это надо Эйдельмана осудить. Но если уж опубликовано, то почему Вы не хотите говорить о содержании писем. Видимо, оно таково, что недаром Астафьеву не подают руку... *Л. Г. Кикинзон.* Москва».

«Не верит т. Бондаренко в патриотизм Александра Розенбаума, в его гражданские чувства... Судить не может, но — не верит. О чем считает своим долгом сообщить в печати... Вы оскорбили Розенбаума, а заодно и меня. Потому как однажды я тоже «ломился у касс на концерт Розенбаума», но при этом, вопреки Вашему категорическому утверждению, вовсе не являюсь «знатоком его блатных пошлых песен...»

«Не подавайте руки Эйдельману!» — заклинает нас Бондаренко. Он, Эйдельман, не интеллигент, ибо «запустил по всему свету свою переписку с В. Астафьевым, нанесшую определенный нравственный урон известному писателю». Попробуем разобраться...

Со своими письмами автор вправе знакомить любой круг лиц, вплоть до т. н. «открытого письма».

Письма, присланные другим лицом, адресат морально не вправе кому-либо показывать, если это специально оговорено их автором или если письма носят интимный характер.

Интеллигент даже в частной переписке не станет писать ничего такого, что при разглашении может нанести ему нравственный урон.

Таким образом, вопрос Бондаренко — «кому не подавать руки» — без анализа содержания писем решить невозможно... К. т. н. *Б. С. Боуден.* Москва».

Те же проблемы подняты в письмах А. Е. Гордон из Ленинграда, И. Б. Фельдштейна из Дзержинска Горьковской области, С. Рубинштейна из Нижнего Тагила.

«Оставим в покое порядочность Н. Я. Эйдельмана, — пишет И. Б. Фельдштейн. — Нам хорошо известно, как быстро распространяются у нас, в Руси, скандальные тексты. Пушкин, например, никак не хотел обнародования знаменитой эпиграммы на графа Воронцова Он понимал, что это прежде всего непорядочно по отношению к графине Елизавете Ксаверьевне, что это ударит по ее и без того уже пошатнувшейся репутации. Однако, вопреки воле поэта, эпиграмма вырвалась из-под контроля... Переписка Эйдельмана и Астафьева, лишенная каких-либо интимных деталей, имеющая явно общественное звучание, демонстрирующая почти фантастическую степень поляризации в нашем современном обществе, эта переписка не могла не выйти из-под контроля корреспондентов. Она не могла избежать обнародования. Если не через прессу, то этим традиционным для нашего общества рукописным способом...»

Искренность и убежденность авторов этих писем позволяет мне понять даже изначальную защитную их агрессивность, даже в тех намеках, которые они допускают: «И коль скоро речь зашла о фамилиях, то, возможно, фамилия, стоящая под этим письмом, покажется Вам малосимпатичной. Такой вывод (хочу надеяться, ошибочный) можно сделать... Но тут уж я ничего не могу поделать. Фамилия есть фамилия. Могу себя лишь утешить, что она всегда принадлежала честным людям: малярам, печникам, медникам-лудильщикам, колхозникам (представьте!), инженерам, врачам, офицерам и даже дважды была упомянута в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. Эту фамилию мы всегда носили с достоинством и огромным уважением к другим фамилиям, сколь бы странно и труднопроизносимо они для нас ни звучали. С уважением *Исаак Борисович Фельдштейн».* «Я не литератор. Бывший кадровый военный... Член КПСС с июля 1944 года. Фамилия — Кикинзон (вижу, как у Вас, гражданин Бондаренко, перекосилась физиономия)...» Как видим, об одном и том же, но как по-разному сказать можно.

Так вот, товарищ Кикинзон, физиономия моя не перекосилась, и согласен я с Фельдштейном И. Б. — род и фамилию свою при любых обстоятельствах надо уважать и чтить. Б. Пастернаку и И. Левитану фамилии не помешали стать огромнейшим явлением русской культуры, Мандельштама ценят куда больше, чем иных любителей фамильных мимикрий. Что же касается Александра Розенбаума, то в моем представлении это вторичное явление даже в мире массовой культуры. А фамилия тут ни при чем. Певец старается заполнить ту экологическую нишу в нашей культуре, которая образовалась со смертью Высоцкого, но, используя его приемы, его сюжеты, разрабатывая популярные ныне темы, он лишь обслуживает население, в то время как Высоцкий, в лучших своих песнях, — выражал дух народа, его настроения, бушевавшие страсти. Высоцкий — внутри явления, Розенбаум — извне. Он лишь обыгрывает явление. Высоцкий — живет в песне, Розенбаум — имитирует эту жизнь в ней. В защите А. Розенбаум не нуждается — у него хватает ценителей среди школьников, студентов, солдат. Приведу письмо солдата, недавно вернувшегося нз Афганистана.

«Милейший В. Бондаренко, не могу Вас приветствовать положенным в таких случаях — здравствуй... После Вашей критической вирши в жур. «Москва» мы обсудили с инвалидами (сам я тоже инвалид I группы) и теми товарищами, с которыми имели общение. Не буду касаться Ваших нападок на Вас. Белова, это великолепно сделала Галина Егоренкова. Меня лично оскорбила клевета на Розенбаума. ЧТО ТЫ ВООБЩЕ ЗНАЕШЬ В ЖИЗНИ? В столичной берлоге с салонной, сытой публикой Вам, наверное, не хватило малость денег, потому и накатали в почтенный журнал. Наверняка хватило на ужин в «Пекине»?

...Прослушивая диски «Эпитафия», «Мои дворы»... — ведь мороз по коже пронизывает, ком в горле! Афганцы, слушая «Черный тюльпан» и другое, меняются в лице... Посмотрел бы ты в глаза этих ребят, которые и Вас защитили, хотя Вы же их туда не посылали? Были бы Вы в протезных богадельнях? СХОДИ!.. Но не ручаюсь, что несколько костылей не разобьют о Вашу «светлую» голову.

Послушайте, какие там диски и кассеты в чести. Совет Вам, пиши, что знаешь! Например, «Целина», которая написана Л. И. Брежневым, когда уже был рак почвы, эрозия?.. Страшно? И вместо тугриков можно было получить «творческую командировку» в Магадан.

А ВЫСОЦКИЙ, РОЗЕНБАУМ писали. Ну а Вы? Дифирамбы, фимиам — молодец!!! К сему *Выборнов А. В.* Ульяновская область, пос. Вишкайма».

Тяжелое письмо, не о песне побуждает думать и меньше всего о срывах, в нем содержащихся. «Афганцев», провоевавших два года на полях Герата и Шинданта, в горах Гиндукуша и Паншера, на знаменитой Чарикарской «зеленке», на улицах Кандагара и на трассе Саланга и сегодня восторженно принимающих песни Розенбаума, понять можно. Сколько лет правда о воевавших была закрыта для нашей литературы, как восторженно фантазировали наши корреспонденты о лучезарных перспективах интернациональной дружбы. Спросите у рядового «афганца» мнение о телепередачах М. Лещинского, умудрявшегося снимать фильмы о событиях, которые еще предстоит совершить. И вдруг он слышит знакомый «афганский жаргон», да еще из уст человека, недавно побывавшего в самых горячих точках этой страны. Он слышит слова о попавших в плен ребятах, о «черном тюльпане» — самолете, на котором отправляют на Родину цинковые гробы. Ему уже не до художественности. Он аплодирует А. Розенбауму и грозит мне... Постараюсь быть объективным. Да, Розенбаум не отсиживался в Кабуле, подобно многим нашим прозаикам и поэтам, умудряющимся писать цикл афганских стихов, не выходя из помещения советского посольства. Так получилось, что мой афганский маршрут проходил примерно по тем же местам, где незадолго до этого побывал певец, и я встречался с теми же «спецназовцами», летчиками, десантниками, поднимался на те же кандагарские заставы, мчался на броне БТР по тем же дорогам, смотрел с гератской крепости на мавзолей Алишера Навои. Да, роспись Розенбаума на стене заставы ГСМ у Черной площади Кандагара о чем-то говорит. Этот афганский Сталинград, весь в развалинах и побитой, покореженной технике, в достаточной степени отличается от хорошо охраняемого Кабула. Солдаты с уважением вспоминают свои встречи с певцом на этой афганской передовой. Но вспомним ситуацию прошлого века, вспомним жесточайший разбор прозы Бестужева-Марлинского Белинским. Критику не мешало то, что критикуемый — жертва николаевских (чуть не написал сталинских) репрессий, что повести свои он писал в промежутках между боями на Кавказе, где в конце концов и погиб. Декабриста критиковали не за его гражданское поведение, а за его «фейерверочную», не оставляющую глубокого следа в сознании читателя беллетристику. Меня упрекнут, так то́ же Белинский! Но и Розенбаум не Бестужев-Марлинский. Значит, надо все же идти от одних только текстов. Сравните песни самих «афганцев» из ансамблей «Каскад», «Голубые береты» — вот первичный материал для профессионального певца. Те же грустные, сентиментальные ноты, те же трагико-романтические темы. Знаменитый и коллекционируемый ныне любителями «афганский фольклор», на котором защитят еще не одну диссертацию. Его годами запрещали вывозить из Афганистана, у ребят на таможне отбирали кассеты, изымались тетради с текстами песен. Оттуда берутся певцом-профессионалом легко узнаваемые знаки — пленный солдат, подрыв на мине, «вертушки», обстрелы «эрэсами», цинковые гробы. Точно такими же, легко узнаваемыми были знаки, которые раньше брались Розенбаумом из жизни уголовников, затем из блокадного Ленинграда. Одна и та же технология поверхностного освоения волнующей драматической темы, один и тот же сентиментальный надрыв. Это работа ремесленника, производителя ширпотреба в искусстве, прекрасно знающего, как выдавить слезу у слушателя. Уверен, скоро мы узнаем не одно талантливое имя поэта и прозаика — из самих «афганцев», вот тогда — в сравнении истинного и приблизительного — кое-что прояснится для моих оппонентов.

Вспомним дискуссию между И. Зильберштейном и Н. Эйдельманом, она ярко продемонстрировала различный подход к искусству. Академик Д. Лихачев как-то заметил, что сегодня не столько интересуются поэзией Пушкина, сколько его бытом, семейным окружением. Книги Н. Эйдельмана, его лекции переполнены этими бытовыми подробностями, историческими легендами и даже сплетнями. Напечатанные на машинке письма Н. Эйдельмана и написанное корявым почерком письмо В. Астафьева, что ни говори, это тоже разное отношение к литературе. В первом случае — это предусмотрительный, продуманный ход аргументации, рассчитанный на самую широкую аудиторию. В другом, это видно любому объективно мыслящему человеку, личное страстное письмо одному адресату. Как говорится, игра не на равных.

Не убедили меня доводы оппонентов и в том, что личные письма кого бы то ни было «достойны всеобщего знания их», почему «друзья, сами задетые... пассажами Астафьева, сняли... для себя копии». Почему так не терпится поговорить «о содержании писем» живущего человека, не спрашивая у него на то согласия?

Одно дело — запущенная эпиграмма, которую легко запомнить, другое — длинноющие письма.

У каждого, работающего не один день в литературе, непременно есть свой архив — письма, присланные в разное время известными мастерами искусства. Скажем, я храню письма В. Каверина и Д. Гранина, В. Астафьева и В. Распутина, Д. Лихачева и В. Шкловского, И. Бродского и И. Золотусского, не говоря уже о своих друзьях — сверстниках из поколения сорокалетних. Они написаны в разное время и по разному поводу, есть там и суждения об отдельных произведениях литературы, поступках людей. Могу ли я, без разрешения авторов, запускать их по белу свету? Сколько людей можно перессорить, сколько семей разрушить, сколько репутаций испортить, если мы обычные нравственные нормы не будем соблюдать? На дружеской пирушке или наедине с собой человек говорит иначе, нежели по программе телевидения — и дело не во флюгерстве, а в конкретной ситуации, моменте, настрое. Все мы живые

люди. Может, и не интеллигентно за столиком в ресторане хвастаться перед друзьями договорами с издательствами, но разве интеллигентнее сделать этот частный ресторанный разговор достоянием всего света, используя для того страницы «Комсомольской правды», как сделала это О. Кучкина в статье «Групповщина»? Разве интеллигентно на основе слухов рассказывать о коленопреклоненном Станиславском? Разве корректно пользоваться текстом, не подготовленным самим автором к печати, и им развенчивать своих противников за дела, в которых сам далеко не был свят? (Имеем в виду публикацию журналом «Знамя» «Воспоминаний» К. Симонова.) Все тот же расчет на непосвященных? Все то же стремление переписать историю на свой манер?

Не более корректен и акт обнародования отдельных фактов из личной переписки в целях унижения своего корреспондента в глазах писательской общественности, допущенный одним из высоких руководителей писательской организации. Думаю, все это вряд ли свидетельствует о благополучии в области нашего нравственного здоровья... Цель не оправдывает средств!

Представители того или иного народа, встречая в свой адрес критику, нередко начинают с опасением усматривать в этом сразу общественную тенденцию, оскорбление национального достоинства. И честно пишут об этом. Так произошло и с «Очерками литературных нравов». Скажем прямо, этому немало способствовало и то обстоятельство, что из всей статьи, затронувшей не одну проблему, ее критики в периодике вычленили два-три положения, которые в их трактовке помогают им создать в моем лице образ если не сталиниста и черносотенца, то выразителя крайне ортодоксальных и реакционных позиций.

Прочтем в заметках Н. Ильиной о реакции на повесть И. Грековой: «Огонь шквальный: сейчас уже не припомнить, сколько газет и журналов почти одновременно обрушились на повесть. Тут уж и я позволю себе воскликнуть: «Не случайно!» Без команды... вряд ли было возможно такое единодушие, проявленное самыми разными печатными органами. Повесть осуждалась старым методом: речь шла не о художественном уровне, а предъявлялись обвинения политические». Поставьте вместо «повесть» — «Очерки литературных нравов» и поймете, как дружно уже более десяти крупнейших массовых изданий отреагировали на мою статью. Верно, Наталья Иосифовна, «без команды» вряд ли возможно такое единодушие. Но плакаться не хочется. По-прежнему уверен, что такова вообще судьба критика во все времена. Ведь критик обязан видеть в развивающемся литературном процессе намечающиеся тенденции, в том числе и негативные, будь то период застоя или перестройки. Если критик испытывает ностальгию по прошлому или вроде бы справедливо жалуется на былые гонения, ожидая ныне наград, значит, он перестал быть критиком. На мой взгляд, последние выступления И. Виноградова и Ю. Буртина — это не критика, это — мемуары. Мне же интереснее наблюдать современный литературный процесс, вспоминать старые болячки не испытываю нужды. Даже в споре с оппонентами не вижу большой необходимости — недолюбливаю критические междусобойчики. Но сегодня не замечать непрекращающейся атаки на утверждение принципов народности культуры, не замечать утверждения «левоинтеллигентной» тоталитарной модели общества — это значит уйти от уже необходимой борьбы. Главным оружием в этой борьбе может стать только правда, которую сегодня на все лады перекраивают наши либералы, страшась ее полноты. Что до того, что за статью М. Лобанова «Освобождение», опубликованную в годы застоя, статью человека, мужественно призывающего к освобождению ото лжи, главного редактора журнала «Волга» Н. Палькина выгнали с работы, а самого автора подвергли травле, запретили печататься в периодике. Что до того, что сегодня С. Рассадин называет его людоедом, а Г. Бакланов записывает в сталинисты, теперь уже союзники Н. Андреевой. Имей, наконец, свою голову на плечах, и поймешь что к чему. И тогда, наблюдая за полемической кампанией последнего времени, уловишь определенную параллель с явлениями начала тридцатых годов, только вместо «врага народа» запестрил «враг перестройки», вместо «троцкистов» — «сталинисты». И снова всех под одну гребенку. Когда-то Вышинский умудрялся в одну обойму вместить и Бухарина и Троцкого... Сегодня, увы, этим приемом пользуется уважаемый писатель Г. Бакланов. Можно иметь свое мнение по поводу любой статьи, но нужно умудриться увязать в «некий залп», притом кем-то в марте месяце «скоординированный» (видно, известно, кем и когда), статью Н. Андреевой в «Советской России» и статью В. Кожинова в апрельском номере «Нашего современника». Собственно, со статьи В. Кожинова по существу и начался глобальный разговор о причинах возникновения культа личности. Не противопоставляется в ней народная трагедия послереволюционных лет и волна репрессий против партийной элиты в тридцать седьмом году, а развертывается ужасающая картина планомерных, поэтапных репрессий с первых лет революции, по всем направлениям разоруживших наше государство. Любая жертва неправедна, но, признаемся наконец честно: свести всю трагедию народа к кровавым расправам тридцать седьмого года — значит обречь себя и в будущем на новые культы личностей, на новый тоталитаризм. Г. Бакланова возмущает статья В. Кожинова, но, если изъять баррикадное мышление и читать статью непредвзято, то можно уловить связь между нею и разработкой публицистом О. Лацисом именно в руководимом Г. Баклановым журнале «Знамя» кожиновской концепции неизбежности революционного диктаторства. Есть другое мнение: самое странное утверждение в статье В. Кожинова состоит в том, что сталинский культ якобы создавался сдва ли не помимо его личных усилий. Цитируется это «зловещее» утверждение: «это было в прямом смысле слова всемирное явление»... Но почти теми же словами о начинавшихся культах Троцкого после гражданской войны, Зиновьева в Коминтерне,

Рыкова и т. д. пишет О. Лацис. И даже если мнение Кожинова в глазах писателя — ошибочное, зачем спешить объявлять его истину мнимой? Неужели не надоели Г. Бакланову эти тоталитарные потуги? Утверждая лишь свое «правое дело» и уличая в «мнимых истинах» М.Лобанова и В. Кожинова, не уподобляется ли он сам грозным обличителям образца 1949 года? Да и заголовок статьи «О правом деле и мнимых истинах» будто взят напрокат из тех времен. Как видим, тога «гарантов правого дела» перекочевывает с одних плеч на другие, не приближая нас к демократии, а лишь профанируя ее. Под стать таким заголовкам и приписывание зловещей терминологии своим противникам, пересказ подслушанных разговоров, ссылка на магнитофонные записи и неведомые письма. Я не сторонник статьи Н. Андреевой, но и вакханалию вокруг ее имени считаю проявлением крайнего недемократизма. Вот где во всем блеске проявился наш родной тоталитаризм. В какой стране одна из предвыборных обнародованных платформ, имеющая право на существование ничуть не меньшее, чем редакционная статья в «Правде», являющаяся, по демократическим понятиям, другой предвыборной платформой, может быть подвергнута подобному тоталитарному разгрому? Опять мы все как один на партийных собраниях, творческих конференциях, студенческих митингах принимаем резолюции в ее поддержку. Все до едина объединившиеся вокруг редакционной статьи в «Правде» — и единственная Нина Андреева, подписавшая статью в «Советской России», — вот, кажется, пока и весь практический итог нашей так дружно декларируемой демократии. А Вы, Григорий Яковлевич, ссылаетесь, увы, опять на анонимное письмо какого-то человека из Ленинграда, который уж доподлинно знает, что «это не письмо Нины Андреевой, как было обозначено в газете». В данном случае меня даже не интересует, как было на самом деле, тем более у меня есть своя версия этой публикации, основанная на доступной мне информации. Помнить все-таки не лишне об этике литератора. Вы, Григорий Яковлевич, имеете полное право лично осуждать эту статью, но если мне придет письмо, утверждающее, что не Вы написали «Июль сорок первого года», должен ли я спешно публиковать подобное мнение, к тому же еще и анонимное? Добейтесь признания самой Нины Андреевой, добровольного, а не под газетной пыткой, которой она сегодня подвергается, тогда и публикуйте его. Неужели в пылу баррикадного мышления Вам, Григорий Яковлевич, не понятно, что утверждения на уровне: «Двое публицистов... пытались встретиться с Андреевой, она уклонилась. А чего бы, спрашивается, уклоняться, если она — автор?» — близки методике прокурора Вышинского и сами по себе безнравственны, независимо от неправоты Вашего оппонента. Уклонился от встречи с милиционером — значит преступник!!! В. Богомолов уже двадцать лет «уклоняется» от встреч с публицистами — может, это он писал за Андрееву? Тоталитаризму Вы противопоставляете тот же тоталитаризм, только еще опаснее — ведь делаете это Вы в эпоху декларируемого демократизма. Молодое поколение, за редчайшим исключением не принимающее не столько Сталина, сколько утвердившуюся при нем диктаторскую систему власти, с интересом наблюдает за «играми взрослых». Вы в беседе опровергаете мнение Н. Андреевой и М. Новикова о значении личности Сталина, но куда больше подобных цитат можно почерпнуть из «Воспоминаний» К. Симонова, опубликованных все в том же редактируемом Вами журнале «Знамя». По мнению многих, роль Сталина подтверждается там более весомо, чем в статье Н. Андреевой. Вот и оспорьте симоновское баррикадное мышление.

Количество недопустимых приемов в нынешних полемиках все более разрастается. Чтобы сфабриковать врага, уже мало политических ярлыков, недостаточно использованных анонимок и подслушанных разговоров, прослушанных кассет, мало передернутых и урезанных цитат.

Вот пишет критик С. Чупринин о «закусившем удила национализме», в выражениях не церемонится: «Расистская по своему существу одурь — прочитайте кое-какие публикации, прислушайтесь к толкам... в кулуарах Дома литераторов — не схлынула». Что подразумевает Чупринин под «расистской одурью»? Согласно резолюции ООН, к расизму отнесены сионистская и фашистская идеологии. Какие сионистские или фашистские публикации критик имеет в виду, кого зачисляет он в сионисты и фашисты в Доме литераторов? Обвинение-то нешуточное!

Выступает с раздумьями навстречу XIX партконференции Борис Хотимский: «Еще в минувшем году в стенах ЦДЛ и на Всесоюзной писательской конференции в Ленинграде не раз приходилось мне давать отповедь... авантюристам, уверявшим доверчивых слушателей. будто все наши беды нагрянули с Запада в лице так называемых «жидомасонов» — агентов некоего зловредного глобального заговора».

В редакционной статье «Огонька» критикуется роман Виктора Иванова «Судный день», вернее, даже первая часть его: «...наконец-то заявлено в полный голос со страниц уважаемого журнала. Теперь мы знаем: — заговор жидомасонов, направленный в первую очередь против России, был составлен царем Соломоном».

Этот термин «жидомасоны» встречал я во многих статьях — Бориса Хотимского, Виталия Коротича, Виталия Сырокомского, Сергея Чупринина. Уже все читатели знакомы с отповедями таинственным литераторам, кто насаждает слухи о «жидомасонском заговоре». У меня накопилось достаточно вырезок с подобными отповедями. Осмелюсь поинтересоваться, уважаемые авторы статей, прошу вас убедительно, приведите хоть один пример, где использовался запущенный вами в виде «отповеди» термин «жидомасоны» в любом советском печатном издании, назовите хоть одного писателя, который с трибуны ЦДЛ или писательских конференций употребил его? С какой целью и в какой пивной выудили вы этот термин, пустив в обращение по всей стране? Вы настолько уверовали во

вседозволенность, что прибегаете к припискам, даже не страшась быть пойманными за руку.

Роман В. Иванова «Судный день», на мой взгляд, крайне слабый роман, и сам автор, должно быть, только доволен той рекламой, которую ему сделал «Огонек». Но уж если быть точным, то выражение «жидомасоны» автор романа не произносит — рассуждения о масонстве содержатся в дневнике литературного героя. Кажется, уже совершенно ясно: автор не отвечает за взгляды своих литературных героев, не стоит приписывать позицию героев, тем более отрицательных, как в случае с «Судным днем», самому автору. Но, к сожалению, то, что так понятно в отношении «своего автора», любителями «баррикадного мышления» мгновенно отменяется, когда речь идет об «авторе чужом».

Надо нам, наконец, осознать, что мы живем на своей земле — другой у нас не будет, — строим новое общество, и от наших общих усилий зависит и наша общая судьба.

■

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ...

ЮРИЙ БЛАГОВ

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

Став туристом олимпийским
Много лет тому назад,
Я решил под небом римским
Поприветствовать ребят.
А приблизиться к колоннам
Ни с каких нельзя сторон,
Но... за новым стадионом
Есть постарше стадион.
И участникам парада,
Завершая торжество,
Непременно было надо
Проходить через него.
Восклицали возбужденно
Все собравшиеся тут:
«Вундербар!», «Трэ бьен!», «Буоно»,
«Бардзо добже!», «Вэри гуд!»

И раздался клич над Римом,
В этом пестром уголке,
На родном, неповторимом
Лужниковском языке:
— От души желаю, братцы,
Вам ни пуха, ни пера! —
Был тот клич, могу признаться,
Мною выдан на-гора.
. . . . . .
. . . . . .
И сегодня, как когда-то,
Разыгрался аппетит,
Пусть же клич мой
от Арбата
До Сеула долетит.

В. КАШЕЛИН

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО

— Ты только посмотри, какие они стройные — эти олимпийцы! — покачала головой жена, оторвавшись на миг от телевизора только для того, чтобы окинуть меня кислым взглядом. — Сильные, ловкие, элегантные! А ты?..

— А что я?..

— А то! Сколько раз, например, ты делаешь привал, пока взбираешься на наш третий этаж?

— Семь раз, — уверенно ответил я. — На каждой шестой ступеньке. И, кроме того, один раз отдыхаю на чьей-то раскладушке, которая висит на гвоздике на площадке второго этажа.

— Итого восемь раз! — ужаснулась жена. — А знаешь, отчего все это?

— Знаю, — буркнул я. — Оттого, что у нас нет лифта.

— Дело не в лифте! Ты просто стал очень мало двигаться. У тебя типичная болезнь века — гипокинез. Нет, милый мой! Если ты не хочешь преждевременно одряхлеть, то должен ходить на работу пешком!

На следующее утро я встал пораньше и бодро зашагал на службу. Я явился туда как раз к началу обеденного перерыва и около часа отдыхал, лежа в тени под письменным столом. Домой я явился в половине первого ночи и сумел добраться только до площадки второго этажа, где и заночевал на соседской раскладушке.

— Нет, так дело не пойдет! — заявила через неделю жена, которой надоело по ночам носить мне чай и шлепанцы на второй этаж. — Ходьба не идет тебе на пользу. А все потому, что ты слишком медленно передвигаешься. Тебе необходимо бегать!

— Как — бегать?! — испугался я.

— Как хочешь. Рысцой или хотя бы трусцой. Стиль оставляю на твое усмотрение.

Через два дня я со службы позвонил соседу и попросил его на ночь оставлять раскладушку в подъезде.

— А ты все толстеешь! — расстроилась при встрече жена. — Мне все ясно: нужно увеличить нагрузки. Попробуй бегать с гантелями.

...Через два дня я явился с работы домой ровно в семь вечера.

— Ну что я говорила! — обрадовалась жена. — Видишь, как быстро ты стал преодолевать лестницу!

— Не так уж быстро! — потупился я. — С первого этажа я вышел еще вчера... Этот бег мне совсем не помогает!

— Ты безнадежный человек! — махнула рукой жена. — Пожалуйста, делай, что хочешь! Старей, дряхлей, полней, брюзгни! Покупай автомобиль, если тебе так нравится! Раз ты такой сторонник гипокинеза, я больше слова не скажу! Но помни: если потеряешь здоровье, виноват будешь только ты сам!

— Пропадать, так с музыкой! — решил я и записался в очередь на автомобиль. — Пускай меня погубит этот злодей-гипокинез, но напоследок я хоть отдохну немножко.

...Первые два дня после покупки я ночевал прямо в машине, потому что никак не мог получить разрешение на постройку гаража, а оставлять машину ночью на улице одну боялся. На третьи сутки я заночевал в приемной архитектурно-планировочного управления, с которым надо было согласовать вопрос о гараже. Через месяц ночевок в приемных различных учреждений разрешение наконец было получено, но к этому времени с моего автомобиля кто-то снял колесо. Я помчался в магазин. Через три недели после пропажи мне удалось достать колесо, но тут я обнаружил, что пропали подфарники. Когда я наконец добыл подфарники, выяснилось, что у машины почему-то не работает тормоз. Знакомый мастер устранил повреждение. Но теперь забарахлил карданный вал. Я сбросил пиджак и полез под автомобиль.

— Что такое?! — ахнула вышедшая во двор жена. — Милый мой, поздравляю! Ты стал свободно пролезать под машиной!

Но мне было не до жены. Я махнул рукой и помчался домой за гаечным ключом. В четыре прыжка я поднялся на третий этаж, взял ключ и так же быстро спустился обратно.

Правда, поломку мне в тот раз исправить так и не удалось и пришлось снова везти машину в мастерскую. Но зато в семье у нас с этих пор царит полное согласие. Жена больше не ворчит на меня, ибо она теперь твердо убеждена, что лучшее средство от гипокинеза — это собственный автомобиль.

ЮРИЙ ВЛАСОВ,
заслуженный мастер спорта, рекордсмен мира, член СП



Штангист достиг
всемирной славы —
И на перо сменил снаряд.
И говорит читатель: «Браво!
И этот вес атлетом взят!»

ГАРРИ КАСПАРОВ,
заслуженный мастер спорта, чемпион мира



Напорист, дерзок и отважен,
Он в шахматы на всем скаку
Прорвался,
словно нефть из скважин
Родного города Баку!

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК,
заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира



Была нелегкою работа —
Напором яростных атак
Пытаться отпереть ворота,
Которые закрыл Третьяк!

Эпиграммы Владимира ВОЛИНА

Дружеские шаржи Владимира МОЧАЛОВА

НЕ РАДИ СЧЕТА

(Евгений Евтушенко)

Я не привык
сидеть в запасе.
Как левый крайний
я опасен,
Пожалуй, больше,
чем Пеле.
Наш старший тренер
дядя Вася
Со мною был
всегда согласен,
Что нет мне равных
на земле.

Играю я
не ради счета,
А потому,
что мне охота
Скрестить
с противником мечи.
Порой —
с разбойным поворотом —
Луплю
по собственным воротам:
В игре попробуй
отличи!

С ВЫСОКОГО ХОЛМА

(Владимир Солоухин)

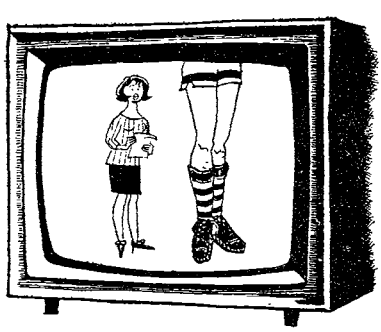
Я наблюдал с высокого холма,
Как на лугу, точней сказать, на поле
Ватага мускулистых молодцов
Гоняла упоенно круглый мячик.
И я тогда подумал: а зачем
Они так праздно расточают время?
Ведь человек веками научался
Зарю, страданье, женское лицо
Класть на холсты,
играть на дивной скрипке,
Косить траву, орать, паять, рыбачить
И валуи солить в дубовых бочках,
Искать слова на утренних проселках
И в бронзу строк упорно загонять.
А эти загоняют мяч в ворота.
К тому же это делают неловко,
Нерасторопны в пасе и в отборе.
Да где ж оно — высокое искусство?!
Но не успел я мысль свою закончить,
Как некая неведомая сила
В меня вошла, как входит мячик в сетку,
И я, своим воззреньям вопреки,
Вдруг закричал с холма,
точней, с трибуны
Забытое давно: «Судью на мыло!»
И покраснел, поскольку я стыдлив.





Без слов.





— А сейчас выступит капитан баскетбольной команды...

СПОРТ

ДО НАШЕЙ ЭРЫ



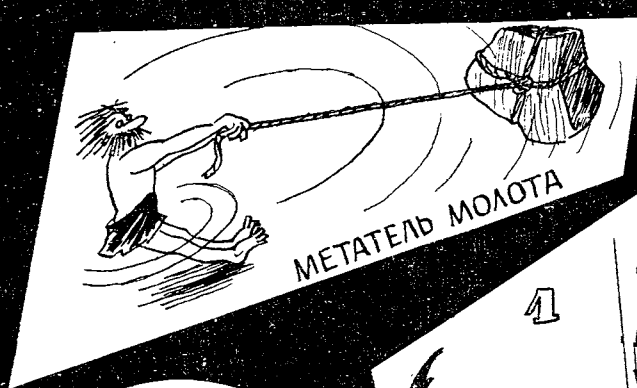
ПРЫЖОК В ВОДУ



НА БРУСЬЯХ



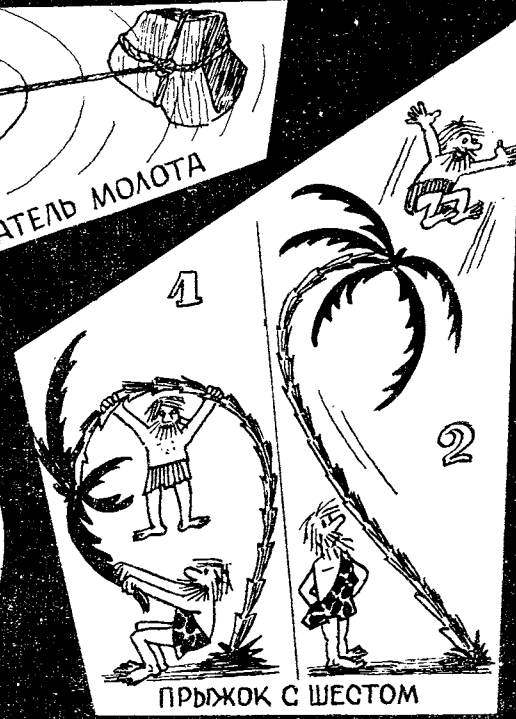
ПРЫЖОК В ДЛИНУ



МЕТАТЕЛЬ МОЛОТА



ШТАНГИСТ



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Рисунки Николая Львова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	**Анатолий Афанасьев.** ПОСЛЕДНИЙ ВОИН. Роман	6
	Н. М. Карамзин. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО. Том IV, главы 5—12	74
	Варлам Шаламов. ДВА РАССКАЗА	133
ПОЭЗИЯ	**Александр Руденко, Владимир Шацков, Геннадий Лутков.** СТИХИ	69
	Любомир Левчев, Красин Химирски. СТИХИ. Перевод с болгарского Сергея Бобкова и Лорины Дымовой	130
	Василий Казанцев. СТИХИ	139
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА	**Михаил Алексеев.** О ПОЛИТИЧЕСКИХ «ЯРЛЫКАХ» И ПРОЧЕМ... Заметки делегата XIX Всесоюзной партконференции	3
	Борис Миронов. КОРНИ ОТЕЧЕСТВА	141
	Вадим Сафонов. ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ. Пестрые мысли вслух	155
	Нравы московской старины. **Валентин Лавров.** ЮРОДИВЫЕ, ПРОРИЦАТЕЛИ И ДРУГИЕ	163
ИСКУССТВО	**Надежда Таирова.** ОБРЫВ?	167
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	**Владимир Бондаренко.** РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ	176
САТИРА — ЮМОР	**Юрий Благов.** НИ ПУХА, НИ ПЕРА! — **В. Кашелин.** ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО. — ЮРИЙ ВЛАСОВ, ГАРРИ КАСПАРОВ, ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. Эпиграммы **Владимира Волина,** дружеские шаржи **Владимира Мочалова. — Алексей Пьянов.** НЕ РАДИ СЧЕТА. — С ВЫСОКОГО ХОЛМА. Пародии. — НАШ ВЕРНИСАЖ. Рисунки **Николая Львова**	203
ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»	МОСКВА ЗАПОВЕДНАЯ. Живопись **Сергея Коляды.** Акварели **Анатолия Косогова**	

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются. Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в Чеховский полиграфический комбинат по адресу: 142300, г. Чехов Московской области

Корректоры М. М. БОНДАРЮК, О. И. КИРЕЕНКО

Художественный редактор
В. К. СЕРЕБРЯКОВ

Технический редактор
М. Т. СОЛЫШКО

Сдано в набор 28.06.88. Подписано в печать 9.08.88. А 03287. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая. 18,2+4 вкл.=18,9 усл. печ. л. 21.18 усл. кр.-отт. 22,64+4 вкл.=23,35 уч.-изд. л. Тираж 683 000 экз. Заказ 1620. Адрес редакции 121918, ГСП, Москва, Г-2, Арбат, 20. Телефон 291-71-10. Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 142300, г. Чехов Московской области.

Журнал «Москва»

в 1989 году

предлагает вниманию читателей:

романы **П. Проскурина «ОТРЕЧЕНИЕ»** (книга 2-я), **А. И. Цветаевой «AMOR»**, **В. Исаева «ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ»**, **С. РЫБАСА «Пепелище»**, повести **В. Астафьева «ПРАЗДНИК НА ВОЛХОВЕ»**, **В. Солоухина «СМЕХ ЗА ЛЕВЫМ ПЛЕЧОМ»**;

из литературного наследия: повести **Н. Гумилева «ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТА»**, **Е. Замятина «БИЧ БОЖИЙ»**, публикации **В. Набокова, И. Сургучева, И. Шмелева**;

продолжение **«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. Карамзина**;

к 190-летию со дня рождения А. С. Пушкина — малоизвестные воспоминания о поэте;

стихи и поэмы **О. Дмитриева, Е. Исаева, Вас. Казанцева, Т. Кузовлевой, Э. Нижарадзе, А. Преловского, Г. Регистана, Т. Смертиной, Н. Тряпкина, В. Фирсова, Г. Эмина**;

статьи **М. Антонова, Н. Корзун, А. Корнеева, Ф. Моргуна, В. Пальмана, К. Раша, А. Рябинина**, освещающие идейно-воспитательные и хозяйственные проблемы перестройки;

выступления **В. Десятникова, В. Киприна, Б. Миронова, Н. Молевой, Г. Шаляпиной** — об охране исторического наследия Москвы, о культурной и общественной жизни столицы;

письма маршала **К. К. Рокоссовского**, воспоминания генералов **А. Пономарева, В. Шатилова**, других участников Великой Отечественной войны;

в разделе искусства — выступления деятелей культуры по вопросам художественного творчества;

статьи литературоведов и критиков: **Ю. Барабаша, В. Бондаренко, В. Бушина, Т. Глушковой, П. Горелова, А. Гулыги, Г. Егоренковой, В. Кожинова, С. Куняева, В. Курбатова, А. Ланщикова, В. Лукьянина, П. Палиевского, С. Семеновой, К. Султанова, В. Чалмаева** и других.

На вклейках журнала — работы известных художников.

90 коп.

Индекс
73253

МОСКВА, 1988, № 9, 1—208.